

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

|| 1 ||

НОВЫЙ МИР

|| 1980 ||

1



1980



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1980 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ДАНИИЛ ГРАНИН — Картина, роман	3
ВИКТОР СМИРНОВ — Три стихотворения	133
Д. САМОЙЛОВ — Память, стихи	135
НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ — Новые стихи	136
ВЕНИАМИН КОЛЬХАЛОВ — Истоки, стихи	139
ЮРИЙ КАМЕНЕЦКИЙ — Все становится на места, стихи	140
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Абсолют, рассказ	142
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Андрей Полисадов, история	168
ПУБЛИЦИСТИКА	
ЭРНСТ ГЕНРИ — Неофашизм подымает голову	180
В МИРЕ ИСКУССТВА	
Е. КИБРИК — Всегда открытые. Вступление В. Кеменова	191
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>К 120-летию со дня рождения А. П. Чехова</i>	
В. ТУРБИН — Воды глубокие. Из заметок о жизни, творчестве и поэтике Чехова	216
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
«ХУДОЖНИК И ЧЕЛОВЕК НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЧУТКОСТИ...»: М. М. Читау, Е. П. Семенов, Бор. Лазаревский, А. С. Суворин. Публикация и комментарии Н. И. Гитович	228
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ТАЛАНТ КРУПНЫЙ И САМОБЫТНЫЙ. К 80-летию со дня рождения Михаила Исаковского	244
	(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	253
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Валентин Курбатов. На расстоянии истории.— Михаил Синельников. Постоянство перемен.— М. Злобина. История и миф.	264
<i>Политика и наука</i>	
А. Нежный. Разговор об экономической гармонии.— В. Френкель. Портрет ученого.— И. Геевский. Уроки «бурного десятилетия».	276
КОРОТКО О КНИГАХ: Татьяна Комиссарова.— Два мира — две судьбы. Сборник статей. ● В. Лобачев.— И. Г. Моргенштерн, Б. Т. Уткин. Занимательная библиография	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

ДАНИИЛ ГРАНИН

★

КАРТИНА

Роман

Глава 1

Дождь застиг Лосева на Кузнецком мосту. Чтоб не мокнуть, Лосев зашел на выставку. До начала совещания оставалось часа полтора. Не торопясь он ходил из зала в зал, отдыхал от московской мельтешни. После мокрых весенне-холодных улиц, переполненных быстрыми столичными людьми, здесь было тихо, тепло. Больше всего Лосева угнетало в Москве невероятное количество народу, которое толкалось в любом учреждении, у любого прилавка, в каждом кафе, в каждом сквере. Даже здесь, на выставке, несмотря на простор, Лосева все же удивляли посетители — что за люди, почему они бродят здесь в рабочее время? Большею частью женщины. Тоже примечательно. Поскольку и у себя в городе на культурных мероприятиях Лосев заметил, что в зале сидят главным образом женщины. И что в столице имело место то же явление, отчасти успокаивало Лосева, отчасти же было достойно размышления.

Он шел вдоль стен, обтянутых серой мешковиной. Грубая дешевая материя выглядела в данном случае весьма неплохо. Что касается картин, развешанных на этой мешковине, у Лосева они не вызывали интереса. Лично он любил живопись историческую, например как казнили стрельцов, или Иван Грозный убивает сына, или же про Степана Разина, также батальные сцены — про гражданскую войну, партизан, переход Суворова через Альпы, да мало ли. Нравились ему и портреты маршалов, полководцев, известных деятелей искусства. Чтобы картина обогащала знаниями. Здесь же висели изображения обыкновенных стариков, подростков, разложенных овощей и фруктов с разными предметами, рисунки на бумаге, множество мелких картин в простых крашенных рамах. Лосев не мог представить себе, куда они все деваются после выставки, где находились до нее и вообще какой смысл создавать их для такого временного назначения. Музеи — другое дело, в художественных музеях Лосев неоднократно бывал, на подобных же выставках не приходилось. И сейчас он убеждался, что вряд ли от этого он что-либо потерял. Иногда, разглядывая московские витрины, он поражался количеству ненужных для него предметов. Сколько существовало ненужных для обычного человека тех же выставок, и всяких организаций, и мероприятий...

Неожиданно что-то словно дернуло Лосева. Как будто он на что-то наткнулся. Но что это было, он не понял. Кругом него было пусто. Он пошел было дальше, однако, пройдя несколько шагов, вернулся, стал озираясь и тут вновь почувствовал тот же внутренний толчок.

Исходило это от одной картины, чем-то она останавливала. Осторожно, стараясь не спугнуть это чувство, Лосев подошел к ней — перед ним был обыкновенный пейзаж с речкой, ивами и домом на берегу. Название картины, написанное на латуиной дощечке, — «У реки» — ничего не говорило. Лосев попробовал получше рассмотреть подробности дома и постройки. Но вблизи, когда он наклонился к картине, пространство берега со всеми деталями стало распадаться на отдельные пятна, которые оказались выпуклыми мазками масляных красок со следами волосистой кисти.

Лосев понятился назад, и тогда с какого-то отдаления пятна слились, соединились в плотность воды, в серебристо-повислую зелень, появились стены дома, облупленная штукатурка... Чем дальше он уходил, тем проступало подробнее: крыша, выложенная медными листами с ярко-зелеными окислами, труба, флюгер... Проверяя себя, Лосев стал возвращаться к картине и все смотрел на флюгер, пока не толкнул девицу, которая стояла с блокнотом в руках.

— Картины не нюхать надо, а смотреть, — сказала она громко и сердито, не слушая его извинений.

— Ну конечно смотреть, вот я и засмотрелся, — простодушно сказал он. — Я плохо разбираюсь, может, вы поясните?

Это он умел — обезоруживать своей уступчивостью, открытостью.

— Что именно? — сухо спросила девица.

— Тут написано «У реки». А что за река? Как ее название?

Девица усмехнулась:

— Разве это имеет значение?

— Нет уж, вы позвольте, — поглядывая на картину и все более беспокоясь, сказал Лосев. — Очень даже имеет. Мало ли рек? Это же конкретно срисовано.

Она снисходительно улыбнулась на эти слова, оглядела его аккуратно застегнутый костюм, галстучек, всю его провинциальную парадность.

— Ну что изменится, если вам напишут название реки? Оно ничего не добавит, это просто пейзаж.

— Как так — просто? Очень даже изменится. Как вы не понимаете!

Лосев оторвался от картины, изумленно посмотрел на девицу. Длинный свитер, коротенькая кожаная юбочка, прямые волосы отброшены на плечи; несмотря на свой небрежный наряд, она выглядела величавой, уверенной в себе, нисколько не чувствуя свою бестолковость.

— И так не говорят: срисовано, — поучительно пояснила она. — Это был большой мастер, а не ученик. Для него натура являлась средством, вернее поводом обобщить образ. — Тут она стала произносить еще какие-то слова, каждое из которых было Лосеву известно, но, складываясь в фразу, они почему-то теряли всякую понятность.

— Здорово вы разбираетесь. — Лосев вздохнул, показывая свое восхищение. — Все же хорошо бы выяснить название. Образ хоть и обобщенный, а местность-то можно ведь уточнить, как по-вашему?

— Вряд ли... Попробуйте у консультанта.

Однако консультант куда-то отлучился. Лосев еще прошелся, разглядывая другие картины, но ничего подобного той не нашел... Девица в свитере издали поглядывала на него. Он вернулся к ней.

— Концов не найдешь. Безответственный народ эти художники.

— А в чем, собственно, дело?

— В том, что незачем зашифровывать.

— Не понимаю.

Он строго посмотрел на нее, как будто она была виновата.

— Надо точно указывать в названии.

Лицо у нее от носа стало краснеть, краска разливалась по щекам.

— Какого черта вы прицепились? Ходят тут!..— с яростью выпалила она.— Оставьте его в покое. Хватит. Вам-то что? Вы же ничего не смыслите в живописи. Что вы имеете к этой работе? Ну?.. Самое безобидное выставили — нет, опять плохо...

Какая-то жилка у нее на шее дрожала, зрачки сузились, уперлись в лицо Лосеву, так что он попятился и только на улице опомнился, стал придумывать от обиды всякие хлесткие ответы, пока не заподозрил, что гнев ее относится к кому-то другому.

После совещания Лосев остался выпросить фонды для оборудования родильного дома. Каким-то чудом (плюс его слезные мольбы) ему вдруг отвалили импортную сантехнику — голубые умывальники, голубые ванны, роскошные души,— и к вечеру, придя к себе в номер, попивая чай из большого фаянсового чайника, Лосев испытывал полнейшее умиротворение, довольство собою и время от времени улыбался своей удаче. Внизу шумела улица Горького нестихающим шелестом машин. Шум этот давно стал для Лосева как бы главным звуком Москвы, и когда у себя в Лыкове вспоминалась Москва, то прежде всего вспоминался этот идущий снизу слитный шелест машин вокруг гостиницы «Москва». И вспоминался вот такой высокий номер с простым шкафом, деревянной кроватью и приятное чувство одиночества.

Над диванчиком висела гостиничная картина, тоже пейзаж: кусты в осеннем поле. Лосев впервые обнаружил ее, хотя жил в этом номере уже неделю. Щурясь, он разглядывал аккуратно нарисованные тени, жухлую травку, пушистые облака. Сама местность была, по-видимому, красива, а на картине получилось скучно. Вот тут Лосев и вспомнил ту картину на выставке. Разница была поразительная. В чем состоит разница, Лосев не сумел бы определить, странным было уже то, что он ощущал эту разницу.

Вместо того чтобы идти в театр со всеми участниками совещания, Лосев позвонил к Фоминым и напросился в гости. Была такая традиция — приезжая в Москву, Лосев навещал земляков. Связи земляческие он всячески поддерживал, что во многих смыслах было полезно такому городу, как Лыков, достаточно известному и тем не менее сидящему на районном бюджете.

Глава 2

Фомин был генералом каких-то инженерных служб, дома он ходил в мохнатой клетчатой куртке, тубегейке и был похож на старого профессора. Пришли еще Седовы, тоже лыковские, муж работал в аэропорту, жена — инженером на галантерейной фабрике. Все они покинули Лыков много лет назад, когда Лосев был мальчишкой, и познакомил его с ними, уже в Москве, прежний председатель горисполкома.

За столом Лосев как бы между прочим рассказал про картину на выставке. Дом, нарисованный на картине, и все расположение полностью соответствовали дому Кислых вплоть до того, что та же крыша, тот же флюгер, спуск к речке... На всякий случай посмеивался, потому что, слушая себя, засомневался: мало ли, может, совпадение? Откуда запущенное место, которое видно из окон его кабинета, могло иметь такую красоту, что на полотне?

Дом Кислых все хорошо помнили и доказывали Лосеву, что спу-

тать его невозможно, второго такого — с медной крышей, с полукруглыми окнами — быть не могло.

— Это тебе, Степаныч, не коробочки, какие ты ставишь, — сказал Фомин огромным своим голосом. — Дом Кислых — уникам. Индивидуальный проект. А знаешь, почему крыша у него медная?

Лосев пил коньяк и слушал известную ему историю про женитьбу лесопромышленника Кислых на француженке, дочери фабриканта духовых инструментов, который разорился и дал в приданое медные листы и трубы для духового оркестра. С тех пор Кислых и организовал городской оркестр, тот, что играл в парке по воскресеньям. Выяснилось, что отец Седовой играл в том оркестре на тарелках. А в революцию оркестр отправился в губернский город на поддержку пролетариата. А в доме Кислых расположился комитет бедноты. Позже там были курсы ликбеза. А потом, это уже на памяти Седовой было, там коммуна жила, коммунары. А рядом, вспоминал Фомин, стояла лавка Городилова, это при нэпе, там торговали живой рыбой в садках, а дальше тянулись яблоневые сады и там часовня святого Пантелеймона, где бандиты расстреляли партизана Мошкова...

Нескончаемый этот поток воспоминаний обычно огорчал Лосева — нынешним городом его земляки интересовались куда меньше, чем тем Лыковым, что сохранился в их воображении; они вежливо принимали лосевские заботы о новом роддоме или пристани, помогали чем могли, но разговор всегда каким-то образом сносило к прежним временам, когда на рынок съезжались гончары и бондари с кадучками, кувшинами, горшками, свистульками, когда перед гостинным двором устраивали смотрины невест, а на майские праздники — карусели и ярмарки.

Прошлое выглядело у них милым, интересным; козы на улицах, и двухэтажные дома «бывших», которых, оказывается, тоже раскулачивали и выселяли, и чайные, и пожарная каланча — все умиляло их и погружало в приятную грусть.

А то, что новый универмаг с таким трудом достроили на месте разрушенной в войну Петровской башни, что провели канализацию, это их не занимало.

— Башня придавала по крайней мере облик, — говорил Фомин, — а универмаги — они всюду. Ты, Степаныч, не фырчи, ты хоть и мэр, а не в состоянии создать физиономию городу. Ты своим стандартом только уничтожить можешь. Да я тебя не виню. Известно, тебе не разрешают. Но ты тоже пойми, что при стандарте Лыкову не утнаться за новыми городами. Был Лыков на всю Россию один. Цветные открытки выпускали с видами. Теперь он — рядовой райцентр. Таких сотни. Теперь ты открытки выпустить не можешь, на этих открытках изображать-то нечего. Вот если б ты гостинный двор восстановил... Да знаю, знаю, что не мог. Хотя Поливанов жалуется на тебя, считает, что ты не добился. Но представляешь, если бы...

— И представлять не хочу, — сказал Лосев, — разве нам разместиться в гостинном дворе! Поливанову легко жаловаться, ему что, ему любоваться, а людям жить надо. Куда мне их из домов угрозы расселять?

— Нет, Поливанов прав, конный завод зачем снесли? — сказал Седов. — Какие там фигуры стояли! Наказать надо за них Рычкова, хоть он сейчас замминистра. Да так, чтобы через газету. Согласись, Сергей Степанович, нас воспитывали в отрицании прошлого. Все старое плохо, все новое хорошо.

— Кто твой универмаг поедет рисовать? — гремел Фомин. — А вот дом Кислых, выходит, приезжал художник. Увековечил.

Вмешался внук Фомина, студент, он был, оказывается, на выставке и сказал, что автор картины — Астахов, художник известный, сейчас его как бы заново открыли и считают новатором, художником мировой известности, даже удивительно, с чего такого художника занесло в дыру, подобную Лыкову.

Студент явно поддразнивал их, особенно своего деда, и тот завелся и пошел — про исторические заслуги Лыкова в строительстве русского флота, про то, каким культурным центром был город еще при Павле...

— Почему был? — спросил Лосев.

— Да потому что по тем временам он выделялся, а нынче...

В другое время Лосев тоже распалился бы на такой разговор, заспорил, но сейчас, глядя на лилово-раздутую шею генерала, он смолчал. Стареет Фомин. И Седовы стали старенькие. Он увидел, какие они прозрачные, реденькие. Вместе с ними уходил из жизни домотканый городок их юности, что витал перед их умственным взором в яблонево-облаках цветущих садов. Они сохраняли Лыков, каким он был, не смешивая с нынешним; это был Лыков краснознаменный, двадцатых, тридцатых годов, полный легенд, диковинных судеб, потрясений, с митингами, запахами пороха и самогона, игрой горнистов и колокольным звоном и в то же время тихий, зеленый, застывший.

Тот городок, который и Сергей Лосев успел захватить мальчишкой, его самый малый довоенный последок.

Будь его воля, он селил бы таких стариков в своем городе, чтобы они заменяли своей памятью бывшие здания и ушедшую красоту. Он стыдился и сожалел, что раньше без расположения слушал их рассказы и не запоминал для будущего.

— И что ж, Сергей Степанович, понравилась вам эта картина? — вдруг туго-натянутым голосом обратился к нему младший Фомин. Добрым веселым лицом он походил на деда. Однако воинственный взгляд неприятно напомнил Лосеву девицу с выставки. Почему-то этот мальчишка тоже заранее на него ошетинился.

— Понравилась ли мне? — повторил Лосев, проверяя себя.

Что-то было в этой картине странноватое, что-то ведь мешало Лосеву сразу признать дом Кислых, все похоже, а не совсем.

— Не знаю, — сказал он, — меня лично тут привлекает, что нашу местность отразили.

— Да, это у вас критерий... это подход, — с едкостью подхватил молодой Фомин.

— Леша! — Жена Фомина, в данном случае бабушка, посмотрела на внука со всей строгостью, какую могли изобразить ее круглые смешливые глаза.

— Ничего, ничего, пожалуйста, высказывайся, мне интересно, — сказал Лосев.

Леша не сразу сообразил, каким образом все обратилось на него.

— Я могу, мне-то что... — Он по-школьному вышел из-за стола, ушастый, нескладный, в тесных голубых джинсах, засунул руки в передние кармашки и от этого вернул себе некоторую уверенность. — Для меня такие, как Астахов, — гордость нашего искусства. И перед Западом и перед кем угодно. Они опередили всех! Что, не согласны? — запальчиво спросил он. — Между прочим, революция создала и Шагала, и Филонова, и Татлина... — Он подождал, скривился насмешливо. — Молчите? Правильно. Соблюдайте осторожность. Мало ли что. Все же Астахов официально не вознесенный, еще не утвержден...

— Я ведь, Леша, ничего такого не знаю, да и не понимаю в живописи, — как можно благодущнее сказал Лосев.

— Редкий случай! Раз вы начальник, должны понимать!

— Конечно, я могу различить, если обобщенный образ или фотографичность,— Лосев скромно вздохнул, смеясь одними глазами,— но дальше не берусь, мы люди темные, провинция, мы на плакатах воспитаны.

Леша напряженно засмеялся, пытаясь ухватить, шутит над ним Лосев или же всерьез, но у Лосева это распознать было нелегко.

— Какой же вы мэр, если о живописи стесняетесь судить? Может, вы и в музыке не сечете?.. Наконец-то нашелся, кто не понимает!.. Ур-ра! Знает, что не понимает!

— Этот допризывник в мой огород швыряет,— пояснил Фомин.— Так что ты, Степаныч, не увертывайся. И не возвышайся. У нас с ним своя битва идет. Пора его в армию.

— А вы полюбуйте, вот что он признает.— Гоша показал на застекленные гравюры с какими-то полуобнаженными красавицами и толстощеками рыцарями.— Трофейная безвкусица. У него это считается искусством, это можно вешать...

Лосев почувствовал неловкость перед старшим Фоминым. За то, что схитрил, подыграл этому пареньку. На самом-то деле Лосев о живописи не стеснялся судить. Лосев мог не понимать в химии или в астрономии, а в живописи и в тех же памятниках, в архитектуре, когда надо было, так разбирался не хуже других, чего тут особенного, например на смотрах самодеятельности, на всяких конкурсах — попробуй не разберись, когда проект обсуждают. Естественно, делал это с умом, сперва заставлял других высказаться, сталкивал мнения, чтобы поспорили, выявили нюансы, потом уже заключал.

— Ты, Леша, напрасно деда осуждаешь. А если ему по душе такие картины? Нельзя только свой вкус признавать,— сказал он.— Ты мне лучше объясни, как в астаховской картине в смысле соответствия натуре? Что это — реализм или нет?

Но тут выяснилось, что Леша никогда в Лыкове не бывал и сопоставить не может.

— Какие ж вы патриоты, внуку до сих пор родных мест не показали,— сказал Лосев,— да и сами-то... Сколько лет приглашаю...

— Это ты прав,— сказал генерал,— вот к спасу яблочному сядем на машину и нагреем.

И, как всегда, начались заверения и планы, чтобы всем на машинах отправиться в Лыков, а еще лучше пароходом по Плясве, не спеша, и пожить в городе недельку-другую.

— Боюсь ехать... Одно расстройство,— сказала жена Седова, незрячим взглядом смотря на Лосева.— Ах, хорошо бы картину такую дома иметь. А то ведь ничего не осталось, ни одной вещички. Если купить ее?..

Слова ее почему-то взволновали Лосева. У него самого в доме никогда картины настоящей не было. Висели какие-то деревянные расписные доски из магазина «Подарки» и застекленная репродукция...

Если бы он мог рассказать им про то особенное, что было в картине,— красота и в то же время какая-то несообразность, как будто там было что-то пропущено, то, что должно было быть — и не было.

Глава 3

Накануне отъезда Лосев зашел на выставку. То есть каким-то образом он оказался на Кузнецком и зашел. То есть даже не зашел, а очутился, потому что выставка была закрыта и он прошел случайно вместе с рабочими в синих халатах, которые выносили скульптуры, таскали ящики.

К счастью, до того зала еще очередь не дошла.

Теперь Лосев стоял в этом зале один. Стучали молотки, с визгом волокли ящик по полу. Деловой этот шум нисколько не мешал.

На картине несомненно был изображен дом Кислых в Лыкове. За ним слева, в дымке, проступала каланча. Не четко, но все же. Нельзя представить, чтобы все так сошлось с другой местностью. Дом Кислых изображен был со всей точностью, во всех деталях.

Свет падал на картину сбоку, переходя в нарисованные золотистые потоки лучей, что косо упирались в реку, вода светилась им навстречу, изнутри, коричнево. У самого обреза воды лоснились чугунные тумбы... С прошлого раза картина словно бы обрела новые подробности... Из раскрытого окна второго этажа вздувалась занавеска. На реке же в тени нависшей ивы поблескивали бревна гонки, один раз между ними привиделось что-то белое, но стоило Лосеву сдвинуть голову — это исчезало, терялось в тени. Он и так и этак отклонялся, ища точку, откуда можно рассмотреть этот предмет. Однажды ему показалось, что там мальчишка купается, держится за край гонок, выставив голые плечи... Гонки — длинные связки бревен, что гнали по Пляспе сплавщики в резиновых сапогах и коробчатых брезентовых плащах. Горячие от солнца, липко-смоляные бревна, связанные венцами, медленно плыли мимо дома Кислых, мимо городка, и так сладко было лежать на них, болтая ногами в речной воде, где морщилась отраженное небо и заставленные лодками берега. Картина возвращала в давние летние утра его мальчишеской жизни. Никаких прямых обозначений лет в картине не было. Тем не менее он убежден был, что это были времена его детства. Он узнавал забытые краски и запахи — тогда цветы пахли сильнее, леса были гуще, хлеб был вкуснее и каждая рыбина, пойманная в Пляспе, была огромной. Он скорее угадал, чем увидел, тропку напрямки через огороды к их дому. Впервые он вспомнил Галку из их компании и Валюшку Пухова, что потом служил в милиции где-то на Дальнем Востоке. Вспомнилось, что там, рядом с Галкой, жили тогда они семьей в мезонине поповского дома, нынче давно уже снесенного. Прямо по тропке, через поваленный плетень, через мощенную булыгой старую дорогу, по дощатому тротуару, мимо гаражей, где стояли полторки и районная «эмка» и вкусно пахло бензином... Он услышал голос матери оттуда, из-за высокой зелени деревьев: «Серге-ей!» — и привычно побегал на него в глубь этой белой рамы, в глубь этого чудом сохраненного детского дня, казалось бы, навсегда пропавшего, забытого, а нет, вот он блестит, играет, плещется, наполняется звуками мелкими, которые он слышал только тогда, мальчишьям ухом: тиканье кузнечиков, плепанье лягушек, дальний визг пилорамы.

Было чудо, что художник поймал и заключил навечно в эту белую рамку его, Лосева, воспоминание со всеми красками, запахами, теплынью.

Никогда он и не подозревал, что городок его может быть таким красивым, особенно это место, неблагоустроенное, насчет которого существовали всякие планы, которое несколько лет уже числилось пятном застройки.

Темно-синие халаты надвинулись, заслонили, отсеки Лосева того, что был там, на реке, от его тела, которое стояло в зале и смотрело, как рабочие снимают со шнурков картину.

Потом Лосев прошел в дирекцию узнать, как приобрести картину для Лыкова. Нельзя ли, например, оформить по безналичному расчету на Дом культуры? Выяснилось, что картина взята из собрания вдовы художника. Так что о безналичном расчете речи быть не могло, да к тому же известно, что вдова продает неохотно. Телефона у

нее не было, Лосев выпросил ее адрес и в конце дня поехал на такси в Кунцево.

По дороге он купил коробку с тортом и какие-то толстые желтые цветы на три рубля.

Дом был панельный, без лифта, квартира на пятом этаже. Дверь ему приоткрыли на цепочке не разобрать кто, и он должен был в пахнущую луком щель объяснить, что ему надо. Впрочем, он не стеснялся. Он был уверен, что все получится, поскольку дело его ясное, непреложное и он явился не сам по себе, не как частное лицо. Это всегда действовало на людей.

Вдову художника звали Ольга Серафимовна. Она протянула Лосеву большую белую руку, привычно выгнув кисть, как для поцелуя. Насчет поцелуя он сообразил потом, пожав ее руку. Это был первый промах. Следующий был цветы. И уж полный конфуз вышел с тортом.

— По какому поводу? — громко спросила Ольга Серафимовна. — Чтобы уговорить легче? И торт? Вы что же, надеетесь, что я вас чаем поить буду?

Она была величественной, огромной, слово «старуха» к ней не подходило, хотя ей перешло много за семьдесят. Седые пышные волосы горели над ней серебром. Она восседала за столом, накрытым желтой плюшевой скатертью, положив перед собою красивые сильные руки, которые не испортили ни годы, ни работа.

— Виноват, Ольга Серафимовна, действительно неудобно, вроде как на чай набиваюсь, — удивился Лосев. — С другой стороны, я от души.

— И вот что, вы не разыгрывайте мужичка.

«Ну и режет! — восхищенно подумал Лосев. — Королева. Форменная императрица».

— Кто знал, что вы такая, — сказал он. — Однако цветы, они неподсудны, мы уж их в вазочку, все же три рубля плачено.

В таких случаях он упрямо держался начатого, не позволяя себя сбить. И пошел на кухню, налил воды в какую-то вазу, вернулся, поставил ее в сторонку на самоварный столик, при этом быстро, чтоб не прервали, нахваливал выставку, нахваливал по-простецки, словами самыми неумелыми, чтобы получалось смешнее, да еще пуская в ход свою белозубую улыбку с подмигом, отчего все двоилось и становилось непонятно, кто над кем смеется.

А квартирка была малогабаритная, потолки два пятьдесят, давно не отремонтированная, на потолке трещины, мебель послевоенная — фанера. По нынешним требованиям не то что скромно, а бедновато. Было вообще странно видеть в такой квартире такую старинно-барственную женщину, как Ольга Серафимовна.

Шуткам смеялись. В углу, закинув ногу на ногу, в вельветовых штанах, в малиновом бархатном пиджаке сидел, попыхивая трубкой, Бадин, смуглый, похожий на индейца, — тот, который открыл Лосеву дверь. Стеснительный и в то же время желчный, с речью запутанной.

На стенах висели рисунки, сделанные тонкой черной линией, как потом узнал Лосев — пером: голая женщина с пышной грудью, большими ногами, крупным задом изгибалась, лежала в разных позах, стояла на коленях, играла с собакой. Лицо обозначено было намеком, так что не поймешь, чем именно напомнила она Ольгу Серафимовну, но тем не менее это была она, и, сообразив это, Лосев смутился.

— Узнаете? — сразу спросил Бадин.

— Чего ж не узнать, — сказал Лосев, — вылитая Ольга Серафимовна.

Она милостиво улыбнулась и чуть расправила плечи, как бы разрешая себя сравнивать. Лосев подумал, как хороша была она всей своей крепкой бабьей фигурой и ничего стыдного в том, что голизна эта тут висит, нет. Оттого, что рисунков было много, от этого не было нехороших мыслей, а видно было, что художник любовался ее телом и жадно рисовал ее по-всякому.

Про Лыков она впервые слышала, с Астаховым она сошлась в войну, у него были до нее другие жены и у нее мужья. Под иконой, чуть сбоку, висела ее фотография с Астаховым, старым тяжелым толстяком с базедово выпученными глазами.

— Это он мне таким достался,— сказала Ольга Серафимовна,— раньше-то он был гусар.

Она кивнула Бадину, и тот достал потрепанный каталог выставки двадцать шестого года. На первой странице была фотография Астахова в белой блузе, стройного, с усиками, с длинными, по-нынешнему волосами. Глаза его блестели, он еле сдерживал улыбку.

— Первая и последняя его персональная выставка,— сказал Бадин.— Где все начала и концы... Восторги родили страх... с тех пор не разрешали.

На картинах были толпы людей, лошади, стиснутые коридорами улиц, какие-то смутно знакомые лица, очертания ленинградских набережных и на них конница с пиками и трубачи...

Картины «У реки» там не было. Бадин сказал, что она сделана позже, в тридцатых годах, и показал другой каталог ленинградской городской выставки к юбилею Академии художеств.

Черно-белая фотография сделала картину неузнаваемой, а дом Кислых и места вокруг дома стали, наоборот, куда натуральнее, совсем похожими, как в существующем положении.

— Ах, вот эта,— сказала Ольга Серафимовна.— Так вы полагаете, что это ваше Лыково?

— Лыков,— вежливо поправил Лосев.

— За эту картину ему тоже попало, — сказал Бадин и посмотрел на Лосева с укором.

— Почему же?

— Не актуально-индустриальна. Аполитичный пейзаж. Тогда вменялось... Тут же еще субъективизм... Воспевание прошлого... Заодно с Кориным. Но за эту картину особо. Формализм.

Лосев сочувственно ахал, качал головой.

— «Бубнового валета» не могли простить! — уличающе сказал Бадин. — Представляете? — И засмеялся, наставив на Лосева мундштук трубки.

— Лыков, Лыков... — повторяла Ольга Серафимовна, вслушиваясь.

— Картина тридцать шестого, тридцать восьмого года, но он тогда ездил мало, — сказал Бадин, — разве что в Карелию.

— Ах, Бадин, вы не знаете, ведь он после Кати вытворял черт знает что, — с какой-то тоской сказала Ольга Серафимовна. — Помните, крышу разрисовал у Грабаря.

— Кажется, это раньше было... — мягко попробовал было Бадин, мучаясь оттого, что ему приходится поправлять ее.

— Слышите? — Ольга Серафимовна слегка повернула голову к Лосеву. — Искусствоведы лучше меня знают. Теперь многие лучше меня про него знают. А что, может, и знают... Я ведь не думала, что все это пригодится. Я просто жила. И всего-то прожила с ним шесть лет. Какая я вдова — я наследница, я владелица... Бадин, вы не возражайте... Есть женщины, которые вдовы лучше, чем жены. Воспоминания пишут... А я... Лыков... — Она прикрыла глаза.

— Может, он что рассказывал? — спросил Лосев.

Ольга Серафимовна посмотрела на него словно издали.

— Где это?

Он объяснил, не вызвав у нее никакого интереса. Бадин, который, кажется, был специалистом, писал статью или же книгу про Астахова, тоже ничего не мог пояснить: когда художник был в Лыкове, зачем, имелись ли у него там родственники, друзья? Почему он выбрал дом Кислых? Ничего другого, а именно этот дом? Может, у него с этим городом что-то связано?

— Так что вам, дорогой товарищ, задание от нашей лыковской общественности — уточнить происхождение этого пейзажа и тем самым ввести в историю живописи наш город, — сформулировал Лосев и подмигнул Бадину.

Тем же шутейным тоном он попробовал выяснять, как теперь расценивается картина в смысле претензий к ней, в свете, так сказать, прошлой критики, поскольку она ныне всенародно выставлена, и заодно в смысле непосредственно денежной цены. Он был поражен, когда Бадин, которому Ольга Серафимовна каким-то малым движением головы перекинула этот вопрос, назвал полторы—две тысячи рублей.

— Это вы как... серьезно? — не удержался Лосев.

Бадин посмотрел на него как на человека, произнесшего что-то неприличное, и спросил: а во сколько он, Лосев, оценивает картину, из чего исходит при этом, из каких цен?

— Две тысячи?.. — Не то что для себя — для города Лосев не мог позволить, ни по какой статье не мог провести такую сумму.

— Не кажется ли вам, Сергей Степанович, что цена может быть и три тысячи? И пять! Смотри чья картина, какая, — с некоторым усилием сказал Бадин, показывая, что денежные эти дела, которые его заставляют вести, ему неприятны.

Так-то так, но должны быть расценки, прејскурант, что ли. Иначе произвол. За что, спрашивается, заламывают такую сумасшедшую сумму? — возмущался про себя Лосев. Бесконтрольность! Какое право имеют, тем более что картина, по сути, — национальное достояние, а не личное? К тому же этот Астахов, может, в один день ее нарисовал и раскрасил.

— Какой я знаток, — Лосев неуклюже развел руками, — я ведь почему ахнул: по нашей пошехонской жизни цифра больно гигантская, я себе такого и не представлял.

Даже если они назвали с запросом, то все равно много не уступят.

— Я-то мечтал — для города нашего... Этот дом Кислых у нас достопримечательность. Да и вообще такой случай в кои веки... Я уверен, что товарищ Астахов, будь он жив, он бы иначе отнесся к нашей просьбе.

— Не надо, прошу вас. — Ольга Серафимовна поморщилась. — Где вы были, когда мы эту достопримечательность за мешок картошки предлагали, за пару брюк отдавали?.. А теперь я и подождать могу. И Астахов тоже.

Лосев неожиданно покраснел, густо налился багровым.

— Между прочим, если вы про войну, так я по эшелонам с мамкой ходил, соль выпрашивал и потом на лесозаводе вагонетки катал — вот где я был. Так что, Ольга Серафимовна, историю не будем трогать. Я полагал, что вас, кроме денег, интересует пропаганда вашего супруга как художника. Вы имеете в нашем лице, может, единственную ситуацию.

Слушала его Ольга Серафимовна пренебрежительно, с какой-то посторонней мыслью в глазах, а Бадин наслаждался, пуская клубы душистого дыма. Коробка с тортом так и стояла неразвязанной на столе. «Возьмите ваш торт», — скажет брезгливо эта барыня вдогонку. Сейчас Лосева уже не так картина занимала, бог с ней, а обидно было уйти со смешком вдогонку, с этим тортом дурацким. Не привык Лосев, чтобы его высмеивали, да и не за что.

— Интеллигенция русская для народа, для просвещения жертвовала жизнью всей... Эх, да что говорить! — Он махнул рукой, не желая объяснять. — Мы, конечно, живем в глуши, мы и без того во многом обездолены. Я не в порядке жалобы, но позвольте спросить, почему все только в Третьяковскую галерею? Почему сюда все — и выставки, и апельсины, и французские духи? У нас ведь тоже вкалывают и тоже Россия. Может, самая что ни на есть Россия. Между прочим, у нас в садах на скамеечках днем козла не забивают.

Он посмотрел на Бадина с надеждой найти поддержку у этого вполне современного и, видно, образованного человека с лицом благородного и справедливого индейца.

— И на основании этого вы решили, что Ольга Серафимовна должна вас задешево обеспечить живописью, — непримиримо сказал Бадин. — Духовными апельсинами. В награду за ваше провинциальное благонравие? Вот вы ссылаетесь на пропаганду. Как же, мол, так и почему?..

Откуда у них была эта враждебность, как будто им кто наговорил на Лосева, как будто он чем-то виноват перед ними всеми — и перед той девицей, и перед Лешей, и вот перед этим роскошным индейцем, который удобно покачивается на своей пружинистой вежливости, в своем бархатно-малиновом пиджаке и вельветовых штанах?

— Я, например, считаю, — рассуждал Бадин, — что пропагандировать картину, а тем более настоящего художника, незачем. Вы сделайте его доступным. Вы ему не мешайте. И все. Люди без вас разыщут талант. Не надо гнать к нему все эти стада туристов. Этому туристу охота в Лужники смотаться, а его тащат к Врубелю.

— Правильно делают, что тащат. Он ведь сам не пойдет, его обязательно подтолкнуть надо. Пусть один из десяти, но загорится... Нет, тут мы с вами не сойдемся.

Лосев даже хлопнул по столу, не удерживая себя. Уходить — так с треском. Сам уйдет и торт под мышку, но прежде он им выложит. Жаль, что Ольга Серафимовна не слушает, до нее не достигает, серги ее висели неподвижно, лиловый свет их звездно мерцал, и сама она пребывала сейчас среди звезд.

— На разных мы позициях с вами, — еще громче сказал Лосев. — Не настаиваете вы, чтобы народ картины смотрел, не нуждаетесь в этом. А художников вы спрашивали? Жаль, что они не слышат ваших рассуждений. Ручаюсь — они бы вам сказали кое-что...

Стоило ей чуть двинуть плечами, наклонить голову, и сразу спор оборвался. Никаких усилий она не проявляла, только спросила раздумчиво:

— У вас что, музей имеется? Галерея?

— Какой там... Так, краеведческий мечтаем, на общественных началах. Не положено нам.

— Где ж вы ее собираетесь повесить?

— Это не вопрос, — загораясь надеждой и потому с бравой солдатской готовностью отвечал Лосев. — Можно в Доме культуры. А еще лучше в горисполкоме. В зале заседаний, там надежнее да и свету больше.

— Для зала она маловата, да и вряд ли уместна, — деликатно подсказал Бадин.

Лосев пересилил себя, согласился как бы обрадованно:

— Это вы верно подметили. Ну что же, можно даже в кабинет ко мне, то есть председательский.

— Дожили. Вот, Бадин, мы кабинеты начальников сподобились украшать. Знал бы Астахов. Честь-то какая. — Ольга Серафимовна говорила медленно, без всякой насмешки.

— Почему же вы так... чего ж тут зазорного? Горисполком — это самый центр. Все приходят. Власть у нас народная. У нас к председателю попасть запросто.

Чем-то ему удалось задеть ее, так что она снизошла, опустила на него свой взгляд, и на Лосева словно дохнуло теплом — столько сохранилось еще чувства в этих поблекших глазах. Воспоминания словно разворошили подземный утихший жар. А глаза у нее, в обвисших морщинистых мешках оставались узкие, с длинным, чуть выгнутым разрезом, который мог полоснуть по сердцу.

— Народ-то к вам, гражданин начальник, в кабинет идет не картину смотреть. Наверняка жильё просят, на дураков жалуются, в очереди томятся. Я, милый мой, по этим приемным насиделась. Не до картин было. Как топтать его стали, как поносить, чуть ли не врагом... Вот и доказывай. Господи, какими словами называли его, а теперь вы торгуетесь...

Вот оно что, подумал Лосев, вот оно в чем дело, вот где место больное; ему даже легче стало оттого, что лично он, значит, был ни при чем, они соединяли его со всеми теми, другими, видели в нем тех, кто Астахова обижал. Первое, что хотелось, — откреститься: с какой стати ему отвечать за чьи-то древние глупости, за непонятные страхи неизвестных ему перестраховщиков. Невежд мало ли было... Был его предшественник Курочников, который из всей музыки признавал баян, на аккордеон уже бранился — «растленное влияние»...

А все же стыдно было отрешиваться от Курочникова и даже от тех неведомых начальников, что когда-то терзали Астахова. Не потому, что он их оправдывал, нет, тут было что-то другое.

— Что было, то было. Наверное, виноваты перед вами, Ольга Серафимовна, — сказал он, подставляя себя под ее взгляд. — Не нами началось, да на нас оборвалось.

Помолчали.

— У меня из Ленинграда Дворец культуры торговал большую картину для фойе, — вдруг вспомнила Ольга Серафимовна. — И то не согласилась. С мороженым чтоб гуляли мимо? Зачем? Бог с ними, с деньгами, верно, Бадин?

— Да, да, конечно, — сказал тот, глядя на нее с гордостью.

Расшатанный стул скрипел под Лосевым. Вся эта ее фанаберия показалась вдруг подозрительной. Что как они оба попросту наби-вали цену? И она и этот Бадин, который, поучая и оправдываясь, со-общал, сколько стоят картины известных художников, называя прямо-таки бесстыдные диковинные цифры. Причем из года в год они росли. К тому же он положил перед Лосевым большую иностранную книгу, где были французские, итальянские пейзажи и наряду с прочими напечатано было маленькое фото картины «У реки». Получалось, что картина эта известная, каталожная, как выразился Бадин. Но Лосев, который понимал, что все это показывают ему не зря, при-лип к этой фотографии. Смотрел, и смотрел, и улыбался, и ничего не мог с собою поделать. Подумать только, Лыков существовал в равно-правном соседстве с известными французскими соборами. итальян-скими улочками, бульварами, белоснежными городками на средизем-

номорском побережье — ничуть не хуже. Соседство это волшебным образом преобразило, подняло дом Кислых, превратило его чуть ли не в замок. Он как бы увидел через эту фотографию свой городок так, как его рассматривали в этой книге другие люди.

Рублей на восемьсот, пожалуй, он рискнул бы оформить, в крайнем случае сотню еще накинул бы из своих, кровных. Мог он позволить себе сделать такой дар городу? Своими репродукциями Бадин раззадорил его, умысел этот Лосев, разумеется, усек, ну и наплевать, ему уже трудно было отступить.

Теперь, когда он узнал, что означает настоящая картина, что она состоит на учете во всем мире, что известно, где она находится, кому принадлежит, ему во что бы то ни стало хотелось приобрести ее для города. Одно дело строить роддом, или почтамт, или, наконец, канализацию — в этом и кроме Лосева имеются радетели. Главврач, например, считает, что это он завел, запустил Лосева на строительство роддома... Какой примечательностью отметил Лосев свое пребывание на посту? Памятник партизанам, что поставлен в сквере? Квадратные эти бетонные солдаты с бетонными детьми, сделанные на заказ столичными скульпторами, которые аж булькали от своей смелости, да и сам Лосев готов был биться за них, но биться было не с кем, памятник получился скучный, холодный. Трогательна только надпись внизу, которую сочинил Сотник, редактор газеты. Что еще останется? На ум попадались какие-то незначительные мелочи... Картина была бы чем-то особым, целиком и полностью связанным со старанием Лосева, ни с кем больше. На первый взгляд странная инициатива, совсем в стороне от прямых функций руководителя города, но Лосев знал, что такие не входящие ни в какие параграфы поступки навечно закрепляются в памяти городского населения.

Девятьсот рублей, крайняя цена, которую предложил Лосев, отбросив объяснения. Напрасно Бадин страдал и морщился от этой торговли. Берег Лосев не свой, а государственные финансы. Лично Бадина с его интеллигентностью Лосев дожал бы, смущала своей надменностью Ольга Серафимовна, она смотрела на него и не смотрела, слышала и не слышала, затишье ее узких глаз ничем не нарушалось. Она восседала в своем рваном кресле, как на троне. И Лосев, который по должности своей общался и с большими людьми, и даже с такими, слово которых меняло судьбы целых предприятий, тысяч людей, тут почему-то оробел. Никак не мог повторить своей цифры. Запущенная эта квартира с облупленными дверьми, трещинами на потолке, скрипучим паркетом не принижала Ольгу Серафимовну, не делала ее бедной. Та бедность, которая поначалу бросилась в глаза Лосеву, ощущалась сейчас по-иному. Старенькая мебель, выгоревшие обои — все как бы не имело значения. И даже какой-то шик пренебрежения был в этих облупленных фанерных дверях. Из бывших она, предположил Лосев, из аристократов, что ли, и тут же удивился своему предположению, потому что аристократка, казалось бы, наоборот, должна быть привычна к роскоши... Графиня, баронесса. Но почему-то это ей не подходило. А может, так было принято у художников? Может, это у нее от Астахова, от той жизни, когда Астахов расписал кому-то крышу. И, наверное, мог выкидывать еще какие-то номера...

Он пожал плечами, спросил смиренно:

— Кому ж, Ольга Серафимовна, эту картину предназначаете?

— Если в хороший музей... Я прибалтам отдала, помните, Бадин, они сколько могли, столько дали.

На это Бадин неодобрительно пробормотал, что напрасно она

продешевила, не потому ли прибалты одну картину выставили, а вторую в запаснике держат.

Через комнату неслышно прошла совсем древняя, легкая, как засушенный цветок, старушка и за руку провела мальчика, тоненького, большеглазого. Ольга Серафимовна поднялась.

— Вы извините.

— Что вы, это вы меня извините. — Лосев встал, вдруг шагнул к Ольге Серафимовне, взял ее за руку. — Пожалуйста, хоть на минутку взглянуть напоследок... — Он и к Бадину тоже обернулся просительно. — Я не задержу.

Ольга Серафимовна повела плечом надменно, как бы говоря: «О господи, что за настырность...» Но не отказала, и Бадин достал картину с антресолей, поставил на стул.

Глава 4

Снова из глубины картины к нему слабо донесся голос матери: «Серге-ей!» — и еще раз: «...е-ей!»

...а под ивой, в корчаге жили налимы, их надо было нащупать там и торкнуть вилкой...

Счастье какое услышать снова певучий ее голос.

...а в доме Кислых был зал, где плиткой было выложено море и парусники. Многие плитки были разбиты, выдраны, но вид еще угадывался. Дом в те годы стоял пустой, с выбитыми окнами, они забирались туда, и Лосев подолгу смотрел на море, дорисовывая на выщербленных местах линкоры и рыбацьи сейнеры. В доме жили белые пауки, пахло углем. И пахло рекой. А на реке пахло бревнами, дымком от шалашей плотогонов, пахло тинной и ряской, пахло осинной старое корыто, в котором они по очереди плавали по реке. Запахи эти ожили, дохнули из глубины картины. Запах горячих от солнца чугунных кнехтов, старого причала.

К нему вернулся тот прожитый мальчишечий мир, шелестела листва, была жива еще мать, Лосев ощутил на голове ее маленькую жесткую руку.

— Какое у вас лицо...

Они внимательно смотрели на него, Ольга Серафимовна и Бадин.

Лосев провел рукой по лицу, он не понимал, чего они уставились на него, вместо того чтобы смотреть на картину.

— Я ведь вырос тут. — Он показал рукою в картину, в самую ее зеленую ольховую глубь.

Они переглянулись. Ольга Серафимовна улыбнулась.

— Ничего нет смешного, — высоким голосом сказал Лосев. — Для нас тут не просто картина. В музее ей, известно, будет слава, марка, почет и все прочее. Только музею все равно, какая картина. Для них что эта, что та. А мы на данный вид имеем свое право. Ведь тут все сохранилось соответственно натуре. Приезжайте, увидите.

Ольга Серафимовна все еще всматривалась в него.

— Не связывайтесь вы с ней... — вдруг проговорила она быстро, тихо, как бы сквозь зубы. — Хлебнете... зачем вам... картины, они требуют... они мне всю душу... — И дальше он не разобрал, а переспросить не решился.

Лицо ее побелело, замерло, как бы удерживая что-то. Лосев поспешил заговорить погромче, повеселее, делая вид, что ничего не произошло:

— В самом деле, приезжайте. Через месяц наибольшая красота

пойдет. Дайте телеграмму, я вас встречу. Хотите, на лошадях встречу? Точно, на лошадях...

Чем еще он мог прельстить столичных жителей?..

— Не усердствуйте.., никуда я не езжу, — охладила его Ольга Серафимовна. — Ноги у меня болят.

— Эх, жаль, а то могли бы сравнить для истории вопроса...

Он направился к вешалке в переднюю. Насчет же торта — он попросит оставить мальчику, но Ольга Серафимовна не двигалась, она стояла, перетянув на груди концы платка, и смотрела не на картину, а куда-то за нее, так же как до этого смотрела не на Лосева, а в то пространство, что находилось за ним.

— Что ж, у вас и дом этот стоит? — спросила она.

Лосев взглянул на картину, снова услышал в утренней тиши скрип флюгера, пересвист малых городских птиц, визг лесопилки, мычанье коров, потому что до войны в Лыкове еще держали коров. Звуки были такие явственные, что, казалось, и Ольга Серафимовна и Бадин должны были слышать.

— Дом стоит и обе ивы. Разрослись, конечно.

— И крыша такая же?

— В точности. Она медными листами выложена. Был такой лесопромышленник...

Недослушав, Ольга Серафимовна кивнула.

— А в Москве от пречистенских домов почти ничего не осталось. Арбатские переулки тоже снесли. Хожу по чужому городу... Видите, Бадин, они вот сохранили все.

— Не уверен, что они специально берегут. — Бадин вопросительно подождал. — Вероятно, так совпало случайно. — Он деликатно обратился к Лосеву, но тот несогласно хмыкнул.

— Все равно, Бадин, это редкость, — проговорила Ольга Серафимовна. Она смерила Лосева оцнувшимся взглядом. — Какой вы были... — И засмеялась не ему, а кому-то неведомому. — Я бы вам дала ее так...

— Что значит так?.. — повторил Лосев, замирая.

— Если вы опять дарить собрались, Ольга Серафимовна, — ласково-успокаивающе сказал Бадин, — то прошу не торопиться, не тот это случай, верно ведь, Сергей Степанович? Почему вы должны благотворительностью заниматься? Да и не нуждаются они, это же город.

— Не спорьте, Бадин. — Она капризно поморщилась. — Да чего тянуть... Нет, нет, видал, какое у него лицо было? — И опять засмеялась чему-то.

— Вы коллекционерам отказываете, а у них хоть в сохранности будет, — загорячился Бадин. — Вы, ради бога, простите меня, Сергей Степанович, но согласитесь...

— Не нравятся мне коллекционеры, — сказала Ольга Серафимовна. — Тесно у них. Навешают — кому с кем выпадет, как на кладбище. Давайте, голубчик, я вам надпишу.

Лосев проворно достал шариковую ручку, но Ольга Серафимовна заставила Бадина принести фломастер и на подрамнике косым ровным почерком начала: «От Ольги Астаховой в дар...»

— Могу вам, — сказала она озорным молодым голосом.

— Нет, — сказал Лосев, чуть запнувшись, и, перебивая себя: — Нет, вы городу Лыкову, так и напишите. — Он почувствовал, что краснеет.

«...в дар городу Лыкову», поставила число, подписалась.

В этот раз Лосев, взяв ее руку, не пожал, а, подняв к себе, долго поцеловал, испытывая от этого удовольствие.

Бадин молча обкладывал картину толстым картоном, перевязывал, потом сунул в коричневый бумажный конверт и все это еще в целлофановый мешок.

Только на улице Лосев опомнился. Картина была воздушно-легкой, больше чем невесомой: она обладала подъемной силой — он будто плыл, еле касаясь земли.

У стоянки такси его нагнал Бадин.

— Сразу не распаковывайте, — заговорил он, запыхавшись. — Пусть сутки постоит в помещении.

На все его наставления Лосев невпопад кивал, потом спросил:

— Послушайте, о чем Ольга Серафимовна... вроде как предупреждала?

— Это у нее теория. Есть картины, которые влияние оказывают на судьбу...

Лосев счастливо засмеялся и сказал, какая замечательная женщина Ольга Серафимовна. На что Бадин рассказал, как она в эвакуации все картины Астахова спасла, на себе тащила, чемоданы свои бросила, а картины на детской коляске везла, хотя полагала, что мазня, поскольку многие так считали, во всяком случае понятия не имела, что они значат.

— Ей орден надо! — восхитился Лосев.

— Деньги ей нужны, — сказал Бадин. — Пенсия у нее мизерная. Тетку она содержит, кучу родных.

— Я же ей предлагал сколько мог. Если она задаром решила, значит, ей приятней. Так что вы напрасно. Мы со своей стороны грамоту ей дадим. Можем в санаторий ее пригласить. У нас есть, республиканского значения... — Он успокаивал Бадина, почти не задумываясь, щедро, однако не обещая ничего лишнего.

— Боюсь я, — сказал Бадин. — Боюсь! Затеряется картина, понимаете, в одиночку настоящая картина не может существовать. Она как муравей... Сгинет... Ей нужна среда, то есть художественный организм, собрание... Обычная наша нелепица — либо рыбку съесть, либо раком сесть.

Один глаз у него был печальный, в тесноте припухших век, а другой смотрел строго, обвиняюще.

Глава 5

В Лыкове картина не произвела впечатления. Виноват был сам Лосев, он сразу понял свою ошибку: сперва надо было дать людям полюбоваться картиной, рассказать про художника, про его вдову, про выставку, заинтересовать всех. Вместо этого он начал с того, что назвал цену, похвастал стоимостью. Редактор газеты Сотник, за ним прокурор заехали, узнав про две тысячи рублей, и все приготовились к чему-то необыкновенному, а тут и размеры оказались малые и рамка копеечная, главное же — вид, то есть содержание, известный. И задаром любуйся — не хочу. Весь дом Кислых таких денег нынче не стоит.

Промах был непростительный, уж кто-кто, а Лосев умел подготавливать мнение, любое новое дело следовало всегда тщательно подготавливать. Можно было рассказать про иностранную книгу с фотографиями, всемирную в некотором роде славу, то есть известность, которой, оказывается, пользуется давно Жмуркина заводь, хотя даже специалисты не знают, что за местность изображена. Придется еще доказывать, что это наш город... Спорность лучше всего могла подействовать и вызвать патриотическое чувство, свойственное всем лыковцам. Получилось же все иначе, никто уже не слушал,

что картина городу подарена, а твердили про неслыханные цены, кто, мол, может нынче платить такие деньги и за что. Стараний Лосева в приобретении картины не отметили, никто не спросил, каким образом ему удалось добыть это художественное сокровище. Лосев обиделся, прицепился к какому-то замечанию, вспылал, накричал. Хуже всего было, что никто не понял, с чего это он завелся. Вышло неловко. Впервые он как-то потерял контакт с людьми, которых знал много лет, — со своими замами, заведателями, которые всегда понимали его и он их тем более. Они смущенно разошлись, обиженные на него, и у него на них осталась обида.

Все было испорчено. Он сунул картину в пластиковый мешок и закрыл в шкафу.

Военком Гловот попробовал потом как-то загладить, сказал, что в смысле техники и сочетания красок вещь, конечно, достойная большого мастера, но содержание не очень выгодно показывает город, пусть даже с точки зрения исторической. Тем более если взять перспективу нового города. С другой стороны, картину, разумеется, нельзя было упустить...

Наголо обритый, широкий, тяжелый, налитый до краев мощью, военком и двигался осторожно и говорил, сдерживая свою неразборчивую силу. Слушая его притишенный голос, Лосев поостыл, удивился себе: оказывается, никто его самого не осуждал, а все прохаживались насчет картины. Он же принимал так, словно бы это шло в его адрес. Правда, спустя неделю на бюро горкома секретарь упрекнул руководителей комсомола: что вы все на средства ссылаетесь, иногда и без всяких средств можно добиваться, сумел же Лосев приобретение для города сделать.

...Пришли вагоны с оборудованием для роддома. Лосев лично следил за разгрузкой, чтобы не побили, не растащили. Все любовались светло-голубыми раковинами, и массивными никелированными кранами, и всей отлично сделанной, смазанной, щедро упакованной арматурой.

Потом надо было договариваться о второй очереди работ по канализации; наводнение повредило фундамент насосной станции, надо было срочно добыть деньги, материалы — словом, когда к нему обратились учителя первой школы Тучкова Татьяна Леонтьевна и Рогинский Станислав Иванович, Лосев не сразу вспомнил, куда он подевал картину, и было неудобо оттого, что он долго рылся на верхних полках, наконец вытащил ее из-под рулонов, с самого дна шкафа.

Он поставил ее на стул, в стороне, у окна, сам же отошел к столу перебрать почту, поговорил по телефону, никак не обращая на них внимания, не желая выслушивать их суждений. Рогинского он изредка встречал по общественной линии как лектора на моральные темы. Тучкову же знал плохо. Кажется, она преподавала рисование. Так он понял из ее сбивчивого бормотания в приемной, когда она, потно пылая, объясняла, почему они хотят посмотреть картину.

Недослушав, Лосев согласился, сняв ее мучения. И было странно, что Рогинский тоже косноязычно хмыкал, несмотря на свой лекторский навык, японский зонтик и модно окладистую бородку, из-за которой в недавнем прошлом у него происходили бурные объяснения с начальством.

Они оба волновались, и Лосев, чтобы их не смущать, старался не следить, как они передвигали стул с картиной, чтобы не отсвечивало, тихонько переговаривались. Занятый телефонным спором, он перестал обращать на них внимание и вспомнил, лишь ощутив за спиной плотную тишину.

Оба они пребывали в оцепенении. Тучкова, сняв очки, застыла, округлые коричневые глаза ее влажно блестели, рот был приоткрыт, она наклонилась вперед, вытянулась, приподнялась на цыпочки, словно бы собиралась взлететь, совершить что-то невозможное.

Лосев тоже остановился, глядя на преображенный ее облик. И вдруг по тугим, яблочно-гладким ее щекам покатались слезы. Тучкова не шевельнулась, не замечая их, как не замечала она уже ни этого кабинета, ни Лосева, ни Рогинского, стоящего в своей отдельной задумчивости. Слезы мешали ей смотреть, она смигивала их, устремляясь снова туда, в глубь картины, с таким страданием и счастьем одновременно, что Лосев смущенно отвернулся.

Вспомнил, что эта Татьяна Тучкова девчонкой, уже тогда очкастой, болталась среди мелюзги, когда они отправляли комсомольцев на целину. Она ведь здешняя, и не иначе как что-то у нее связано было с теми местами.

— Ну, как народное образование расценивает? — спросил он, принимая на всякий случай тон, привычный в этом кабинете.

— Великолепная вещь, известная, слава богу, — с готовностью начал Рогинский, — мы о ней наслышаны. Так что замечательно, что вы приобрели ее. А что касается самого исполнения, так для того времени — смело...

— Откуда ж вы о ней знали? — недоверчиво спросил Лосев.

— Так она ж в каталогах фигурирует!

Такое объяснение уязвило Лосева, никак не ожидавшего, что кто-то здесь, в Лыкове, мог знать про все это.

— А известно вам, сколько она стоит? — спросил Лосев с некоторой досадой.

— Не все ли равно, разве в этом дело! — вдруг, отрываясь от картины, воскликнула Тучкова, и налитые влагой глаза ее обратились к Лосеву. — При чем тут деньги?

Лицо ее стало гаснуть, верхняя губа приподнялась, выражая жалость, даже некоторое презрение.

— Да хоть тысячу рублей, — сказала она.

— Между прочим, две тысячи.

— Ну и что, а сколько стоит, по-вашему, счастливый день? — выкрикнула она с непонятной болью. — А душа — она сколько? — И быстрым взмахом ярко-коричневых глаз остановила Лосева. — Вы посмотрите, сколько тут души во всем! Как можно прятать такую вещь от людей?

— Кто прячет? Я? Да где б вы ее увидели... — начал было Лосев с отпором, но тут же усмехнулся, поняв, что объяснять и доказывать ничего не надо, слезы Тучковой были для него сейчас самой лучшей наградой. Он не представлял, никогда и в голову ему не приходило, что от картины можно плакать.

Тучкова вытерла мокрые глаза, надела очки, превратилась в ту маленькую учительницу, которую Лосев знал вроде бы давно и никогда не замечал. Платице ее обвисло, груди спрятались.

— Простите, пожалуйста, — виновато сказала она, все более конфузясь от неуместной улыбки Лосева.

Он ничего не мог поделать с собою, собственное лицо перестало его слушаться, губы продолжали улыбаться, ненужная растроганность морщила лоб, тянула какие-то мышцы у глаз, так что невозможно было представить, какое выражение из этого складывается.

— Нет, нет, вы совершенно правильно отметили, — успокаивал он ее да и себя.

Рогинский тоже, чтобы отвлечь, стал расспрашивать про Ольгу Серафимовну, задавать те самые вопросы, которые Лосев хотел ус-

льшать, однако отвечать Лосев не стал, по Тучковой он чувствовал, что сейчас не надо ни о чем говорить. Молчания, однако, не получилось. Рогинский, удивительный человек, с той же легкостью и волнением стал, используя, как он выразился, счастливый случай, хлопотать о транспорте для лекторов. В другое время практическая его хватка была бы симпатична Лосеву, сейчас же оборотистость Рогинского показалась бестактной. Пока они говорили, Тучкова боком, тихо направилась к дверям. Чтобы остановить ее, Лосев не торгуясь пообещал Рогинскому помощь и тут же спросил громко, обращаясь к Тучковой: может, имеет смысл повесить картину в школе в классе рисования, тем более что окна школы как раз выходят на Жмуркину заводь и на дом Кислых? Последнее соображение возникло у него внезапно, прямо-таки осенило его: школа построена на берегу примерно там, где когда-то сидел художник, и очень интересно будет сравнивать, особенно на уроках рисования, продемонстрировать ребятам процесс, то есть пример художественной работы на местном материале.

Одно к одному сходилось у него, да так ловко, складно, откуда что бралось, какое-то вдохновение напало: вообще надо подумать, не пора ли создать художественную школу, заинтересовать ребят. Он явно зажег обоих учителей. Картину он разрешил, даже попросил тут же взять. Тучкова смотрела на него во все глаза, с восторгом, и еще долго после того, как они ушли, унося тщательно завернутую картину, Лосев ощущал радостную свою силу.

В начале июня Лосева пригласили в первую школу на выпускные экзамены. Прежде всего он посидел на физике, в которой, как он полагал, еще что-то смыслил, хотя каждый год обнаруживал, что знания его тают и эти мальчики и девочки знают вещи, о которых у него самое смутное понятие.

После физики директор школы повела его по классам и кабинетам, где он когда-то учился. Он ничего не вспоминал, а, как и рассчитывала директор, озабоченно проверял состояние потолков, полов и все прикидывал свои ремонтные возможности.

В кабинете биологии у окна стояли несколько ребят младшего возраста, и Тучкова рассказывала им про красный цвет. На стене, обитой полосой серой мешковины, висела, ближе к окну, картина «У реки». В окно был виден другой берег Плясвы, дом Кислых, песчаная отмель. Окно из-за картины стало тоже картиной, только большой, застекленной. Лосев невольно принялся сравнивать обе картины, совершенно схожие: так же лучилась от солнца вода Жмуркиной заводи, так же серебрилась висячая зелень ив. Можно было подумать, что холст написан сейчас, прямо с этой природы, но глаз Лосева легко находил разницу, тот слой времени, что скопился между этими картинами. В чем состояла разница, он сразу сказать не мог бы, куда-то пропал второй чугунный кнехт, и ивы разрослись, и берег подмыло, а главное — дом постарел в сравнении с рекой и зеленью...

Сравнивая, он обнаружил, что на картине дом был заострен в углах, камень был несколько, что ли, каменнее, каждый выпирал из кладки изломами, а крыша была сдвинута и как бы перекошена... Сравнить было занятно. Помешало, что его заметили. Тучкова поздоровалась громко, как бы рапортуя, и дети обернулись, поздоровались, расступились. Директор сказала сдержанно, с упреком:

— Все-таки, Татьяна Леонтьевна, вы продолжаете.

У Тучковой сразу упрямо обозначились скулы.

— Вы же сами видите, — сказала она, — отсюда наилучший ракурс. У меня совсем другие уроки стали.

Прозвенел звонок. Тучкова отпустила детей. Теперь, когда она

осталась перед ними одна, директор твердо повторила, что имеется кабинет рисования и ничего страшного, если оттуда дом Кислых виден сбоку.

— Сбоку! Да там никакого эффекта! — со страданием воскликнула Тучкова.

— Кабинет рисования, по ее мнению, надо сюда перевести, — насмешливо пояснила директриса. — А биологию, ту можно «куда-нибудь на ща». Видите, Сергей Степанович, как у нас каждый педагог за свой предмет бьется.

— Это хорошо, — примирительно сказал Лосев.

Тучкова избегала обращаться к нему, а директриса, та предпочитала обращаться именно к нему, и даже когда выговаривала Тучковой, тоже смотрела на Лосева.

— Математику, биологию они будут изучать и в своих вузах, техникумах, на разных курсах, — страстно заговорила Тучкова, — там о специальности позаботятся. Искусство же — наше дело. Поймите: то, что мы успеем дать им в школе, с тем они и останутся. На всю жизнь. Этому, кроме нас, никто не научит... Только если они сами. Но для этого надо в них вселить любовь. Успеть! Хотя бы интерес зажечь. Во взрослости уж поздно. Это так важно!..

За стеклами очков, в темноте ее глаз все бурлило, двигалось. Плотная выпуклая ее фигурка рядом с директрисой выглядела упругой, спортивной. Лосеву нравилось, что Тучкова не прибегает к его помощи, никак не ссылается на тот разговор в его кабинете.

— ...Наконец-то они могут видеть перед собою настоящее высокое искусство. Не копию! Они сами пробуют рисовать... Вы бы послушали, как мы здесь собираемся и обсуждаем со старшими...

— И курите вместе со своими учениками, — не выдержав, одернула ее директриса. — Вы уж простите, Сергей Степанович, у нас тут свои страсти-мордасти. Вот, готовы школу в художественное заведение превратить, — со смешком заключила она и кивнула, отпуская учительницу и приканчивая этот непредвиденный разговор.

В тоне ее нечто относилось и к Лосеву, не то чтоб осуждение за эту картину, но некоторая претензия была.

— И все же мы будем вас просить, — упрямо сказала Тучкова, — биологию можно на третий этаж...

— Знаете что... — начала уже раздраженно директриса.

Лосев остановил ее своей улыбкой.

— Все это не имеет значения...

— То есть как это? — вскинулась Тучкова.

Он посмотрел на нее и не сказал того, что думал.

— Поживем — увидим. Пока что ремонт, ремонт нужен, — приговаривал он, обходя шкафы с чучелами птиц «нашего края» и лисичы, которая стояла испокон веку; потрогал старенький скелет на медных проволочках.

Выходя, он издала взглянул на картину, сказал:

— Вид отсюда неплохой, а?

— Да, вид, конечно, — подтвердила директриса, она была опытным директором и все поняла.

А он задержался взглядом, будто обернулся, как тогда, спрыгнув с лодки, в ту первую весну, когда только построили школу и было наводнение, снесло мост и их перевозили на маленьком дощанике на школьный берег. В пятом это было классе, новая школа казалась дворцом с роскошными никелированными дугами раздевалки, с физкультурным залом, таким высоким.

— Что вы заторопились, Сергей Степанович? — спросила директриса.

Никуда он не торопился, она же не видела, что он неся по лестнице, размахивая брезентовым своим портфельчиком, пионерский галстук выбился из-под куртки. На площадке они наклеили жеваной живицы, так что девчонки, которые бежали следом, прилипли к ней подошвами, а за ними и химичка Анна Сергеевна.

Директор показывала на береговой склон, изрытый еще с войны старыми обвалившимися землянками зенитчиков. Все это она хотела сровнять, засадить цветами, сделать розарий.

Там, где сейчас спортплощадка, когда-то был тоже пустырь с глухими дебрями лопухов, крапивы, репейника, место самых страшных приключений, кровавых сражений, веселых историй. Потом самосвалы засыпали его кучами щебня...

Он посмотрел на директрису с горечью пятиклассника Серезки Лосева: неужели она не понимает, что это будет катастрофа, где же играть, где воевать?.. Конечно, ему, Сергею Степановичу Лосеву, было известно, что в городе имеются оборудованные площадки для игр, что в парке даже установили фигуру Гулливера и избушку на курьих ножках, но теперь-то он увидел, что все это не то, ни в какое сравнение не идет с дивным, заросшим могучими лопухами и высоченной крапивой, замусоренным склоном. Удивительно, что директриса не понимала, что цветники и газоны не красота, а, наоборот, скуотища, никому не нужная затея; то, что она считает приведением в порядок, на самом деле — разрушение и полное варварство.

Она же смотрела на Лосева с недоумением. Обычно он требовал повсюду где можно сажать цветы, разбивать клумбы, она надеялась на одобрение, поскольку сейчас на косогоре взрослые играют в карты, выпивают, целуются.

Взгляд ее подозрительно проверил Лосева с ног до головы. Может, она догадалась, что перед ней пятиклашка. Он не представлял, что это, школьное, еще живо в нем.

— Хорошо, рассмотрим, внесите в план благоустройства территории, — предложил он, с трудом возвращаясь отсюда. — Подайте специальную записку насчет садово-парковых работ, — добавил он, соображая, как лучше оттянуть ее затею.

В тот же день под вечер он встретил Тучкову на улице. Он как раз шел и думал — почему он, глядя на эту картину, превращается в мальчишку?

Тучкова остановила его, сказала, что прочла то, что есть об Астахове, и хочет списаться с Ольгой Серафимовной, кое-что уточнить. Лосев обещал найти ее адрес. Через несколько дней после исполкома он зашел в школу вместе с военкомом и директором леспромхоза.

В школе было солнечно и пусто. Парты высились в коридорах друг на друге, пахло краской и мокрыми полами. Окно в кабинете биологии было распахнуто. Они долго стояли перед картиной.

— Вот это другое дело, — сказал военком.

По реке прошел катер. Гладкая волна набегала, откатывалась, изгибая, казалось, незыблемое зеркало реки. Рябь скоро улеглась. Послеобеденный сонный жар обессилил колыхание воды. Они опять могли смотреть и сравнивать.

— Серега, ты помнишь, как мы тут на плотках лежали? — вдруг спросил военком Глотов.

Директор леспромхоза, молодой инженер, вздохнул:

— Красиво. Вот бегаешь, носишься и ничего не замечаешь. Сколько я уж тут, третий год живу, и что?

— Верно, красиво? — обрадовался Лосев. — Я вот все думаю, откуда эта красота взялась? Без картины-то — обыкновенный участок. А при сопоставлении с картиной появляется красота. Спрашивается, где ж

она находится? Почему самостоятельно мы ее не обнаруживали?

Слушали с интересом — и к его словам и к нему самому. Было неожиданно, что Сергей Лосев, которого все тут знали навыворот со всеми его привычками, семейными делами, рыбалками, тостами, этот Сергей Лосев способен рассуждать на такие темы и горячиться.

— Все от таланта, — убежденно сказал военком.

— Талант — это только слово. А ты мне ответь, чтобы я понял.

— Красота в художнике заключена, — сказал военком, заражаясь его горячностью.

— В художнике? Допустим. Тогда объясни мне, откуда художник ее берет — из себя или же из природы? Потому что если из природы, то пусть мы с тобой красками, кистью не способны передать, но глазом-то можем тоже извлечь, увидеть...

— Да, да! Как это верно! — воскликнула Тучкова.

Никто не слышал, как она вошла. И теперь, когда к ней обернулись, она залилась краской за свой возглас и все же попыталась еще сказать, как бы оправдываясь или поясняя:

— В том-то и дело, что можно, можно увидеть. Прекрасное, оно действует на душу и как бы придает ей зрение, то есть в смысле того чувства, что называют душой, то есть называем... — Она запуталась и еще больше смутилась. — Извините меня, пожалуйста.

Директор леспромхоза задумчиво посмотрел на нее и сказал:

— Фотографией я мечтал заняться.

— Сфотографировал бы ты, между прочим, вид этот, пока тут стройку не начали, — сказал военком.

— Какую стройку? — спросила Тучкова.

Военком покосился на Лосева, деликатно закашлялся, представляя слово ему как старшему, и тогда Лосев объяснил, что дом Кислых будут сносить, весь этот участок Жмуркиной заводы запланирован под филиал фирмы, делающей вычислительные машины.

Тучкова как-то полузадушенно ахнула, глаза ее устремились на Лосева, в самую глубину его зрачков, в самый его зрительный нерв.

— Да как же так?.. Я ребятам обещала... Я на будущий год программу перестроила, мы во всех классах этот вид рисовать будем. Когда сами попробуют, тогда они поймут...

Директор леспромхоза засмеялся над этими ее рисовальными доводами, и от этого смеха Тучкова съезжилась.

— Простите, я все понимаю. Что же делать?

Никто ей не ответил. Они сочувственно смотрели на нее, и Тучкова смущенно заговорила, как бы утешая: — Но ничего, мы поставимся, пока... чтобы скорее людям показать.

— Вот это правильно, — сказал военком. — Хорошо бы вы лекцию для молодежи провели, особенно для призывников. Запечатлеть в памяти красоту родных мест. Сейчас для картины самый сезон стоит.

— Лекцию? Я не знаю... Я вряд ли сумею. Лучше из областного музея пригласить.

— Бросьте вы... Прекрасно справитесь. Зачем нам варяги?

Учительница вдруг перестала нравиться Лосеву. Ему было неприятно, что она так легко смирилась.

— А жаль, — сказал директор. — Уничтожат, и... картина родословную теряет. Сравнить не с чем будет.

— Картина не потеряет, — сказал Лосев. — Картине-то что — мы потеряем.

Разговор этот испортил ему настроение. Заметил, что на реке от причалов тянутся радужные пятна, что у дома Кислых навалена щепка, доски.

Глава 6

Который раз он смотрел на картину — и интерес не проходил. Никогда не подозревал, что можно столько разглядывать одно и то же и получать удовольствие. Казалось бы, вид известный, ничего нового, никакой информации. Откуда же это тепло приходит и что-то вспоминается, еле слышный мамин голос рассказывает, рассказывает? Наваждение. Лосев подумал, что, когда на Жмуркину заводь привезут технику и стальной бабой станут разбивать дом Кислых, все эти чудеса с картиной кончатся.

Вскоре приехали сотрудники областного музея, состоялась лекция «Наш край в произведениях советской живописи». Прошла она хорошо, и прокурор и военком присутствовали и хвалили. Лосев на это заметил военкому:

— Не послушалась Тучкова, ты же говорил, чтобы сама читала. Не посчиталась.

Военком рассмеялся:

— Так она же невоеннообязанная. Да и знаешь, она правильно сделала. Для авторитетности лучше, чтоб из области. Объективнее.

— Нечего приваживать их, — проворчал Лосев, но распространяться на эту тему не стал.

Из ближнего санатория, прослышав, стали ходить любители прогулок. Есть такая категория гуляющих — им нужно, чтобы прогулка имела цель. Четыре километра туда, четыре обратно и посредине ознакомление с художественной ценностью. Культурник санатория подхватил инициативу отдыхающих и организовал коллективное посещение. Потом еще и еще. Заходили в школу туристы, которые осматривали партизанский лагерь и соленый источник. Появлялись то группы из медицинского училища, то участники велосипедного пробега. Летом приезжего народу много, что ни день — кто-нибудь да требовал Татьяну Тучкову давать объяснения, ей задавали вопросы, как настоящему экскурсоводу. Культурник разохотился, всякий раз накануне экскурсии звонил в горно, предупреждал, словно бы в музей звонил. Несмотря на ремонт школы, стали приезжать целым автобусом, поднимались толпой по лестнице, спрашивали, почему картина висит в школе в биологическом кабинете, неужели нельзя специальное помещение выделить. Делали замечания: почему нет портрета художника, хотя бы фотографии, почему нет репродукции картины, куда писать отзывы.

Многие вроде были разочарованы, недовольны. Тучкова оправдывалась как умела, однажды, когда кто-то сказал «обман, мы-то дурали», она, не выдержав, заплакала, отвернулась к окну. Все за ее спиной разом смолкли, потом пожилая толстуха в рыжем парике, сочувственно сморкаясь, сказала басом:

— Вы, женщина, тут ни при чем, это культурник нам мозги запудрил: феномен, феномен! выставка! Настрой создал не тот. Как на Эрмитаж. Сказал бы честно: кто хочет картину увидеть, ничего другого. Разве бы мы отказались? Женщина, вы, милая, извините нас.

Культурник тоже извинился, и после этого следующие экскурсии вели себя тише. Культурник, однако, не унимался. Оказывается, он работал по совместительству в летней спортивной школе и обслуживал парходство, и всюду он включал новый объект в план массово-экскурсионной работы. Вскоре Тучкова получила план, скрепленный печатями и подписями. На ее протесты культурник прочувствованно назвал ее энтузиасточкой, подвижницей, что же делать, если исторических достопримечательностей в районе мало, не будет картины,

так уйдут эти часы на пустой азарт бросания колец и походы в универмаг.

Получалось, что она будет виновата, если станут резаться в карты, забивать козла и даже пить водку.

Никто ей за эту работу не платил, отпуск ее срывался, да еще в гороно сделали замечание, что экскурсанты мешают ремонту, разносят грязь.

Появилась книга отзывов, общая тетрадка, которую в утешение Тучковой учредил культурник. В тетрадь щедро заносили благодарности и похвалы Татьяне Леонтьевне за «возможность ознакомиться», «красочный рассказ», «воспитание любви к русской живописи и природе». Кроме этих записей, попадались, и все чаще, возмущенные отклики на предстоящую стройку: неужели нельзя сохранить этот вид, что за дикость — опять разрушают памятник культуры, пора призвать к порядку местные власти...

В горкоме партии завотделом Чистякова, тощая, тигрино-бесшумная, щурясь, заметила Лосеву, что самодеятельные эти экскурсии роняют авторитет городских властей. Как всегда, она применяла безлично-уклончивые обороты: «позволяют себе», «развели», «раскачивают общественное мнение», «будоражат» и «будируют». Лосев кивал внимательно, поощряюще, потом спросил:

— Значит, что же, Тучкова просит писать такие жалобы? Вы лично слышали? Ах нет? Тогда не пойдет. Полагать — одно, знать — другое. Мало ли кто сказал. Я люблю брать сведения из первых рук, свежинку люблю.

Чистякова непонятно прищурилась, не то смеясь, не то пряча глаза, неслышно отошла. К счастью, Лосеву некогда было вникать в эти слухи, летняя пора торопила с овощехранилищами, со строительством, рабочих отрывали в район на полевые работы, надвигалась сдача-приемка нового роддома. Летние дни хоть и длинные, а проскакивали быстрее зимних.

Заведующий гороно Савкин, будучи на приеме у Лосева, после решения своих вопросов как бы между прочим сказал, что картину Астахова лучше бы перевесить сюда, в кабинет.

— Это почему?

— Ценная вещь. Охраны у нас нет, мало ли.

— А еще что? — спросил Лосев.

— Больше ничего.

— Давай выкладывай, — сказал Лосев.

Савкин, который в любую жару ходил в темно-синем, толстой шерсти костюме, при галстукe, неожиданно вспотел, громко засморкался и, умоляюще глядя на Лосева, сказал, что Астахов не из тех художников, каких следует пропагандировать школьникам. Лосев сослался было на Москву, на это Савкин тихо возразил:

— В Москве — там иностранцы, там политика диктует.

— Ты не темни, — сказал Лосев.

— Сергей Степанович, ведь неприятности будут. Народ-то безответственный, настрочат жалобу. На вас или еще на кого. Глядишь, где-нибудь откликнется. Начальство заинтересуется. Доказывай потом. Вам-то что, а нам в любом случае попадет. Повесьте ее к себе. По моей официальной просьбе, а? У нас в школе и ремонт и всякое другое.

Лосев смотрел на его мокрый лысеющий лоб, измятый скорбными морщинами забот всегда бедствующего, всегда неблагополучного хозяйства.

— Надо этой Тучковой сказать, чтобы перестала... — Он хотел

сказать «будировать», но вспомнил Чистякову, поморщился. — Чего раньше времени в колокола бухать.

— Да Тучкова же при чем?.. — Савкин дернул плечом. — Глазато людям не завяжешь. На заводи-то уж вешки расставили, съемку ведут. Вот-вот дом неснут.

— Как съемку? — поразился было Лосев, потом кивнул. — Ладно, подумаем. Так тоже теперь неудобно — изъять и к себе в кабинет. Ведь это художественное произведение общего, так сказать, внимания.

— Не произведение это, а повод для жалоб, — упрямо сказал Савкин.

Жил заведующий горono в соседнем с Лосевым новом доме, держал он в квартире двух морских свинок и по субботам, на радость ребятам, выпускал их во двор. Раньше он был учителем биологии и считал, что, имея животных, ухаживая за ними, дети становятся лучше.

— А ты сам-то как расцениваешь? — вдруг спросил Лосев.

Савкин посмотрел на него виновато и заботливо.

— Да по мне — лучше школу художественную открыть, пусть там бы все и было.

Заботливый этот взгляд встревожил Лосева, он давно усвоил, что крупные вещи начинаются с мелочей, с таких вот ничего не значащих разговорчиков. Это сигнал, по которому лучше всего принять меры незамедлительно. Это как стук в машине. Если выяснить, где именно стучит, то можно легко устранить своими силами. Пора, пора бы обдумать ситуацию, определиться, да все было некогда, все откладывалось.

Вскоре после этого разговора в Лыков приехал зампредоблисполкома Каменев. На второй день своего пребывания Каменев поинтересовался, что они тут за аттракцион открыли. Судя по этому словечку, Каменеву уже что-то наговорили. Лосев не стал отшучиваться, сам вызвался сводить его в школу. Окончательного мнения у Каменева еще не было, в таких случаях лучше предупредить какое-либо опрометчивое высказывание. Когда ответственный человек выскажется, то потом трудно заставить его изменить мнение, он будет настаивать на своем, так что лучше не допустить такого высказывания. Легче формировать мнение, чем менять его.

Как бы случайно было устроено так, что в школе оказались в это время заведующий горono и военком, разумеется, пригласили и Тучкову. Рассказать про картину Лосев мог бы и сам, но он предпочел быть в стороне, сохраняя свободу маневра.

Тучкова повела объяснения бойко, с некоторой заученностью, и это было хорошо, потому что внушало доверие. В нужный момент она сказала:

— Теперь самостоятельно сравните красоту природы с красотой, найденной художником в пейзаже. Почувствуйте, в чем разница... Определите стиль художника... Посмотрите, как написаны стены...

На том берегу с криком плескалась ребятня, у моторки возились парни в плавках и рубахах. Сушилось белье на длинной веревке, подпертой в середине жердиной. Лосев досадовал, что все это нарушает сходство. Каменев же замечал совпадения и восторгался, сличая новые подробности. Он отходил, смотрел и так и этак, прицокивал от удивления.

— Надо же, устроили такую параллель.

Тучкова взглянула на Лосева неясно, за стеклами очков он уловил страх — так ли, мол, говорила, справилась ли? От бойкости ее не осталось и следа. Перед ним стояла не учительница, не экскурсо-

вод, а девочка, оробелая, удрученная тем, что могла все испортить. Она не обращала внимания на Каменева, не слышала его возгласов, ей важен был лишь Лосев, и то раздражение против нее, что накопилось у Лосева, растаяло, растворилось без остатка. Он ободряюще улыбнулся ей, она просияла, он зачем-то еще кивнул ей, и от этого она покраснела совсем неуместно счастливо. «Что с ней?» — удивился Лосев и тотчас сказал:

— Это все Татьяна Леонтьевна придумала. — Показал на нее, на ее пылающее лицо. — Народишко и пользуется ее патриотизмом. По правде говоря, сомневалась она насчет художника, но мы по своей темноте так рассудили...

— Да я... я не сомневалась, — вмешалась было Тучкова.

— Сомневалась... Не стыдись, ничего тут зазорного, — нажимая сказал Лосев. — Мы ж здесь не спецы. Мы не знаем, как он числится. Нам что важно — наш городской пейзаж создан. Ничего другого. — Он вопросительно остановился. — Конечно, может, мы чего не учитываем...

— Ладно, не приbedняйтесь, — сказал Каменев, — это вы хорошо придумали.

— Из областного музея приезжали, — сказал военком.

— И что? — спросил Каменев.

— Вроде поддержали.

— Передайте спасибо им, — сказал Лосев.

— Передам, передам, — весело сказал Каменев. — Тут специалистом не надо быть. Талант, он потому и талант, что все, кто любит живопись, чувствуют...

И зампред даже несколько посмеялся над провинциальными их опасениями — данный художник упоминается в центральной печати, имя знаменитое, картина реалистичная, на местном материале, какие могут быть возражения, — что и требовалось Лосеву. Далее разговор перешел на экскурсии, и Тучкова не утерпела, принялась расписывать популярность этой выставки, что Лосеву показалось ненужным. Все же, что ни говори, самодеятельность и неизвестно, как она может быть воспринята.

На морщинистом, всегда приветливом лице Каменева трудно было что-то прочесть. Зампред принадлежал к тому типу руководителей, которые не показывают своего личного отношения к вопросу, зная, что их отношение еще не все решает и может только попутать людей.

Насчет Тучковой он сказал, что налицо эксплуатация человека, да еще при ее скромном учительском жалованье, что совершенно неблагоприятно... Вышел как бы упрек Лосеву, впрочем приятный, поскольку слова его косвенно разрешали экскурсии и рекомендовали все это оформить. Еще лучше было бы не хвастаться экскурсиями, лучше было бы, если бы Каменев сам первый порекомендовал организовать экскурсии и нечто вроде выставки, тогда вскоре можно было бы ему доложить об успехе его предложения. Тем самым он брал бы на себя ответственность, стал бы крестным...

— Как тут оформишь, — сказал Лосев побезнадежнее.

Каменев, высокий, стройный, несмотря на свои пятьдесят пять лет, приобнял Тучкову, наклонился и как бы на ухо сказал:

— А мы его держим за опытного мэра. Хозяин такого города — и нате вам, не может изыскать средств... Да ты знаешь, дорогой мой Сергей Степанович, вот я был во Франции, там, случись у мэра подобная приманка, он бы раздул рекламу по всей округе — щиты на дорогах, передачи по телевидению. Большой доход извлек бы. А мы не уме-

ем... Потянула Татьяна Леонтьевна — и ладно, все норовит бесплатно, на энтузиазме...

Надо было дать ему разговориться, может, он и расщедрился бы на полставки музейной; к сожалению, Тучкова прервала его, стала уверять, что для нее экскурсии удовольствие, ее работа учителя рисования обрела новый смысл, что сейчас хочется пропустить побольше народу, пока все не кончилось. Слово «кончилось» зампред понял как осень, когда природа пожелтеет и сходство пропадет, но Татьяна Леонтьевна разъяснила, что пейзаж исчезнет не на сезон, а навсегда, поскольку тут произойдет стройка филиала завода вычислительных машин.

На вопросительный взгляд зампреда Лосев подтвердил, что стройка скоро начнется, идет она по республиканскому титульному списку, место выделено давно, есть, правда, другие удобные площадки ниже по реке, к окраине города...

В свое время он торговался с проектировщиками, кое-что ему удалось для города добиться, в смету обещали заложить большой участок канализации по той стороне, трансформаторную подстанцию на два трансформатора, с тем чтобы обеспечить мощностью целый район... Ничего этого он не стал рассказывать Каменеву, он ожидал его реакции: например, зампред мог сказать, что стройку надо сдвинуть отсюда, или что можно этот вопрос пересмотреть, или хотя бы что тут следует взвесить все за и против; но Каменев задумался и остановился снова перед картиной. На остром, хорошо выбранном лице его вместо какого-либо выражения появились новые, ничего не значащие маленькие домашние морщинки, он вздохнул, поскреб шею.

— Вот и Татьяне Леонтьевне вопросы задают, — попробовал Лосев сделать еще один заход, — критикуют городские власти за эту стройку.

— И что же она? — спросил Каменев.

— А что она может?

Каменев задумчиво посмотрел на Тучкову.

— Я им отвечаю, что, если бы от товарища Лосева зависело, он бы, конечно, предотвратил, — сказала Тучкова.

Каменев хмыкнул.

— Это я точно знаю, — горячо сказала Тучкова.

— Вполне возможно, — согласился Каменев, оглядывая кабинет с чучелами на шкафах, укрытыми бумагой, скелетом, завернутым в простыню, и эту картину на стене, все это — с какой-то своей мыслью, словно увязывая в один узел, вздохнул, покачал головой почти безнадежно. Куда ж картину девать после того как стройка начнется? Здесь-то ей висеть уж не к чему? Никто, конечно, об этом не думал. Тучкова плечами пожала. Каменев подождал секунду-другую и, придя на помощь, предложил после начала стройки передать картину в областную музей. Предложил сочувствуя, выручая, помогая пристроить — а рядом с картиной можно будет повесить цветное фото Жмуркиной заводи в нынешнем, еще нетронутом виде.

— Ишь вы шустрые, на готовенькое тут как тут, — сказал Лосев.

— По-хозяйски смогрим. Где худо лежит, с того и живем. — И зампред засмеялся, помогая Лосеву смягчить все шуткой.

— Не лежит, а висит, и не худо, — сказал Лосев, показывая на стену, обтянутую серой мешковиной. Он чувствовал, что Каменев все более утверждает в своей мысли.

— Когда там разворошат, так ей все одно где висеть, — рассуждал Каменев. — Здесь совсем будет некстати, вроде укора, икона всех скорбящих.

Савкин согласно засмеялся, и Лосев тоже улыбнулся, хотя не знал, что за икона всех скорбящих. Он понимал, что практически, наверное,

так все и получится, как предрекает зампред. Можно будет, конечно, что-то получить взамен картины. Без дома Кислых она потеряет интерес. Лично ему неохота будет смотреть на нее, и впрямь: куда ее девать? Самое место для нее — музей. Он виновато посмотрел на Тучкову.

Произошло непонятное, как будто во взгляде Лосева она прочла совсем другое, распахнутые глаза ее засветились таким доверием и преданностью, что он смутился.

— Почему же к вам в музей, мы лучше в Третьяковку отдадим! — отчаянно-тонким, режущим голосом взмыла Тучкова. — Там больше людей бывает. Как вы, товарищ Каменев, легко свой интерес тут отыскали! Вместо того чтобы нам помочь. Вы вот скажите, как по-вашему — правильно будет, если там, напротив, филиал построят? А?.. Да не бойтесь вы слово свое собственное сказать...

Щеки ее побелели, указка в руке дергалась. Савкин набрал было воздуха, но военком толкнул его предостерегающе и Лосеву тоже подмигнул. Однако Лосев хоть и любовался Тучковой, но забеспокоился, она могла все испортить — и свое положение и общее хорошее впечатление, а главное, все те последующие дела, какие предстояло решать с Каменевым.

Путаные морщины на лице Каменева распрямились, затвердели, он засопел, запыхтел, шея его борцовски вздулась. В такие моменты он становился груб, беспощаден и, что хуже всего, долго потом не забывал своего гнева. Но тут он насильно улыбнулся, проговорил как можно благодушнее:

— За что же сразу в ружье? Я ведь думаю как лучше.

— Кому лучше?.. И что вы думаете — это как раз неизвестно. Вы же большой человек, всей культурой ведаете, должны вы как-то оглозваться на эту стройку. Почему вы боитесь слово промолвить? Ведь точно боитесь? Думаете, что сперва согласовать надо, выяснить. Так разве вы себя уроните, если не получится? Наоборот. Мы же понимаем, что разные могут быть соображения.

— Вот мне и надо знать все соображения, а я их не знаю, — уже по-настоящему сердясь, сказал зампред.

— Что же вы тогда наши соображения не спросите? Вы нас спросите, как нам лучше, может, нам необходима эта красота?

— Референдум устроить? — все более сердясь, сказал зампред, потом примирительно протянул ладонь. — Филиал этот вам же нужен, о вас заботились, когда выбирали, в каком городе...

— Обо мне? — Тучкова быстренько поклонилась. — Тогда и поинтересуйтесь. Вот вы свое каждое слово рассчитываете, возьмите и нас в расчет. Филиалов и заводов много, а такой вид один. И не филиалом мы прославимся.

Указка в ее руке перестала дрожать, поднялась, голос зазвучал ровнее, все увереннее.

— Ладно, ладно, — сказал Лосев строго и недовольно. — Мы, Татьяна Леонтьевна, сами разберемся.

Она посмотрела на него умоляюще, прося прощения, и продолжала, обращаясь к зампреду:

— Ведь это счастье, что появилось что-то удивительное. Вы бы видели, как ребята радуются. У нас совсем другие уроки стали. Это Сергей Степанович открыл нам... Это же чудо! Да, да, чудо! Его сохранить надо. Оно больше никогда не повторится!

Глаза ее заблистали, она не подбирала слова, не стеснялась своей восторженности.

— Ну-ну, не будем преувеличивать, — сказал зампред и улыбнулся военному и заведующему горно. — Это не Рембрандт и не Репин.

— Да при чем тут Репин? — с досадой вскричала Тучкова, скривилась, как от боли.— Будь это Репин, конечно, вы бы вступились без страха и сомнения... Но картина — это же не только имя, она сама... это же наше...

Лосев злился на нее и завидовал, с какой свободой она говорила с зампредом, ничего не смягчая, не обходя. Ей, конечно, что, ей терять нечего, она сама себе хозяйка, вольная птица; посмотрел бы он, как она вертелась бы на его должности. И все-таки он ей завидовал.

— Между прочим, картину в музей нельзя отдавать, она подарена городу, там и надпись есть...

«Вот это она уж совсем зря»,— подумал Лосев, потому что прикинул, что просить за картину: прежде всего художественную школу, затем со вторым кинотеатром решить. Стоило ему вспомнить о до сих пор не оборудованном кинотеатре, о попреках, которые сыпались второй год, о своих обещаниях, не выполненных потому, что все обещанное ему срывалось,— и у него тяжело заныло в затылке.

Тучкова посмотрела на него, ожидая поддержки, не понимая, почему он молчит.

— Знаете, Татьяна Леонтьевна, мы...— начал Лосев, и тотчас на встречу ему распахнулась такая сияющая готовность, от которой ему стало неловко перед всеми, и он сказал совсем не то, что собирался: — Вы, пожалуйста, передайте от меня, чтобы белье не развешивали тут на обозрение, у них задворков хватает.

В машине зампред сказал Лосеву:

— Черт-те что позволяют себе. Ей-то что. Ей легко. Покрутилась бы на моем месте. Демагогия!.. И не цыкнешь. Это на тебя я могу цыкнуть, а на нее грех вроде. Вот и пользуется, бестия. Чисто бабье чутье... Да... Боязнь подхалимажа у нас переходит в хамство... А фигурка ничего. Очертания есть. И дело свое любит. Нет, нет, такие люди, Сергей Степанович, нужны. Без них совесть закиснет. Она же воюет не корысти ради. Верно? Не для себя. Что она с этого имеет? Одни хлопоты...

Он помолчал, потом добавил с неясным смешком:

— А ты суров, суров.

Каменев и злился и оправдывался, и было не угадать, как держаться с ним: то ли перевести речь на нужды роддома, что было крайне необходимо Лосеву, или же продолжать насчет этой злосчастной картины.

В свое время Каменев отличался решительностью, даже крутостью характера и многое мог. Но в прошлом году его сильно подвели с одним спектаклем, так что он еле удержался и с тех пор стал осторожничать, избегал крупно решать, не ввязывался в споры на исполкоме. Лосев подумал, что, если бы сейчас тут сидела Тучкова, она, не зная всех этих обстоятельств, продолжала бы гнуть свое и — что удивительно — может, и добилась бы, а вот он, Лосев, хотя знаком с Каменевым давно и отношения у них добрые, а говорить с ним не может без оглядки, без дипломатии.

— Ты заметь, что стройку этого филиала будет курировать сам Уваров,— сказал Каменев.

— Да, мужчина несговорчивый,— сказал Лосев.

— И живописью не увлекается.

Лосев засмеялся.

Уваров ничем не мог увлекаться. Это была хорошо налаженная машина, оргмашина. Он вел дела без крика, без ругани, без накачек, все записывал в длинном узеньком блокноте, назначал срок и точно день в день спрашивал. Ничего так не боялись, как его занудно-презрительного выяснения причин невыполнения, опоздания, перерасхода.

У него всегда выходило, что таких причин не было, а была глупость, была лень, было неумение руководить.

Связываться с Уваровым никто не станет. Каменев не зря его упомянул, считал, видимо, сопротивление бесполезным.

Они подъехали к роддому, тут все выправилось, пошло по заготовленному, продуманному Лосевым распорядку. И главврач и строители показывали, объясняли с толком, все действовало, зажигалось, включалось как положено, Каменев хвалил, убеждался в правильных запросах города, сам формулировал их.

Потом они обедали с главврачом, возбужденно-говорливым, веселым, и Лосев мог немного отдохнуть. Помолчать. Отдыхало его лицо. Какие-то мускулы уставали, вокруг рта и глаз.

Все завершилось как нельзя лучше, если не считать недоговоренности, которая оставалась между ними.

Главврач, подвыпив, провозгласил пышный тост в честь Лосева и его детища — роддома. Лосев перевел разговор от себя на других мэров, у которых есть свои идеи, страсти... Рассказал про мэра города Кировска, который упорно создавал горнолыжные школы, строил подъемники, трамплины, мечтая превратить Хибины в столицу зимнего спорта. Совершенно серьезно убежден был, что наступит год, когда всемирную зимнюю Олимпиаду будут проводить у них в Кировске. Лосев, чуть передразнивая, изображал своего приятеля, и все смеялись.

— Васюки! Голубая мечта каждого провинциала! — начал было главврач. — А вот наш роддом...

Но Лосев не дал себя сбить и незаметно переадресовал тост на зампреда, у которого тоже есть своя страсть, свое увлечение. Каменев охотно подтвердил, что если своего пристрастия нет, то и работать неинтересно. Лично он неравнодушен к музею и не скрывает этого. Областной музей — заведение бедное, недоходное, оно держится на сознательности сотрудников, мало оплачиваемых... И в то же время музей — единственно вечное, единственное, что собирает, сохраняет эпоху! Ценность музейных вещей постоянно возрастает...

Острое морщинистое лицо его ожило, стало округлым и мечтательным, он увлекся, поставил рюмку, забыв про тост. Все, что уходит из жизни, остается лишь в музее. И мы и наше время, вот эти рюмки и эта лампа, и скатерть, и часы — все сохранится лишь через музей. Больше того, и герои вашей стройки с главврачом и первыми новорожденными — все дойдет до потомков с помощью музея. И что замечательно — в музее, даже таком небольшом, как областной, хранятся драгоценные вещи. Взять те же картины, скульптуры — это как бы золотой запас нашего края. Производственное оборудование морально стареет, да еще как быстро. А картины — наоборот, дорожают, приобретают больший интерес. Золотой этот запас имеет ценность прежде всего для области. Здесь то, что дорого сердцам земляков, истоки патриотизма, чувства родины...

Теперь, когда Каменев разошелся, как того и хотел Лосев, разговор этот перестал ему нравиться. Как будто в словах Каменева был умысел, дальний прицел. словно бы он нажимал на то, недоговоренное насчет картины.

Перед отъездом они остались вдвоем. Каменев взял его под руку, отвел от машины и передал записочку к одному товарищу, влиятельному по части оборудования кинотеатра. Товарищ отдыхает сейчас неподалеку в санатории, и Лосеву самое время в воскресенье съездить к нему, покатать его по окрестным местам. Затем без перехода спросил напрямик:

— Ну так как, Степаныч, отдашь картину? Я тебя не тороплю, мне важно знать в принципе.

- Неудобно как-то.
- Перед кем?
- Перед общественностью.

— У тебя ж предлог несокрушимый... Можешь временно дать, а там посмотрим... Не пожалеешь! Мы это торжественно обставим. Телевидение пригласим.

Примерно к этому Лосев был готов, однако решения у него не было. Он мог Каменеву отказать, но что от этого город выгадает? И с кинотеатром застрянет и с остальным. А если согласиться, то, значит, Жмуркину заводь без боя отдать. И хотя до сих пор у него и мысли не было бороться, завязывать какой-то бой, но тут он вдруг почувствовал, что картина и Жмуркина заводь сопряжены между собою, вместе они имеют для него особый смысл, а порознь — нет.

Его подмывало поделиться всеми этими соображениями с Каменевым. Приятельствовали они много лет, доверяли друг другу, а вот что-то мешало. Не потому, что это был именно Каменев, нет, Лосев чувствовал, что его язык вообще не поворачивается говорить с такой открытостью.

— Не торопите меня,— Лосев вспомнил, что Каменев недолюбливает Уварова, какие-то у них трения.— Я хочу Уварова поприжать на этой художественной площадке. С неожиданной стороны, а?

Каменев оstanовился, посмотрел на Лосева запоминающе.

— Ну-ну... Уваров тебе, конечно, не уступит.— Он вдруг усмеялся.— Ты, значит, собираешься подвесить ему невнимание к искусству? Будешь защищать эстетические ценности? Ну что ж, правильно, это полезно выявить — его отношение к живописи. Да и вообще к культуре. Пусть знают. А? Что-то в этом есть. Небось под это ты с него еще чего-нибудь выжмешь? Хозяйственный ты мужик, Лосев. Только смотри себя не перехитри!

Лосев рассмеялся повинно, как бы признаваясь, что Каменев видит его насквозь, от него не скроешься. А Каменев смотрел на него без усмешки, вообще безо всякого выражения на лице.

Продолжая прятать глаза в улыбке, Лосев обронил невзначай:

— Далась вам эта картина. Не Репин ведь, как вы сказали, и не Рембрандт.

— Эх Лосев, Лосев, цивилизованный ты человек, ничего не скажу, а мыслишь недалеко. Я ведь почему еще заинтересован.— Каменев вздохнул мечтательно.— Под твоего Астахова мы можем еще кое-чего выставить. И того же Астахова и других. Приобрести можно будет несколько приличных полотен, обменять с другими музеями.— Он нежно взял Лосева под руку.— Мои музейщики такие берутся подвиги свершить! У них знаешь какие планы... Тридцатые годы собрать. Физиономия у нас своя появится, ездить к нам начнут. Это ж большое дело!

— Надо же! — восторженно ахал Лосев.— Колоссально!

Теперь прояснилось, какая у Каменева заинтересованность. Это было долезно знать, чтоб в каком-то смысле не продешевить. Лосев был доволен, что сумел вызвать Каменева на признание.

Машина отъехала, клубя пылью. Все, кто провожал, посмотрели на Лосева. Он повертел в руках конверт с запиской влиятельному товарищу. Лицо его стало хмуриться и приобретать то яростно-жесткое выражение, при котором никто не решался обратиться к нему. Все молча смотрели, как он не читая вдруг разорвал конверт, потом еще раз, да еще швырнул обрывки в лужу и зашагал к исполкому.

Иногда, проходя мимо школы, Лосев видел автобус или сваленные у подъезда зеленые рюкзаки, и у него появлялось тягостное чувство,

какое бывало, когда он оттягивал неприятное письмо или визит в больницу.

Однажды он столкнулся с Тучковой, она покраснела, будто застигнутая врасплох, остановилась, он тоже остановился. Тучкова опустила голову, ровенький пробор ее и тот был красный. Запинаясь, она сказала, что пришел ответ от Ольги Серафимовны. Тучкова показала ей фотографии и написала про филиал; Ольга Серафимовна тоже считает, что Лосев все уладит, в крайнем случае можно подключить ему в помощь... впрочем, лучше ему самому прочитать, письмо у Тучковой дома, она может занести ему или как он скажет...

Он ждал еще чего-то, но она замолчала, не поднимая глаз.

— Как-нибудь занесите,— сказал Лосев.— Но напрасно вы ее заверили. Кто вас уполномочивал? Не так эти вещи решаются,— все больше досадуя, говорил он, глядя на ее выгоревшие волосы.

Она стояла перед ним, не поднимая головы.

— Да и некогда мне возиться с этим,— сказал он с неясным ему самому злорадством.— Дома угрозы расселять надо. А куда? А? А ты говоришь — пейзаж. Не до пейзажей мне. То-то вот.

Так он и ушел, не услышав от нее ни слова. Ему хотелось обернуться, но он боялся, что она все еще стоит с опущенной головой. Долго еще, несколько часов, он ощущал спиной это молчание, оставленное позади.

Как назло, в этот же день к вечеру появился Рогинский, вернее пробился к нему во время перерыва на совещании строителей. Поблагодарил за транспорт и показал две старенькие цветные открытки, изображающие Жмуркину заводь. Одна совсем давняя, еще до сооружения дома Кислых; оказывается, тогда на этом месте стояла купальня, мостки были, кабины для раздевания, выше на берегу раскинулся красивый павильон с полосатыми тентами и разными украшениями. На второй открытке был уже дом Кислых, но затянутый какими-то полотнищами, увешанный флагами и сфотографированный с улицы, так что Жмуркина заводь угадывалась позади дома. У парадного стоял городской в белой рубашке, шароварах и с шашкой.

Рогинский ловил интерес в глазах Лосева и все допытывался: «А? Здорово?» — и сам восхищался. Открытки он взял из коллекции Поливанова, у которого много изобразительного материала, в том числе и по Жмуркиной заводи.

— Как он, старик, поживает? — спросил Лосев.

Рогинский посерьезнел, скривил губы, показывая, что дела Поливанова плохи, и настолько, что говорить об этом не стоит.

— Передайте ему, что я зайду в воскресенье,— сказал Лосев, не успев сообразить, зачем он это делает.

Глава 7

Он полагал, что найдет поливановский дом безошибочно. Между тем на улице Володарского его не было. Посмеиваясь над собой, Лосев свернул в Заячий переулок, оттуда вышел на Крайнюю, постоял в раздумье, сверяясь с забытым, чисто механическим ощущением, вызывая память ног, и ноги повели его вправо, вправо, к маленькому двухэтажному деревянному дому с оштукатуренным низом. Дом был окрашен незнакомо, весь зеленым, только оконные резные наличники белым и белым же дверной карниз. Бывая на Крайней, Лосев, может, и проходил мимо этого дома, но никак не связывал его с поливановским, столько лет прошло, вся улица изменилась, и дом загримовался. А вот сейчас остановился перед парадным с козырьком, с почтовой щелью, с железками, чтобы подошвы обчищать, и застучало сердце.

Посмотрел в угловое окно второго этажа. Вечернее низкое солнце ослепило стекла. Лосев пальцем трижды постучал по трубе, усмехнулся. Когда-то под звонком висела эмалированная табличка «Доктор Х. Цандер» — никаких следов от нее не осталось, все было закрашено, зашпаклевано. От поворотного звонка сохранилась ямочка. Парадным ходом давно не пользовались. В глухой калитке Лосев повернул тяжелое кованое кольцо, вошел во двор.

Сад разросся, однако был ухожен — не в пример прошлому. Тогда беседку закрывали кусты акаций и бузины. Теперь беседку свежее выкрасили голубеньким с синим, мелкая ее выемочная резьба проступила как новенькая. Беседка была та же самая, в которой часами гоняли чай, Поливанов там ораторствовал, призывал и наставлял. Лосев и внимания не обращал на эту беседку, она даже казалась тогда старорежимной уступкой древнему испуганному докгору Цандеру, которому когда-то принадлежал этот дом. Сейчас беседка выглядела редкостной игрушкой, может, одна такая и сохранилась на весь город, а ведь были они в каждом садике...

Зато сам Юрий Емельянович Поливанов изменился, да так, что Лосев не узнал его. То есть, конечно, понял, что это он, но никак не мог соединить его с тем Поливановым, никак не мог его с о с т а р и т ь до такого. Потому что это было не от старости. Щеки его запали, весь он исхудал, особенно страшна была его тонкая, вся в обвислых складках пятнистая шея, нижняя губа оттопырилась, и бескровно-белое его лицо приобрело брезгливое выражение. Сквозь кожу просвечивала сухость черепа, костей, напоминая Лосеву школьный клацающий скелет.

Как же так?.. Как же так?.. — мысленно повторял Лосев, ничего не понимая. Со времен его детства Поливанов оставался неизменным. Властный рокочущий здоровяк, огромный, тяжелый, летом в коломянковой куртке, зимой в овчинном полушубке и папахе, Поливанов стал такой же принадлежностью города, как водонапорная башня, как polegший дуб в парке. Лосев был уверен, что, когда б он ни пришел в этот дом, он застанет Поливанова таким же, и, откладывая год от году это свидание, нисколько не беспокоился.

Как же так, твердил он ошеломленно, да что же это такое?

По дороге сюда он готовился к попрекам, к язвительным подковыркам Поливанова; не стыдно, позабыл старика, стал начальством — зазнался, теперь мы тебе не нужны, мы люди маленькие, мы ему не пара, а, между прочим, старый-то друг лучше новых двух... — весь тот набор, который Лосеву приходилось выслушивать и от других. Поливанов делал бы это со вкусом, с грохотом, а главное, имел на это право. Лосев приготовился выложить ему кое-что в ответ. Но сейчас все ответы и накопленные претензии отодвинулись, помельчали и остались лишь жалость да тоска перед непоправимостью.

Во тьме запавших глаз Поливанова было что-то пустое, взгляд то появлялся, то пропадал, прерванный этой пустотой, н и ч е м. Лосев вдруг почувствовал, что на него смотрит смерть, работающая, живая, не та, что в покойнике застылом, холодном, превращенном в предмет, где смерть уже не присутствует, а есть лишь ее след, ее результат. В Поливанове смерть жила, всюю жила, в полном цвету. Она свила гнездо между его широких крепких костей и высасывала и поедала его тело. Она хозяйничала в Поливанове, она существовала в нем и отдельно от него, временами выглядывая вместо него из глазных впадин. Зрелище этой действующей, торжествующей смерти было отвратительно и страшно.

Поливанов полуобнял Лосева, а сам следил за его лицом. Лосев закрылся белозубой улыбкой. Это он умел. С веселым открытым

взглядом похвалил бодрость и энергию Поливанова так, что тот успокоился. Причем слушал он с такой жадной доверчивостью, как будто слово Лосева что-то значило, решало.

Расположение комнат в доме осталось тем же. В маленьком зале стояли те же кадки с китайскими розами. Крашеный дощатый пол блестел. Шкаф, этажерка — все солидное, старое стало красивым. Солнце высветило стены, пронизало зелень листьев, и Лосеву вспомнилось, как он мальчиком приходил не сюда, а к дяде Феде, там тоже было похожее зальце, вдоль стен стояли стулья в холщовых чехлах, диванчик зачехленный. Никто из детей в доме никогда не видел, какая обивка под чехлами. Чемоданы были в чехлах, книги все были обернуты, сама тетя Надя постоянно ходила в переднике, и только по праздникам вынимали бостоновые выходные костюмы, туфли, доставали драповые пальто, фетровые шляпы, на стол ставили фарфоровые чашки. Вспоминалось это сейчас с усмешкой над той скудной нафталиновой жизнью, и при этом почему-то приятно было увидеть у Поливанова позабытые гнутые венские стулья с соломенными сиденьями, конторку с зеленым сукном, поверху огороженную точеными перильцами, на стене расписные доски, иконы, знакомую эмалированную табличку «Доктор Х. Цандер, по внутренним болезням». И рядом — высокие, в дубовом футляре английские часы, похоже — те самые, что стояли в прихожей у Цандера рядом с чучелом медведя.

Лосев шумно хвалил сбереженную старину, и Поливанов, довольный, рассказывал, что все это он собирает для будущего музея, все завещано городу, когда-нибудь ведь займутся и культурой, не все же строить стадионы да кабинеты начальников. Лосев пропустил это мимо ушей и с той же восторженностью перешел в столовую, где, видно, к его приходу были приготовлены открытки, альбомы и какие-то рулоны в черных гранитолевых футлярах.

Кроме тех двух открыток, что показывал Рогинский, у Поливанова имелся толстый альбом — большая коллекция собранных за разные годы почтовых открыток с видами Лыкова. Поливанов одну за другой показывал их Лосеву, поясняя, какой год, что за здание, как будто Лосев был приезжим. На цветных дореволюционных открытках пестрели ярмарка 1903 года с каруселью и городовым, и площадь с новеньким пожарным депо и каланчой, которую после нынешней войны снесли, и монастырь с кладкой из красного ракушечника и белого камня... Некоторые открытки Лосев знал, но многие держал в руках впервые, он и не подозревал, что их существует столько. На обороте кое-где сохранились николаевские марки и были строки, написанные красивыми косыми почерками, какими ныне не пишут.

Павильон на берегу Жмуркиной заводи, по словам Поливанова, построен был к приезду цесаревича Александра, проект делал вице-губернатор Жмурин, к стати способный архитектор, имеется альбом его проектов по Лыкову. Когда-то в этом городе думали делать курорт, проводить здесь торговые ярмарки.

Поливанов и прежде умел рассказывать. Сейчас слова его обрели особую значительность. У него не было сил, как прежде, вскакивать, бегать, стучать палкой, он как бы вкладывал в голос свои привычные размашистые жесты.

Сидя в высоком резном кресле, посверкивая глазами из-под косматых седых бровей, он напоминал Ивана Грозного.

Про стройку он не спрашивал, про намерения Лосева тоже не спрашивал, но каждая фраза звучала уличающе, с каким-то намеком. Иногда в голосе его пробивался смешок, как бы предвкушение.

Появился Рогинский. Сверху спустились две старухи, одна накра-

шенная, коротко стриженная, с папирсой, другая с мягко-добрым лицом, мягкими руками, вся тряпично-ватная, Лосев смутно помнил ее — сестра Поливанова. Следом за ними пришел молодой длинноволосый парень с нагловато-заносчивым выражением лица. На нем был пиджак с металлическими пуговицами, под рубашкой вывязан шелковый шарф. При виде Лосева он смутился, попятился, но Поливанов подозвал его и представил как своего молодого друга Константина, юношу одаренного, склонного к истории, рабочего по положению, музыканта по призванию... Все это говорил он в пику тому, что мог подумать Лосев, и Константин, или как его тут звали — Костик, успокоился, лицо его снова обрело прежнее выражение.

Из задней комнаты Костик принес папку с проектом дома Кислых, который, оказывается, был недостроен, предполагались еще боковые флигели. Проект напоминал сторевший павильон Жмурина. К реке вели каменные спуски, на отмели была купальня, по откосу стояли скамейки... Имелось еще несколько листов соседних участков — набережной и площади.

Перед Лосевым появлялся недостроенный, несбывшийся город старинной прелести. Он был и похож и не похож на Лыков, выученный с детства. Ладный, чистый и словно бы забытый. Такого города никогда не было, но что-то подобное было, давнее, как вкус чая с топленым молоком, одно из самых ранних его детских воспоминаний...

В проектах и планах будущих пятилеток Лосев четко представлял себе многоэтажные, с лоджиями здания центра, коттеджи с плоскими крышами (это он отстоял их!) — целый район к Ольгиной роще, центральный бульвар и в конце площадь, главная площадь города с выходом к реке, площадь, мощенная белыми плитками, с краю у нее огороженный петровский дуб на фоне гостиницы. Все это было вычерчено, промерено, сосчитано в рублях, метрах, разрисовано архитекторами, внесено в списки и сметы и виделось так реально, что кроме того города, в котором он жил и работал, для него существовал другой Лыков. Теперь же выплывал из прошлого наивно-мечтательный городок, затейливый, непрактичный, как старые бронзовые часы или эта садовая беседка. Но что-то в нем было. Какая-то пропорция. Уютность. Не важно, что он остался в эскизах, в этих перспективах с блеклыми нежно-голубыми, розовыми отмывками. На длинной коленкоровой кальке, которую разворачивали перед ним, были подробно выписаны кареты, лошади, шли дамы с маленькими кружевными зонтиками, курдюжились аккуратные деревья.

В своих выступлениях и докладах Лосев привык говорить про неблагоустройство дореволюционного Лыкова, невылазную грязь, лачуги, бараки, где ютились рабочие кожевенного завода, про кабаки, пожары, эпидемии, про отсутствие водопровода. Все это было правильно, но сейчас впервые Лосев увидел, что имелось и другое, что в том прошедшем веке жили люди, которые тоже мечтали об ином Лыкове. Городская управа хлопотала о строительстве каменного моста, в конце концов, через земство и Столыпина добились ассигнований и мост построили, тот самый, по которому он ежедневно ездит. Стараниями земства были открыты три новых начальных училища, что тоже было непросто и потребовало долгого хождения по департаментам вплоть до князя Мещерского, которому преподнесли через его сестру каких-то особой красоты охотничьих собак.

Тут в рассказе Поливанова появилась фигура самого Ивана Жмурина, из местных дворян, который начал службу городским головой и отличался тем, что всех уличенных во взятках и поборах заставлял вносить такие же суммы на строительство водонапорной башни. Ког-

да его перевели в губернию, он и там продолжал заботиться о лыковских обывателях. Пользуясь приездом наследника, замостил почтовый тракт, идущий сквозь Лыков. Городской парк, оказывается, заложен был и разбит также с его помощью. Будучи за границей, он специально ездил к знаменитому Пюклеру, садовому художнику, консультировался с ним о характере лыковского парка. Был он картежник, гуляка, и, видно, не без его участия купец Остроумов после знаменитого загула с утоплением парохода решился соорудить к приезду наследника мраморные ворота. И соорудил, из лучшего крымского молочного мрамора, а потом под каким-то предлогом ворота эти разобрали и мрамор пошел на внутреннюю отделку актового зала и вестибюля земледельческого училища. Там, где теперь первая школа.

— Вот оно что! — сказал Лосев. — А мне и в голову не приходило, откуда у нас такая роскошь.

— А ты как полагаешь? Все, душа моя, имеет происхождение, — сказал Поливанов. — У всего есть история. Думаешь, только мы старались? До семнадцатого года тоже чего-то пытались, находились людишки, которые заботились и двигали Россию.

На старинной, толстого картона фотографии с титулом владельца: «Королевский фотограф Вильгельма Второго и герцога Бюртембергского Эдмунд Рисс» — стоял в черном сюртуке, в светлом цилиндре рослый красавец Иван Жмуриин. Военная выправка и легкость были в его фигуре. Подкрученные усики торчали вверх, и под ними с трудом удерживалась улыбка. Ему было лет сорок, и глядел он на Лосева с такой симпатией и пониманием, как будто что-то знал про него.

— Хорош гусар? — спросил Поливанов. — Увеличь портрет и повесь у себя в присутствии. А что? Твой предшественник. Верой и правдой служил. Невозможно? Небось считаешь, ежели до тебя что и сотворили, то все не так, самое толковое началось с твоего прихода. И самое главное.

— А как же, — согласился Лосев. — Нынешнее начальство всегда самое лучшее начальство.

Попробовал представить себе портрет Жмурина у себя в приемной и ряд портретов тех, кто был бурмистрами, городскими головами, председателями горсоветов. Сколько их перебивало!

— Богатые материалы у вас, — сказал Лосев. — Замечательные. И по дому Кислых есть?

— Еще бы, — сказал Поливанов. — Ну-ка, Костик.

Сквозь распахнутые двери соседней комнаты Лосев увидел стеллажи, тесно набитые картонными папками. Одну из таких папок Костик принес и положил, но не перед Лосевым, а перед Поливановым.

Там хранились рисунки внутреннего оформления, плафонов, какие-то вырезки из газет, письма... Никогда Лосеву и в голову не приходило, сколько может существовать документов об этом доме, о Кислых, о его семье.

— Тут еще не все, — хвалился Поливанов. — И про их предков есть, а про потомков, которые во Франции проживают, про них Рогинский собирает.

— Досье! Про других тоже собираете? — спросил Лосев.

— Про всех выдающихся лиц, — сказал Рогинский. — Революционных деятелей, деятелей искусства и прочих интересных. Это Юрий Емельянович завел...

Рогинский, обычно говорливый, был краток, уступая подробности и всю площадку Поливанову.

— Думаешь — помер и бльем поросло? Эх, знал бы ты... от каждого человека, душа моя, письменные следы остаются. — Поливанов склонил голову на плечо, словно бы примериваясь, оглядел Лосе-

ва.— И какие! Особенно при развитом бюрократизме. Ты вот говорил с человеком тет-а-тет — и спокоен, концы в воду. А он, мазурик, жене про это сообщил, а та тетке своей написала, а тетка в дневник... Про кого хочешь я тебе разыщу. А уж если человек в должности большой, то ой сколько можно выяснить! Взять того же Жмурина. Такие, душа моя, секреты!.. — Он даже прицокнул от удовольствия, и все заулыбались.

Обычно в любом из лыковских домов Лосев держался по-хозяйски, потому что принимали его как хозяина города, а так как он был человек общительный, компанейский, то само собой он становился как бы центром, главой, его слушали, понимая, что он знает больше других, сверялись с ним — смеется он или хмурится; если кто с ним и спорил, то Лосев бывал даже доволен, поскольку мог на нем показать свою силу.

Здесь же царил Поливанов, все здесь внимали Поливанову, слушали его как оракула, наперебой заботились о нем. Неужели когда-то и Лосев студентом вот так, раскрыв рот, сидел перед Поливановым?..

От него ждали и сейчас того же. Он разглядывал все эти редкостные бумажки и картинки не восхищаясь, не удивляясь, перелистывал их под устремленными к нему выжидающими взглядами. Поливанов выкалывал все новые козыри.

Лосев хвалил вежливо и преувеличенно. По тому, как слаженно помогали Поливанову, похоже было — все они о чем-то договорились; один Лосев не знал, когда и откуда начнется... Он только примерно догадывался, чувствовал, как устремленно вел разговор Поливанов, не позволяя ни себе, ни кому другому отклоняться.

Взял он, к примеру, такого земского деятеля, как начальник земледельческого училища Коротеев. Сколько сделал этот начальник для народного просвещения уезда! По нынешним временам ему бы Героя Труда дали. А?

— Не меньше,— поддержал Рогинский.— А мы... Улица была названа в его честь и ту переименовали.

— Вот именно,— сказал Костик, и все посмотрели на Лосева.

— А этот, пожарник...

— Исленев,— подсказала Поливанову дама с папироской.

— Исленев, он на свои средства оборудовал пожарную команду, несколько раз спасал город от огня... Нет, душа моя, отринуть-то их не хитро, легче легкого, ибо любим считать, что в России все никуда не годилось, все было мерзостью, угнетением, дикостью. Так ведь история, она все равно свое возьмет, как ты ее ни переиначивай, как ни гни под себя. Пятьсот лет город жил до нас; не только бунтовали и плакали, были и праздники, и умные дела, и красота. А мы считаем, что только мрак царил. Это же надо себя не уважать, предков своих! Отсюда Россию кожей снабжали, соль варили, тоже чего-то кумекали. Пятьсот лет в трудах неустанных. Вся история прошла через город наш. Разве мало людишек было достойных? А мы кого из них чтим? Кого величаем? Кладбище старое разорили! А там, между прочим, была могила Спиридонова, героя чесменской битвы. Вот она, полюбуйся, душа моя. Надгробие какое стояло. Это из старого журнальчика фотография, вырезка. А рядышком с ним лежала актриса Протасова, гремела в середине прошлого века на всю Россию. Была, между прочим, и могила протоиерея Раевского. Из тех Раевских. Просветитель. Покоился тут и знаменитый морской врач Ракович. Как он сюда попал из Петербурга, я не дознался. Но личность историческая, о нем во всех энциклопедиях есть. Крестьянский сын, а стал профессором, главой школы! Где все? Ни присмотру, ни порядку... Эх, я бы вас за это! Нет на вас, душа моя, страха. Распустились!

Прозрачно-слабая рука Поливанова грозила Лосеву, собирала в горсть что-то невидимое.

Получилось так, что Лосев сидел один, остальные напротив него, с Поливановым посредине, можно подумать — устроили судилище.

— От кладбища многое идет... У нас могилы не связывают с воспитанием. А если могилы не уважают, значит, прошлое не уважают, предков. Нигде на эту тему не выступишь. Вот ты, Рогинский, в своем обществе «Знание» можешь лекцию предложить «О значении кладбищ для человека»?

Рогинский кисло улыбнулся в ответ.

— Кладбище, оно для города летопись,— гремел Поливанов,— исторический мемориал, оно в любом случае ценность...

Лосев вспоминал — когда он был на могиле матери? Знал, что ходила туда тетка, жена дяди Феди, и ограду по ее настоянию поставил завкоммунальным отделом, покрасил зачем-то алюминиевой краской. Лосев вдруг рассердился и сказал:

— Между прочим, Юрий Емельянович, кладбище начали разорять в тридцатые годы, вам бы тогда и цыкнуть.

Не стоило затевать спор, чувствовал, что Поливанов нарочно вызывает его, заводит. Лучше бы поддакнуть, вознегодовать вместе со всеми, так нет, завелся-таки и остановиться не мог.

— ...Я вас не виню, я-то понимаю и учитываю. Камни да памятники были у кого? У купцов да дворян. Простой люд под деревянным крестиком лежал, чего тут разорять? А к богачам и вашим героям известно какое было отношение. Это мы теперь, задним числом, поумнели. Добрые стали, историей занимаемся. Но давайте и свою историю не забывать, отцов наших и дедов тоже понимать надо.

Вот тут Поливанов и произнес тихонечко так, как бы вспомнив, как бы к слову:

— Ты-то отца своего понимал?

— В каком смысле?

— Считал его чудачком, смеялся над его бреднями. А между прочим, душа моя, недавно перечел я кое-что. Весьма любопытная у него философия. Самодеятельная, но гуманнейшая...

— Что вы перечитали?

— Его записи. Тетрадочку. Мудрец он, самородок, а ты его разве старался понять?

Но в это время дверь открылась и вошла Тучкова.

По тому, как ее встретили, обрадовались и как она поцеловала старушек, а Костик вскочил ей навстречу, видно было, что она здесь человек свой. С ее приходом завозились, стали накрывать на стол, и разговор запрыгал в разные стороны — про старые церковные книги, которые собирал Поливанов, про последние раскопы археологов на подворье монастыря, про дожди и яблоки.

Перешли на веранду. Костик и Рогинский помогали носить посуду. Лосев хотел было сесть рядом с Тучковой — оказалось, что это место Костика, во всем тут поддерживался заведенный порядок, видно, часто собирались, шла у них какая-то своя жизнь, Лосеву неизвестная. Ему казалось, он знал все самое существенное, что происходит в городе. На самом же деле подспудно, в глубине, шла жизнь непредусмотренная, о которой он и понятия не имел.

Загорелые обнаженные руки Тучковой летали над столом. Блестел улычивый ее рот. Лосев ни разу еще не видел ее такой. «Красивые руки. Ишь размолодилась», — подумал он с обидой. Он выпил водки, чокаясь одинаково приветливо со всеми. Когда чокался с Тучковой, она посмотрела на него смело, без прежней распаханности и восторга, скорее с любопытством. Ей интересно было видеть Лосева

в непривычной обстановке, она тоже сравнивала. Она и понятия не имела, что когда-то он был завсегдаем этого дома, тоже ходил и пивал чай. Эти молодые воображали, что они первые, и Поливанов не разубеждал их в этом.

Конечно, в доме многое переменялось. Раньше у Поливанова скрипели расшатанные табуретки, Лосев и не смог бы вспомнить ту мебель, никто не обращал на нее внимания, всюду царил тот послевоенный ералаш, когда умели спать где придется — на полу, на сенных тюфяках, — ели из алюминиевых мисок за кухонным столом. За каким угодно столом, было бы что поесть.

Сейчас свирельно напевал желтый фигурный самовар, сияя начищенными медалями, чашки стояли разноликие, каждая произведение искусства, сахар раздобыли откуда-то крепкий и кололи его старинными узорчатыми щипцами с длинными ручками. Пили вприкуску. В деревянном резном блюде лежали теплые корочки, ржаные, с картошкой, каких и в деревне уже не пекут. Водка была в екатерининском штофе темно-зеленого стекла с вензелем. Стояла крынка с топленным молоком, горшок с творогом. Крынка была с зеленоватой поливой, такие Лосев смутно помнил с детства и потом изредка видел в глухих деревнях. Празднично, вкусно пахло, хлеб лежал на расписной доске, варенье накладывали серебряной ложкой с витой ручкой. На подставе солонки горела надпись «Без соли стол кривой». Все было здесь стародавнее, позабытое, красивое, и каждая вещь вроде бы радовала Лосева, а все вместе раздражало, и чем дальше, тем сильнее.

Смертный вид Поливанова вдруг перестал саднить, словно всегда были эти запавшие щеки, этот проступивший сквозь восковую кожу череп. Нынешний Поливанов отделился от того, памятного, и Лосев слушал его рассуждения о том, как истребляют в Лыкове старину, все неуступчивей. Разговоры эти Лосеву давно обрыдли, страсть к старине, вспыхнувшая в последние годы, раздражала какой-то крикливостью — наподобие этого сервированного под старину стола.

— Уверяют меня, что не желаешь ты дом Кислых сносить, — сказал Поливанов.

Лосев не откликнулся, промолчал.

— Ну что ж, святое дело сделаешь. Пора тебе за ум взяться. Да только не верю я.

— Чему не верите?

— Сейчас у нас, конечно, не модно старину рушить. На словах все защитники. Но знаешь, душа моя, как до дела доходит, так — «обстоятельства», «не от меня зависит...» и тому подобное.

Лосев не торопясь дожевал, потом рассмеялся:

— Я как раз собирался сказать, что я бы с полным удовольствием. Так разве от одного меня зависит?

— Видишь, Таня, с него взятки гладки. Он-то не хочет, так ведь они не знают. Он бы и того, так а вдруг яво? Одному богу молиться, другому кланяться — и всем будет хорошо.

Лосев снова засмеялся как ни в чем не бывало, как будто речь шла не о нем. Неузвямое добродушие его рассердило Поливанова.

— Если что порушить, это он мог бы сам, а защитит... Дворянин Жмурин, тот мог с губернатором схватиться. В столицу, когда надо было, поехал. Поди тоже карьерой дорожил. Такие же были людишки, тем же миром мазаны, в той же суете сует толклись. А все-таки до какого-то предела...

— О боге думали, — сказала стриженная старуха. — О своей душе. Поливанов недовольно зыркнул на нее глазами.

— Как раз тогда бог был не в моде. Нет, тут другое, Надежда Николаевна. Скорее об истории думали, суда потомства боялись. Хо-

тели город свой прославить и себя, естественно. Жмурин, этот, может, на памятник себе надеялся. Это если по линии тщеславия, но скорее всего просто любил свой край, имя свое берег. Хозяином себя пожизненно считал. А у тебя — временщики. Ты кого-нибудь на пенсию с почетом проводил? Чтобы вспоминать о нем по-хорошему? Да и ты сам порой лишь о том думаешь, как бы от выговора уберечься. Ты не обижайся...

— А я и не обижаюсь,— сказал Лосев и налил себе водочки.

— Потому что перед тобою люди, у которых никакой корысти. Мне что, мне на Жмуркину заводь уже не любоваться, мне город жалко. Детишек жалко, не останется им красоты. Жмуркина заводь, может, последнее место, где красота старого города сохранилась. И вот уже до нее добрались.

— А что же вы раньше молчали? — спросил Лосев.

— Между прочим, писал я тебе, иль забыл? Еще в запрошлом году. Копию могу показать. Али и так вспомнишь? — Поливанов зло оживился, зародовался.— Ответ за твоей подписью получил. По всей форме. Этому вы научились. Не глядя подмахивать. «Примем во внимание. Будет рассмотрено при рассмотрении».

Тьфу ты, и в самом деле было его письмо, было... Лосев тогда пробежал глазами, передал для ответа с досадой, какую вызывали у него подобные советчики, особенно же Поливанов, который то и дело строчил жалобы на городские власти, вмешивался, указывал.

Работникам горисполкома Поливанов надоед, как болячка, с удовольствием его прищемили бы, но побаивались Лосева, к тому же у старика сохранились по прежней работе и другие влиятельные связи.

— ...Моя-то совесть чиста. Да что толку в этой чистоте... Это католики о своей душе пекутся, а я болею за то, чтобы сохранить родное, российское. Пригодится. Ты разве русские дома строишь? Лыковские? Твоим эсперанто душа не насытится. Я долго жил, я вижу, чего мы лишились, сколько свели на нет по глупости, по невежеству. Ну ладно, тогда мы малограмотные были, но теперь-то наивысше образованные. И что? Опять рушим. Позор. А тебе в первую очередь. Ведь ты себя навеки приговоришь. При ком уничтожена была Жмуркина заводь? А-а, был такой печальной памяти начальничек Сергей Лосев. Тем он и прославился.

Лосев примирительно улыбнулся:

— Может, и другое что вспомнят.

— Родильный дом, да? Или канализацию? Это, думаешь, искупит? Не надейся, народная память либо — либо. Либо ты святой, либо пес худой. Да и правильно...

Они все жадно слушали и наблюдали за приклеенной улыбкой Лосева. Среди наведенных на него взглядов он прежде всего видел глаза Тучковой, в них было ожидание, беспокойство за него, готовность прийти на помощь.

— Что же вы всем миром на одного? Эх, Юрий Емельянович, недоволенный прием.— И Лосев укрепил свою улыбку смешком.

— А потому, душа моя, на одного, что с общественностью не захотел обсудить. Может, и надо филиал строить, не знаю, но ты должен был проект на народное рассмотрение вынести, поскольку общая заинтересованность есть. А вы все втихаря, считаете, что сами с усами, что раз вам власть доверили, то вы, следовательно, самые умные в городе.

Лосев расхохотался:

— Факт, потому и избрали, что умнее нас нету.

— Да про что вы? — вдруг с тоской проговорила Тучкова.— Сер-

гей Степанович!.. И вы тоже, Юрий Емельянович, о чем вы говорите, о чем?

— О самом главном, Танечка,— начал Поливанов.— Суд общест-венности.

— Да все ясно без всякого суда. Разве вам не ясно? Любому ясно, спросите кого хотите про Жмуркину заводь, это же душа города.— Она встала, тронула зачем-то конфорку, чайник, волосы ее свесились, затемняя блеск глаз.— Да, душа. Вот ты, Костик, ты где учился пла-вать? В Жмуркиной? Так ведь? И ты, Стась,— повернулась она к Ро-гинскому.— Костя — он еще молодой, а чем это место для него станет лет через двадцать? Верно, тетя Варя?

— Не знаю, как нынче,— мягко и тихо сказала тетя Варя,— а мы молодыми там вечерами песни пели.

— И целоваться учились.— Костик прыснул.— До сих пор там учатся. Начальная школа любви.

— И, между прочим, заповедник детства,— осторожно произнес Рогинский,— для нынешних ребят тоже, они там и первую рыбку вы-лавливают и первый раз в реку входят.

Тучкова кинула на него благодарный взгляд. Все-таки какой-то особой силой обладали ее глаза, она полоснула Лосева сейчас мимо-ходом, и словно бы холодная тень упала на него.

— Заповедник, это правильно. Заповедник детства, там сохраня-ются воспоминания.

Лосев ел ржаную кокорку, запивал чаем, кивал не то чтобы со-гласно, но и не переча. Он думал, что купальни, которые построили за пристанью, так и не прижились, ребятня по-прежнему полощется в Жмуркиной заводи. А вот когда Жмуркину заводь займет филиал, те купальни окажутся в самый раз и все поймут, как предусматри-тельно занял Лосев тот участок, добился денег на расчистку берега.

— ...Должно ведь что-то в городе оставаться от прежнего, — го-ворила Тучкова.— Как старая вещь в квартире, тут не художественная ценность даже, а воспоминания, дорого как память.

— Как история, свидетельство прошлого, материальной культуры памятник,— сказал Рогинский.— Тот же дом Кислых.

— Постарался бы ты, Сереженька,— робко сказала тетя Варя.

Он вспомнил, как она стригла его однажды, подровняла ножница-ми челочку под бокс.

— Ах, тетя Варя,— он улыбнулся ей одной,— все это прекрасно — душа, заповедник. Но в инстанции с такими причинами не пойдешь.— Он даже развеселился, представив физиономию Уварова.— Это так, за столом, на фоне самовара и всякой древности звучит, а придешь в кабинет — предъявляя конкретно.

— Но если вы все это понимаете, так почему же они...— напря-женно составляя фразу, сказала Тучкова.

— Потому что я вырос тут,— резко сказал Лосев.— Это мое. А для них это чужое. Слыхали в школе Каменева? Да и не в этом дело. Вы думаете, что если вы мне душу растравите, значит, дело выиграно? А как я там дальше буду расплываться — не важно, не ваша забота. Вы свое сделали, забили тревогу, проявили эрудицию.

Поливанов сердито застучал ложкой.

— Ты это брось! Валить на нас! Ты благодарить нас должен. Мы ж тебе помочь хотим. Я что, у тебя на жалованье? Я за свои хло-поты ни денег, ни доброго слова не имею, твои чинуши меня вздорным стариком обзывают.

— Чем же вы мне помочь хотите? — спросил Лосев.

— Письмо написать. Хочешь — в область, хочешь в Москву. Как

скажешь. Подписи соберем. Депутатов, передовиков, старых коммунистов...

У Лосева щеки надулись, бровь поднялась. Такое смешное ребячье выражение появлялось на его лице в минуты самые напряженные. Поливанов, конечно, испытывал, но чем черт не шутит, со старика всякое станется. Коллективное письмо, да еще с ведома руководителя города, можно сказать с благословения... Вместо того, чтобы самому поставить вопрос перед инстанциями... Спросят — и правильно сделают.

— Пишите, ваше право,— сказал он и нагнулся, погладил кота, что ластился у ног.— А когда-то был у вас сибирский.

— Ангорский,— сказала тетья Варя.

— Да, ангорский... Только думаю, что письмо может все испортить. Аргументы у вас несерьезные. Опровергнут, и вопрос будет снят. Поливанов посмотрел на него успокоенно.

— Значит, в аргументах все дело?.. А я думаю, в желании! Ребром надо ставить, наверх идти, не бояться!

Мягкость Лосева его обманула. Казалось, на Лосева можно жать, он уступал, оправдывался, он был простодушен, покладист, как вдруг Поливанов с размаху налетел точно на камень. Это были твердость и сила, которые Лосев проявлял неохотно.

Он начал со вздохом. Начал приоткрывать всего лишь краешек, чтобы они увидели, сколько за этим еще всякого прочего, которое цепляется одно за другое, целая корневая сеть. Прекрасно, дом не сносить, Жмуркину заводь не трогать. А что прикажете делать со стройкой? Переносить? А куда? Где подобрать площадку? Такие перемещения, между прочим, нуждаются в расчетах. Подъездные пути, коммуникация, общий генплан развития. А как на новом месте здание впишется в профиль города? На каком расстоянии располагать от местожительства рабочих? Мало того — тем, кто утверждал проект в области, им ошибку надо признавать. А в чем ошибка? Просьба трудящихся? А другим трудящимся наплевать, им ближе на работу ходить...

Глаза Тучковой наполнялись сочувствием. Костик заслушался, непроизвольно кивая каждому доводу.

— Вот и поручи своим спецам,— громко, бесцеремонно продолжал напирать Поливанов.— Пусть подготовят аргументы. Ты-то сам для себя в принципе решил? — Он подождал чуть-чуть не для того, чтобы Лосев ответил. — А если решил, тогда выкладывай им на стол свои козыри! Тогда ты дратья обязан, ни с чем не считаюсь. Ни с какими неприятностями! Легкого пути тут нет.

И сразу из глаз Тучковой любопытство схлынуло. Обнажилась отчаянность, та самая, какая была в том разговоре с Каменевым...

— Болтовня! — жестко и резко сказал Лосев.— Аргументы не готовят. Их ищут, они или есть, или их нет. Честное дело надо честно решать... Эх вы, я-то думал — вы тут подготовили...

Все же он не стал с ними откровенничать, выкладывать свои опасения напрямую, до конца, говорить свободно, так, как говорила Тучкова с Каменевым. Не мог он сообщать тонкости отношений со строителями, с Уваровым. А еще была привычка следить за своими словами, взвешивать их, не говорить лишнего — то, что он годами упорно воспитывал в себе... Казалось бы, чего проще: признаться, что он сам еще не решил, какой линии ему держаться, а не решил он потому... Впрочем, он и сам себе не хотел признаваться. И сам с собой он недоговаривал.

— Очень вы нынче принципиальный человек, Юрий Емельянович,— сказал Лосев, подчеркнув слово «нынче», но Поливанов не

отозвался.— Со мной вы принципиальный. И задаром. Вот чем хвалитесь. Денег за вашу принципиальность вам не платят. Так? А мне, значит, платят. И я должен следовать вашему примеру уже в вышестоящих кабинетах. А если я вашему другому примеру последую?..— Он хмыкнул, откинулся на спинку стула.— Стану принципиальным по выходу на пенсию.

— Ишь, огрызается. Сдачи дает,— с неожиданным благодушием удивился Поливанов.

— А как же... Одно дело сочувствовать, жалеть, другое — решать. Мало ли что бы мне хотелось. Я бы стадион хотел построить... Есть еще такие вещи, как бюджет, как план, как занятость населения. При всем уважении к вашей деятельности, друзья-товарищи, для вас это, так сказать, хобби. Вы, Юрий Емельянович, ради удовольствия этими изысканиями занимаетесь. Полезно, не спорю, но прежде, насколько помню, со-о-всем другим занимались... Так ведь?

Поливанов не ответил. Неужто и в прежние годы он был таким же страшным кашеем, и тогда был в нем какой-то подвох, и тогда он подкалывал Лосева и выставлял его в смешном виде?

— До этого вы совсем иными делами увлекались,— повторил Лосев.

Он остановился, нарочно затянул паузу, чтобы все заметили, как Поливанов уклоняется от вызова.

Взгляды их столкнулись. Из темных впадин глаза Поливанова металлически взблеснули и спрятались. Чувствовал ли Поливанов опасность?

— Давай-давай, не робей,— сказал Поливанов.

— Церковь Владимирская, самый драгоценный памятник в округе. Так? — Лосев отпил глоток чая.— Четырнадцатый век и всякое такое. Помните, как ее в клуб превратили, потом начисто перестроили, обкорнали? Сперва послали ходатайство в Москву Калинин, чтобы, значит, закрыть церковь, потом, не дожидаясь разрешения, устроили антирелигиозный костер на площади. В каком это году было? Я, конечно, знаю, поскольку это год моего рождения. А что там жгли? Иконостас со всеми иконами, деревянные врата, все резное, редкой работы, иконы, говорят, были большой художественной ценности... В огонь бросали также древние божественные книги из этого же храма. Библиотека была замечательная, поскольку туда перенесли монастырские бумаги, когда монастырь прикрыли.— Лосев посмотрел на Костика.— Книги были там семнадцатого века, может и шестнадцатого, так профессора считают. А роспись, между прочим, была единственная.

— Откуда это известно? — недоверчиво спросил Костик.

— Эксперты обследовали. Заключение дали, что восстановить невозможно. Мы восстановить хотели, была у нас такая мечта... На суд общественности мы, правда, не выносили, вече не собирали.

Он обращался сейчас к одному Костику, тот мучительно морщил лоб, переводил глаза то на Поливанова, то на Лосева, пытаясь понять, что происходит.

— Ну и что? К чему вы это? — враждебно спросил он Лосева.

— А вы как-нибудь расспросите Юрия Емельяновича... Говорят, Юрий Емельянович, вас просили: «Оставьте, не жгите ихнее оборудование. Закройте церковь, но жечь зачем?»

— Мало ли что говорят! — Тучкова руки раскинула, как бы прикрывая Поливанова.— Зачем вы про это? Разве это что-нибудь меняет? Что ж вы переводите на другого?..

Тут Поливанов грохнул набалдашником палки по столу, да так, что ножи подпрыгнули, тарелки зазвенели, что-то упало.

— Не нуждаюсь! Сам оборонюсь! Молчи, Татьяна! Ты что меня защищаешь? От кого? От него?

Голос его срывался, переходя на хрип, на визг, словно сук попал под пилу. Опираясь на палку, поднялся, стал высоким, выше, чем раньше, и глаза высветились, побелели от ярости. Он стоял над Лосевым словно занесенный огромный колун, жажнет и рассчет пополам, в этот момент давние легенды про этого человека ожили.

— Не ему меня разоблачать! Меня на фу-фу не возьмешь! Мало-вато для Поливанова. Мои счета оплачены, товарищ Лосев. Вот папаша твой мог бы мне предьявить... Он, можно сказать, пострадал за свои идеи. У него идеи были. А у тебя какие идеи? У тебя сведения! Улики! Ха-ха, улики на Поливанова! Я-то гадал, думал, какой он, мой черед, грянет. Вот он, оказывается,— Серега Лосев! Эх ты, побирушка, насобирал щепок. Из них похлебки не сварить. Да и на них не сварить. Хоть и много их было. Я ведь могу все на себя взять. Я один остался и за всех отвечу. Да, так все и было. Слышите вы, правильно он изложил. Вполне у тебя добросовестные осведомители, Лосев. А вот сообщили они тебе, что дальше было? А? Шустрые они у тебя, да не умные. Они меня могли бы и сильнее принизить. При тебе ведь, или нет, ты отбыл уже, я ходить стал выпрашивать у старух церковные книги, иконы, бумаги старые. С того костра они тогда кой-чего повытягивали, спасли от огня. Книги, они плохо горят. Ходил, тридцать лет прошло, ходил по старым пням, кланялся, шапку ломал. Они покрепче тебя припоминали. Они меня, как кошку, тыкали в дерьмо: такой-растакой — сам жег, а теперь сам же просишь. Я винулся. Дурак, говорю, молодой был, не понимал. Я, комиссар Поливанов, я перед этими религиозными старухами каялся! Как блудный сын. Одни тешили, другие прощали, иконы давали, книги. Вот видишь, стоят обгорелые. Перед старухами каялся. А перед тобою и не подумаю. Ты, душа моя, из костра ничего не вытянул. Ни из одного костра... Какое ты право имеешь мне счет предьявлять? Ты что думаешь — вот, мол, какие варвары были? Стыдишься за нас?

Он поднял над Лосевым свою огромную костлявую руку с палкой, но Лосев смотрел в той же задумчивости, не шелохнулся, не отвел глаз.

— Знаю, осуждаете нас, открещиваетесь. Но, может, для того, моего, времени мы по-другому и не могли? Через огонь только и надо добывать истину новой жизни? Мне и теперь снится, как у того костра Алиса Андреевна, учительница моя, за руку меня хватала, потом на колени повалилась при всех, не постеснялась.

— Юрочка, не надо! — тихо, еле слышно простонала Варвара Емельяновна, тетя Варя, сестра Поливанова.— Ах, нельзя ему, Сергей Степанович, зачем вы его расстраиваете? Танечка, ты хоть скажи.

— Молчи, Варька!

Тучкова обняла ее, прижала голову ее к себе.

— Я ничего не боюсь! Я своей жизни не боюсь! — кричал Поливанов.

— Да прекратите же вы, Сергей Степанович... вы его убиваете,— проговорила Таня.— Слышите?

Лосев сидел каменно, не отводя глаз от Поливанова.

— ...Учительница, любимая, слезы лила, просила, умоляла не трогать икону чудотворную. На художественную ценность напирала. Чуть ли не кисти Феофана Грека. Не жечь чтобы. Чтобы отдать в музей, куда угодно, да только не в костер. На Луначарского ссылалась. На Покровского, который, между прочим, приезжал тогда в губернию, комиссарил у нас. Я отверг. Все ее слезы отверг. Дурман, объяснял я ей, и есть дурман, кто бы его ни писал. Сама

же нас учила, что все эти изображения — фантазия. Ах, какая это икона была! Мне порой снится, как я ее с маху в огонь и как Алиса Андреевна кричит. Эти, у меня, иконы — мелочь по сравнению с той. Ну, естественно, чудодейственная — это тоже подначивало. У них у всех вера была, темная, отсталая, а мы боролись с ней, демонстрировали храбрость, безбожье! Да, своя вера у меня была... Конечно, положение теперь другое. Человек меняется... Я тоже... Но, между прочим, это мы всего добились! А ты?.. Перед Алисой Андреевной мне стыдно, признаюсь, перед тобою — нет. Не тебе судить меня. Какое право у тебя? Ты на готовенькое явился...

Хорошо, что Костик подхватил его. Лицо его покрылось большими каплями пота, лишилось последних красок, он пошатнулся, опустился в кресло. Надежда Николаевна быстро накапала в рюмку каких-то капель, поднесла, Поливанов глотнул не замечая. Взгляд его, все внимание ушли куда-то внутрь. Что-то происходило там, и перед этим все остальное, что было рядом, отодвинулось, померкло. Глазницы его опустели, и словно бы смерть открылась в этой пустоте. Наступила тишина. То, что минуту назад казалось таким важным, что вызывало его гнев, что требовало борьбы, защиты, стало утекать, утрачивать смысл: чья-то правота, память о Жмурине, дом Кислых, упрек Лосева... Мнение людей, воспоминания, Алиса Андреевна, все такие огромные сроки — двадцать, пятьдесят, сто лет — все оказывалось одинаково мелким перед небытием, перед той пропастью, куда тащила его смерть.

Надежда Николаевна взяла его за руку, кивнула всем, и все заговорили, стараясь не смотреть на Поливанова, словно было неприлично замечать то ужасное, что происходило рядом. Они изображали непонимание. Только снизили голоса как бы специально, чтобы не мешать Поливанову прислушиваться... Если б это была боль, если б он кричал, они могли бы что-то делать. Но в том-то и дело, что они не могли ничем помочь, и им оставалось вести себя так, словно ничего не происходит. Единственным их средством была ложь. Против лжи смерть ничего не могла. Они лгали, притворяясь, что ее нет, что они не догадываются об ее работе.

Рогинский показывал Лосеву гибкую продолговатую книгу — французский каталог, — открыл на заложенной странице. Знакомая Лосеву фотография картины была неровно обведена чернилами, и сбоку было написано: «Астахов А. Г. 1890 г.» — и дальше какой-то номер выскоблен ножичком. Узнав, что каталог Лосев видел у вдовы Астахова, Рогинский выразил разочарование. К сожалению, никаких других примечательностей по дому Кислых не найдено. Нет сведений о посещениях этого дома какими-либо выдающимися деятелями литературы или искусства. Между тем именно на это рассчитывал Лосев. Судя по каталогу, о картине Поливанову было давно известно. А вот откуда и каким образом попал сюда каталог, об этом не знали ни Рогинский, ни Тучкова. Таня сконфуженно призналась, что ей как-то в голову не приходило поинтересоваться. Лосев обратился к тете Варе, и та, посматривая на Поливанова, припомнила, что, кажись, прислали книгу эту из-за границы. Кто? Да, наверное, Лиза Кислых, больше некому, младшая дочь Кислых, прислала уж после войны. При чем тут Лиза Кислых — про это тетя Варя отвечать не стала, а вот Астахова, как выяснилось из расспросов Лосева, видела, дома у него была, но об этом пусть лучше Юрий Емельянович расскажет.

Поливанов смотрел на сестру Варю откуда-то издалека. Он переводил глаза с одного на другого, стараясь вернуться в их разговор, и не мог. Словно глухой, искал он какую-то отгадку в их лицах, в

движениях губ. О чем они? О чем можно говорить? О чем стоит говорить, волноваться?

Он рисковал жизнью много раз и не боялся смерти. Но сейчас с ним происходило совершенно другое. Не было ни поединка, ни борьбы. Было умирание. Все внутри опустошалось, все теряло значение, не за что было зацепиться. Не все ли равно, что будет после него, если его самого не будет, и не будет уже никогда? Он смотрел на них с ненавистью и тоской.

— Вы не сердитесь на него,— шепнула Тучкова.

— Он сам завел.

— Вы как школьник,— усмехнулась она.— «Он первый». А ведь он потому, что обиделся на вас.

— За что?

— Вы же все это,— она обвела взглядом стол, папки, мебель,— считаете хобби. А у него мечта — музей создать. Для музея он и дом Кислых проектировал. А теперь...

Она смотрела на него ожидая, но Лосев ничего не сказал, отломил себе кусок сотов, ложкой поднял оттуда тягучий мед.

Соты располагались правильным узором, будто их штамповала машина. Чудно было представить, что их сделали неразумные пчелы. Лосев разглядывал это геометрическое изделие и позволял мыслям свободно раскачивать свой ум. Он думал о том, что и тысячу лет назад соты имели такую же форму и никакой, значит, архитектуры и смены стилей у пчел не существует, что, может, происходит это оттого, что пчелы доверились природе и она выбрала им самую совершенную форму для этого материала, для их организма. Строят себе и строят, не завися от моды. И ведь так строят, что лучше не придумаешь, без пересмотра норм, кубатуры...

Улучив момент, Надежда Николаевна сказала Лосеву с упреком:

— Вот кто святой человек. Как он страдает.

— Почему святой, он же атеист, коммунист,— устало и тупо возразил Лосев.

На это она иронично пыхнула папироской.

— Ну и что? Почему коммунист не может быть святым? Вы Евангелие, конечно, не читали?.. А жаль. Вы бы знали, что покающийся грешник дороже праведника. Он же каялся нам. Разве вы не поняли?

Лосев буркнул упрямо:

— Не разрушал бы — и каяться не пришлось бы.

На него смотрели как на виноватого, они все остались на стороне Поливанова. Возвращаясь домой, он вспоминал выстуженные глаза Тучковой, как она сухо попрощалась, даже Рогинский и тот остался разочарованным.

Мысленно он проверял себя — вроде бы держался он правильно, говорил убедительно, доказательно, а в результате он почему-то виноват и перед ними и перед Поливановым. В чем же его вина? А в том, что он здоров, что он начальник, что он ничего не обещает и хочет быть честным. Но хуже всего, что и сам чувствовал себя словно в чем-то уличенным.

Встреча с Поливановым кое-что напомнила.

Вообще-то Лосев жил, не оглядываясь на прожитое, не было к тому повода и потребности не было. Жил набегающим днем, делами, которых всегда невпроворот, поэтому и сколько-нибудь ясного мнения у него не было, что же это все значило — простое сцепление случайностей, которые образовывались из мешанины жизни и бросали его то вверх, то вниз и в прочие стороны, либо же среди этого хаоса имелась какая-то идея, судьба? И не слепая игра обстоятельств

и настроений его несла, а он сам и участвовал в создании своей судьбы, что-то имел в виду, какое-то общее направление?

А тут оглянулся и удивился, какие петли и зигзаги выделявал. Из отдаления некоторые поступки выглядели несусветными, загадочными. Особенно же поразило его теперь, спустя годы, первое его появление перед Фигуровским, то, чем обозначено было начало его нынешнего пути.

По каким-то неведомым соображениям, скорее всего по недоразумению, приезжее начальство попало на его участок мелиоративных работ. У него ничего подготовлено не было, и, как водится, один из трактористов был пьян, на костре из ветоши ребята коптили угря, словом — трудовые будни, и вдруг несколько машин с милицейской мигалкой впереди. Начальство было крупное, объяснения им давал главный инженер управления, а Лосев только отвечал на конкретные вопросы. Задавал их молодой красавец в кожаном пальто, главный лепил ему черт знает какую липу, а он кивал с умным видом, так что одно удовольствие было его дурачить. Лосев улыбался. И когда заговорил приезжий, он тоже улыбнулся совершенно неуместно. Улыбка эта привлекла внимание седенького невзрачного человека, который, оказывается, и был тут самым большим начальником. «Неужели и вы так думаете?» — обратился он к Лосеву, и Лосеву вдруг стало стыдно за весь этот спектакль.

В тот год Лосев кончил заочный гидротехнический, превратился из техника в инженера. По словам того же главного инженера, из него, как и из всякого заочника, получился инженер куций, «тот заочник хорош, у кого есть комплекс неполноценности, а у тебя, Лосев, никаких комплексов!». Заочный, очный — разницы для Лосева не было, важно, что он получил диплом и чувствовал теперь свое равноправие. Поэтому и заговорил. Что он при этом думал: что начальство стремится знать истину? что оно любит, когда его поправляют? Неизвестно. Некоторые, например, считали, что он хотел обратить на себя внимание. С другой стороны, делал он это слишком простодушно и невыгодно для себя.

Зачем осушать болота, если старые земли не ремонтируем? Лучше восстановить дренаж. Зачем строить агрогород с пятиэтажными домами?.. Москвич в кожаном пальто напомнил про устранение разницы между городом и деревней.

— А зачем ее устранять? — распалился Лосев. — Что у нас, земли мало?

Его стали дергать за пиджак, но тут седенький с плоско стертым личиком простуженно сказал:

— Продолжайте, молодой человек, если у вас есть что сказать.

Лосев рассердился: «Конечно, есть» — и стал говорить то, о чем говорили между собой все — и мелиораторы и строители. Про пятиэтажную дешевизну, которой подкреплял себя приезжий, так об этом еще Пушкин Александр Сергеевич предупреждал на примере попа, который гонялся за дешевизной и был проучен Балдой... Он строчил как из автомата, откуда что бралось, не заботился о последствиях, не замечал знаков, какие подавали ему районные начальники и Поливанов, который тогда был при должности.

Вечером его позвали к Фигуровскому, тому седенькому москвичу, который был самый главный. Не в пример районному начальству он обращался на «вы», задавал странные вопросы и все что-то выматривал полинялыми глазками. Вопросы были такие: что нравится в людях? за что надо увольнять с работы? какие недостатки у новых грейдеров?

В те годы у Лосева были еще пухлые щеки, веснушки, легкомысленная стрижка под бокс, из кармашка пиджака у него торчала логарифмическая линейка — для понта, — и тем не менее в этой неистребимой провинциальности, в этом оробелом наглеце Фигуровский что-то высмотрел, что-то он вылутил из самоуверенных его ответов-рассуждений, и вдруг, проглотив какие-то гомеопатические порошки, Фигуровский предложил пойти работать к нему в министерство, в Москву.

Следует отметить, что никакого ошеломления Лосев не высказал, он и бровью не повел.

— Спасибо, конечно, но по какому такому случаю? — осведомился он с некоторой подозрительностью, чем окончательно восхитил Фигуровского.

— Мне нужны отчаянные, благоразумных и умеренных хватает, а отчаянных недобор, — сказал Фигуровский.

«Отчаянный» у него звучало не похвалой, не порицанием, а как служебное качество. Министерство для Лосева возникло как желтобелое здание с зеленой крышей, что возвышалось над стенами Кремля, — он служил в армии и участвовал в параде на Красной площади, сквозь синий выхлоп газов со своего водительского места он смотрел на это здание, на боковые трибуны. Его поразило, сколько есть людей, которые имели право стоять здесь. «А не пора ли и мне, — сказал он тогда, — рога-то трубят, секундомер-то включен». И, сидя перед Фигуровским, он увидел то желтое здание под зеленой крышей, трибуны, Красную площадь, услышал, как запели рога, как хлопнули паруса, зачерпнув ветра, и синие птицы вспорхнули, задев его крыльями.

— Отчаянность — это еще не работа, — сказал он.

— Вы что, не хотите продвигаться?

— Хочу. Только мне прежде вес набрать надо. С одним рублем на базар не пойдешь. — И он улыбнулся Фигуровскому, а улыбка у него тогда была больше лица. Хмель победы кружил ему голову.

— Вы рассуждаете недальновидно. И не так скромно, как кажется, — сказал Фигуровский. — Это у вас от возраста. Вы полагаете, в аппарате нужны опытные, заслуженные. Они есть. Но им надо добавлять щепотку безрасудства.

На стертом, плоском лице проступали тонкие морщины, они вычерчивали ум властный, ироничный; обозначился нос с подвижными ноздрями, стала видна осанка, значительность, напоминающая старинные портреты. В молчании черты эти прятались, уходили куда-то вглубь, оставляя невзрачность, похожую на защитную окраску.

До поры до времени Фигуровский любил пребывать в тени. В нем уживались осторожность и непримиримость. Перед войной он сидел дважды, его выпускали, посылали руководить большими предприятиями до следующего конфликта. В самых сложных обстоятельствах он оставался щепетильно порядочным. О нем передавали истории странные, неправдоподобные — как он послал в следственный отдел своему арестованному заместителю телеграмму, поздравляя его с пятидесятилетием и перечисляя его заслуги, как на совещании строителей, когда Сталин подал реплику, что стахановцы превышают проектные мощности, поправляя инженеров, ответил, что это плохие инженеры, если их могут поправлять рабочие. Он был бесстрашен, говорили, что по нему можно было ориентироваться, как по Полярной звезде. Но зато в него можно было целиться и бить наверняка, как в неподвижную цель.

Все это Лосев узнал позже, сейчас же он беспечно отверг предложение Фигуровского; он отказался, не заботясь о будущем, уверенный, что подобных предложений будет немало.

Знал он или не знал о неприятностях, которые ожидали его сразу же, за дверью? В блеклых стариковских глазах Фигуровского загорелся интерес. Нерасчетливое поведение этого парня вызывало любопытство и уважение.

Уважение Лосев почувствовал, это был один из сладостных моментов его жизни. Никогда впоследствии он не жалел о своем отказе.

На прощание Фигуровский сказал:

— Старайтесь впредь сочувствовать тому, против кого вы выступаете.

Фразу эту Лосев запомнил, хотя понял ее много позже.

Спустя месяц его назначили заведующим стройотделом, а через год он стал заместителем председателя горисполкома.

Когда он прощался со своими мелиораторами, его опечалили слова бригадира: «Теперь тебе, Серега, больше не тянуть рычаги, землю не нюхать, водичку не угадывать. Отклеился ты. У тебя теперь не заработок, а жалованье пойдет. Придется вверх тянуться тебе, чтобы место под солнцем иметь».

Он тогда долго сидел на берегу, опустив руку в бегучую воду, перебирая пальцами ее струистые пряди.

Жаль было расставаться с гидравликой, прекрасной наукой о капризах воды, которую он успел чуть вкусить. Не было ничего проще воды и ничего прихотливей ее, ее завихрений, воронок, ее подземных царств с невидимыми реками, озерами. Она была такой разной, вода родников, канав, озер; живительная вешняя вода — не то что снеговая, иная, чем кислая вода болот или тяжелая вода оврагов. У каждой реки свой вкус, свой нрав, не поддающийся расчетам, лучше угадываемый чутьем, на ощупь, на вкус, по лику местности, по запаху травы. Он умел чувствовать воду. Была б его воля, он стал бы смотрителем реки, хранителем реки, он ухаживал бы за рекой, за ее подземными родственниками. Он жалел прошедшую турбины, перемолотую, обессиленную воду нижних бьефов...

Глава 8

Секретарша передала, что звонили от Поливанова, просили Лосева зайти.

— Некогда, — буркнул Лосев.

Через два дня принесли записку, где Поливанов собственноручно просил навестить не откладывая: «...ибо здоровьишко мое прохудилось окончательно, хочу же сообщить тебе кое-что полезное, пока языком могу ворочать, не то промычу, подобно Петру Первому, невесть что, оставив вас всех в полном неведении, на меня же не обижайся, лучше в обиде ходить, чем в обидчиках...»

Написано было славянской вязью, шутейно, на старинной гербовой бумаге, и Лосев подумал, что все же в городе у них такой Поливанов один, умрет он — и ничего уже похожего никогда не будет и не повторится.

И все равно идти не хотелось. Догадывался, зачем зовет. Представлял, что Поливанов потребует заверений насчет музея, обязательно про свое завещание, про наследство, опять про дом Кислых заведет. Но не пойти было нельзя. Почему нельзя отказать Поливанову, почему последняя воля человека, уходящего из жизни, — закон, это-

го Лосев не знал, но в этом законе он вырос, никогда над ним не задумывался и, как бы ни противился, нарушить его не мог.

Он застал Поливанова в саду, на скамейке, перед беседкой. Поливанов выглядел на этот раз лучше, щеки его порозовели, был он подстрижен, крепкий запах одеколona словно придавал ему бодрость. Лосев был даже как-то разочарован, словно его обманули. Сидел Поливанов лицом к солнышку, в высоких калошах, защитного цвета ватник на плечах. Лосева он усадил напротив себя на плетеный стул, в тень, и сразу же заговорил, как бы боясь, что Лосев уйдет. В прошлый раз нервы помешали, сорвался, унесло их обоих, не рассчитал, не привык больным себя чувствовать, врачи просят силы беречь, а для чего? Говорил быстро, стараясь скорее кончить о болезни, о смерти, но опять натякался на безответные вопросы. От этого сердился, увязал еще сильнее, потом выругался, закрыл глаза, замолчал, откинув голову. На морщинистом кадыке блестели невыбритые седые волосы. Какая-то зеленая букашечка ползла между ними.

Лосев украдкой посмотрел на часы. Можно было тихонько подняться, пройти в дом к тете Варе, пусть старик отдыхает, заеду, мол, в следующий раз как-нибудь... На неподвижном лице Поливанова лежала сквозистая тень соломенной шляпы, старомодной шляпы с черной ленточкой. Такая же шляпа была когда-то у отца. До войны носили такие шляпы.

Об отце Лосев вспоминал редко. С детства привык к тому, что все родные считали отца человеком пустым, неудачником, и мать страдала от него и часто плакала. Туманные идеи отца, его философствования вызывали опасения, в чем там суть, никто не допытывался, но понимали, что не то, не то. В райкоме комсомола предупреждали Лосева насчет идейной путаницы у отца и поповщины. Потом отец запил, его перестали принимать всерьез, да и Поливанов брал его под защиту. Пока еще отец с ними жил, Поливанов выговаривал отцу за сына и Сергея предупреждал: не давай себе мозги запудривать...

Поливанов открыл глаза и сказал:

— Не ушел? Значит, понимаешь, что плохи мои дела. Скажи, Серега, почему помирать неохота? Ведь все равно придется, закон, а бунтую. Не дожил я до жизненной усталости. У меня голова кипит. Я бы мог... самая у меня спелость. Несправедливо это. Почему кончаться жизнь должна, если я не хочу? Все думаю, как бы задержаться. Как бы схитрить. Думаю: если секреты свои все выложу, тогда конец! Не за что зацепиться. А если придержи? Хлоп— и не успею, так и очокурюсь. Опять же думаю: рассказать все, о чем молчал, поделиться — а с кем? Серега, можешь ты дать мне выступить? Уважь напоследок. Погоди, не отвечай, я тебе за это...— не пожалеешь. Я тебе все чего хочешь. Все отдам. Хочешь, у меня есть тетрадка с записями твоего отца, Степана Иустиновича? Я у него брал почитать, да не отдал. Нарочно не отдал. Хочешь? А за это устрой, чтобы я выступил. По радио. Чтобы включили большие репродукторы на площади, как Первого мая. И чтоб весь город слышал. Ты не бойся, ничего вредного от меня быть не может. Я про себя хочу. Все равно как на юбилее. Дали бы на юбилее мне слово? Можешь сделать мне такое одолжение сейчас, ни с кем не согласовывая?

— Отчего же, вполне, только как-то обставить это надо. К дате какой-нибудь...

Поливанов наклонился, всматриваясь в глаза Лосева.

— Врешь. Отговориться хочешь. Знаешь, что у меня сейчас одна дата...

— Бросьте, Юрий Емельянович, вы всех нас переживете.

— Врачи тоже мне говорят... Может, не брешут.

Взгляд его скользил неуловимо, Лосев никак не мог сверить свое ощущение: притворяется Поливанов, знает он о смертельной своей болезни, цепляется за врачебную ложь? Не раз позже Лосев пытался понять, что это было. Все вокруг Поливанова делали вид, что он выздоравливает, строили с ним планы насчет музея, и он сам охотно участвовал в этом обмане. Кто кого утешал? А может, так и надо было? Может, так было легче? Может, так человек продлевает жизнь?

— У меня речь продумана. Я бы изложил, как все было. Без снисхождения. Кушайте. Поперхнулись бы. А потом зато бы проняло. Как доставалось. Конечно, теперь не тот интерес. Это ведь про родителей. Про дедов. У вас нынче свои тенета. Моя команда не дождалась. Тебе вот неинтересно?

— Почему же,— сказал Лосев,— можно прислать сюда с магнитофоном корреспондента. Запишут. Потом пустят по радио.

Поливанов помолчал, посмотрел свою руку на свет.

— Дай честное слово.

— Даю.

— Вот и опять врешь. Потому что любая шмакодавка может тебя застопорить. Скажут: кому это надо?.. А ведь кому-то это надо. Для кого-то это было. Тебе неинтересно, вижу. Сидишь тут, потому что боишься проклятия мсего. Не бойся, тетрадь отцову я так отдам. Задаром. Позови Варьку... Нельзя, душа моя, откладывать, ничего уже нельзя откладывать. Я всегда думал, что успею сделать что нужно. Привык. Каждый день солнышко вставало, я умывался, брился, все повторялось, знал, что и завтра будет то же. Ан нет. Ничего не повторяется, слышь, Серега, ничего! — Он сердито уставился на Варю, которая появилась с полотенцем через плечо. — Ты чего? Я же приказал никого... Ах да... папку ему принеси, где написано «Лосев». Приготовлена она. Иди. — Он посмотрел ей вслед. — Вот ее взять, кричал на нее, замуж не пустил, все думал — потом займусь, устрою, подыщу... Завтра, завтра, а где оно? Думал, что успею поразмышлять, зачем жил, как жил. Сомнения свои тоже откладывал... Мне ведь и сказать-то на площади нечего. Копил, копил, а заглянуть внутрь — и нет ничего, труха. Истлело, ничего не осталось. Сразу надо было. Хорошего дела нельзя откладывать. Не думал я о смерти. Словно бы бессмертен. Ты разве к смерти готовишься? Тоже живешь ровно бессмертен. Это у всех нынче. Как болезнь. Боимся готовиться. Поскольку там ничего нет, то боимся подумать. Мы, безбожники, верим в бессмертие свое, а верующие, те, наоборот, смертными себя считают, готовятся. Понимаешь, как вывихнулось. — Он придвинулся на край скамейки, схватил Лосева за руку своей влажной холодной рукой. — Нехорошо ведь будет, а? Стыдно, а?

— Что стыдно?

— Если я в откровенность пушусь. Выходит, пока здоров был — помалкивал, таился. Подумают, что боялся, стыдился. Теперь вот заговорил, когда уже все нипочем. Это разве человека достойно? И ведь не докажешь, не объяснишь, что не от страха молчал и не от страха заговорил... Нет, не буду. Как жил, так пусть и идет до конца, не поддамся. Не буду исповедоваться перед тобой, да ты и не поп.

— И правильно, что не будете,— сказал Лосев.— Исповедь для тех, кто в бога верит. Они как бы очистку в космос производят, удаляют туда всякий мусор... Расскажут — и вроде как переложат на

другого. В данном случае на бога. А если не на кого? Это от трусости. Юрий Емельянович, может, лучше вам врача хорошего?

На врача Поливанов плечом дернул, а на остальное сказал:

— Шути, шути, думаешь, она далеко? И с богом не так просто. Ох, скоро, Серега, вспомнишь меня. Жизнь короче, чем тебе кажется. Глянешь однажды — никого кругом нет...

Папка, что принесла тетя Варя, была старая, затрепанная, с красной надписью «Уездный народный суд». Надпись перечеркнута, под ней химическим карандашом красиво выведено: «Лосев Степан Иустинович».

Поливанов, сердито дергая тесемки, развязал, вытащил тонкую ученическую тетрадку, под ней листки. Прочитал верхний, сунул в карман.

— Это тебе ни к чему... Бери, считай, что ничего не должен.

— А корреспондента прислать?

— Освобождаю.

— Чего ж так?

— Передумал. Поздно, душа моя. Да и с какой стати переиначивать? Ты еще не оглядывался на свою жизнь. А когда оглядываться станешь, увидишь, что она не бессмысленна. Она в итоге узор какой-то выведет. А нам, Серега, только под конец виден он. И то... Если следить, Серега, то она все время знаки подает, жизнь-то. Чувствовать только надо. А у нас все закупорено. Все сосуды. Алиса Андреевна тогда прокляла меня. Я посмеялся. Известное дело — пережитки прошлого. Простил. Хотя мог бы за такие выпады... Я почему давеча осердился на тебя? Потому что не умеешь ты вникнуть. К примеру — мог я это проклятие ей припомнить? А я, когда помирала, прощения ходил просить. Простила. Понимаешь — она простила! Это мне знак был!.. Причащали ее... Церковность это, но все же готовили человека к смерти. Уважали прожитое. А теперь зубы заговаривают, отвлекают, чтобы на ходу спрыгнуть, почему так?..

Из дома послышались голоса, среди них высокий голос Тучковой, и Лосев захотел уйти, встал, чтобы распрощаться, вместо этого остался стоять, раскрыл тетрадь.

Почерк у отца был мелкий, печатно-ровный, Лосеву вспомнилось, что тетрадок таких было множество, писал их отец по ночам на кухне, густо дымя махоркой.

Страницы были исписаны сверху донизу, и поля исписаны, и сияняя обложка была исписана. Лосев не читал, перелистывал, он стоял за креслом и, когда подошла Тучкова, сказал:

— Вот вызвал меня Юрий Емельянович, выступать хотел по радио.

Поливанов сдвинул лохматые седые брови:

— Зачем ты? Я ж тебе сказал, что передумал. Отменяется. Представление отменяется. Уходите. А ты чего явилась? Я просил не пускаться ко мне. Ступайте оба.

Лосев нахмурился, но Таня расхохоталась как ни в чем не бывало, опустилась в кресло и стала рассказывать про экскурсию, которую только что провела. Лосев удивился бесстрашию, с каким она своевольничала, не обращала внимания на грубости Поливанова, его окрики.

Таня жаловалась, что опять донимали ее расспросами: зачем Астахов приезжал сюда, сколько жил он тут и чем его привлек этот дом.

— Между прочим, картину у нас на выставку просят. В Ленинград. Бумага пришла. На октябрь месяц. Как вы скажете, Сергей

Степанович? — Она запрокинула к нему голову так, что солнце высветило ее глаза и полуоткрытый рот, влажно-розовую его глубину. — Я без вашего разрешения не могу.

— Ишь ты, — сказал Поливанов. — Хозяин! Попечитель искусств нашей главдыры...

— Юрий Емельянович! — строго сказала Таня. — Картину-то кто привез?

— Известно это всем, известно... Может, и мне прикажешь ему поклон бить? — Он стал смотреть вниз, на землю, и вдруг вздернулся: — Не дождешься!

— Я вас хотела попросить, Сергей Степанович, давайте свозим Юрия Емельяновича картину посмотреть, а?

— Конечно, обязательно, — обрадовался Лосев.

— Ты бы хоть меня спросила... Не поеду я.

— Почему? — удивилась Таня.

— Тебя на свете не было, когда я видел ее.

— Здесь видели? — спросил Лосев. — При Астахове?

— Хотя бы при нем... Считаю, сорок лет назад, — сказал Поливанов. — Все равно не хочу! — Он помолчал с вызовом. — Между прочим, ты, Татьяна, преклоняешься перед Сергеем, а картину эту спас я!

— От чего спасли? — воскликнула Таня.

— Мы ведь не только разрушали. Мы еще и спасали.

Таня обеспокоенно передвинула кресло так, чтобы сидеть между ними, она опасалась новой стычки, но любопытство пересилило и она накинута на Поливанова с расспросами. Он отвечать не торопился.

— Если б не я, не было этой картины в России.

— Почему ж вы раньше молчали? Как это было? А Ольгу Сегафимовну вы знали?

Чтобы помочь ей, Лосев недоверчиво пожал плечами. Недоверие лучше всего заставляет выкладываться. Не следует показывать своего интереса. Не веришь, слушать неохота — это-то и подстрекает рассказчика. Поэтому Поливанов обращался к Лосеву, его хотел поразить тем, как Астахов приезжал в Лыков в тридцать шестом или тридцать восьмом году по особому делу. И до этого он бывал где-то поблизости, в двадцатых годах, можно уточнить. Все можно уточнить, лишь бы знать, что именно, лишь бы иметь зацепочку. В этот его приезд Поливанов и познакомился с Астаховым. Мужчина был видный, однако безалаберный, поведения неизъяснимого, мог во время ответственного разговора, неприятного для него разговора, отключиться и рисовать на бумаге собеседника. Расстраивался и рисовал. Расстраивался, в частности, из-за этой картины. Взаялся он за нее по причинам несерьезным, даже неумным для того времени, да еще и в секрете держать не умел. Впрочем, секретов от него, Поливанова, быть не могло.

Бескровные губы растянулись, придав лицу выражение неприятно-упорное, так что Лосеву припомнились давние раскаты каких-то жестоких и романтических историй, которые донеслись к Лосеву обрывками, а Тучковой, поди, и вовсе не достигли.

В молодые годы Лосева Поливанов с кем-то боролся, выступал страстно, смело, чем и привлекал молодежь. С чем и с кем они боролись? Теперь забылось. Помнится ерунда, как под водительством Поливанова сменили название кинотеатра «Форум» на «Подъем» и ресторан «Олимпия» на «Волну». Так и остался «Подъем» до нынешнего дня.

Незаметно возник Костя, оранжевая рубашка с английскими

надписями, медный браслет на руке. Присел поодаль на корточки, слушал Поливанова с грустью. Лосев подумал, что все окружение Поливанова, издерганное его капризами, придавленное его властью, все они после смерти Поливанова разъединятся, заживут каждый по себе и как о чем-то хорошем будут вспоминать свои споры, возню со старыми бумагами, приходы в этот дом, где обитала эта яростная сила, тяжкая, злая, возвышенная, умная и ни на что не похожая, идущая наперекор, вызывающая раздражение, досаду, свежие мысли.

Глядя на Костика, Лосев тоже пожалел исчезающую поливановскую жизнь. В чадащем, догорающем этом огарке был памятный Лосеву жар поколения, которое начинало революцию. Никого из них почти не осталось в городе. Разве что старик Вахрамеев, который в день Парижской коммуны упрямо вывешивал на балконе красный флаг. Они бились с мировой буржуазией, здесь, в Лыкове, они вели классовую борьбу, непримиримую, кровавую, ожидая коммунизма через три, пять лет, они прислушивались и слышали, они явственно слышали раскаты революции пролетариев всего мира.

С ними было трудно и утомительно, они были грубо прямолинейны, многословны, они не считались с законами, для них не существовало «можно» и «нельзя», они признавали «надо» и «не надо» с точки зрения всей партии или всего трудящегося человечества.

Голос Тучковой вернул его внимание:

— При чем тут Лиза Кислых?

— Сказывали, что-то было у них.

— Вот это да! Роман? Любовь? У кого бы узнать.

— Мало ли ахиною какую несут.

— Это очень важно, чтобы понять его творчество. И нашу картину. Тогда многое прояснится. Может, у них произошло что-то трагическое. Астахов красавец был. И талант! — с гордостью сказала Тучкова.

— Да вокруг нее таких красавцев, как твой Астахов, было что комаров под вечер. Головы она кружить умела. Подождет и смеется. Знал я все ее пожары.

— Это откуда же? — не вытерпел Лосев, чем-то заинтересовавшись.

Поливанов посмотрел на него, взгляд его загустел.

— Услыхал? Отцом родным не зацепить было, так хоть тут...

— Юрий Емельянович! — сказала Тучкова. — Зачем вы?.. Ну что вы себя переворачиваете? Вы же не такой.

— Такой, такой! Лучше такой, чем никакой. Я ведь для них уже никакой. Нет меня. Медаль юбилейную кому только не давали. А Поливанов что, недостойн? Не наградили. Забыли.

С прошлого года, значит, лелеял свою обиду: обошли медалью. Людское тщеславие доставляло Лосеву, наверное, больше всего неприятностей. Но здесь поражаало другое: на краю могилы стоит человек, чует неземной ее холод и забыть не может про медаль, ни от чего отказать не хочет. Как это соединяется в человеке?

Тучкова поднялась и стала рядом с Лосевым, опираясь на спинку кресла. Уступая теплу ее руки, Лосев сказал:

— За такие сокровища, какие вы тут собрали, вам, Юрий Емельянович, орден надо, а не медаль. Мы исторический музей сделаем. Всех привлечем. Лучший в области!

— Где ты его сделаешь? — с тоской спросил Поливанов.

— Да здесь.

— Разве здесь уместить? Да и гнилой этот дом.

— Новый построим. По проекту.

— Зачем строить,— сказал Поливанов.— Лучше дома Кислых не выстроишь. Прошу тебя, Серега, сохрани дом!

— Может быть, все может быть,— сказал Лосев.

Он вдруг загорелся, разжег себя, разжег и остальных, как это он умел. Портрет Поливанова будет висеть у входа. Основатель музея. И вся история создания будет изложена. Как Поливанов собирал коллекцию, материалы. Архивное помещение будет. Библиотека. Диорама...

— Можно макет города изготовить. Середина прошлого века,— покраснев, сказал Костик нахальным голосом.— Все материалы собраны.

— И обязательно чтобы в музее были вещи прошлого,— сказала Тучкова и сняла свою руку.— Глиняная посуда, лампы, вывески, ухваты. Чтобы люди разницу жизни видели. Необязательно хорошую — и плохую разницу пусть видят...

— Свистульки, гребни деревянные,— добавил Костя.

— Шапы, трости.— Лосев тоже подхватил эту игру.

— Чернильницы, бритвы!

— Гамаши!

— Гамаки!

— Календари!

— Вывески, меню, открытки,— сказал Лосев.— Кстати, открытки подберите мне, старые, я договорился с Каменевым, отпечатаем набор сувенирный.

— Почтовые ящики, литографии,— сказала Таня.— А что, она красивая была?

Поливанов прищурился на солнце.

— Коса у нее была до полу. А волосы такие, как клены осенью.

Костик выразительно присвистнул.

— Мы все ходили влюбленные в нее,— говорил Поливанов.— Валяйте, спрашивайте, чего хотите. Все отвечу. Эй, зови Варьку, зови всех! — закричал он слабым, но еще по-старому властным криком.— Налетайте! Раздаю! Кому чего, кому мыльца, кому шильца, кому рыбью доху!

На крыльце появилась тетя Варя, за ней какая-то старуха. Выцветшие глаза их смотрели без осуждения, без любопытства. Когда-то они о многом захотели бы спросить Поливанова, но все давно отгорело. Сейчас им важнее представлялся его покой, только в покое можно было наслаждаться теплом этого чистого неба, запахами цветов, трав, гудением шмелей... Это была та благодать, которая давалась человеку под конец жизни, и они не понимали, чего мечется Поливанов, вместо того чтобы вкушать покой и красоту, какие предлагал ему этот мир. А Поливанов притоптывал галошей, дергался, требовал соседей, народу, народу ему хотелось. Костя готов был бежать, звать, Лосев чуть подтолкнул Тучкову — ну спрашивайте, чего же вы, вам же это по делу надо,— и она попросила рассказать, каким образом Поливанов спас картину Астахова.

— За границу, за рубеж хотел отправить ее твой Астахов, вот и пришлось мне останавливать его.

Отвечал Поливанов обрадованно и все хотел еще вопросов про других людей, про времена нэпа, про пятилетку, когда пустили первый электровоз и объявили путейцев вредителями, но Тучкова упорно возвращала его к Астахову — куда за границу послать картину? кому? зачем?

— Да в утешение Лизе Кислых. В подарочек. На память о родных местах. Она в эмиграции ностальгией мучилась. Астахов и пожаловал к нам зарисовать. У них связь поддерживалась. Навестил, будучи в командировке.

Может, на их лицах он что-то заметил, потому что вдруг погасил угрожающий голос, сказал, оправдываясь:

— По нынешним временам, конечно, это ничто, а тогда учитывалось строго.

Он не помнил, что за выставка была, с которой ездил Астахов, и зачем, помнил он другое — что бабка Лизы Кислых была француженка, где-то они там, во Франции, домик имели, братья Мозжухины к ним ходили, артисты были такие известные, потом в эмиграции оказались. Не следовало Астахову туда соваться.

— А если Астахов любил ее, как можно запретить?

— Ты, Татьяна, рассуждаешь ровно моя жена-покойница. Мало ли кто кого любил. Тут, душа моя, выбирай. А выбрал — все.

Тучкова слушала его с недоумением.

— Что значит выбирать?

— А то: либо с нами, либо с врагами, то есть белоэмигрантами.

— При чем тут белоэмигранты! — воскликнула Тучкова. — Мог он подарить свою картину, вы понимаете — свою, собственную, жеманнице, которую... любил? Какое было ваше дело?

— В тех наших делах ты, Татьяна, дите. Нельзя было. Расценивалось как пособничество врагам. Строго? Так и время строгое было.

Поливанов отбивал ее наскоки играючи, радовался своей силе, видимо, не ждал, что сумеет так просто справиться. Шляпу сдвинул на затылок, раскраснелся, с возбужденным нетерпением оглядывался вокруг и особенно на Лосева, жаждал чем-то поразить его холодную недоверчивость. Недоумение Тучковой усиливалось, уверенные ответы Поливанова совершенно сбивали ее с толку, но Лосев никак не приходил ей на помощь, словно бы и не замечал ее немого призыва; странное напряжение было в его позе, в наклоне головы, словно помимо того, что говорил Поливанов, слышалось ему что-то другое, плохо различимое.

— Что ж вы меня про главное не спросите, — сказал вдруг Поливанов, — как удалось мне?..

— И так ясно, чего спрашивать, — прерывая его, сказал Лосев и быстро, с силою засунул в карман свернутую тетрадь.

— Да что тебе ясно, что именно? — с напором потребовал Поливанов; может, рассчитывал, что Лосев отступит, смутится.

Однако Лосев ответил равнодушно, уводя взгляд в сторону:

— Сообщили куда положено, ему и отменили командировку — так ведь делалось?

— Ишь ты, как у тебя просто! — воскликнул Поливанов, обижаясь и торжествуя. — Да сделай я так, от него пух и перья полетели бы.

Из его слов выглянуло время — раскаленное, неожиданное, когда приходилось взвешивать каждое выражение, тем более в бумагах. Возвращался к тому времени Поливанов с удовольствием, как к пережитым с честью опасностям, там были такие сложности, о которых все позабыли, понятия не имеют, но Лосев перебил его, чуть морщась, словно придавливая окурок, попросив лучше рассказать, как картина во французский каталог попала.

— Почему ж это лучше? — вскинулся было Поливанов, взгляд его, однако, загорелся, неуловимо тонкая усмешка прошла по губам. — Мне каталог этот Астахов преподнес. Так сказать, в пику. Я ведь посетил в Москве его мастерскую. Но я ему простил...

Тучкова вдруг повторила высоким голосом:

— Вы простили!

— Преподнес и выставил меня. Да, простил я его, что с него взять. Критиковали его в то время уже крепко. Он на личную почву

перенес. А картину, наверно, иностранцам показывал, они и перенесли.

— Значит, из-за всей этой истории у него начались неприятности? — тем же высоким бесцветным голосом спросила Тучкова.

— Я его предупреждал: уступи, введи какую-нибудь современность.

— И за то, что он вам не уступил... — Тучкова вскочила, сделала несколько шагов прочь, повернулась, песок визгливо скрипнул под каблуками. — Да как вы решились, Юрий Емельянович, подумайте, что вы могли ему советовать, такому художнику, его только слушать надо было, запоминать, ведь вам такое счастье выпало...

— Погодите, Таня, — сказал Лосев. — Все нормально. Зритель свое мнение может высказать, значит, посоветовали ввести приметы современности.

— Ну там трактора, допустим, пионеры, не помню уж.

— Пионеры... — повторил Лосев. — Юрий Емельянович, а была я тогда, то есть мог я видеть Астахова?

— А почему нет? Астахов сидел на берегу, работал, мальчишки там вертелись. К примеру, отец твой определенно там болтался.

Лицо Лосева мгновенно затвердело, словечко это хлестануло его неожиданно больно, он-то знал, что оно сорвалось не случайно, а потому, что тогда было прилеплено к отцу.

Тучкова посмотрела на него, улыбаясь:

— Не могу представить вас мальчишкой.

Улыбка вышла напряженной, но все равно он был благодарен за эту поддержку.

— Ты, Танюша, напрасно меня... Я был выше личных счетов, — говорил Поливанов. Белые лепестки жасмина кружились в воздухе, слетали на ватник Поливанова, на соломенную его шляпу. — Астахов это не понимал. Он сводил на личное. А у меня к нему что? У меня принципы! Я не для себя. Меня идея толкала. До этого мы с ним вполне дружески. На рыбалку ездили. Он меня научил шашлыки из осетра делать.

И Поливанов, прикрыв глаза, стал описывать, как пел песни с Астаховым, бас был у Астахова не сильный, но почти на две октавы. Сам он косолапый, широкий, лохматый, как леший.

Подробности эти Тучкова подхватывала жадно, боясь пропустить, спугнуть. Кремневый характер у старика, удивился Лосев, столько знал про Астахова и словом никому до этой минуты, даже Тучковой, своей любимице, не обмолвился, не похвастался.

— При таких отношениях тем более нельзя было... на него... — вдруг пересохшим от молчания голосом произнес Костя.

О нем как-то позабыли. Он сидел на корточках, свесив длинные руки в медных браслетах, покачивался взад-вперед, лицо у него стало неприятно-надменное.

— Что нельзя было? — грозно спросил Поливанов.

Костя прищурился, не ответил.

— Ты молчи, — сказал Поливанов. — Ты понять должен стараться. У тебя своего направления нет, как ты можешь судить, ты спрашивай, вникай.

— Но это же не ответ, Юрий Емельянович, — тихо и серьезно сказала Тучкова.

— А ты, вникающая, знай, что Астахов, несмотря на свой талант, человек был отсталый от классовой борьбы. Либерал. Хуже нет либералов. Чистить и чистить ему мозги следовало. К примеру — высказывался против индустриализации, против автомобильного транспорта. Я ему прощал как художнику. Шутка сказать. С ним и в Мо-

скве нянчились, опекали его... А других за это... Эх, никогда вы нашего времени не поймете!

— Не любили вы его,— с какой-то сокровенной настойчивостью проговорила Тучкова.

— А за что я любить его должен? Чем он помогал нашей жизни? Нашей реконструкции?

Тучкова присела перед Поливановым, взяла его за руку движением горячим, сочувственным.

— Ну при чем тут реконструкция? Вы ревновали! Сознаться — вы из ревности? Из ревности можно на что угодно пойти.— Умоляющая горячность ее была чрезмерной, с каким-то нервным упорством она настаивала, она выпрашивала подтверждения.

Поливанов погладил Танину руку, покачал головой. Белые лепестки посыпались с его шляпы. Он походил сейчас на кроткого старца, вразумляющего неразумную паству, да так, чтобы бережно, чтобы не огорчить, не опечалить.

— Тут, если хочешь, душа моя, наоборот получилось. Я в Москве в мастерской его первое что увидел — портрет Лизы! Открыто висел. Какой портрет! Не боялся он, значит. Не отрекся. Достоин уважения. Верно? За то, что не прятал любовь свою. По-мужски. Нет, благородство, оно действует! Я вам так скажу: если благородство не действует, значит, у человека нет ничего внутри. Значит, сгнило все, значит, подонок. Вот правду взять. Какое действие правда оказывает? Пашков, например, отец Петьки Пашкова, он стрелял в меня! Кому это надо знать сейчас? Если правду вам изложить, всю как есть, про твоего отца, про тебя тоже, про этого, ишь раскачивается... Полезна она или вред от нее? Почему люди правду человеку в глаза не говорят? Так и проживет он, не узнав, что они думают. Вот я — так и не знаю, какой мой образ среди людей сложился. Никто мне никогда не сказал. Боялись? Конторщики твои думают, например, что я склочник, такое они имеют впечатление. Верно? Может, я у них злодей? А я и не узнаю...

Говорил он задумчиво, но было в словах его и некоторое предупреждение, впрочем пренебрежительное.

Солнце припекало. Поливанов снял шляпу, помахал ею.

— Все отвлекаюсь. Много хочется сказать, сколько прожито... Молчал, молчал, а теперь не успеть. Про что ты вела, ах да, на ревность ты гнула. Нет, душа моя, не ревность, а жалость. Слабый он человек, вырвать не мог ее из сердца. Вот и отравил себя.

— Так почему он вырвать должен был? — воскликнула Тучкова.

— А я почему должен был? А? Так надо было, душа моя. Как уехала — всё! Иначе бы я не мог честно выполнять долг свой. Не даром поется — отряхнуть его прах с наших ног. Нельзя старого было оставлять в душе. Отряхнуть! Мне труднее было. У него таких романов много, да я и не сравниваюсь. А вот выгнал он меня как полный враг. Вытолкал меня. Сунул каталог, обозвал и пожалуйте вон. Меня, конечно, не вытолкаешь. Но я простил. Я бы мог его... Обозленный он уже был. Я до личного не опускался, я не позволял себе. Я его по идейным мотивам застопорил.

— Вы оба были влюблены в нее, в этом все дело! — произнесла Тучкова настойчиво и громко, слишком громко.

— Жила б она, допустим, в Москве, я бы ревновал. Может, вся моя жизнь по-другому бы пошла. А так она была для меня уже чуждый человек. Женился я. Конечно, Елизавета уехала девчонкой, она ни при чем. В войну, говорят, вела себя правильно...

— Вот видите,— мстительно обрадовалась Тучкова.— Может, Ас-

тахов чувствовал. Художники чувствуют лучше нас с вами. Нет, нет, Юрий Емельянович, вы не должны так рассуждать, ведь это ужасно!

— ...Наглядная диалектика истории,— не слушая ее, размышляя Поливанов.— Все меняется! Тогда что же, если все меняется, а, Серега? Вчера считалось плохо, сегодня — хорошо? — Он обеспокоенно смотрел на Лосева.— Вчера — борьба? Сегодня считают, что это было разрушение, разорение? Пересматривают. Историю! Но ведь жизнь-то не переиграешь. А историю эту кто делал? Я! Значит, и меня по другой расценке пустят. Жизнь мою, а?

Таня поднялась. Загорелое лицо ее стало бледнеть.

— А его жизнь? — вдруг закричала она. Какая-то ветка мешала ей, она рванула ее так, что в кустах затрещало, ломаясь.— Может, это из-за вас подвергся он, все беды у него из-за вас пошли?

Поливанов сидел неподвижно. Солнце высветило седой пух на его голове, сияние окружило его серебристым нимбом. Он слушал Таню с печальным вниманием.

— Несправедлива ты. Как специалистка понимать должна, что его бы и без меня подвергли. Не в русле он. Прежде всего он сам себя поперек поставил.

Тучкова головой замотала несогласно, кулаки сжала, отвергая, отталкивая, зажмурилась, слышать не желая.

— Вы-то какое право имели? Вы! Я про вас понять хочу. О вас речь! — Она прорывалась сквозь его отрешенность.— Картина-то астаховская была, его собственная, он послать хотел свое и не кому-нибудь... Боже мой, да почему вы своей вины не чувствуете?

— А ты, душа моя, по результатам проверь. Пусть по закону я не прав. Но в главном-то оправдалось. Можно сказать, для вас же, для тебя, душа моя, старался.— Из груди Поливанова вырвался хриплый большой смехок.

Костик свистнул остренько, по-птичьи, с каким-то наглым значением. Плечи Тучковой опустились, она не глядя, словно слепая, стала отступать, толкнулась плечом о Лосева, так что ему передалась мелкая дрожь ее тела. Он приобнял ее, успокаивая, но наспех, поглощенный своим интересом:

— Вы, значит, Юрий Емельянович, считаете, что все так и должно было быть? Все, значит, оправдалось?

Поливанов оскалился на него желтыми редкими зубами.

— О моих поступках не страдай. Свои займай.— И тотчас встревоженно вернулся к Тучковой.— Тебе, Татьяна, спасибо, что обо мне беспокоишься. О моей душе. Только напрасно стыдишься за меня. Если разобраться — ты экскурсии водишь, картину показываешь, хвалишься — какая ценность! Достояние! Люби и изучай родной край! Правильно говорю? А где было бы это достояние, если бы Поливанов был бы слюняем? Если б он не был таким твердокаменным, таким непримиримым? Таким самодуром, как ты водишь меня? Злодеем? Я всех вас спрашиваю: где картинка эта была бы? Тю-тю! Что молчите? А вы как думали, задаром вам все досталось?

Он лупил их без злости, учил для острастки, вколачивал в них свою правоту. Он показывал их неблагодарность, он укорял их, он требовал признания.

— Вы полагали, что я должен мерси-пардон, что раз революция справедливая, так все по-благородному. Прощения просим, господа ласковые, но не получалось. Мы свои ручки испачкали. Да-с. Мы дерьма нахлебались. За все плачено. Ой как плачено!

Он встал, вытянулся во весь свой рост, а росту в нем хватало, благодаря худобе он казался еще выше, выкинул вперед обе руки.

— Этими руками я Патриаршую рощу рубил. Людей вывел. При-

казано было. И тех, кто протестовал, я вот так.— Руками он словно белье выкрутил.— А потом меня же к ответу призвали... Думаете, это как?.. Я за все душой платил. Между прочим, отец твой, Серега, тоже расплатился. А вы, наследники, брезгуете. Знать не желаете. Почему же так? Вы теперь владельцы. Бесплатно ничего не бывает. Подарочек, он тоже происхождения имеет. Вы не бойтесь знать что почем.— Он закашлялся свистяще, гулко, глаза его выпучились, он согнулся, но и сквозь кашель продолжал выкрикивать: — Я вам не то еще могу!.. Знаете, как Пашков застрелился?

Таня зажала уши руками, съежилась.

— Не хо-о-очу! Не надо!

— Ты что это, Татьяна? — Поливанов вытер слезящиеся глаза, словно очнулся.— Ну не буду, не буду. Это Сергей меня растравил. Он шагнул к ней, но она отступила. И еще отошла. И еще. Слезы катились по ее щекам, туманя стекла очков.

— Я, Юрий Емельянович, больше не буду у вас... Не приду,— проговорила она.— Вы простите, но я не могу...

Заскрипел песок. Потом звякнуло кольцо, хлопнула калитка.

— Татьяна! — закричал Поливанов.— Вернись!.. Костька, сейчас же верни ее. Бегом!

Костя поднялся, покачался на затекших ногах.

— Как сказал один поэт: очарованья ранние прекрасны, очарованья ранами опасны. Я тоже пойду, Юрий Емельянович. Окончательного решения я пока не принимаю.

Поливанов схватил его за плечо, оттолкнул с отвращением:

— Придурок!..

Рыжий кот спрыгнул с беседки. Янтарные глаза его сонно мерцали. Он выгнулся, зевнул и пошел вслед за Костей. На крыльце никого не было, может, и давно, Лосев не заметил. Стояла безветренная жара. Воскресная полуденная тишина окружала сад. Поливанов взялся за спинку кресла.

— Ушли. Почему? — Он дико смотрел на Лосева.— Ты понимаешь?

— Я понимаю,— сказал Лосев.

— Все из-за тебя,— сказал Поливанов.— Принизить меня хотел. Мешаю я, славу твою забираю. Авторитет твой подрываю. Ничего. Они вернуться. Столько лет ходили... Разве я их плохому учил?

— Они не вернуться,— сказал Лосев.

Поливанов наставил на него вытянутый дрожащий палец:

— Лишить меня хочешь последнего. Тех, кому я... За что? Пришел и разорил. Я тебе открыться хотел, всем вам. А вы... Просчитался ты, Серега. Я ведь еще успею тебе отплатить... Сожгу все. А? Повешусь перед горисполкомом! И напишу, что ты удавил меня! Ты! — И он внезапно захохотал, гремя, колыхаясь всем телом.

Глава 9

Тетради в косую линейку отец брал у Сергея. Не у старшей сестры, а именно у Сергея. Это он помнил. А ручка у него была своя, толстая такая вечная ручка и специальный пузырек с чернилами, свое мраморное пресс-папье, свои химические карандаши, перочинный нож со многими лезвиями. Все пряталось от детей в фибровом чемоданчике, где хранились шпоры, значки, грамоты, справки, бритвенный прибор «жилетт», прищеп для галстука, лупа, запонки, письма. Пока отец был на войне, мать перевязала чемодан веревками, поставила на шкаф, и никто не смел до него дотрагиваться.

От этой розовой тетрадки хотелось вспомнить того отца, но все

равно вспоминался отец последних лет, пьяно-рыдающий, заросший, в длинном резиновом макинтоше...

Отец жил тогда отдельно, ходил с палкой и авоськой.

Вспоминался отец занудный, который изводил мать попреками за то, что не уехали в Питер к дядьке, директору трампарка. Или за то, что какие-то редкие книги сменяла в войну на свинину.

Когда-то, до всего этого, вместе с розовыми тетрадками в коскую линейку, был отец тихий, в соломенной шляпе, который купил матери в подарок дамский велосипед с голубой сеткой.

Отец сидел на корме баркаса и рулил. Был он подпоясан тонким кавказским ремешком с металлическими висюльками. На груди у него был какой-то почетный значок. Куда ж они плыли? Наверное, в Гороховское на праздники к родным. Отец пел «По морям, по волнам», и мать ему подпевала.

Еще помнилось, как отец работал в Доме культуры и как разрешил Сергею провести ребят в кино. После сеанса он посадил их в комнате администратора и долго рассказывал о происхождении Вселенной согласно теории Шмидта. Показал портрет Шмидта с черной бородой, такой большой, что, казалось, Шмидт присутствовал при появлении Вселенной и видел, как это все было.

Странно — Шмидт помнился, а лицо отца молодого никак не вспомнить. Вместо молодого появлялся тот пьяненький, беззубый. Ни одной фотографии отца не осталось, мать изорвала, выбросила в тот день, когда отец ушел: «Песня вся, больше петь нельзя!»

Сергей всегда был на стороне матери. Он считал ее самой красивой, самой смелой, честной и не понимал, как можно было уйти от нее. Мать и плавать умела, и в волейбол играла, ловко ездила на велосипеде, ездила на работу в Заготсырье, возила их обоих в школу на багажнике на зависть всем.

Возненавидел он отца не рассуждая, безо всякого снисхождения к фронтовым его заслугам. Впрочем, с войны отец вернулся всего с одной медалькой и желтой нашивкой ранения.

А эта тетрадь была довоенная. Отец писал, сидя на кухне. Матовый абажурчик, стол дощатый с черными подпалинами, плита, белым изразцом обложенная... а вот отца увидеть не мог.

«...Совесть дает себя знать при нарушении, а вот душа, она и при чистой совести может тосковать и куда-то стремиться. Душа — это совсем иное».

Почерк вспомнился. Рука отца вспомнилась — в рыжих волосках, с расплюснутыми короткими ногтями. Сильная, цепкая, он ведь по специальности судовым механиком был.

В соседней комнате спала старшая сестра Глаша. Наверняка она знала, почему отец ушел, как все было. Странно, что никогда он не спрашивал сестру, избегал заговаривать об отце. Если честно признаться, он стеснялся отца. Стыдился его. Не столько даже запоев отцовских, сколько зауми его, какой-то неловко-блаженной, с дребезжанием слабого голоса. Не было в нем ничего волевого, сильного духом, геройского, к чему тянулся тогда Сергей да и все его сверстники. А под конец жизни отец и вовсе напоминал старуху — из тех, что сидят у церкви. Может, они, дети, были несправедливы к нему? Лосев подумал, что сестре уже больше лет, чем было матери, и она целиком будет на маминой стороне, опять всколыхнется большое, мстительное, потому что и в судьбе сестры тоже случилось похожее. У них, у всех Лосевых, после сорока лет какой-то поворот в личной жизни происходит.

«...раз есть жизнь, есть и душа. И дерево, и муха, и камень, и река живут своей жизнью. Человек не исключение. Душа есть не у

предметов, а у природных образований. Поэтому ни одно из них до сих пор до конца не разгадано. И в смысле устройства и в смысле происхождения. Ни облако, ни трава, ни божья коровка. Душа ведь отличается от сознания. Почему же всем, кроме человека, отказывать в душе?»

«...Жаворонок поет от счастья. Но более возможно, что для счастья. Действия эти сильно разные. Если для счастья, то опять же вопрос — для своего или для счастья окружающего мира? Полагаю, что последнее, то есть для красоты. Например, река наша, Плясва, журчит оттого так приятно, потому что производится это ради всеобщей красоты, и это есть нормальное выражение реки. А звуки обвала и как ломается дерево — неприятны, даже ужасны, потому что означают бедствие природы. Эти факты говорят нам, что естественное существование всех предметов выявляется через красоту. Красота каждого существа есть вклад в общую пользу природы. Не случайно все нормальное развитие в природе так красиво».

Он удивился — неужели это писал его отец? Почему-то это казалось совсем не глупым. Кое-что симпатичным, а иногда даже соответствовало некоторым смутным размышлениям самого Лосева, по крайней мере какое-то согласие он находил.

Было, конечно, и потешное: «Ночь надо использовать для повышения сознательности граждан, наполнить содержанием сны, которые могут служить просвещению и развитию любознательности. Ночь — это не перерыв жизни. Ночная жизнь имеет свой смысл».

Над некоторыми записями он задумывался: «Для самого же организма красота есть признак души. Мертвый некрасив — душа ушла. Если б мы могли издали увидеть земной шар, то и он оказался бы красивым. Потому что земной шар существо тоже живое. Разница та, что у него другое время жизни. Миллиарды лет. Поэтому его существование нам плохо различимо. А вот камень ему соучастник».

Мысли показались знакомыми. Что-то похожее отец рассказывал. И даже делал опыты над цветами — с одними разговаривал ласково, с другими строго, и эти росли хуже. Вспомнилось, как он смеялся над этими отцовскими измышлениями. Он снова перечитывал написанные мелким округлым почерком слова и не находил в них ничего смешного, тем более позорного:

«Что касается утверждения, которому учат в школе моих детей, что человек — царь природы, то это насквозь монархическое учение, которое я опровергал учителю Сивулину. В природе не может быть главных существ. В ней царит равноправие. Она как пряха, где все переплетено, главной нити нет, они только вместе составляют рисунок и прочность. Природа была до человека и, следовательно, может обойтись без человека, так же как без льва и без орла, без всяких этих царей. А появились они для пользы, чем-то они нужны друг другу, так же как нужен комар и муравей. Человек тоже для чего-то полезен, но в отличие от других существ он еще не знает, для чего он, поскольку появился недавно. Самомнение его от молодости и невежества. Человек все старается узнать про других, на что они могут согдиться ему, человеку. А про себя не изучает — зачем он природе? Смысл жизни мы ищем как цари, считаем себя царями природы, поэтому и не находим. Какой есть смысл у червяка? Готовить землю и служить пищей для птиц и рыб. И для человека природа определила его назначение, которое и есть смысл его жизни».

Вот о чем интересно было бы поговорить. Послушать бы во всех подробностях. Трудно было представить, что человек, который это писал, и есть его отец, тощий, слабосильный, со смешным отчеством, которое, похабно коверкая, выкрикивал ему вдогонку Мишка

Скородумов. А потом тот же Мишка на стене Дома культуры нарисовал отца с бородой не то под Шмидта, не то под Циолковского, с рюмкой на голове и стишок пакостный...

Чернила выцвели, бумага пожелтела, истоньшала. Тетрадка стала как старинный документ. Но стоило ему подумать, что это писал отец, как все становилось сомнительным, выражения были ненаучные, неясно — то ли самим придуманные, то ли давно известные, отвергнутые. Имели они какую-нибудь ценность или были досужим утешением самоучки-неудачника? Посоветоваться было не с кем. Ученых друзей у Лосева не было, да и опасался услышать смешки. Но все же пьяным вздором быть это не могло. Лосев достаточно верил себе, за эти годы у него выработалось чутье.

«...Живем мы в бедности. Получаем на карточки кило сахару в месяц. Это на всю семью. Ордер на пару ботинок. На электричество — лимит. Пережгли лишку — отключают. Всюду очереди. Приедешь в область, так там в очереди сутками стоят. Несмотря на эти трудности, мы имеем идею будущей справедливой жизни и можем осуществлять ее в творчестве. Пока есть идея, все терпимо. Благодаря идее лишения смысла имеют. Бедность сносить несложно. Куда хуже сносить злобу и неправду. К сожалению, движение к прекрасному устройству происходит сквозь злобу. Мы все силы тратим на борьбу, от этого у нас выделяется много ненависти и мало любви. Прежде всего мы настроились уничтожать буржуазию, капитал и прочих врагов. Между тем ненависть — чувство вторичное, оно должно рождаться от любви. Товарищ А. Богданов сказал, что ненависть к угнетателям и капиталистам может появляться вследствие нашего сочувствия и любви к угнетенным. То есть на первом месте должна пребывать любовь и от нее уже гнев и ненависть».

Чем дальше он читал, тем сильнее забирала его охота поговорить насчет всего этого. Вот когда она пришла, пора послушать отца!

Он чувствовал стыд перед отцом и виноватость, хотя в чем именно, не мог до конца разобраться.

Зачем все это записывал отец? Для чего, для кого? Кому назначались тетрадки, которых было много и которые давно затерялись, кроме этой, случайно прихваченной Поливановым? Будь то дневник, Лосев еще кое-как объяснил бы себе, но это не трактат, не сочинение, так, отдельные мысли, какой смысл их было собирать? Лосев никак не мог найти пользу в такой работе, и это было странно, потому что во всякой работе, во всяком действии имелась польза или цель, и большей частью самые простые.

Он напрягал свою память, закрывал глаза, вслушивался... Какие-то слова произносила мать в те дни разрыва, и отец тоже что-то говорил, объяснял. Или оправдывался? И когда потом приходил отец, он опять что-то говорил. Но что именно — не разобрать. Уже не слышно.

«Что же есть правда? Нарисовал художник дом. Все не так, не по правде. Краски переиначил, стены покривил, изломал. Я спрашиваю: зачем? Он отвечает: нарочно, специально усилил все изломы от утреннего света, чтобы зритель поразился. Не преувеличь он, так, по его словам, чудеса заревого, восходного света остались бы незамеченными. И архитектура бы не выявилась. Но задаю вопрос: правда куда делась? А в ответ он спрашивает: красиво получилось? Допустим, красиво. А раз красиво, значит, правда. Но ведь и ложь красивая бывает. Так ведь не ложь, возражает он, потому что дом лучше узнать можно, я душу его приоткрыл, красота правды приближает к душе, то есть к истине.

Художник, он, если настоящий, то — провидец. Через него можно связаться с природой...»

Несомненно это было про Астахова... Лосев поразился — значит они встречались... Словно бы где-то в далеком прошлом коснулись струны и она отозвалась в нем, да так чувствительно.

О самом Астахове дальше ни слова. Вместо отвлеченных рассуждений хотелось прочесть и про их знакомство с Астаховым, и про самого отца, и про детей, то есть про Сергея, про сестер, какие они были, какими отец видел их в разные годы.

«Разум существует и в ягоде и в жуке, потому что устройство их — от самых мелких молекул до полного очертания — весьма умно. Задача коммунистических ученых обнаружить этот разум, наладить с ним связь. Тогда можно будет не насильничая войти в честный союз и дружбу со всеми предметами природы и получить от этого разумность действия пролетарской диктатуры».

Лосев улыбался, вздыхал, затвердевая его неприязнь плавилась. Жизнь отца наполнялась каким-то содержанием. Жалкое поведение вызывалось непризнанием бедного мечтателя. Оправдания, конечно, не было, но все же отцу уже было чем спорить, чем защищаться.

По этим запискам Лосев не мог понять, получилось ли что-нибудь у отца из его опытов на огороде.

За год до его смерти они с той женщиной переехали в Псков. Потом, слышал, оттуда она уехала. Женщина эта единственная, кто верил в отца. Может, о ней знала тетка Аня, жена дяди Феди, но она уже совсем плоха, да еще крестная Катя... Родни вроде много, отцовской и маминой, а спросить, выяснить не у кого, удивительное дело: жил человек, недавно жил, у всех на виду, не таился, сам рвался рассказать, а умер — и, оказывается, тайна сплошная. И узнать невозможно.

Обратиться к Поливанову? Мысль об этом почему-то не приходила ему в голову. Он больше думал насчет крестной, представляя сразу же, как та занудит, что не пришел на именины и рождество пропустил, и напомнит насчет Раисы, пора поставить ее старшим инженером.

Вдруг он вспомнил, как старуха кричала, подняв его в воздух: «Сын твой отречется от тебя!» Старуха была черная с белыми волосами, он рыдал и бился в ее огромных руках, а снизу стоял бледный угрюмый отец и почему-то не отнимал его и не прогонял эту старуху, тут прибежала мать, выхватила его: «Ребенок-то при чем, детей не впутывай». «А мои дети при чем, — закричала старуха, — куда он моих детей услад? Ирод!»

Старуху увели, потом отец сказал, что сдали ее в милицию, что она из раскулаченных, что он сжалился над ней по старости, и, видать, зря, кулака ничем не исправить. А еще через несколько дней старуха умерла. Отец купил гроб и похоронил ее, заставил всю семью провожать ее на кладбище и над могилой произнес стихи о материнстве. Сергей потом еще долго допытывался у матери: что делает там старуха, в земле?

История эта суставчато-соединенная не выцветала, не туманилась с годами. Отпечаталась и осталась — с кислым запахом травяной лепешки, что вывалилась из торбы, с санками его, Серегиными, на которых повез отец старуху. Многого он не понимал, и оттого еще страшнее было, по ночам плакал, выкрикивал, всю ту зиму проболел, школу пропустил. И от кладбища с тех пор притиснутый тайный страх остался.

Выплыла, закачалась в ночных окнах поливановская усмешечка отдельно от желто-воскового лица, от колких зрачков. Это — когда

говорили о кладбищах. Может, тоже припомнил ту старуху и камень, поставленный отцом. У Поливанова ничего зря не бывает.

«...Детям образование, специальность дадут. А как научить их видеть красоту? Поскольку религии нет, то воспитание любви и красоты остается через природу и искусство. У нас на провинцию искусство не хватает. Природы же — наоборот, сколько угодно. Детям я и стараюсь ее показывать. Но мать боится воспитания в красоте, потому что красота — источник слабости. Я бы с ними странствовать пошел. Как Скворода».

«В человеке время идет болезненно, не так спокойно, как в дереве или рыбе».

Лосев перелистал несколько страниц. Отвлеченные рассуждения усыпляли. Когда-нибудь на досуге он перечтет их повнимательней, может, что-то и вычитает.

Застарелая враждебность к отцу снова всколыхнулась в нем: мать, тяжело дыша, прибегала с работы — и на огород, таскать воду, топить печку, мешки картошки тянула на тачке, а он, философ, красоту высматривал, свои умствования заносил в тетрадь, время в нем, видите ли, шло болезненно, искал не где подзаработать, не как детей прокормить — душу в камне он разыскивал. Все эти умничания, как бы ни были они забавны, неожиданны, все это не занятие для мужчины. Какая может быть польза от философствования? Он никогда не видел от него практического смысла. Что они сделали конкретно, всякие толкователи, утешители, теоретики? Люди так же страдали, так же искали справедливости, так же умирали. Веками громоздились в философские системы, не отменяя друг друга, не уходя в прошлое, пристраивались, лепились, вспухали, пребывая где-то в безопасной дали от подлинных человеческих забот, никак не пересекаясь с той жизнью, которая происходила в Лыкове, ничем не облегчая забот матери. От живописи было хоть удовольствие и красота, а от отцовых утопий?

Дальше шли страницы, написанные карандашом. Почерк стал бегучим, неразборчивым, карандаш бледный. Лосев перевернул страницу и еще и готов был бросить тетрадь, но в глаза бросились знакомые фамилии, сперва Пашков, потом Шурпинов.

«...думал, что из лжи ничего нельзя создать, потому что ложь есть ничто. Оказывается, еще как можно. Ложь не ничто, потому что ложь переходит в страх... Мы шли к рынку. Уж какие мы закадычники, а он мне ни гу-гу, ни словечка. А в городе уже все знали. На третий день застрелился Гоша. Все делают вид, что произошел несчастный случай — чистил человек ружье и нечаянно выстрелил. Зато семье пенсию можно дать. Зато квартиру казенную оставят детишкам. Квартиру оставят — и никто ни слова, почему Гоша Пашков ушел из жизни. И я, можно сказать, лучший друг, молчал на кладбище, молчал на поминках, ни звука не издал. Потому что врать не мог, а правда моя не нужна. Да и сам Гоша, значит, не хотел, если никакой записки не оставил, и все изобразил, как будто собирался на охоту.

Люди кончают с собою от... Нет, причины нет, хотел написать — от страха, но не то. Не одна причина, а множество сложиться должны в понимании того, что жизнь не получилась. Так рвут письмо, которое пошло не туда, так гончар мнет... Не получилось. Какое-то ощущение, что начать надо по-другому. Взыскательность, если угодно. Природа не против самоубийства в том случае, когда это не приносит урона. Мать, у которой маленькие дети, не кончает собой, инстинкт не позволит ей, запретит. Ребенок тоже не может — запрещено, — он способен еще многое переносить.

Гоша Пашков понижение свое считал катастрофой. Для него

служба была источником всех забот и радостей. Дом был местом, где поспать, душу отвести, рассказать, как он выступил, кого куда перемещают. Жена, теща, тетки, мать — все жили его служебными делами, его заготовками, его планами, его цифрами. Гоша не был карьеристом, хотя он хотел продвигаться. Он знал, что должен продвигаться, как продвигался все эти годы. Он был предан Поливанову, один из самых его верных людей, интересы Поливанова были его интересами, и ясно...

...Валентина встретила нас у рынка, бросилась к Гоше и во весь голос — про несправедливость, какую с ним учинили. Она и сочувствовала ему и честила этого коротышку, зловредника Шурпинова, от которого никто доброго слова не слышал, и его ставят на место Гоши. Факт, что Поливанов виноват, не кто иной; при всем честном народе она молотила своего супруга, товарища Поливанова, нисколько не стесняясь. Мне стыдно стало, потому что я, например, все эти дни стеснялся посочувствовать своему другу и плел ему посторонние темы, отвлекая его думы от горестного углубления.

А для него между тем катастрофа расширялась. Шурпинов сразу стал доказывать, что по линии продзаготовок был хаос, гнилой либерализм. Как водится, прежде всего надо доказать, что до него все было плохо. Чем хуже, тем лучше...

Жизнь для Гоши имела смысл, когда он мог двигаться вверх, а тут все оборвалось. Теперь предстояло только падать. Катиться вниз, все ниже и ниже, потому что Шурпинов его будет конать. А если вниз, то какой же смысл так жить, сходя на нет, на дерьмо, как он выразился?

За что? Почему Поливанов снял его? Никаких поводов Пашков не давал. А снял. Вот что мучило, и грызло, и терзало Гошу. Притом ничего плохого про Поливанова слышать не хотел.

Продолжал ходить в ту же столовую пиво пить в те же часы. Хотя претерпевал при этом унижения. С ним уже здоровались не так. Были и такие, что отворачивались. Поскольку он в опале. Ведь у нас стоит понизить — и сразу как чумной. Может, оно и не так было, да Гоша бдительно вычислял каждый кивок, каждое «здрасьте».

Гоша Пашков был единственный человек, которому я мог признаться, что я сказал Поливанову про того художника. Я полагал, что чужая беда утешит, но он и тут Поливанова взял под защиту — мол, Шурпинов на его месте раздул бы целое дело, а Поливанов, можно сказать, чутко подошел к этому художнику. Типичное это сопоставление навело на мысль, что назначение Шурпинова для того и производилось, чтобы на его фоне Поливанов выглядел лучше, шире, умнее.

А Гоша Пашков такого фона не давал, поскольку был добрым и отзывчивым человеком.

...Я сразу понял, что ничего не было в этом, кроме страха. Чего я боялся, сам не знаю, потому что если конкретно поставить перед приговором — год тюрьмы, два года — не боюсь. Стреляли во время облавы на зеленых — ничего, выполнял, не боялся. На медведя ходили с Гошей. Когда из берлоги поднимали, я стоял спокойно.

После того как мы Валентину встретили, на следующий день, в воскресенье, я зашел к Поливановым. Валентина, избитая, плакала и ругалась. Сам дрова колот во дворе. Я подошел, он полено выбирал, в колоде топор торчал, я выдернул лопасть, подкинул топор в руке. Поливанов сразу понял, мог убежать, крикнуть кого, но по гордости своей не разрешил себе. Заигрывать со мною тоже не стал. Но испугался. Стоял, и незаметно было, дышит или нет. Я тоже, наверное, был хорош, потому что чувствовал, как лицо — щеки, лоб — все стало холодным. Мог потребовать, чтобы Гошу перевели в область или на

курсы услали, чтобы как-то выручить мужика. И чтобы художнику перестал он препятствовать. Мне ничего не стоило поднять на него топор. Поднять и опустить. Хруст представил, почувствовал хруст костяной, легкий, через топорщице... Мне было все нипочем. От топорщица, от тяжести этой вдруг смелость меня обуяла, ровно и не было никаких страхов. От водки, сколько ни выпьешь, такого не бывает. Полное высвобождение. Я, ровно как заучил заранее, приказал прощения у жены просить тотчас, при мне. Он не удержался, спросил: мне-то какое дело? Я ему объяснять не стал, скомандовал голосом невозможным, несбыточным, о котором всегда мечтал, — кожу на голове покалывало так, что чувствовал каждый волос. Поливанов исполнил, как я сказал. И силы мои ушли, схлынули. Вспотел, ни о чем другом и не попросил. Воткнул топор и ушел. Испытал полное очищение. Будто возродился, камень скинул. От страха своего хоть на момент избавился, мерзкого, вонючего, до сих пор помню, как я весь сопреп, когда Поливанов наседавал на меня, и запах пота, не мой запах, а чья-то чужая пакостная вонь. Откуда страх такой во мне? Я его, естественно, преодолеть хотел. И возликовал, когда случай открылся мне через топор. Потому что после того страха презирал я себя. От утешений художника был только срам на душе. Ведь не боялся же я на груздевых бандитов ходить в двадцать пятом, когда вскочил я к ним на телегу и двоих взял, привез в штаб. С тем же Юркой Поливановым об заклад на бревне в ледоход наперегонки плыли. Не боялся, значит. Почему же страху во мне столько скопилось? От рождения я вроде не боязливый. В чем природа и сила моей боязни — не пойму.

Гоша не только в себя стрелял, в меня тоже. Когда гроб мы опускали на полотенцах — Поливанов с Шурпиновым и я с Митей, братом Гошиным, — увидел я внизу Гошу моего, хромоногую, скособоченного, и вдруг пронзило меня, что все четверо мы убивали. Ведь это я тогда про Гошу позабыл, хотя за тем и шел. И про художника, то есть про себя, во искупление своего греха тоже ни звука. Забыл?

...с орденом своим, с браунингом в кармане стоял передо мной бледный, не шевелясь. Почему же тогда я увильнул?

Ха, ха, про себя забыл, про Гошу забыл, только про Валентину помнил. А она с кладбища шла, слезы Юре своему вытирала и на поминках вся иззаботилась, охраняя здоровье его».

Дальше было не то стерто, не то написано так бледно, что ни одной фразы разобрать до конца было нельзя.

Глава 10

Улицы были влажны, пустынные, полны той утренней нетронутой свежести, которая скапливается за ночь в маленьком городе, окруженном полями. Возвращаются запахи покосов, трав, плевневых полей.

Густой туман лежал безветренными пластами. Деревья стояли недвижно. Слабый перестук доносился от хлебозавода. В той же стороне перекликнулись два молодых петушка. Город спал. На базаре спали тощие ничейные псы. На пустых цинковых прилавках сверкнула роса. Туман стлался над рекой. Лосев остановился на мосту. Алая макушка солнца вылезала из Патриаршей рощи. Восход был яркий, красноперый, из тех лет, когда они мальчишками бежали в рощу смотреть, откуда берется солнце. Из поколения в поколение лыковские мальчишки искали солнце в Патриаршей роще. Сколько восходов минуло с тех пор.

Солнце не слепило. На тусклую поверхность его можно было смотреть, и само оно как бы разглядывало землю, еще не начатый день, который предстояло катить и катить до другого края земли. С моста

виделось далеко. Крыши, крытые дранкой, серебристо светились живым светом, какого не хватало серому слепому шиферу. В новом доме напротив почти на всех этажах в зеленых ящиках навстречу солнцу повернулись цветы. Дом, украшенный цветами, занавесками, выглядел еще новее. От жилого духа он похорошел. Понизу он был облицован коричневой плиткой. Лучше же всего украшали дом балконные решетки художественного литья, сделанные после долгих хлопот. Дом был гордостью Лосева. Таких красавцев еще десяток — и город преобразился бы. За этот дом Лосев два года назад схлопотал выговор, но выговор недавно сняли, а дом остался и стоит, лучшее утешение при подобного рода неприятностях. Лосев любовался им, и на душе у него потеплело. Если бы его спросили, какая главная забота его жизни, или дело, или даже хотение, он не задумываясь ответил бы: иметь лишней вот такой дом. Буквально — лишней и лишней. Чтобы в кабинете у него под стеклом висели ключи от пустых квартир лишнего незаселенного дома. Приезжает семья или какой специалист — получайте, пожалуйста, квартиру!

Повсюду в работе он натыкался на проклятую жилищную проблему. Нехватка жилья мучала его каждодневно, неотвязно. И строительство, и материалы, и просьбы, и большая часть людей, которые шли к нему на прием, — все связано было с жильем. Люди ждали квартир, комнат по несколько лет, очередь никак не убывала. Это было какое-то проклятье. Дома строились один за другим, старые деревянные сносили, и на их месте появлялись — и все быстрее — железобетонные, сборные. Стеновозы тащили и тащили готовые секции... Иногда удавалось рывком очередь укоротить, а затем она опять нарастала, как какая-то гидра. Он был в отчаянии. Ни в одном городе так не размножались, как в Лыкове. Хуже того — лыковцы мгновенно вырастали. Все эти только что родившиеся соседские пацаны и девчонки сразу брились, красились, тотчас женились и садились у него в приемной, пузатые скорбные мадонны и усатые верзилы, и — просили квартиру. Он приходил в ужас от их скороспелости и плодовитости. Со всех сторон на него наседали внеочередники, у каждого были обстоятельства срочные, катастрофические, единственные. После приема он чувствовал себя изможденным. На него кричали, ему устраивали истерики, тихо плакали, как только его не честили, какими желчными словами. На него смотрели с мольбой, приносили к нему детей, ему стучали по столу костылями. Его изнуряло собственное бессилие, невозможность помочь, когда помочь было необходимо. Больной туберкулезом, которого надо изолировать от детей... Аварийное состояние кровли в старом деревянном бараке... Свекор пристаёт, дерется, сил больше нет, не дадите — повешусь, не шучу, увидите, что повешусь, жить так больше не могу... Муж развелся и привел к себе другую женщину — и все в той же комнате, где дети и старики родители... Он успокаивал, обещал, начинал что-то выкраивать, но являлся, например, главный врач роддома, того самого, который строился, и заявлял, что ему предлагают отличное место на Урале, в новом городке, отдельный коттедж и прочее, но он готов остаться, если ему дадут трехкомнатную квартиру. Что было делать? Это был отличный врач, его нельзя было отпускать. Лосеву кричали, что его врач — лгун, шантажист, хапуга, что он не смеет, но все это были пустые вопли, приходилось давать трехкомнатную — и все рушилось, все расчеты, обещания, все шло прахом. Он и сам готов был ненавидеть врача, но за что? Двое сыновей и жена — почему им отказать от коттеджа, с какой стати? Потом шла коллективная жалоба на председателя горисполкома, который не выполняет обещание, улучшает жилищные условия кому-то за счет очередников, за счет инвалидов войны... Жалобу рассматривали, его

вызывали, его предупреждали — как же ты мог, да это же нарушение, да надо было... И он слушал, и соглашался, и обещал учесть, и ему все же записывали, потому что не отреагировать было нельзя.

Он замечал, как портятся люди от долгой тесноты и скученности, постоянно раздражаясь от общей кухни, общего умывальника, от невозможности уединиться. Во сне его иногда мучали кошмары — вспученные людьми деревянные дома, крыши приподнимаются, шевелятся, доски трещат. Из окон выпархивают дети, в дверях висят ж'яльцы, как в переполненном трамвае...

Как ни странно, отказывать порой бывало легче, чем давать. Случалась короткая вспышка радости, когда кто-то из страждущих наконец получал, но сколько перед этим он изводил себя и свой аппарат, требуя установить все за и против, почему этому, а не тому и кому нужнее, он жаждал взвесить на непостижимо точных весах справедливости то, что невозможно взвесить — болезни, ссоры или что хуже: плесенная сырость стен, или темнота полуподвалов, или холод из щелей временной кладки; всякий раз его озадачивал неразрешимый выбор — старики, которые под конец жизни заслужили дожить спокойно, в сухой просторной квартире, или же молодые, которые устают на работе, которым когда же, если не сейчас, наслаждаться... Беда в том, что знал он их всех — и стариков и молодых: город был слишком мал.

Бывали дни, когда он впадал в мрачность — ему казалось, что он кругом виноват, он не мог пробить ассигнования, не мог столкнуться с домостроительным комбинатом, не мог найти плотников.

Нет, из всех желаний, из всех чудес мира он выбрал бы только л и ш н и й дом, построенный впрок, с опережением, — сказочный, неразменный рубль. Когда-нибудь в Лыкове появится такой дом. Сбудется его мечта — для какого-нибудь другого мэра.

В конце моста у фонаря стоял незнакомый лохматый парень в нейлоновой стеганке. Шея его была повязана шарфом.

— Дай закурить, — сказал он.

— Так не просят, — сказал Лосев, глядя на него в упор. — Дайте, пожалуйста! — И прошел мимо.

Тропка повела его над косогором, вдоль сараев, огородов, дощатых нужников, курятников, железных гаражей. Кусты жимолости отряхивали на него крупную росу. Один за другим на крутизну выдвигались старые дома, бывшие особнячки, украшенные резьбой, с ними и поновее кирпичные одноэтажные дома с мезонинчиками, с парадным ходом. Началась набережная, мощенная булыгой, тополя, сирень. Были тут совсем старенькие усадьбы, вычурные, с верандами, застекленными цветными треугольничками, дома с башенками, балкончиками, фигурными окнами, ставнями. Всякий раз Лосев мысленно отбирал и реставрировал самые красивые, красил белым с голубым, кофейным с желтым, так, чтобы выделить резьбу, выступы, крыши перекрывал железом. Сейчас дома у него становились такими нарядными, как на старых открытках, что он насмотрелся у Поливанова. Уцелели еще дома, чем-то знаменитые; вкрапленные то там, то тут, они удерживали городскую старину. Сохраняли привычную физиономию города, знаменитый вид с реки. Он наслаждался их реставрацией, хотя знал, что они обречены. На их месте в планах были обозначены корпуса четырехэтажек и опорный точечный девятиэтажный дом.

А эти поочередно, участок за участком, снесут, соскребут в кучу бульдозерами и покидают экскаваторами на самосвалы. Ворох бревенчатого ломья, крошево кирпича, пыльного мусора — малая куча останется от этого дома, от его комнат, лесенок, от ночных скрипов,

зимнего тепла, зарубок на дверных косяках, от чердаков, печей, крылец, скамеек... Он сам рос в таком доме, любил его отдельность, приноровленность к семье всеми его закутками, чуланами, подоконниками. Чердак, где годами скапливалось ненужное барахло — ребячья отрада, чердак с запахами лука, яблок, малины, что сушили здесь каждую осень, запахами березовых веников, старых журналов, запасных обоев... С толстой от пыли паутиной, похожей на серую байку. Погреб-подвал с клепками старых бочек, что-то там капает, скребется, лежит кафель запасной для печей... Дом — не изба. У городского дома всегда долгая история, сменные хозяева... К примеру, у них в доме проживал священник Никандр, от него остались лампадки темно-синего стекла и большой пресс неизвестного назначения. А после войны объявилась сестра священника и стала искать в саду закопанные когда-то отцом Никандром летописи. И каждый дом был личностью, у каждого — своя история, по дому был виден вкус хозяина, его старания.

Лосев любил эти дома и не любил. Сколько крови перепортили ему хозяева этого, под черепицей, пока он наконец заставил убрать сараюшки, что портили весь вид. А рядом, за домом отставного полковника, вместо забора колючая проволока была натянута в четыре нитки. Никакие уговоры не действовали. Лосев его и по-хорошему просил, и через военкома, и стыдил при всех: такими препятствиями на фронте от фашистов защищались! А полковник в ответ — вот когда вы обеспечите воспитательную работу среди молодежи, чтобы не лазили за смородой, тогда можете требовать... С помощью милиции пришлось действовать. Потом больше года объяснялся по его жалобам.

Хочешь, не хочешь, жизнь склоняла на многоэтажные дома — и быстрее, и дешевле, и хлопот меньше, но иногда Лосев, не скрывая, сокрушался.

Войлочные тапки отсырели. Вышел в них во двор Лосев под утро, измаянный бессонной комариной ночью. Постоял, постоял и, не заметив, так в тапках зашагал по улице, влекомый рассветными красками.

Скинув тапки, он пошел босиком. Росяной холод обжигал ступни. По первому солнышку да по земле — шлепать и шлепать, благо никто не докучает здоровканьем, расспросами, любопытными взглядами.

Чувствовал кожей хвою, мягкую, всегда тепловатую, шишки, камушки, щекотно-колкую траву. Как давно это было — босиком по берегу. Или нет — как давно этого не было.

Неужели эта тишина, наполненная розовым светом, это быстро растущее солнце, эта красота творятся каждое утро? Пока он спит, происходят утренние зори, восходы; из года в год все это великолепное действие совершалось без него. Он начисто забыл о том, что каждое утро устраивает восход. И все это будет продолжаться, когда Лосева уже не станет. Так же, как не существует нынешнего утра для его матери. Совершенно явственно увидел он свое отсутствие в свежем утреннем мире, этот сверкающий от росы город без него. Его город, занятый уже иными заботами. Жилой дом у почты станет обыкновенным домом, обычными станут и дефицитные сейчас коричневые плитки и решетки балконные.

Лосеву, конечно, хотелось, чтобы его помнили, но для этого, он считал, надо быть творцом, например художником, архитектором. А городничий лицо не творящее. Но тут ему припомнился Жмурин, и снова он испытал симпатию к этому незнакомому человеку. Лосев словно бы ощутил его присутствие в сохраненной красоте города, в стройной Успенской церкви, в парке с длинным заросшим пру-

дом... Вот ведь помнят Жмурина, несколько человек, а помнят, и он, Лосев, сегодня через эту красоту вспомнил. Вполне возможно, что Жмурин ходил спозаранок этой же тропкой, мечтал также о своем городе.

Курочников, у которого Лосев принимал дела, выпивоха, «обещалкин», тоже ведь оставил после себя память — спортивную школу, богато оборудованную, — впервые Лосев помянул покойничка добром.

По солнечному языку, что выгнулся поперек песчаного откоса, Лосев спустился к Жмуркиной заводи. Сетчатые тени колыхались в воде. Чугунная тумба стыла в матовых горошках росы. Лосев закатал брюки, вошел в воду. Холод стеганул по ногам, но спустя минуту каким-то образом образовалась теплынь. И песок под ногами стал теплым. Стая мальков метнулась в сторону. Он шагнул за ними, пальцы ног стукнулись о каменистый порожек, и сразу ноги собственной памятью припомнили этот гребенчатый отрог, что наискосок спускался в глубину. Отсюда, нырнув, ползли по дну, цепляясь за каменную гребенку, кто дальше уползет. Клали для отметины белую гальку.

Глядя на большие белые ноги свои, изуродованные обувью, на кривые пальцы с темными толстыми ногтями, Лосев увидел в этой воде те свои маленькие ноги, загорелые, с прозрачно-мягкими ногтями, с пяткой круглой и такой крепкой, что мать оттирала ее в тазу пемзой. Вечер, горячая вода в зеленом тазу, ее большие быстрые руки...

Наверху, над головой, шевельнулось. Спиною друг к другу на иве сидели двое мальчишек, тот, что лицом к Лосеву, в цветастой рубашончке, держал свежесрезанное удилище. Глаза его вперились в поплавок. Отсветы воды бежали по его неподвижному лицу. Босые ноги свесились. Это были те самые ноги, которые привиделись Лосеву — с розовой подошвой, с маленькими пальцами. Все было то же самое — и утро, и удилище, и ветви ивы, только жилка была капроновая, банка с червями была коричнево-лакированной, из-под кофе. А окуньки и улейки те же, так же надеты были на прут.

Тихо подняться в полутьме. Кусок хлеба с треугольником плавленого сыра... Или плавленый сыр позже, а тогда с луком или картошкой... Между прочим, детские их рыбалки были подспорьем матери в те карточные годы.

Не сохранись это место — и не вспомнить бы.

Косые стволы света били в дом Кислых, надламывали ребра, дробили стены на блестящие осколки, сдвигали углы. «Эффект утреннего освещения» — вспомнилась фраза Тучковой. Следовательно, пришла она утречком на берег сверяться. И Астахов тоже высмотрел этот час. Пришлось, значит, ему понаблюдать. Ночевал он тут, или как это у художников делается?

И отец тут бывал. Оказывается, они были знакомы, о чем-то тут говорили. И Поливанов... Что-то между ними тремя произошло? Было неприятно, что отец вмешан, наверняка Поливанов что-то замыслил, дав ему тетрадку. Ему вспомнились листки, которые Поливанов вынул и запрятал.

Вода бежала, струилась, он чувствовал кожей ее ток, она была такой же, как тогда: казалось, ничего не отделяет его от тех детских лет, казалось, он может чувствовать и воспринимать все так же, как тот мальчик Серега Лосев. Он вспомнил, как дочь его Ната в пять лет плакала, что не хочет расти. Вспомнил недетскую горечь и страх в ее голосе. Если бы можно было оставаться в детстве... Как хорошо ему было в мальчишестве. Как быстро мог он все порешить, всем все сказать, как легко мальчишки между собой знакомились, как просто было обращаться к любому с вопросами...

Он ополоснул пальцы, сунул в рот, свистнул. Но вместо свиста

вырвался хриловатый шип. Подогнув язык, он попробовал иначе, пробовал и так и этак, свиста не получалось. Как могло такое произойти? Разучился? А был уверен, что этому нельзя разучиться, как грамоте, как плаванью. Глупо вроде, а сердце екнуло. Наверху в ветвях засмеялись. От упрямства сунул еще раз пальцы, и вдруг сам собой вырвался чистый, сильный свист, каким он умел оглушать, всех пересвистывать. Может, и нет той силы, но все же свистелось. От радости поддал воду ногой, брызги полетели далеко, штанины намокли, он не обращал внимания, шел по глубине, ликуя от этой недозволенности. Брызнул на ребят, запустил галькой по натянутой гладкой воде.

Серебряная уклейка блеснула в воздухе, поднялась на крючке. Наверху завозились. Лосев вышел из воды, сел на лавочку, вытянул к солнцу мокрые ноги, всего себя подставил под тепло.

Туман дотаивал, вода ожила, заблестела, не вся сразу, а изгибами. Туман отлетал как сон — и заводь открылась в невинном покое, ясная до малейшей малости. Пыльца, соринки плыли на тугой струе. На сером валуне под ивой обозначилась каждая трещинка. Старый валун искрился, хитро посверкивал. Длинноносый кулик вскочил на него и серьезно посмотрел на Лосева. В кустах ольшаника среди полной неподвижности один листок почему-то трепетал, бился. Куда ни глядел Лосев, глаз его обнаруживал утаенную мелкую жизнь, которая происходила внутри крупной жизни. От этого каждый предмет становился еще красивей.

Река текла и текла, прозрачно-коричневая у берега, темнеющая в глубине, текла из знакомых ему болот, с Вереста, с Дрябьи, с Утополя. Лосев мысленно видел сейчас реку и далеко вниз, до самого озера Крекши, у Васькиного носа, длинного мыса, где отдыхали перелетные утки и где впадала, разбегаясь протоками, рукавами, Плясва. Туда когда-то утекла вода его детства, там она покоилась в густых тростниках и осоках.

Ему увиделась долгая дорога реки с крутыми оленьими обрывами, затонами лесобиржи, пойменными лугами, где устраивали гулянья в День авиации. За Патриаршей рощей Плясва сужалась, пенилась желтой подсыхающей пеной и потом шла, отдыхая тихим плесом. Принимала притоки, лесную Золозку и бестолковую, ни с того ни с сего исчезающую речку Тулеблю. Если не считать короткого истока, где Плясва журчала детским ручейком, то всю свою дорогу она трудилась. Тащила лодки, сплавляла лес, плоты, поила деревни, растила рыбу, утят, гусей, лягушек — бесчисленную живность. От Плясвы всегда только брали — ее мягкую воду, ее траву, высокую, жесткую, брали раков, окуней, налимов, линей, к устью брали и сомов, а всякую мелочь без счета. Ставили сети, мережи, наметы, брали камыш, брали у нее песок, глину, обирали с берегов гальку для строек. Мыли в ней лошадей, машины, поили коров, стирали белье, мочили лен, шерсть. Лили в нее любую грязь, сливали бензин, солярку, масла, банную воду, негодные кислоты, обрат, кидали бутылки, что ни попадя...

На ней рос город, ею кормился, поился, ею богател. Но и в голову не приходило отблагодарить ее. Никто ее не чистил, рыбы не разводили. Речники заботились о своих пароходах, ставили бакены, а о ней самой не думали, хозяина у нее не было.

Перед ним возник призрачный, блекло раскрашенный проект Ивана Жмурина и нынешний. Они соединились толчком, внезапно, так, что Лосев застыл. Стало ясно, что филиал можно сместить вниз, к Патриаршей роще, — и тогда центр города образовался бы лицом к реке, без разрывов. Смотрелся бы спуск к заводу с домом Кислых на фоне новых домов. Панорама города впервые улеглась, как бы вошла

в пазы, наконец-то все сцепилось убедительно и естественно, хоть сразу отдавай архитектором...

Река взглянула на него ярко-коричневыми глазами Тучковой. Взглянула доверчиво, распахнуто, так, что отразилось каленое от восхода небо, полегшая ива, мальчишки...

Может, и в самом деле была душа у этой реки? И у заводи, у камня?

Чем больше он смотрел, тем больше видел; новые подробности проступали ему навстречу. Он погружался в этот неспешный мир скрытой красоты, какая складывалась из всех этих малостей, когда можно любоваться и камнем, и простым листком, и отмелью. Все это давно стало частью его самого, до сих пор он никогда не замечал этой красоты, как не замечал чуда своего сердца, чуда ушедшего детства, чуда материнской ласки.

Протарахтел мотоцикл. Вдали зарокотала моторка, рыбаки потянулись с озера.

Пора было вставать, идти, возвращаться во взрослое свое состояние, к Сергею Степановичу Лосеву, облачаться в его костюм, заниматься его нерешенными делами, звонками, бумагами, произносить его словечки... С каким трудом заставлял он этого плечистого дядечку каждое утро делать несколько приседаний, потом надо было его брить, смачивать волосы какой-то польской жидкостью, а лицо немецким лосьоном, надевать белую сорочку, франтоватый московский галстук в косую полоску, туфли на толстой подошве, похлопать его по карманам — ручка здесь, очки, записная книжка, удостоверение, — брать папку с бумагами, взятыми домой на вечер... Озабоченного этого дядечку, который уже принимает седуксен, пломбирует зубы, ежедневно просматривает четыре газеты, бюллетень, сводки; в жару, вместо того чтобы купаться, звонит, отвечает на звонки, надписывает резолюции, принимает посетителей, проводит совещания, встречает делегацию плюс депутаты, вызовы, аварии, составление бумаг... Всегда ему некогда, стесняется съесть на улице мороженое, в кино его не вытащить. Скучно с ним. Не бывает, чтобы он просто шатался по городу, трепался с приятелями. На охоту он ехал ради столичных гостей, всюду он выискивал нужных для города людей... О чем с ним говорить? Чем с ним можно заняться? Бегать разучился, по деревьям не лазает, мяч не гоняет, ничего не мастерит. Неужели это он, Серега Лосев?

Обычно Лосев приступал к новому дню с нетерпением, даже азартом. Сегодня же нетерпения не было, была почему-то грусть и неохота покидать это место.

В доме Кислых заговорило радио. Распахнулось окно. Кулик убежал, подрагивая хвостиком.

Вдруг в глаза Лосеву бросился маленький белый колышек. Он торчал под самой ивой, у серого валуна. Минуту назад его не было, потому что нельзя было его не заметить, так он выставился напоказ, желто-белый, как обломок кости. Вид его был Лосеву неприятен, напомнив, как когда-то в разодранной мотором руке он увидел пугающе белое и понял, что это его собственная кость.

И тотчас за этим колышком полезли из земли другие. Белыми тычками они зарыблили до самого дома Кислых и дальше сворачивали под углом, очерчивали, отмеряли, замыкая какой-то контур. Лосев отлично знал, что это все означает, но притворился, что не знает, он не желал понимать. Хотя успел с тоской и страхом подумать: «Уже!» Только это слово мелькнуло где-то в глубине, но он сделал вид, что и его не слышал.

Вверх на откос он поднялся по теплой нагретой стежке, по изволоку, как говорили прежде.

Когда он пересекал редкий пунктир колышков, нехорошее предчувствие охватило его.

Поверху, обгоняя его, пробежали несколько человек в тренировочных костюмах, последним бежал в цветастых трусиках мастер с кожевенного завода. Он оглянулся — лицо красное, потное, — кивнул Лосеву. Лосев и понятия не имел, что столько народу бегают по утрам.

— Это хорошо, это хорошо, — напевал он. А, собственно, чего он боялся? Да—да, нет—нет! Чего тянуть? Подумаешь—колышки, подначивал он себя. Мокрые штаны шлепали по коленям. Он засунул пальцы в рот и свистнул вслед бегунам. Снова получилось. Он гордился своим умением. Все его опасения, тревоги, все, что казалось столь неодолимым, все упростилось — в самом деле, что ему грозит в самом крайнем случае? Ну упреknут, ну откажут, да разве это важно? Важнее попробовать сохранить участок. Все-таки проект, который привиделся ему, стоит того. Жаль, если он останется несбывшимся, как у Ивана Жмурина. Конечно, надо отстоять завод, чтобы было куда приходить, видеть, как поднимается солнце и как меняются краски, как ало-красное тает, блекнет, насыщается белизной, тени укорачиваются и матовый горох росы съезживается на листьях. Обидно мало таких минут выпадает в жизни; по крайней мере, у него было их немного, и это неправильно.

А не получится, не выйдет — ну что ж, к нему претензий быть не может. Он пытался. «Попытка не пытка, а спрос не беда». А попадет ему, тоже неплохо: все знать будут — та же Тучкова, — за что пострадал, поймут, сочувствовать будут...

Он шел решительно, бодро, не стесняясь, ощущал, как ловко ступают босые ноги, перекачиваются с пятки на носок и как слаженно срабатывают там все мышцы, косточки, жилки. Так бы всегда: рано вставать, бегать, смотреть красоту, ничего не бояться, думать то, что советует душа, проверять себя восходом и птицами... И так Лосеву было сейчас свободно и ясно, что он пожалел отца, когда-то жившего здесь утаенно, в опасениях и страхах.

Вдруг неприятно стало, откуда-то это пришло, он обернулся и встретил взгляд из-под надвинутого серого платка. Глаза следили за ним хмуро, с упорным злым выражением. Женщина кивнула, буркнула что-то неразборчиво, Лосев машинально ответил. Пройдя несколько шагов, он сообразил, обернулся. Женщина спускалась вниз, к мосткам, держа большую корзину с бельем. Брезентовая куртка скрывала ее фигуру, обычно затянутую в темный костюмчик, а на пышных ее волосах всегда была шляпка, кепочка, что-то такое симпатичное. Здоровалась она всегда с радостью, открываясь навстречу своей мягкой улыбкой. Была она некрасивая, от этого застенчивая, но у себя в библиотеке чувствовала себя уверенней, и он еще мальчиком с каким-то стыдным удовольствием смотрел, как она двигается среди тесных стеллажей библиотеки, задевая их грудями. У него была тогда влюбленность, и такая, что однажды взял и полил чернилами ее стол. Поступка этого он сейчас совершенно не понимал, но помнил, как торопился читать книгу, чтобы скорее снова прийти в библиотеку. С годами фигура ее стала тяжелой, угловатой, но произошло это постепенно, и Лосев до сих пор различал в ней застенчивую некрасивую девицу. Была она с Украины, муж ее, подводник, погиб под конец войны, и она так и осталась здесь. Теперь Любовь Вадимовна заведовала городской библиотекой, оформляла всякие выставки. Несколько месяцев назад она прислала по почте заявление о прибавке

зарплаты. Лосев сразу отметил, что сама не зашла, хотя не раз приходила по чужим делам, и он принялся было хлопотать, пока не выяснилось, что для этого надо либо найти персональную ставку, либо переводить библиотеку в повышенную категорию. Областное начальство попросило отложить вопрос, и он отложил, мало ли приходилось откладывать. Сейчас он вспомнил, что с тех пор он добился уже нескольких прибавок, а с Любовью Вадимовной все откладывал, зная, что от нее никакой кляузности не произойдет, слишком она деликатна для этого. Что ни говори, получалось, что прежде всего он удовлетворял тех настырных, нахрапистых, кляузных, которых не уважал, но от которых могли быть неприятности. От Любови Вадимовны неприятностей быть не могло, она умела просить только за других. Однажды она подала заявление на садовый участок и то страдала, мучалась, овечье-вытянутое лицо ее пылало, голос затих так, что не разобрать было, чего она бормочет. Всегда считалось, что она подождет. Таким отказывать легко, они все понимают, они готовы вникнуть во все трудности. Да и куда она денется? Она была из тех активистов, которые преданы городу и работе так, что их можно и не поощрять, и думается о них в последнюю очередь. Когда Лосев пытался изменить дурацкое это правило, оказывалось, что квартиру надо дать такому-то, потому что в ответ на его письма звонили из области, за другого боялись, что он заьет, а прибавку надо было прорабу, который грозился уйти на завод... И почти всякий раз люди, подобные Любови Вадимовне, отодвигались...

Она не успела потушить свой взгляд, он застал ее врасплох, но в том-то и штука, что она не смутилась, не отвела глаз, она преспокойно продолжала смотреть на него с тем же холодным, несвойственным ей выражением. Можно было подумать, что это враждебность. Но откуда, за что? Да и нельзя было представить себе такой Любовь Вадимовну... Недавно еще он встретил ее в горкоме, и они, как всегда, поздоровались и улыбнулись.

Он смотрел сверху, как она опустила на колени на мокрые мостки и полощет белье. В городе все давно уже сдавали белье в прачечную. По крайней мере большую часть жителей новая механическая прачечная успешно обслуживала, его злило то, что Любовь Вадимовна, заведующая, депутат, полощет тут, как простые бабы сто лет назад.

Чертыхаясь, он стал спускаться к ней. Враждебность Любови Вадимовны задела его. Он хотел услышать от нее, в чем дело, пусть скажет, произнесет. Какие-то две женщины остановились, заговорили с ней. Она распрямилась, увидела Лосева, идущего к ней, но виду не подала. Лосев замедлил шаг, выжидая. Ему казалось, что Любовь Вадимовна знает, почему он не попросил за нее у Каменева. Никто этого не мог знать, но Лосев думал, что раз она знает, то расспросы его будут фальшивы и Любовь Вадимовна уличит его во лжи. При всех уличит его, сама смутится, она всегда смущается, когда говорит с начальством, и все равно уличит, вернет при этом какое-нибудь надменное «напрасно вы...». Представив это, Лосев остановился. Он привик к тому, что в городе его ловят, иные хватают прямо за рукав, заглядывают в глаза, ищут его внимания. С какой стати он должен объясняться, оправдываться? Чего она себе воображает, замшелая эта коза? Он ругнул ее еще крепче, но и это не помогло. Ощущение вины не проходило. И уйти он не мог и подойти не мог, застрял — ни туда, ни сюда. Стоял в мокрых закатанных штанах, папки под мышкой, небритый, сопящий, по-бычьему тупо уставясь перед собою. Торчал перед ними, не зная, как повернуться и уйти. С каждой секундой положение его становилось глупее. Уши его горели. В каком виде ты воз-

вращаешь книжку, Сергей Лосев! И сам-то хорош, погляди на себя.. Если б она произнесла что-либо подобное! Как когда-то. Подумал, как это непоправимо. Ничего не могло вернуться. Мимолетные наплывы детства ничего не значили, он семидесяти килограммовый мужик, а Любовь Вадимовна пожилая, сморщенная..

Она не отвернулась, не занялась своим бельем, не опустила глаза. Без жалости она продолжала смотреть на него, и обе женщины также смотрели, как он неуклюже попятился, отступил, повернулся, взгляды их жгли ему спину.

Дома перед зеркалом, когда он брился, фразы одна другой ловчее приходили ему на ум. От этого он только пуще злился, не на себя — на нее. Лучше бы она его изругала, накинулась бы на него при этих бабах, совестила, грозилась. Куда лучше, чем надменная эта гордость, сдержанность этих деликатных интеллигентов. Такое утро ему повредили. Как он ни берег это утро, все же попала отравка.

В его биографии можно найти несколько несостоявшихся вариантов жизни. У каждого человека есть позади случай, когда он мог выбрать иную профессию, сойтись с другой женщиной, жить в другом месте. У Лосева еще в школе была возможность пойти по музыкальной части. Он хорошо играл на гитаре, отец уговаривал его учиться дальше, тем более что имелись кое-какие связи через культпросветработу. Вместо этого Лосев поехал в Ленинград в университет сдавать на физический факультет. Он решил стать атомщиком. Только потому что это было модно. Конечно, он провалился, не мог решить ни одной задачки. Неудача его обескуражила, и в отместку себе он поступил водопроводчиком в ЖЭК. Работа была грязной и легкой, денежной и жалкой, потому что то не было прокладок, то переходников, надо было побираться, врать, выпивать, халтурить, обирать жильцов, которые, между прочим, считали его простаком, опекали как неспорченного, добросовестного провинциала. С тех пор научился пользоваться своей открытой физиономией, огромной улыбкой, детской нескладностью.

Слава привлекала его больше денег. Это было не тщеславие, скорее честолюбие. В армии он служил в танковых частях и был лучшим механиком-водителем. Не просто отличником, а именно лучшим. Его хотели направить в офицерское училище. Все шло к тому, чтобы он стал кадровым офицером и двигался бы по военной линии. Повздорив со своим лейтенантом и сядя на губе, Лосев вычислил, что, когда он окончит училище, его лейтенант станет майором, а он всего лишь лейтенантом и опять вынужден будет тянуться перед ним и выслушивать его idiotские придирки. В училище он не пошел. Армия лишилась, по его словам, лучшего генерала.

Самолюбие, самомнение, то есть характер? Или же судьба, замаскированная случайностью? В последний момент его всегда что-то останавливало, какая-то осечка, запятая, не давая уклониться от жизненного пути, о существовании которого он не подозревал.

Председатель исполкома Конюхов, человек больной, пьющий, толковывал Лосеву, своему заму, золотое правило, проверенное его номенклатурной жизнью: «Чем меньше ты делаешь, тем меньше тебе надо делать». Лосев воспринял это правило в другую сторону. Чем больше он делал, тем больше дел наваливалось на него. И ему это нравилось. Ему все было мало. Новая должность давала власть, а власть открывала возможность действовать — не обсуждать, не критиковать других, не сетовать, самому работать. Он взялся за ремонт магазинов, возобновил прокладку канализации, заложил еще три жилых дома, для этого понадобилось навести порядок с грузовым транспортом,

выяснилось, что машинам нужна ремонтная база, а это требовало прокладки кабеля, строительства трансформаторной подстанции, не хватило песка — пришлось заняться карьером, прокладывать туда дорогу... Дела налипали, как снежный ком. Он не отступал, он не представлял себе, что может столько работать. Его выручал нюх на неполадки, он появлялся на стройплощадке как раз тогда, когда кончался цемент или прораб подавал заявление об уходе. Стоило тронуть, потряхивать городское хозяйство, как все стало расплываться, трещать, повсюду обнаруживались прорехи, рушилась котельная, не хватало мощности водопроводу. Вдруг пришли в аварийное состояние общежитие и дома на главной улице. Выяснилось, что в конторах днем никого нет, телефоны работают плохо, машинистки безграмотны, приказы теряются. Долгое время он избегал кого-либо снимать и наказывать. «Ни вы, ни я не знаете, какой вы работник, — твердил он каждому. — Потому что вы еще не работали по-настоящему. Может быть, вы гений. Поработайте, станет ясно». От его слов никто не возьмется за работу — это он понимал, — могут заставить работать только обстоятельства. «А обстоятельства создам я. Вот тогда выяснится, на что вы годитесь». До тех пор пока он крутил ручку, они работали. Это был его «ручной труд», сами они не запускались, понадобились годы, чтобы научиться находить у людей свои моторчики.

То был, может, наивысший взлет его жизни. Счастьем было полагать, что все зависит от него, что он может обеспечить людей жильем, благоустроить город, провести в дома воду, канализацию, тепло. Ощущение могущества переполняло его, могущества возможностей: хватит у него сил, способностей, энергии — и все будет, все появится.

Утверждали, что Лосев такой потому, что у него есть рука в Москве, ему хорошо, он может себе позволить. Фигуровский, конечно, способствовал первоначальному, так сказать, выявлению, первоначальному толчку, но скорее всего Лосев все равно выбрался бы на эту стезю, ибо способности его как нельзя лучше подходили для этой должности.

Что было бы, если бы... к сожалению, этого нельзя проверить ни на одной человеческой судьбе, никакого опыта нельзя провести, мы только то, что получилось, мы не можем узнать того, что могло из нас быть...

Катастрофа произошла непредвиденно, как и положено катастрофе. Сигналы, конечно, были. Задним числом Лосев установил — Колюхов его неоднократно предупреждал: не рви постройку! Куда мчишься, ноги переломашь! Он был философ: «Личность не должна форсировать ход развития. Все, что следует, произойдет само собою. Зачем надрывать и перенапрягать систему? Мы материалисты...» И далее шли более конкретные предупреждения. Но Лосев только посмеивался. Он вмешивался в распределение жилплощади, защищая интересы своих строителей, он приказал торговых работников за разбазаривание стройматериалов и отказывался посылать кой-кому строителей на квартиру белить, оклеивать, он не давал фанеры, плиток — словом, совершал всякие принципиальные поступки, которые мало помогают реальным отношениям.

На него написали несколько анонимных писем с цифрами, датами, фамилиями, обвиняли в нарушениях финансовой дисциплины, самоуправстве, нехороших разговорах в адрес начальства. На письма отреагировали быстро, все покатило по отлаженной схеме: прибыла комиссия, документы оказались подготовленными, свидетели давали нужные показания, нарушения найдены и дело двинулось в путь-дорогу.

Никаких мер Лосев не принимал, с комиссией объяснился высокомерно; считал ниже своего достоинства опровергать всякие домыслы, искать защитников, ехать в область протестовать.

К тому же Конюхов успокаивал, благодушно и уверенно подмигивая, как будто что-то знал: только не суетись, разберутся, всякая суета роняет престиж.

В разгар всех этих дел Лосева вызвали в Москву. На какое-то малозначительное совещание, но вызвали категорически. После совещания Фигуровский повез Лосева к себе. Оказалось, он прослышал о лыковских делах и хотел составить свое мнение. Расспрашивал придирчиво — и про Конюхова и про остальных сотрудников, — что-то сопоставлял, щурился, прицокивал, пока не убедился, что нарушения обыкновенные, неизбежные у каждого руководителя, который хочет строить, а не рапортовать. Нарушения эти можно и не заметить, можно за них вынести выговор, можно передать дело прокурору. Все зависит от местной обстановки... Где-то тут находилось больное место Лосева, и Фигуровский безжалостно, как врач, нащупывал, надавливал, вызывая яростный крик — и прекрасно, что к прокурору! Лосев хотел пойти под суд, он жаждал публичности, открытого боя.

Обстановка между тем складывалась неприятная, не в пример Конюхову Фигуровский придавал делу серьезное значение. Кстати, Конюховым тоже не следует обольщаться, потому что именно Конюхов, когда его запросили, согласился с анонимками, применяя выражения, похожие на те, что были в письмах.

Появлению комиссии предшествовали всякого рода переговоры, о которых Лосев не подозревал. И все это какими-то сложными ходами было связано с самим Фигуровским, положение которого в очередной раз пошатнулось. Надвинулась новая опала, и то ли хотели Лосева подверстать — вот, мол, кого Фигуровский рекомендовал, — то ли в Лыкове узнали, что защищать Лосева некому...

Лосев не понимал, кому он мешал. На каком основании на него ополчились? Он работал и больше ничего. Вся вина его в том, что он много работал.

Они сидели на кухне большой неуютной квартиры, обставленной казенной на вид мебелью. Пили чай, составленный Фигуровским из зверобоя, малины, березовых почек и каких-то еще трав, смешанных им в точной пропорции. Чай был душистый и острый. На столе лежали сушки и маринованные миноги. Ничего другого хозяин не нашел. На кухню заглядывали какие-то седые старики и старушки, все коротко стриженные, все с простуженными голосами, похожие на Фигуровского.

Дома Фигуровский, без пиджака, в потертой кроличьей безрукавке, в черных валенках, нисколько не потерял своей значительности. То, что он говорил на кухне, было не менее весомо, чем то, что произносилось в его огромном кабинете в окружении телефонов, селекторов, референтов, помощников. В любой обстановке он оставался большим человеком. В этом было его отличие от других, которые Лосева всегда изумляли — после снятия или ухода на пенсию куда девались их мудрость, уверенность, знания?

Фигуровский рассказывал, как на охоте застрелили у него сеттера, талантливейшую собаку, чемпиона, любого подранка вытаскивал, и вот взяла и лупанула ему дробью в голову, когда плыл с уткой. За что? За то, что собака хорошая, ни за что другое. Какая тут логика? Люди поступают не по логике. Лосев школьно мыслит, если он располагает человека по законам симметрии: зло должно иметь причину, допустим, уравновешиваться выгодой, добро — славой, каждый поступок должен быть чем-то обусловлен и тому подобные прописи. На

самом-то деле люди творят черт знает что без всяких мотивов. Никакой симметрии. Может, мир движется и развивается этой асимметрией. От нарушений логики и происходит прогресс, хотя что такое прогресс, Фигуровский определить затруднялся.

От малопонятных, отвлеченных рассуждений Фигуровский вдруг переходил к нелепостям лосевского поведения, превращал его достоинства в недостатки, простодушие в глупость, правдолюбие в склочность. Бездельника Конюхова следовало давно обезвредить, выставить его перед начальством как пьяницу, доказать, что нельзя такого держать, уволить и снять его дружков, его опору; Лосеву надо это было делать сразу, пока новому человеку разрешают подбирать кадры. Привлечь молодых, тех, кто хочет работать, они были бы обязаны Лосеву, они составили бы его преторианскую гвардию. Старые кадры всегда недовольны новыми руководителями. Надо было не только хорошо работать, но и показывать свою работу, уметь преподносить ее, а то получилось, что ее приписали себе тот же Конюхов и другие. Лосеву не доставало цинизма, честолюбие его было примитивно, оно все уходило в работу, от него разило честностью, так что это могло отвлечь не только конюховых.

Почему-то Фигуровский считал себя ответственным за судьбу этого парня, так быстро опавшего с лица. Густые тени лежали у Лосева под глазами, с того последнего их свидания он резко изменился, он был поражен несправедливостью, ранен ею и готов был натворить непоправимые вещи.

Фигуровский убеждал, что добро и честность должны действовать умно, применять силу, хитрость, уметь бороться, иначе любой проходимец может загубить самое лучшее дело. Пусть чувствуют, что получают сдачи. Все эти карьеристы, завистники, корыстолюбцы, всякие жулики, деляги, которым, возможно, помешал Лосев или которые еще будут возникать на его пути, они нахальны и трусливы. Они боятся света, действуют подлыми методами, и с ними незачем стесняться, можно пользоваться любыми случаями, чтобы убрать клеветника или кляузника. Приходится ради этого миловаться не с тем, с кем хочешь, идти на компромисс. В реальной жизни не сохранишь стерильность. Если хочешь сделать серьезное, нужное дело, то изволь быть и гибким и жестоким. Чтобы получить фонды вовремя, надо создать хорошие отношения, а чтобы их создать, надо завоевать расположение, иметь связи, кому-то помогать, кого-то выдвигать...

Примеры, которые он приводил, вызывали у Лосева тоску и протест.

— Не могу я так. Не умею, не хочу! Какое же это добро, если кулаками? — Лосев повертел свои большие кулаки. — Я ведь изувечить могу... Что же получится?

— А то, что строить будут больше больниц и домов. Качественно и в срок. А вы как думали? Об этом не любят у нас говорить, но без этого не обойтись. Ханжество не считается с этим. Пока что реальность такова... Никуда не денетесь. Придется и вам всем этим заняться. Иначе вы будете незащищены.

Фигуровский говорил твердо, но взгляд его был печален.

— Завидую я вам... — вдруг сказал он. — Все-таки это счастье — непонимание низостей. Когда-то я тоже не понимал... Понимать — значит снижаться. Угадывать ходы всяких пакостников — занятие унизительное. Втягиваешься... И сам становишься иногда вровень. Но что делать, если я вижу их маневры...»

Теперь не установить, какую роль сыграли советы Фигуровского в последующей работе Лосева на Севере. Помогли они, или же сама жизнь заставила его действовать иначе. Но от тех встреч с Фигуров-

ским запомнились не советы, а этот вечер на кухне, старый щербатый рот, мягкие руки в коричневых пятнах, то отцовское, чего, видимо, не хватало Лосеву. Неумолимое течение, что — хочешь не хочешь — отдаляет сына от отца, когда-то все же прибывает к отцовскому берегу, но там уже никого нет.

На какой-то миг приоткрылось Лосеву то, что молодым несвойственно, — ощущение вины за то, что он будет жить еще долго после Фигуровского, за молодость, которая вытесняла старого строителя из жизни. Позже пришел стыд и за то, что опала Фигуровского, беда, что надвигалась на него, нисколько не занимала Лосева, так поглощен он был своими напастями. Казалось естественным, что старик занимается им, что его, Лосева, неприятности сейчас самые насущные.

Уже потом, на Севере, Лосев не раз думал о том, что Фигуровскому, наверное, было тяжело оттого, что он не мог ему помочь, прекратить, остановить, прислать новую комиссию... К тому времени вопрос с Фигуровским был решен, он был бессилен, его самого посылали на строительство северных портов — должность, в которой он когда-то уже побывал.

Странно, но в тот момент неожиданно для себя Лосев вдруг был затоплен чувством благодарной нежности, ему захотелось поцеловать старика, так же как когда-то он целовал отца, уткнуться лицом в плечо и коснуться губами колючей кожи. Конечно, он этого себе не позволил. Но соленая жгучесть того желания запомнилась. Оказывается, запоминается не само существование, которое непрерывно соскальзывает в черноту, ничего не оставляя. Важно то, что об этом подумается, оно и останется и запомнится благодаря вспыхнувшему в тот момент восторгу, сравнению, мысли, что соединится со слезой, со страхом... Всего лишь случайные наплывы окажутся прочнее происшедшего.

Единственное, на что у Фигуровского хватило власти, это взять Лосева с собою на Север. От предложения этого Лосев отказался. Чем безнадежнее представлялось возвращение в Лыков и предстоящие разбирательства, расследование, объяснительные записки, оправдания, обиды, ложь — все, во что он будет погружен, — чем безнадежнее, тем лучше. Он переступил за предел ожесточения, и, чтобы остановить его, Фигуровскому пришлось пойти на поклон к человеку, которого он презирал. Человек этот был рад, что именно Фигуровский посидел у него в приемной, а потом в кабинете выслушал кое-что... Подробности того унизительного визита прояснились позже, а пока что Лосев был направлен на Север на стройку, и категоричность указания исключала всякие споры, сам же Фигуровский в последнюю минуту был направлен на юг, в торгпредство одной азиатской страны.

Лосев вернулся в Лыков через шесть лет с женой и дочерью. К тому времени Конюхов и его компания были давно сняты, судимы и, что Лосева удивило, о них мало кто помнил. Фамилии их с трудом вспоминались, даже в аппарате райисполкома морщили лоб, задумывались — у нас ли Конюхов работал, кем был?..

Наивно представлять биографию человека в виде пути, который он преодолевает, будь то путь с препятствиями, путь вверх, к вершине, или же с подъемами и спусками — все равно, это упрощение, фальшивая модель, которой пытаются придать жизни осмысленность, некоторую идею. Модель, придуманная скорее проводниками, чем философами. Во всяком случае, наш герой никуда не шел, не карабкался на высоты, с коих открывались новые дали. На Севере он работал так же, как и в Лыкове, — много, не всегда удачно, считал, как и все кругом него, работу смыслом существования, постройку — целью своей обозримой жизни, выполнение плана — своей честью.

Двигался не он, а время, и вовсе не вперед, и не вверх, и не обязательно развиваясь, двигалось оно скорее по кругу, как стрелки часов. Время вращалось вокруг Лосева, описывая свой заколдованный круг, свой предел, за который Лосеву иногда удавалось вырваться.

Внешне он огрубел, прокалился, ушло все лишнее, втянулись щеки, проступила кость, похудел и налился тяжестью, по характеру же стал мягче, улыбчивей и суше, много, оглушительно смеялся, был приятно нетороплив и прост. Но за всем этим чувствовались хватка и продуманность. Он все время приобретал сторонников, но не друзей. Впрочем, о дружбе он и не заботился, не спешил возобновлять прежние приятельства.

Когда его избрали председателем горисполкома, все сочли это естественным. Конюхова забыли, а его помнили — помнили автобазу, построенные дома, дорогу помнили. Вскоре убедились, что Лосев умеет не только сам работать, а и с других требовать; каким-то образом, без всяких скандалов, он сумел избавиться от бездельников и горлохватов, а тех, кто пробовал жаловаться, он вызывал к себе — и они уходили притихшие и напуганные.

Будучи в Москве, он узнал, что Фигуровский приехал, вышел на пенсию. Лосев отправился к нему на дачу. Встреча была трогательной. Все эти годы, как оказалось, Фигуровский издали следил за его работой, передвижениями, знал, что Лосев отказался от новой стройки с высокой должностью, он одобрил решение вернуться в Лыков, был по всем статьям доволен Лосевым, оглядывал его горделиво, как свое открытие.

Сам он изменился неузнаваемо. Стал маленьким, легким, белым, довольство, несколько отрешенное, окружало его сияющим облаком. Движения его были не сдержанно-законченные, а плавные, напоминающая Лосеву тополинный пух, плавающий в теплом воздухе. Счастливого и свободное это парение было и в глазах Фигуровского.

Лосев пытался рассказать ему про свою новую исполкомовскую работу, и старик тотчас стал ему что-то советовать, но оказалось, что все это примитивно. Да и от самого Фигуровского все эти незавершенные лимиты, ассигнования отдалились, чуть ли не свысока озирали отгоревшие свои страсти, суету, которая все еще продолжалась там. Он показывал кормушки для птиц, которые он сам мастерил на участке, какие-то мальчишки строили из жердей загон для хомяков. Было такое впечатление, что старик занят больше, чем раньше, торопится наверстать упущенное, что подошла самая цветущая пора его жизни. Лосев уехал растерянный. Это было последнее их свидание. Спустя несколько лет Лосев разыскал на Новодевичьем кладбище могилу Фигуровского с пышным надгробием. Черный куб полированно-го камня имел сверху цилиндр, на котором был высечен барельеф. Медальный профиль изображал Выдающегося, Известного, Вписавшего, Требовательного, Незабываемого, Под руководством которого, Отзывчивого — в полном соответствии с некрологом. Лосев долго стоял, вспоминая свои встречи с этим человеком, и никак не мог сложить из них цельный образ. Смущало, что в каждой Фигуровский в чем-то оказывался не прав и в чем-то, очень важном, был прав — и всякий раз по-другому. И все это не имело отношения к этому барельефу, на который он тоже имел право, потому что Фигуровский был и таким.

В полированной черноте камня отражались небо, зеленые ветви, темная фигура Лосева и тополинный пух, что несся над ним, над барельефом, над всем кладбищем.

Он вспомнил, как в последнюю встречу на даче он хотел помочь Фигуровскому наладить водопровод и как Фигуровский отказался: «Я не позволю вам расквитаться. И вы не позволяйте. Пусть вам де-

лают добро, не мешайте людям делать добро и не старайтесь сразу отплатить. Добро обладает одной особенностью. Зло, причиненное вам, вы можете простить, забыть. А доброе дело ни простить, ни отомстить нельзя».

После смерти Фигуровского Лосев перенес свою привязанность на Аркадия Матвеевича. Фигуровский когда-то учил его, как пользоваться своей силой. Аркадий Матвеевич помогал скорее пользоваться своей слабостью. В чем-то они были схожи, но Аркадий Матвеевич был постоянной, он не менялся с годами, в нем была уютность обжитого, привычного характера.

Глава 11

Голос начальника милиции приблизился, видимо он говорил прямо в трубку, значит, звонил не из своего кабинета. Лосев отвечал недовольно: никакого Анисимова он не знает, мало ли кто ссылается, каждый нарушитель может сослаться, как можно принимать это всерьез? Послышался сдержанный вздох, и тем же ровным голосом начальник милиции сказал, что раз так, меры будут немедленно приняты, условия работы обеспечены и Анисимов будет удален. На всякий случай проверяя, он добавил: Анисимов Константин, потом добавил — девятнадцати лет... Что бы ни случилось, Николай Никитич докладывал успокаивающе-медленно. Перед Лосевым возникла могучая его фигура, плоское малоподвижное лицо, где если что и менялось, то лишь в азиатски скошенных темных глазах. И тогда с этим следовало считаться. Начальник милиции редко ошибался. Сообразив, кто такой Анисимов, и все поняв, Лосев подумал, что пора усвоить — раз Николай Никитич позвонил, то не зря. Некоторое время Лосев молчал, потом ответил, что едет, на что Николай Никитич посоветовал для быстроты воспользоваться дежурным милицейским «козликом», который он послал к исполкому.

Лосев спустился вниз. Желто-синяя милицейская машина тархтела у подъезда. Лосев сел, и шофер не спрашивая рванул на площадь, далее напрямик под кирпич, к мосту.

Лосев держался за скобу и думал, что Николай Никитич с самого начала был уверен, что он, Лосев, поедет, все было решено заранее и предусмотрено, так что хотя Лосев вроде руководитель, на самом деле во многих случаях он подчиненный, им руководят его подчиненные, так называемый аппарат, — и противиться этому бесполезно. Любопытно тут другое — насколько хорошо они изучили его и умеют ли они играть на его характере...

Стоял августовский полдень, душный, безветренно-парной, некуда было деться от знойного воздуха, от раскаленного блеска.

Внизу, у Жмуркиной заводи, у обреза пылающей воды толпились люди, звучали голоса, бегали ребятишки, брызгаясь и вопя от возбуждения. Начальник милиции встретил Лосева на спуске, вытянулся, хотя был не в форме, а в сереньком, в клетку костюме, в цветастенькой рубашке, в сандалетах, бесстрастно официальным тоном доложил обстановку: гражданин Анисимов применял физическую силу, мешает геодезистам производить на местности съемку. В действиях своих ссылается на заверения инстанций в лице председателя горисполкома. Несмотря на просьбы, покинуть место происшествия отказывается.

Лосев выслушал его молча, кивнул и, сопровождаемый им и милицейским шофером, пошел туда, в густоту толпы, которая охотно расступилась перед ним.

У полеглой ивы, как бы прикрывая ее собой, стоял Костя Аниси-

мов, руки он раскинул по стволу, словно Христос на распяты, губы его были рассечены, подбородок окровавлен, был он весь растерзан, пестрая иностранная рубашка его разорвана...

Лосев шел не торопясь, размеренно, круглые зеленоватые его глазки все и всех ощупывали, подмечали. Возле Анисимова стоял милиционер, отгораживая его от плечистого лысоватого мужчины в синей спецовке. Мужчина был Лосеву незнаком, его держали за руки, однако при виде Лосева отпустили, и он вытер потное лицо, поднял с земли кепочку. Тут же на песке валялись пила, рейка, колья, стояла тренога с нивелиром, лежала сумка... Ни о чем не спрашивая, Лосев представился, протянул мужчине руку. Сделал он это по всем правилам, с той любезностью, с какой принимал почетные делегации у себя в горисполкоме.

— Рычков Евгений.— Пересилив себя, мужчина пожал протянутую руку. Крик и ругань клокотали в его горле, а ему надо было еще сообщить, что он старший техник стройуправления номер такой-то.

Не отпуская его руки, Лосев поинтересовался, что за съемка, если кольшки уже вбиты и все размечено, и слушал объяснения и опять задавал вопросы, вникая в работу старшего техника и двух его помощников, которых тоже попросил представить. Его уверенность сдерживала всех, как будто каждое действие его было подчинено какой-то ему известной цели. Рычков нетерпеливо выкрикнул, не проверку ли им учиняют, и демонстративно протянул командировочное удостоверение, которое Лосев взял и долго, подробно читал вплоть до подписи Грищенко — начальника управления. Когда Лосев поднял голову, лицо его выражало приветливость и участие.

— Все правильно,— сказал он.

— Вот видите! — угрожающе и торжественно сказал Рычков, и все зашумели и ближе придвинулись.

Лосев взглянул на Костика, и Костик, давно ожидающий этого, потянулся к нему, но встретил взгляд зеркально холодный и сник, отступил назад, прижался к дереву.

— Вы осторожней, он не в себе,— предупредил милиционер.

Из толпы откликнулись:

— Довели человека.

— Кто кого довел — вопрос!

— Люди делали что положено, а он...

— Пилить-то зачем?

— Значит, мешает.

Перекрывая говор, Рычков объяснял:

— Я бы его пополам перешиб, товарищ Лосев, так ведь он за вас прячется, что, дескать, вы запретили, что вы обещали... Он у нас пилу вырвал, руку поранил моему мастеру. Вы посмотрите!

Голос его быстро набирал силу. Заступив дорогу Лосеву, Рычков вытолкнул мастера, коротконогого, в красных кедах похорожего на утку, и тот с готовностью поднял перетянутую платком руку.

— Безобразие,— сказал Лосев.

— А милиция ваша пребывает на позиции невмешательства,— обрадованно сказал мастер.

В толпе отозвались неодобрительно:

— Замотал, будто на войне.

— Спилить-сломать — это они мастаки!

— Пилила — рану получила!..

Лосев шагнул к Анисимову, так что Рычков должен был отодвигаться. Бледное лицо Костика было в поту. Солнце било ему в глаза. Он пригнулся, в правой руке его был зажат камень, большой зеленоватый гольш.

— Брось камень,— сказал из-за плеча Лосева Николай Никитич,— сейчас же брось!

Костик дернулся, лицо его скривилось, видно было, как он хотел разжать губы и не мог. Мелкая дрожь колотила его; чтобы скрыть ее, он спиной прижимался к стволу.

— Если вы, товарищ Лосев, на самом деле запрещаете, то, пожалуйста, надпишите,— официальным тоном произнес Рычков.— Наше дело небольшое. Мы сообщим начальству, разбирайтесь сами. А травмы получать от хулиганов — извините.

Второй помощник Рычкова, молоденький, аккуратный, в темных очках, вышел вперед:

— Лично я все равно этого не оставлю! Он не имел права нас оскорблять, мы исполняли долг, мы отличники соревнования.

— Он их мафией назвал,— пояснил кто-то, смеясь.— И террористами.

— Сам тоже вырядился,— сказала какая-то женщина.— Браслеты носит, словно девка.

На обеих руках у Костика блестели медные широкие браслеты, и волосы у него были длинные, да еще голубые джинсы, вытертые до бела на коленях, с медными заклепками, обложмаченные понизу,— все выглядело вызывающе, не в его пользу.

— Что же ты? Разве так можно? — успокаивающе сказал Лосев. Костик разжал пальцы, камень вывалился.

— Поглядите сюда. Вот... — Он отстранился и открыл свежий надпил на самом взгорье ствола.

Лосев подошел, провел пальцем по распилу. Влажные опилки посыпались на песок. Старая ива склонилась над рекой, образуя не ровный наклон, а деляя выгиб так, что шла параллельно воде, на ней сживали по несколько человек, кора была обтерта, и были вырезаны разные инициалы. Пилили ее, видимо, с простым расчетом, чтобы ива упала в реку, пилили в рост, не под корень, а наверху у перегиба. Надпилить успели неглубоко, но в покорном склоне ствола появилась вдруг обреченность.

— Так они ж ее пилили! — удивился женский голос.

— А ты думала. Она им поперек проекта лежит. Главное ихнее препятствие.— И, не стесняясь начальства, кто-то хмельно пустил матюжком.

— Дерево жалеете, а человека? — закричал молоденький помощник Рычкова.

Рядом с Лосевым девочка сказала:

— Мама, зачем они ее пилят?

— Надо, значит,— безразлично отозвалась женщина.

— Они меня не слушали, Сергей Степанович, они б ее спилили. Я их по-хорошему просил, я случайно увидал. А они, они нарочно топились, скорей, нахрапом хотели, я им слово давал... Ребят никого не было, я тогда решил оборонять как угодно, чтобы вас вызвали... — Костик спешил и все искал взгляд Лосева, всматривался в глаза его, твердые, блестящие, где не было ничего, совсем ничего, только скользил ледовый блеск.

— Не хо-о-очу-у! — вдруг отчаянно заголосила та же девочка.— Плохая ты, плохая! — И обеими руками стала отбиваться от матери.

От ее крика Костик вздрогнул, выпрямился, все в нем натянулось, зазвенело, а в лице что-то задрожало, забилося, как флаг на ветру.

— Не пушу никого. Не дам! Не позволю! — закричал он.— Уйдите!

Лосев нахмурился, поднял руку, оборвал крик голосом, который слышен был при любом шуме:

— Ты какое право имеешь тут хозяйничать? Ты кто такой? А? Кто тебе разрешил?

Костик посмотрел на него с ужасом:

— Сергей Степанович, да как же вы так говорите? Вы же сами...

— Что я сам? — тотчас сшиб его Лосев. — Что? Ишь нашел спину. Спрятаться хочешь. Эх ты, герой, разве так вопросы надо решать? Никто не позволял тебе с камнем на людей кидаться. Самовольничать мы тут не позволим! — Он говорил голосом, не оставляющим сомнений, для сведения не только Костика.

— Слыхали? Я так и знал, — обрадовался Рычков.

Мастер в красных кедах завертелся, хлопнул себя по бедрам, восхищенно удивляясь:

— Значит, брехун он! Ну артист! Ах ты японский бог, лепил нам, выступал тут, словно и в самом деле. Чуть не объехал, жулье. Ну лепила! Ну бандюга!

Радость его была потешной, кое-кто заулыбался.

Костик вынул платок, приложил к разбитой губе, бесчувственно обвел всех глазами.

— Эх вы... Ну что вы за люди! Они тут все перерубят, загадят, а вы согласны. Ребенок, он плачет, он жалеет, а вы! На что вам красота? Разве вы ее защитите?.. Быдло вы. Идите паситесь...

Неизвестно почему все молча, даже с интересом слушали его слова, смотрели на бледное, презрительно искривленное лицо. Первым опомнился Рычков.

— Он еще обзывается! Подонок! Да ты прощения должен просить!

Разлапистой своей ручищей он схватил Костика за отвороты рубашки, притянул, пригибая к земле, однако Костик отчаянным движением вывернулся, ударив Рычкова в пах, нырнул куда-то вниз к камню. Рычков опередил его, носком сапога отбросил камень и тут же следом ногой дал так, что Костик перегнулся, схватясь за живот.

— Я тебе покажу быдло! — бешено выдохнул Рычков.

Начальник милиции устремился в расклин между ними, но Лосев движением плеча помешал ему. Это было слабо заметное движение, Лосев чуть заступил, преграждая дорогу, и начальник милиции остановился, не понимая, в чем дело.

— Да за что же его, господи, — страдающе охнул женский голос. Никто не двигался, все стояли, удержанные неподвижностью Лосева, понимая, что он чего-то ожидает.

Анисимов распрямылся, шатаясь двинулся на Рычкова, разорванная наискось рубаха свисала, глаза его сумасшедше опрокинулись. Рычков снова, на этот раз рассчитанным ударом, грохнул его на землю.

— Нокаут, — заметил кто-то.

Вот тут Лосев покачал головой.

— Зачем же вы драку затеяли, товарищ Рычков? Рукам волю давать нельзя. Так изувечить можно. Теперь вас обоих привлекать надо. Николай Никитич, возьмите их за нарушение порядка. Безобразие. Кстати, о производстве работ положено ставить в известность исполком. Тем более о порубке деревьев.

— Они ж на нашей территории! — крикнул Рычков.

Лосев угрожающе поднял палец.

— Вашей территории нет. Есть территория города. — Он кивнул начальнику милиции. — Оба хороши. Протокол составьте и дать обоим сколько положено. Ишь распустились.

— По пятнашке, — подсказал кто-то с облегчением.

Рычков что-то стал возражать, но Николай Никитич легонько напомнил о своей силе, придвинул его к милиционеру, и тот повел обоих к машине.

Встав на ступеньку, Анисимов обернулся, поискал Лосева, встретил прямой безучастный взгляд его светлых глаз.

Ребятишки побежали в воду. На песке поодаль лежала женщина в купальнике, рядом с ней возился голый малыш. Женщина перевернулась на спину, раскинула руки. Толпа разошлась. Знойная тишина возвращалась на Жмуркину заводь. Словно ничего и не было, ничего не произошло и не могло произойти с этой лениво-беспечной рекой, заводью, зеленью...

Что важно — так это информировать первого. Кто первое, тот правее. Запоздаешь — и тогда доказывай, что ты не верблюд, потому что уже сообщили, что ты верблюд, и тебе остается оправдываться и переубеждать. А все, что пере, то плохо. Нет, нет, сообщать надо первому; прав ты или виноват, все равно сообщай первый. На своих собственных синяках да шишках Лосев усвоил правило это как одно из самых что ни на есть... Кроме того, добавлялось тут и другое, более тонкое преимущество, которое Лосев обеспечивал, сразу же позвонив в область Грищенко. Рассказывая про драку, учиненную Рычковым на месте работ, Лосев не возмущался, не употреблял сильных выражений, он даже выгораживал Рычкова за кой-какие грубости. Грищенко изумился: Рычков? что он — выпивши был? Узнав, что трезвый («В том-то и дело, что не выпивши», — посочувствовал Лосев), Грищенко недоверчиво закричал — за столько лет ни в чем таком замечен не был... Лосев добродушно оправдывал Рычкова — сорвался парень, бывает, хотя с такими кулаками изувечить мог... Считай, в пятнадцать суток это удовольствие обойдется. Грищенко заныл, застонал: нельзя ли как-то помочь, выручить? А как поможешь, ведь все видели, он и начальства не постеснялся... Конечно, Лосев не собирался раздувать эту историю, так и быть — попробует уговорить милицию отпустить Рычкова, но при условии, чтобы и духу его не было, чтобы немедленно убрался из города со своей группой, иначе разговоров не оберешься. Грищенко обрадовался.

Всегда надо действовать так, чтобы человек (в данном случае Грищенко) рад был сделать то, что ты предлагаешь, чтобы обрадовался, будто ты ему услугу оказываешь.

Обрадоваться-то он обрадовался, да тут же заскулил, как от зубной боли: кем заменить Рычкова, людей нет, работы задержатся. И на всякий случай продолжал давить: мог бы Лосев вникнуть в его беды, как-никак строят-то для города... Лосев прервал его причитания, заметив, что задержка, она не всегда во вред идет.

— Это как понимать? — спросил Грищенко.

Неизвестно чему веселясь, Лосев сказал:

— Немедленно, срочно... А срочное дело еще проверить надо, какое оно срочное.

— И как ты проверяешь?

— Откладывью. Отложу и посмотрю, станет ли оно от этого более срочным.

— Ну и что?

— Многие дела, сам знаешь, совсем перестают быть нужными.

Грищенко охотно посмеялся. К сожалению, у строителей так не получается...

Шутка Лосева его насторожила — выходит, Лосев не заинтересован в стройке?.. И Лосев тоже почувствовал свою оплошку, оба, однако, и виду не подали.

К вечеру Рычкова отпустили, передали ему указание управляющего, и он уехал ночным поездом вместе со своими подручными. Поскольку ходатайствовал за него, кроме товарища Грищенко, еще и сам Сергей Степанович Лосев, то протокол Рычков подписал без возражений. Судя по всему, он был доволен, что дело так быстро уладилось.

Глава 12

В шесть часов вечера, когда исполком спустел и коридоры стали гулкими, а двери скрипучими, начальник милиции привел Анисимова в кабинет председателя. Войдя в кабинет, Николай Никитич отпустил руку Анисимова и доложил, что гражданина такого-то доставил. Вытянулся во весь свой исполинский рост, щелкнул каблуками. Теперь он был в милицейской капитанской своей форме, в фуражке. Сизые брюки стояли безукоризненно твердо, как эсминцы, был Николай Никитич, как он выражался, при полном свистке и строго официален.

— Спасибо,— сказал Лосев.— Но почему же доставили, я просил пригласить товарища Анисимова.

— Потому что нарушитель отказался к вам явиться,— отчеканил Николай Никитич.— Пригласить! Они и понятия такого не знают. Только силу признают.— В голосе его угадывалось неодобрение в адрес самого Лосева.

Со стороны Анисимова раздался смешок. Покачиваясь на носках, он разглядывал капитана, разглядывал всего, сверху донизу, как слона в клетке или жирафу. Бледное лицо его было умыто, губа залеплена пластырем, но он не мог ни кривить ее, ни презрительно выпячивать, он лишь щурился.

— Не слишком ли вы упрощаете свою службу, дуся?

— Вот, слышали? — Николай Никитич с силой одернул мундир.— Несмотря на предупреждения, что позволяет себе. Не беспокойся, Анисимов, мы с тобой еще встретимся, ой как встретимся!

За последние часы Анисимов допек начальника милиции всеми своими фразочками, стихами и особенно идиотским этим словечком «дуся». При подчиненных — дуся! Уж на что Николай Никитич слыл уравновешенным, а тут не выдержал...

Впрочем, что значит не выдержал? Не отхлестаешь, не встряхнешь даже. Не выдержал — значит, ушел на лестницу, сделал три приседания, помахал руками, охладил сердце. Развязные манеры этого парня ликвидировали всякое сочувствие. Нахальная манера говорить нараспев. Масляный блеск его длинных волос, медные браслеты. Словечки ядовитые — и придраться нельзя и в протокол занести неудобно. Образ Анисимова стал ясен еще у Жмуркиной заводи, когда выяснилось, что Лосев не запрещал работ и ссылка на него — обман. Прощлая характеристика задержанного не отмечала никаких заслуг. С производства ушел. Играл в ресторанном оркестре, халтурил на съемках в приезжей киногруппе, сейчас работал в охотничьих мастерских, в общем и целом — без корней парень. Следовало вкатить ему, поскольку случай выпал, погонять на уборке мусора для создания трудовой психологии. Вместо этого приходится отпустить, да еще за ручку вести к председателю.

Составляя протокол, Николай Никитич восстанавливал последовательность событий. Он вспомнил, как Лосев плечом задержал его. Умышленно задержал. Но зачем? Непонятно. Отсюда произошло дальнейшее развитие конфликта и нанесение побоев. Рычкова-то можно понять. Рычков человек трудовой, не сравнить с этим лоботрясом. Рычкова по просьбе Лосева капитан отпустил охотно, при этом Лосев насчет Анисимова ни словом не обмолвился, потом же вдруг позво-

нил и сказал — чего, мол, парня держать, раз сказали «а», надо говорить и «б». На это Николай Никитич возразил, что «а» не равно «б». Анисимов первый нарушил, явился зачинщиком скандала, опозорил город, ввел всех в заблуждение, злоупотребив именем председателя горсовета... Николаю Никитичу показалось, что на том конце провода отключились, потом Лосев весело сказал, что никаких претензий к Анисимову он не имеет. И как бы утешая начальника милиции, добавил, что парень действовал из лыковского патриотизма, без всякой корысти.

Именно этот неуместно веселый тон расстроил Николая Никитича, он чувствовал, что совершенно перестает понимать Лосева. Как будто дело в корысти. Хулиганство большей частью действие не мотивированное и, можно считать, бескорыстное. Патриотизма в действиях Анисимова капитан и вовсе не хотел признавать. Нельзя, чтобы любой обалдуй вмешивался в дела начальства, произносил речи оскорбительного и даже ненужного направления. Тем более в присутствии главных властей.

Николай Никитич многое мог бы возразить Лосеву, но все его возражения соединились в один кроткий вздох, он не в состоянии был отказать этому человеку.

Когда Николай Никитич переодевался, от злости и досады спина его чесалась в самых недоступных местах. Мундир должен был вернуть уверенность и спокойствие. Он стягивал грудь и не позволял отводить глаза.

Душа противилась просто так отпустить Анисимова, хоть как-то следовало его помянуть, показать ему, что он есть и куда он катится. В дежурной при всех Николай Никитич вполне вежливо и в то же время уничижительно обрисовал Анисимову бесполезную его жизнь, лишённую стремления учиться, расти. Анисимов, слушая, чистил ногти. Нечем было зацепить, прошибить его, все доводы капитана соскальзывали с него, и даже на иронию по поводу Жмуркиной заводи не реагировал! Николай Никитич показал всю несостоятельность его как защитника пейзажа. Да какой там пейзаж, для пьяниц там пейзаж, один из неблагополучных участков города, там распивают спиртные напитки, картежные игры ведут. Слава богу, что постройка филиала ликвидирует этот очаг.

— Святая простота, — нараспев сказал Анисимов, — разве от этого меньше станут пить? Разве пьют потому, что есть где выпить?

Но тут-то Николай Никитич был хозяином положения. Борьба с пьянством была его главной идеей. Он и в Лыков-то согласился поехать, чтобы провести эксперимент по искоренению пьянства.

Ненависть к пьянству появилась у него с детства, с отцовской смерти, когда мать на похоронах взяла с него клятву никогда не брать в рот водки. Он бился с зеленым змием неистово, пользуясь всеми возможностями милицейской службы. Год яростных усилий дал слишком малый результат. Иногда по субботам Николаю Никитичу казалось, что весь город шатается, бормочет, пьяно рыгает, пучит багровые глаза. Он свирепел, совершал немало лишнего, и не будь Лосева — ему пришлось бы плохо. После долгих стараний он добивался закрытия какого-нибудь ларька, где торговали «бормотухой», «чернилами» и прочей плодово-ягодной отравой. Через несколько дней появлялся другой ларек, такой же фанерный полутемный сарайчик с несколькими высокими столиками... Несмотря на запреты, штрафы, водкой торговали в воскресенье, продавали на праздниках, ее можно было достать рано утром и в полночь. Каким-то образом молочные буфеты вдруг превращались в распивочные, вино появлялось в столо-

вых, в кафе, в кинотеатре. Сколько Николай Никитич ни отсекал голов — змей-горыныч был неистребим.

Единственный, кто поддерживал начальника милиции, не давал падать духом в этой неравной борьбе, был Лосев, хотя сам он давно отступился и не стеснялся признать свое бессилие.

В городе побаивались начальника милиции, непомерной его силы, азиатской невозмутимости и ярости. Никто не представлял, что неокрепшая душа его искала вожатого и жадно прилепилась к лосевской устремленной натуре, уверовав в нее. Что означала его вера, трудно сказать, видимо, ему казалось, что Лосев знает, что делает и что надо делать. Какая-то целительная уверенность исходила от председателя.

Можно было подумать, что Анисимов внимательно слушает проекты оздоровления нравственности населения, нахальная его усмешка растаяла, но через некоторое время Николай Никитич услышал пение. Не разжимая губ, Анисимов пел уже теперь явственно песенку о бумажном солдатике:

Он переделать мир хотел,
Чтоб был счастливым каждый,
А сам на ниточке висел —
Ведь был солдат бумажный.

Неизвестно, может, он давно начал свое пение. Николаю Никитичу ничего не стоило взять за шиворот этого мозгляка, поднять и повертеть над головой, или выкинуть в окошко, или связать из рук и ног узелок на память... Он даже повертел перед глазами своей огромной ручищей, подвигал пальцами. Но тут он нашел достойный ответ.

— Ты себя не видишь, Анисимов, — сказал он. — А между прочим, бумажный солдатик к твоему образу больше подходит.

— Вы дуся! — сказал Анисимов и к Лосеву идти категорически отказался.

Ну что ж, это подтверждало мнение Николая Никитича. Неблагодарность — наиболее низкое качество в человеке. Что можно ждать от человека, не умеющего оценить добро и заботу, ему оказанную? От неблагодарности и заводятся в душе гниль и мерзость.

Этим Анисимова удалось пронять. Николай Никитич даже не ожидал, что Анисимов так взбеленится. Забегал, затрясся. Закричал, что нет такого закона — вести к человеку, с которым он не желает разговаривать. Слова Николая Никитича о том, что Лосев хлопотал за него и вызволил, еще хуже взбесили Анисимова, совершенно вне себя он закричал, что Лосев обманщик, лицемер, фарисей, что Лосев только по наружности праведник и тем отвратительней его предательская сущность.

Такое про Лосева невозможно было слышать, это была клевета, свинство, да еще в присутствии людей. Николай Никитич попытался дать отпор, опровергнуть. В чем Лосев обманщик? В том, что приказал наказать по всей строгости, а теперь хлопочет, просит освободить? В этом обман? В этом? Он тоже сорвался в крик, вернее в окрик, потому что выдержки он не потерял, и лишь когда Анисимов ногами затопал, завопил, что согласен сидеть в тюрьме, пусть его судят, не нужно ему никаких милостей, плевал он... — только тут Николай Никитич взял его и тряхнул так, что Анисимов вскрикнул и затих. Начальник милиции удивился сам себе, никогда он не позволял ничего подобного. При своей силе он легко мог переломить ребра этому мозгляку. Долго он не мог успокоиться от оскорблений и всякой пакости, какую накричал Анисимов, счастье, что Анисимов шел за ним как миленький, ни звука не проронив.

Николай Никитич не стал, конечно, излагать в кабинете председателя все обстоятельства привода, но Лосев сразу разобрался.

— Вы не обижайтесь на него, Николай Никитич,— сказал он.— У Анисимова комплекс. Он завидует вашей силе и, как всякий слабый человек, хочет как-то уравниваться. С помощью хотя бы прозвищ. Прием не самый благородный.

Анисимов сунул пальцы в карманы джинсов и стал разглядывать Лосева с упорным интересом.

Если б не просьба Лосева, начальник милиции не оставил бы его наедине с этим психом. В поведении Анисимова имелся какой-то секрет, да и Сергей Степанович тоже действовал как-то странно, нелогично. Однако выглядел он вполне уверенно, и это успокоило начальника милиции.

По выходе в сквере он заметил двух девиц. Одну из них, учительницу Тучкову, он знал. Они смотрели на него и шептались.

На приглашение садиться Костик не ответил. Он так и остался стоять посреди кабинета.

— Обиделся, значит? Примитивно. Обиделся на то, что я не поддержал, не оценил твоего героического порыва. Не стал плечом к плечу, защищать грудью... Вместо этого отправил тебя в милицию. Теперь ты себя жалеешь, а всех нас презираешь. Как ты выразился — барашки? скоты? Вот это уже оскорбление. Заметь, что и поддержки тебе не было и сердиться на тебя тоже не стали. А? Вот что любопытно! Не сумел ты пробудить народного интереса. Они виноваты или ты? Ты на кого их поднимал? На хулиганов? То-то. На работяг, которые приехали дело делать.

Лосев ходил по кабинету мимо Анисимова вправо, влево, но Костик не поворачивался к нему. Он стоял прозрачно-бледный, тонкий, с завидно впалым животом, длинные волосы придавали его узкому лицу печаль и отрешенность. То, что раньше Лосева раздражало, стало симпатичным.

— Тебе что. Раз ты прав, то позволяешь себе драться, кричать. Вопросы этим никак не решить, но зато душу облегчил. И что дальше?

Костик молчал.

Лосев зашел с другого бока, посмотрел.

— Ладно. Видно, я в тебе ошибся. Самолюбие для тебя важнее дела. Главное — показать свою обиду на меня. А все остальное несущественно. И то, за что дрался. Рисовал я тигра, а получилась дворняжка.

Костик дернулся.

— Я тоже... ошибся. В вас ошибся.

Лосев отмахнулся, повел плечом — мол, отговорка.

— Вы меня при всех выставили лжецом.

— Ну и что? — спокойно спросил Лосев.

— Как что?.. Рычков меня при всех подонком назвал. Вам это ничто. А я не могу. Я лично не желаю. Я... я, между прочим, так ждал вас. Я готов был стоять там насмерть.— В голосе его вскипели слезы, но он пересилил себя, посмотрел на Лосева с ненавистью.— А вы... Это называется предательством.

— И в результате?

— Что в результате?

— В результате-то что мы имеем? Что мы имеем на сегодняшний и завтрашний день?

— Не понимаю,— сбился и как-то растерялся Костик.

— В том-то и штука, что не понимаешь, а судишь. А имеем мы в результате остановку работ на заводи. Ясно? Не пилят. Так ведь?

Костик задумчиво посмотрел на Лосева, затем, придя к какому-то выводу, сказал, обращаясь не к Лосеву, а к каким-то иным, незримым слушателям:

— Все это так. А я дурак. Чего я вязался? Да какое мне дело? Пилите, ломайте — какое дело поэту мирному до вас? До феньки мне ваша музыка. У нас своя музыка.— И вдруг с таким же отчужденным, холодным лицом сложил руки лодочкой, замычал, затрубил в них саксофоном, каблуками в такт отбил чечеточную дробь.— Губа болит. А то бы я вам исполнил Боби Гудвина. Что касается прочего — больше не буду, дяденька. Уничтожайте беспрепятственно. Стройте филиалы, аэровокзалы, танцплощадки...

Лосев присел боком на край стола, поболтал ногой.

— Крайность — это от неумения думать. Мечешься ты. Конечно, красиво стоять, руки раскинув, ровно парижский коммунар. Но только они перед этим боролись. За Жмуркину заводь тоже бороться надо. Варианты найти, подсчитать, убедить, бумаги писать, шапку ломать, хитрить, между прочим. И самолюбием своим поступаться. Телегу поперек не толкают.— Лосев направил взгляд в угол вверх, к тем же незримым слушателям.— Скажут: ты куда смотрел, о чем думал, ты для чего поставлен. Это общий, так сказать, смысл, конкретно же выражения могут быть весьма неприятные...— Лосев хмыкнул.— Твой Рычков—это еще Версаль! Эх ты, умываешь свои музыкальные руки, его репутация пострадала. Будем читать стихи и не желаем более тратить себя на быдло. Мы слишком чистенькие, это не для нас — в дерьме копаться.— Лосев вспомнил Любовь Вадимовну и рассердился.— Вы все такие, вы ничего знать не желаете, никаких обстоятельств, каждый только себя видит...

Костик смотрел задумчиво, как бы раздумывая не над его словами, а над другими, более важными вещами, о которых Лосев не говорил.

— Так что насчет предательства — не знаю, кто кого предал,— усиливая свои слова, сказал Лосев.— Когда люди трусят или увиливают, они придумывают себе прекрасные оправдания.

Слова его достигли, пробились, но получилось не совсем то, что он предполагал: Костик расцвел маленькой победной улыбочкой.

— А вы знаете, Сергей Степанович, вы мне сейчас Юрия Емельяновича напомнили, примерно он нам то же самое приводил про Астахова.— И Костик, повеселев, прошелся по кабинету.

— При чем тут Поливанов? Это ты брось...

— У Юрия Емельяновича тоже цель оправдывает средства. Так? Вы его на этом самом и раскурочили.

Произнес это Костик на ходу, не глядя на Лосева, остановился у окна и, поглядев на улицу, с треском растворил его. Рамой смахнуло дохлых мух, запахло горелым маслом из столовой, тошнотворным запахом, от которого у Лосева ломило виски.

— Ты чего хозяйничаешь? — сказал Лосев.— Закрой окно.

Костик не ответил, он свесился вниз, кому-то свистнул и помахал рукой. Лосев подошел, из-за его плеча увидел в сквере на скамейке двух женщин. Одна, в брюках, в клетчатой куртке, была Тучкова. Внизу настаивались сумерки, и Лосев скорее угадал ее, чем увидел. Оттого, что угадал, обрадовался. Изнутри обдало теплом. Так же, как тогда, когда она позвонила. Он тогда сам поднял трубку и услышал ее голос. У него сидели контролеры из народного контроля, и вместо того, чтобы переключить телефон на секретаря, он взял трубку, хотя видел, что звонят из города. Никогда он не позволял себе отвлекаться, а тут поднял трубку, будто ждал этого звонка. Пластмассовая трубка нагрелась. Он сжал ее — она запульсировала. Голос приблизился, слышно

было, как язык ее касается зубов, нёба, вспомнилась запрокинутая голова и влажная глубина полураскрытого рта. Они не виделись с тех пор, как она убежала от Поливанова; казалось, он не думал о ней, а почему-то жаром польхнуло и внутри замерло. Контролеры ожидали, понятия не имея, что с ним творится. Вполне можно было попросить ее зайти, но он не сделал этого, пообещал уладить дело с Анисимовым, не договорясь даже, чтобы она перезвонила.

Высокая тонкая девушка крикнула Костику, скоро ли он.

— Сейчас,— ответил Костик, повернулся к Лосеву.— Я могу идти?

Фигура Лосева открылась. Тучкова увидела его и помахала. Так же, как она до этого махнула Костику. Он пытался представить себе, как видят его и Костика оттуда, из сквера, их вдвоем, в прямоугольнике освещенного окна. Ему хотелось продлить это мгновение.

— Можешь идти,— сказал он.

— А, собственно, зачем вы меня вызывали?

Лосев вспомнил, как хотелось ему завоевать этого парня, поскольку он понимал, что все будет передано Тучковой, весь их разговор, вероятно, втайне он хотел как-то оправдаться и никак не рассчитывал встретить такую ожесточенную враждебность, он был уверен, что в конце концов получит благодарность...

— Теперь это не имеет значения,— сказал Лосев.— Если ты не видишь разницы с Поливановым, то, значит, я ошибся. Извини, пожалуйста, показалось.

— И освободить меня, значит, не стоило?

Лосев вынул из кармана шоколадку, отломил дольку.

— Хочешь?

— Нет.

Лосев бросил дольку себе в рот.

— Тебе сколько лет?

— Двадцать.

— Ого! А я думал, семнадцать... Ты меня с Поливановым соединил. Может, что-то и есть в твоём замечании. Но не то, нет, не то... Если хочешь что-то сделать — приходится чем-то поступаться. Не будешь гнуться — не выпрямишься. Ты видел, как овца: чтобы ягненка накормить, она на колени становится. Я про практическую жизнь. И мера тут — совесть. Абсолютно чистых средств не бывает. Вот тебе пришлось ударить Рычкова. Во имя, так сказать, высшей цели. А это как, морально? Он-то в чем виноват? И ты небось не извинился перед ним. А если бы ты посильнее был?.. Недавно я в «Комсомолке» читал, что добро, мол, должно быть с кулаками. Ты как считаешь?

— А вы как думаете, ребята? — приторно передразнил кого-то Костик.— А я, знаете, как думаю? Если человек всегда прав, если он поступает, как положено по правилам и инструкциям, то зачем ему совесть? Ладно, я не так действовал, а вы сами, вы решили? — Он вдруг взгляделся в Лосева остро, по-детски все понимающими глазами.

— Ну ты наглец! — изумился Лосев.— Может, ты с меня доказательства потребуешь? Ну ты позволяешь себе...

— Вы не ответили. Вы сами для себя решили?

У Лосева кожа натянулась на скулах, заморщилась вокруг глаз в безжалостном прищуре, в такие минуты он разил безошибочно. Он не стал кричать, грозиться, от злости сам собою нашелся тон, который подействовал на Костика болезненно. Тон был жалостливый и небрежный, как будто Лосев в лупу разглядывал букашку. Какое право есть у Анисимова поучать, совестить, кто он такой, что из себя представляет? Жучку бездомную, которая может всех обляять и за любым побегать? На чем он настаивает? Он показал Костику портрет ничемного пижона, языкатого самолюбца, способного на вспышки, а не

на реальное дело. Недоросля, которому ничего нельзя доверить... Он знал, что несправедлив, он видел, как глаза Костика поплыли слезой, как он стиснул зубы. И вдруг Лосев понял, что все, больше откладывать нельзя, что щель между отъездом Рычкова и приездом новой группы, эти несколько дней,— единственная отсрочка, которая дается ему.

— Какого черта ты полез! Мало они тебе надавали! — заключил он без всякой связи и с силой захлопнул окно.— Ладно, шагай, тебя ждут, хватит.

Они были еще в сквере, все трое, когда Лосев вышел из подъезда. Пришлось подойти.

— Сергей Степанович, спасибо вам, большое спасибо,— сказала Тучкова и посмотрела на Лосева с тем своим восхищением, которое смущало его. И та, вторая, длинная, худая девушка, поблагодарила его. Потом они обе посмотрели на Костика.

— Что надо сказать? — весело и просительно сказала Тучкова.

Костик взял у девушки сигарету, затянулся.

— Пусть он вас благодарит, Татьяна Леонтьевна,— сказал Лосев.

— Зачем ты его просила? — сказал Костик.— На кой черт? Лучше бы я отсидел. Не хочу я от него подачек.

— Замолчи! — сказала Тучкова.— Ты просто свинья. Ты дурак или свинья.

— Татьяна Леонтьевна, он не свинья, я знаю,— сказала девушка.

— Простите, Сергей Степанович,— сказала Тучкова.

— Он такой же, как и Поливанов,— сказал Костик.— Зря ты пресишь прощения. Все одинаковы.

— Логично,— сказал Лосев.— Все, кто ему делал добро, все одинаковы. Счастливо. Всего хорошего.

— Нет уж, минуточку, задержитесь,— сказал Костик.— Я неблагодарный. Ваш начальник милиции тоже попрекал меня. Типично для милицейского мышления. Молодежь должна благодарить. Поливанов считает, что все мы должны благодарить его. Как же — он спас картину. Может, он жизнь Астахову спас. Вас, Сергей Степанович, тоже надо благодарить. Сергей Степанович объяснил мне, какие ему приходится муки терпеть. Тайные, скрытые от мира слезы, заметь, Таня. Ты погоди. Я не знаю, зачем он меня освободил. Не знаю, зачем меня задержали. У него на все расчеты. Он ничего зря не делает. Он имеет в виду какую-то цель. Мы только не знаем, какую... Что бы со мною ни делали, это во имя цели, это я должен усвоить и должен быть благодарен, что меня употребляют как хотят. Спасибо, что меня посадили, что объявили подонком, спасибо, что освободили. Ура Сергею Степановичу! Да здравствует наш освободитель, наш целехранитель!

Лосев был уязвлен. Обида жгла его, больно распирала грудь. Он шел медленно, смиряя шаг, ища на чем бы отыгаться, разрядиться. Вместо этого ему приходилось то и дело здороваться, кому-то отвечать. Не в силах согнать угрюмство он шел тяжело, медленно, забываясь сжимал и разжимал кулаки, бормотал, морщась от горечи. Вечер был теплый. Главная улица была полна народу. Лосев мог бы свернуть в переулки, но он почему-то шел напрямик, вынужденный все время кому-то откликаться. Перед ним оказался бородач, который, взяв его за плечо, стал что-то горячо доказывать. Лосев смотрел на него хмуро, пока не сообразил, что это Пантюхов, капитан буксира, депутат горсовета; заставил себя слушать, тем более что Пантюхов говорил действительно толковые вещи. Но оттого, что нельзя было отмахнуться, а надо было поддерживать, соглашаться, от этого Лосеву становилось все хуже. Как все глупо получилось! Он-то надеялся вме

сте с Анисимовым посмеяться над тем, как обхитрил Грищенко, добился отсрочки... Вместо этого ему пришлось выслушать оскорбления. За что? Как будто ему удовольствие хитрить, вывертываться, куда легче подрасться, получить пару синяков и отсидеть в милиции... Никому объяснить нельзя, никого не введешь во все эти сложности служебной жизни.

Хотел он прикинуть свой проект, что да как, но, видно, не успеть. Поздно. Отсрочка эта годится только для крайности, а крайность эта как повезет: то ли затрещит, то ли обломится.

Особенно его уязвляло то, что говорилось это в присутствии Тучковой. Самолюбие не позволило ему защищаться, опровергать наглеца. Но неужели Тучкова не поняла? Неужели она не почувствовала несправедливости? Почему-то ему казалось, что она должна бросить Костика, побегать, догнать его, именно должна, должна была почувствовать, как ему тяжело.

Он мысленно внушал это ей и тотчас же смеялся над глупыми своими надеждами. Кому какое дело до его переживаний? И мальчик говорил честно, как думал, как понимал, так и говорил. Мальчик имел право обижаться. Теперь Лосев понял, что такой же жгучий ком обиды расpirал мальчика.

— Вы молодцы, — с тоской сказал он Пантюхову. — Вы молодцы, ставьте вопрос на сессии.

Он свернул на Горную улицу, где было безлюдно, ветрено; фонари начинали зажигаться, они разгорались толчками, словно раздуваемые ветром. Листья летели из-под ног, мчались, обгоняя, чиркая по земле, их оказалось много, еще зеленых, но уже непрочных. Липы мотались не в лад, наверху шумело сильным неровным шелестом. Был тот печальный час позднего лета, когда вдруг доносятся запахи осени, дождей, увядания.

Лосев поднимался в гору совсем медленно, все тело было налито усталостью прошедшего дня. Голова давила на плечи, руки свисали, набрякшие весом, он ощущал даже тяжесть волос.

...В те зимы, когда мальчишками они катались здесь на санках, неслись вниз до самой реки, назад в гору они бежали наперегонки, обливаясь потом, пыхтя и ликуя от своего изнеможения. Усталость была как отдых...

...Не сразу поверил, что Тучкова здесь.

Она схватила его за руку, он продолжал медленно идти не оборачиваясь, она почти повисла на нем, переводя дыхание.

— Все-таки... Значит, это вы, — сказал он дрогнувшим голосом.

Не надо было спрашивать, как она нашла его, откуда она узнала, что он свернул на Горную, ничего этого нельзя было касаться, Лосев только чувствовал горячую тяжесть ее тела и как толчками стучало ее сердце.

«Значит... значит, вы не поверили ему, правда, не поверили?» — твердил он благодарно, твердил не вслух, про себя, потому что вслух он не мог ничего произнести. Если бы он заговорил, черт знает что вырвалось бы у него. Так перехватило горло от боли и благодарности.

Хорошо, что он сдержался, подавил свои чувства. Подавить признательность — это труднее, чем подавить гнев. А что как дал себе волю? Что бы он наговорил, куда бы понесло, может, расцеловал бы, заплакал, обнял... Мало ли. Впервые, однако, хваленая его сдержанность не обрадовала. Сколько было в жизни Лосева таких вот остановленных порывов. Куда они могли привести, в какие несостоявшиеся жизни? Лосев и вообразить их не мог. Подобные порывы появлялись в последние годы все реже. Чем Лосев, как человек деловой, был доволен. Постепенно он привык подчиняться другому, не теряющему

головы Лосеву, который появлялся в нем в подобные минуты, останавливал, подсказывал, что положено, а чего не следует делать... Лосев признавал его власть и только сейчас, по крайней мере так ему казалось, почувствовал, как он связан.

Тучкова между тем бранила Костика. Доказывала, как Костик глуп, не прав, не умеет понимать людей, какой он ограниченный в чувствах своих человек, не способный вникнуть, полюбить, душевный инвалид... Слова ее утешали Лосева. Обида таяла. При чем тут любовь, Лосев не уловил, но сейчас это было не важно, важно, что Тучкова волновалась за него, негодовала. Осуждала Костика.

Она все еще не могла отдышаться. Лицо ее влажно блестело. Он радовался ее словам и не верил — а что, если она говорит все это затем, чтобы снять тяжесть с его души, успокоить? На самом же деле она по-прежнему расположена к Костику, они дружат и останутся друзьями... Довольно грубо он высказал все это.

От удивления губы ее округлились колечком, она сбилась с ноги и вдруг тихо рассмеялась.

С этой минуты Тучкова обрела какое-то преимущество. Все еще задыхаясь, она по-учительски терпеливо объясняла, что у Костика нет родных и она заботится о нем, тем более теперь, когда дело дошло до милиции, что у Костика трудный характер, который может завести далеко. Выросши без отца, Костик прилепился к Поливанову, внимал ему, гордился домом поливановским. Полгода он готовил модель пред-революционного Лыкова, пока что на бумаге, в ортогональной проекции. Когда все это случилось, он переживал ужасно, «лодка оказалась бумажной, мрамор — картоном...». В тот день Лосев, оказывается, всем им нанес удар, и непоправимый. Он тронул одну ветку, а закачались десять. И она, Тучкова, тоже была в отчаянье, а Костик, тот напился и сжег свою работу. Принес ее к Поливанову и у него в саду сжег. Никого не подпускал. Сам плакал. А вместе с рисунками своими сжег все, чему поклонялся. Он максималист, все делает истово, с Поливанова он перенес свою влюбленность на Лосева, притом еще в отместку Поливанову и самому себе и с вызовом всему белу свету...

Призналась, что отчасти сама виновата, она внушила Костику, что Лосев идеал руководителя, человек чести и долга, настоящий патриот города... Она повторяла эти определения, нисколько не стесняясь, не иронизируя, как если бы речь шла о каком-то герое; когда Лосев попробовал возразить, она повысила голос, привела в пример катер, который водники подарили школе, на самом-то деле это Лосев их заставил, это всем известно. Она вдруг загорячилась и стала выкладывать другие случаи: про какую-то уборщицу и про козу, случаи, начисто позабытые Лосевым, так же как история с катером; в школе, оказывается, про них помнили, директриса повторяла их в назидание... Оборвав себя, Тучкова вернулась к Костику, торопясь разъяснить, как после школы он пошел работать аккумуляторщиком, как в мастерских считался передовиком и ему предложили выступить с почином от молодых рабочих, дали ему речь написанную и обращение в газету подписать. Костик захотел чего-то свое вставить, нашелся кретин, который не позволил. Костик вспылал, отказался от этого почина, причем со скандалом, тоже дурулом, короче говоря, ему не простили, он уволился, ему навесили характеристику. Не заупрямился бы — ходил бы нынче в знатных новаторах. А так все наперекос пошло-поехало, еле выправляться стал. Максималист он нетерпимый, либо — либо, никаких слабостей не признает. Она заглянула Лосеву в лицо, потрясла растопыренными пальцами — ну что с ним делать, что делать? Беда Костика в том, что он не желает понимать, как все непросто. Лично она ни на минуту не сомневалась, что Лосев делает что возможно и

сделает, несмотря ни на какие препятствия. Неколебимая вера была в ее словах, она словно бы самого Лосева убеждала. Что там произошло между Костицом и Лосевым в кабинете, она не представляла, но что бы ни было, она была на стороне Лосева, он не мог поступить плохо, она готова была оправдывать его, отвергая любые сомнения.

— От такой веры, Таня, тоже трудно,— сказал Лосев, впервые назвав ее по имени.

— Почему?

Лосев удрученно поскреб затылок.

— Наваливаете на меня столько, что не снести мне.

— Простите, я не хотела, тогда я не знаю...

Плачем он почувствовал, как она обвела.

Между редкими фонарями провисала темнота, там возникали рамы освещенных окон с занавесками, цветами, накрытыми столами.

Лосев взял ее под руку, покосился по сторонам. Еще несколько дней назад он мог бы не стесняясь идти с Тучковой вот так хоть по главной улице, и никто ничего не подумал бы. Мало ли кого он брал под руку. Он сам никогда этого не замечал. В этом, наверное, все и дело. Журавлев, его зам, тот и ухом не повел бы, обнимался бы, если ему надо, все привыкли, что у него вечные романы, или, как он называет, «гули-гуленьки». От Морщицина все ждали анекдотов, Тимофеева пускала матом, Горшков время от времени являлся под хмельком. Но попробовал бы тот же Журавлев выматюгаться или хватануть стопку в рабочее время — все бы возмутились. Что касается Лосева, то он мог сесть пить чай с уборщицами или плясать на чьей-то свадьбе, мог процитировать какое-нибудь изречение, мог хватить кулаком по столу, заорать, выбежать из своего кабинета, хлопнув дверью, — такое ему прощалось, знали, что он хоть и вспыльчивый, но отходчивый, после срыва он первый шел мириться, умел загладить шуткой или другим по его усмотрению способом. Но ухаживания, прогулки в темноте — это ему не разрешалось.

— Господи, как бы я хотела помочь вам! — воскликнула Таня, по своему истолковав его вздох.— Если бы я что-нибудь могла, я бы все сделала!

В голосе ее были и отчаянье и восторг. Потом он вспоминал этот момент, как ему захотелось ее поцеловать и как в этот же момент у него появилась неприятная настороженность — что она имела в виду, говоря это? Зачем она так? Наверняка ей что-то нужно. Как ни постыдна была эта мысль, он не мог заглушить ее; тот, другой Лосев цинично ждал, когда Тучкова обратится с какой-нибудь просьбой и станет ясно, ради чего она старалась.

Лимонная долька луны осветила небо. Множество крупных звезд поблескивало, мерцало, шевелилось, точно мокрая листва.

Голос Тучковой звенел, переливался, она словно бежала, увлекая за собой Лосева, спешила, пока они вдвоем, пока длится случайное их свидание. Она рассказывала про директрису, про своих учеников, какие у нее с нового года пойдут интересные уроки, как ребята воспринимают астаховскую картину, тут заслуга и директрисы, с которой можно спорить, и ссориться, и добиваться своего, потому что в основе своей она прекрасный человек. Лосев узнал, что, оказывается, у директрисы муж слепнет и она с ним ездит на рыбалку, читает ему книги, пишет за него отчеты, а завороно, у которого ее муж работает, делает вид, что ничего этого не замечает, освобождает его от лишней писанины.

Люди в ее рассказах хорошели, становились лучше, чем Лосев их знал. Чистякова, которую Лосев не то чтобы побаивался, но избегал, гибкая, бесшумно возникавшая в самые неподходящие моменты, с ее

вкрадчиво-коварными расспросами, у Тани превращалась в веселую модницу, которая любила кроить всем лыковским дамам кофточки. А та стриженная врачиха Надежда Николаевна, что лечила Поливанова, просто святая женщина, живет в коммунальной квартире и уже шесть лет убирает за всех жильцов коридоры, переднюю, кухню, уборную... Разговор каким-то образом коснулся Рогинского, и Таня с горячностью стала описывать, какой он знающий, работающий, честный, и тут же виновато призналась, что не может перебороть себя: скучно с ним.

Лосев чуть было не сказал: а зачем вам перебарывать себя? Однако не стал вмешиваться, обычная непрерываемость, с которой он отвечал людям, вразумлял их и которая нравилась людям и без которой было нельзя, сейчас не годилась. Каждое его слово Таня принимала как истину. Любое замечание она могла принять, исполнить, ее готовность, ее доверчивость вынуждали его держаться настороже.

— Вот соорудил,— сказал он и провел пальцами по толстым прутьям чугунной ограды парка. Во тьме на крошечном фоне плотной листвы эта огромная решетка умудрялась чернеть.— Денег ухлопали... Зачем? Мое произведение. Дурак дураком, а вы говорите.

Тучкова засмеялась, и от ее смеха стало хорошо, счастливо, и Лосев, как в холодную воду бултыхнувшись, принялся рассказывать про томлящую его неотступно встречу с Любовью Вадимовной на берегу. Признался в том, что попросил Каменева о прибавке для нее, отлично зная, что тот откажет, потому что обратился, уже выпросив все для роддома, исчерпав все лимиты каменевской уступчивости. Откладывал, откладывал и наконец выложил Каменеву про Любовь Вадимовну — чисто для успокоения своей совести, чтобы отговориться можно было. За ее счет, так сказать, делал приобретения...

Ожесточась, Лосев доказывал бессовестность своей политики, не давал себе увертываться. Он словно расправлялся с тем, другим Лосевым и испытывал горькое удовлетворение.

— Но в чем же дело, все это прекрасно! — воскликнула Тучкова. Он не понимал ее радости, вся эта история томила и мучила его.

— Подошли бы к ней и рассказали бы, как было. Ведь вы почему направились к ней? Да потому что вас совесть повела. Рассказали бы, Любовь Вадимовна и утешилась бы. Поняла бы, почему вы так, что недаром, что ради стоящего дела...

— Задним числом, значит, оправдываться?

— Не звонить же вам при Каменеве к ней, извиняться.

— Да почему ж она должна вникать?

— Нет, не умеете вы с людьми говорить.

— Я не умею?

— Пропесочить умеете, доказать, отстоять, а вот поделиться, сказать, что у вас на душе,— не умеете.

— Да с какой стати я должен душу свою открывать?

— Вам-то люди открывают. К вам приходят, делятся. Вы же себя только по делам цените, сделали — значит, хороший, не сделали — плохой. Так нельзя.

Она выговаривала ему с забавной убежденностью, так рубила ладонью, что Лосев развеселился. Черт знает как у этих молодых все получается просто. Они умели находить решения естественные, может, непригодные для жизни, зато свободные, и сами они свободные...
Время от времени Таня строго спрашивала:

— Вы понимаете?

Он поддакивал, удивляясь и радуясь ее смелости. Ему запомнилось, как она сказала:

— Прекрасно, что вы мучаетесь и все это чувствуете. Вы сами не понимаете, как это великолепно!

— Чего ж тут хорошего... — пробурчал Лосев.

Но она засмеялась, ничего больше не объясняя.

К Тучковой приехала сестра с мужем. Он был московский журналист, она показала ему астаховскую картину, и он загорелся написать о ней. Может быть, Лосев согласится зайти, познакомиться с ним? Но Лосев поблагодарил. Как-нибудь в другой раз. Лосев протянул руку, прощаясь, но тут произошло неожиданное: Тучкова взяла его руку обеими руками, прижалась к ней щекой и быстро поцеловала в ладонь. Горячая ее щека, холодный нос, сухие губы — все ощутилось одновременно. Лосев замер. Очнулся он, когда Тучковой не было, а он шел назад, ноги его переступали, внутри же все замерло в неподвижности, и только там, в самой глубине, где рождаются мысли и чувства, что-то происходило.

Глава 13

Дела складывались удачно. Довольно удачно. Потому что никогда не бывает, чтобы все удалось повернуть. На это и расчета нет. Готовишь вопросы всегда с запасом. В облторге он опоздал: холодильную установку отдали в новый сельский универмаг, зато договорился о партии детской одежды и польской мебели. У железнодорожников включил в план реконструкцию вокзала, еще обещали привокзальную площадь привести в порядок. Тут повезло крупно. Лосев зашел как раз когда искали подходящий адрес. Случайно, из обрывков фраз уловил он суть разговора, вмешался — и в самый раз. Со штатами тоже уладил без потерь. А все равно радости не было.

Из отдела в отдел, из кабинета в кабинет, для каждого заготовлен листок в специальном блокноте. Что не забыть в финансовом отделе, что в промышленном. А в папке заготовлены отпечатанные бумаги, чтобы в случае согласия тут же закрепить, чтобы было на чем резолюцию поставить. Это основа. Их немало — основ, первейших правил, всяких хлопот. Нельзя сразу: здравствте, вы почему деньги урезали на телефонизацию? Надо сперва просто пообщаться как с давними знакомыми. У всех семья, заботы. Особенно он был внимателен к женщинам. В них была какая-то материнская отзывчивость к его заштатному, маленькому, невидному городку. Он похвалил новую прическу Наталии Николаевны, отметил, что все девочки в отделе загорели, а у Ани появились дивные расписные бусы. Каждая сотрудница была для него, кроме всего прочего, еще и женщина. У себя в Лыкове он не мог себе этого позволить. Здесь, в области, к нему возвращался мужской интерес, что-то включалось, и он начинал видеть их подобранные в тон кофточки, шарфики, сумочки, тщательно проверенные перед зеркалом, обсужденные краски для губ, век, волос — то, что составляет азарт, игру женской жизни независимо от возраста. Женщины отлично чувствовали в нем непритворный интерес к себе, то есть к их нарядам, то есть опять-таки к себе. Мнение Лосева о платьях, о прическах, то, как он это замечал и оценивал, было дороже обычных подношений в виде конфет или духов, какими одаривали «исполкомовских барышень» командированные. Поддерживать отношения нельзя подарками, учил Лосев своих работников. Отношения надо вести постоянно, а не от просьбы к просьбе.

— Ты чего ровно бы не в себе? — спросила Наталья Николаевна, не обратив внимания на его шутки и смех.

Они сидели за стеклянной перегородкой. Красиво уложенные кудряшки делали ее курносое личико кукольным. Многих кукольность эта и смешливость обманывали. К перегородке был при-

клеен портрет артиста Тихонова и фотография четырнадцатилетнего сына.

Загорелась лампочка на селекторе. Наталья Николаевна покосилась на нее.

— Начальство, — сказала она. — Обойдутся. Ну давай выкладывай.

Слушать она умела. Она воспринимала каждое слово и все то, что было между слов, все его недомолвки и вздохи.

Он сказал, что надо бы перенести строительство филиала. На другую площадку. Вниз по реке. Примерно на километр, даже меньше, тоже в черте города. Рассказал почему. Вкратце упомянул о картине, но сохранить Жмуркину заводь надо было ради ее собственной красоты.

По ее лицу он понял, насколько трудное это дело. Она судила по тому, что строительство филиала финансируется как первоочередное. Перенос означает изменение проекта. Задержку, удорожание... Впрочем, — она внимательно посмотрела на него — по этой линии не безнадежно, удорожание, оно иногда на руку строителям, как ни парадоксально, но многие хотят удорожания.

Она поверила сразу. Не тому, что он сказал, а тому, что ему это надо. Только спросила для верности:

— Ты можешь отступить от этого дела?

— Нет, не могу.

— Тогда тебе нужны другие мотивировки.

Светло-желтые кудряшки ее лежали неподвижно и твердо, точно отлакированная деревянная резьба.

Она слушала его рассуждения о красоте без улыбки и без удивления, но слова ее означали, что говорить этого не следовало, тем более Уварову. А без него не обойтись. Она это ясно дала понять, не называя его. Больше они об этом не говорили. Про деньги на телефонизацию он не напоминал, но Наталья сама тут же распорядилась восстановить прежние ассигнования. В знак благодарности он приколот к перегородке рядом с Тихоновым цветную фотографию астаховской картины, одну из тех, что сделал директор леспромхоза. Он сделал вид, что теперь все в порядке.

Он заставил себя быть довольным и беспечным. Да — да, нет — нет, его удрученный вид мог только осложнить дело. Он давно заметил, что чем меньше показываешь свою заинтересованность в каком-либо вопросе, тем легче он решается.

Пашкова он встретил в коридоре. Еще издали узнал его — высокая плоская фигура без шеи, напояженные волосы. Поздоровались настороженно, от пожатия холодной когтистой руки у Лосева привычно напряглось внутри. Пашков это почувствовал, по бледному плоскому лицу его косо скатилась усмешечка. Давняя эта усмешечка с детских лет действовала на Лосева, как будто Пашков знал о нем что-то нехорошее. В другой раз Лосев подколот бы его, но тут стерпел, взял под руку, настроил себя на сердечность. Почему нет, отцы дружили, да еще как, а сыновья почему-то враждуют. Лосев стал рассказывать о том, что вычитал в отцовских записях.

Зашли в кабинетик Пашкова, хозяин достал из шкафчика бутылку французского коньяка, прием совершался по высшему классу. Небрежно плеснул в пузатые коньячные рюмочки. Звонили телефоны, их стояло штук пять, не считая селектора. Пашков — в одной руке рюмка, другая жонглирует трубками — бросал кому-то односложно-холодно, кивая Лосеву: продолжай, мол, не обращай внимания. Не понять было по его белому плоскому лицу, впервые он слышал про самоубийство Георгия Васильевича Пашкова, знал ли что раньше,

иногда взглядывал на Лосева быстро, в упор, словно наставляя объект.

— Папаша твой, значит, мемуары писал? Писатель! Ну как, хорош коньячок? — И похохотал, поигрывая в пальцах рюмкой.

Когда Петька Пашков, нагулявшись по свету, вернулся домой, пришел в горсовет к Лосёву проситься на какую-нибудь, на любую, работу, Лосев прежде всего увидел эти когтистые лапы, которыми тот хватал их, пацанов, за волосы и тыкал лицом в свои босые ноги. Заставлял их привязывать друг друга к дереву и расстреливать, учил писать всякие пакости на стенах. И вот Петька Пашков стоял перед ним, заискивал и в страхе ожидал решения. Лосев устроил его в орготдел. Работал Пашков плохо, на него жаловались, он угрожал, похвалялся дружбой с Лосевым. Долгое время Лосев терпел. Боялся сделать ему замечание. Никого не боялся, а Пашкова боялся. Встречаясь, Пашков стискивал руку своей когтистой лапой так, что Лосев кривился от боли, и тогда Пашков торжествующе похохотывал, норовил схватить Лосева за руку при людях так, чтобы все видели, как Лосев корчится. Лосев купил теннисный мяч, силомер и весь отпуск, как мальчишка, жесточно жал мяч, упражнял пальцы, работал с ракеткой, вертел железную палку. Когда после отпуска встретились, Лосев спокойно протянул руку, принял пожатие не уступив, сказал: «Что-то чихнуть ты стал, Петр Георгиевич» — и через несколько дней накричал на Пашкова грубо, зло, окончательно освобождаясь от его власти. Вскоре выдался случай спровадить Пашкова на какие-то курсы, после устроить так, чтобы оттуда взяли его в областной аппарат.

Попав в облисполком, Пашков расцвел быстро, прослыл крутым и нужным работником, годным там, где надо требовать, нажимать, отказывать. Все же для Лосева было неожиданным назначение его помощником Уварова — должность невидная, теневая, однако влиятельная. Неожиданно это было и неприятно. Получалось, что в Лыкове его недооценили. Пашков с обычной своей косою усмешечкой повсюду намекал, что в Лыкове он мешал кой-кому... На новой должности появилась в нем заносчивость, говорить он стал тихо, медленно, движения тоже замедлились. Новая его жена была москвичка, она преподавала английский, и Пашков ходил одетый строго, чисто, вставлял всякие словечки — дринк, вери мач, бай-бай; Уварова он называл май чиф.

Все чаще стали возникать у Лосева недоразумения, неудачи, в которых он чувствовал когтистую лапу Петьки Пашкова.

Иметь Пашкова врагом было неразумно, да и с чего они должны враждовать, чего не поделили. Земляки, лыковцы, отцы которых — закадычные друзья. Лосев, рассказывая про старую школьную тетрадь отца, растрогался, заметил, как поредел, вылез рыжеватый чуб Петьки Пашкова, увидел металлические зубы его, подумал, что, может, они оба сейчас стали похожи на своих отцов.

Пашков бросил на стол красную пачку «Мальборо», сладко задымил.

— Самоубийство? Хм... Это доказать надо. Про моего папаню достаточно известно, про его заслуги. Мало ли что твоему показалось. Он ведь у тебя был запьянцовским мужичонкой. И вообще, ты прости меня, папаня твой... — Он повертел пальцем у виска, похохотал. — Ты ведь и сам считал, что он того... а?

Лосев глаз не поднял, смотрел в рюмку.

— Насчет моего папани... Мог бы улицу его именем в Лыкове назвать. Вот о чем бы подумать... — И когда Лосев не отозвался, добавил: — Но у вас там другие страсти.

— Какие же?

— Художнички, музейчики... На Каменева работаете? Или ты сам на его место прицелился?

Лосев прижмурил глаза, будто рассмеялся, ничего не сказал, стерпел. Пашков хлопнул трубкой городского телефона не отвечая и сказал тихо, медленно:

— Дешевое местечко. Хлопотное. Слиянешь быстро. Меценатом, значит, сделался. Слыхали. А Поливанов о тебе плохо отзывается. Сигналит, телегу грузит.— Он смотрел в упор на Лосева, испытывая его, проглотит ли и это, и Лосев проглотил и это, кивал удрученно: надо же, Поливанов, какая жалость, вроде бы заодно с ним хотели сохранить Жмуркину заводь, ту самую, которую Петька Пашков проныривал, чемпионил среди всех огольцов.

— Что ты мне все про детство? — сказал Пашков.— Растрогать хочешь? Не понимаешь ты, что разное у нас детство... Но ничего, Пашков пробился, Пашкова не затопчешь. И тебе не удалось придать меня. Силенок не хватило. Хотя ты свою ручку тренировал.— Он откинулся назад, захохотал, да так, что и Лосев засмеялся.

Так, посмеиваясь, и ушел, не позволив себе ответить. Ни единого крепкого словечка не мог себе разрешить. Терпеть и глотать вроде Лосев привык, но нынче почему-то было невольно и обидно, что никто этого не видит и никому не расскажешь, да и как передать этот разговор с Пашковым, разве тот же Анисимов поймет? Тучкова и та не поймет, сколько дерьма всякого нахлебаться пришлось, а между прочим, не ради себя. Добро бы за показатели какие хлопотал, а то ради Жмуркиной заводи, отвлеченности какой-то, пропади она пропадом.

Приезжая в область, Лосев большей частью испытывал хмельную радость высвобождения. Походка становилась легкой, руки болтались размашистой, хохотал громче, вспоминались анекдоты. Можно было поглазеть на витрины, зайти в магазин потолкаться, как все люди, заглянуть на рынок, а то и в рюмочную. Славное это заведение — запах водочки, сигарет, одни мужики и без насиженной пьяности пивных, без приставаний, липких, тягучих разговоров. Опрокинул стопочку, закусил бутербродиком, культурно, коротко. Осенью в Лыкове откроют две таких рюмочных; между прочим, лучшее средство борьбы с пьянством, с безобразными фанерными ящиками, где спаивают людей «бормотухой»... Никому здесь не было до него дела. Он мог идти без пиджака, рубашку навыпуск, мог тащить авоську с апельсинами...

Нынче, выйдя из облизполкома, он ни на что не смотрел, никуда не отвлекался. Логически он мог доказать себе, что незачем раньше времени мучиться, что все возможное он сделает, а дальше от него не зависит, выше головы не прыгнешь и тому подобное. Но доказательства не помогали, логика не действовала, его неотступно угнетало чувство то ли вины, то ли еще чего-то, томило, отсасывало все мысли и желания.

За два дня зарезные дела удалось решить, причем не выходя на большое начальство. Лучше всего было иметь дело со средним звеном, даже с «низшим персоналом». И начальству тоже нравится, когда его не ставят в тупик, не отвлекают, не обременяют. Подчиненные сами решать ничего особо серьезного не могли, но всякое решение зависело от них, от замзавов, от инженеров, плановиков, экономистов, они могли загробить, задробить, утопить, спустить в песок, не довести до дела; к ним в итоге попадала любая бумага с долгожданной резолюцией, они увязывали, вносили в графы, обеспечивали, согласовывали, советовали. Они могли в срок подать бумагу, подтвердить в нужный момент, в минуту сомнения подтолкнуть начальство...

Правда, наставник Лосева, его советчик и родственник Аркадий Матвеевич не разделил его увлечения:

— Столоначальники и прочие трудящиеся клерки годятся для облегчения работы, однако карьеру твою определяют другие. Тебе надо больше в высших сферах околачиваться. Ты по своему внешнему виду, по хватке и энергии душевной годишься для областного руководства и двигай туда, пока не перезрел. Цинизма бы тебе поднабраться.

У Аркадия Матвеевича голос был зычный, бархатистый.

— Наденька, счастье мое, свет очей моих, утоли нас! — возгласил он с порога рюмочной, и все обернулись к нему, забавляясь его фигурой и манерою, с какой он говорил на публику.

Наденька налила им по пятьдесят граммов («Моя норма», — предупредил Аркадий Матвеевич), и они отошли в угол.

— Рад тебя видеть, Сереженька. — Он троекратно приложился щекой к щеке, чуть преувеличенно, но несомненно искренне. — Как славно видеть хорошего человека, да еще холодная водочка и этот бутерброд с килькой, согласишься, что если ощутить все это как благо, то можно считать сей миг счастьем!

От него пахло одеколоном, был он идеально выбрит, тонкие седые усики подстрижены волосок к волоску, вид он имел барственный, носил кольцо с печаткой, и из кармашка несколько старомодно зауженного костюма торчал уголок сиреневого платочка в тон галстуку.

— Каждый деятель должен иметь свой образ, — поучал он Лосева. — Образ — это впечатление, личина, если угодно. Образ должен быть броским, симпатичным, удобным для владельца. Тебе, Сереженька, надо найти свой образ. Допустим — надежный, упорный, скупой на слова. Или — увлеченный энтузиаст, генератор идей. А может, тебе подойдет — протак, доверчивый работяга, честный и прямой. Великая вещь найти себе образ. Возьми, к примеру... — Он наклонился, шепнул: — Уваров. Ясный всем образ. Точный, неутомимый, как робот... Или возьми меня, — он возвысил голос, зная, что его слушают, — я как бы олицетворяю образ российского интеллигента. Зверь, чудом уцелевший. Этим и любопытен.

Лосев рассмеялся и подумал, что так оно, пожалуй, и есть, старомодный в своей галантности, велеречивый, широкообразованный, умница; обидно было, что относились к нему несерьезно, снисходительно.

Служил Аркадий Матвеевич юристом в юридическом отделе облисполкома. Несмотря на скромную должность, его часто вызывали наверх советоваться по делам щекотливым, требующим психологического расчета, тонкого понимания высших инстанций. Ему поручали готовить туда деликатные бумаги, объяснительные записки. Причем Аркадий Матвеевич в Москву не выезжал, никаких связей в центре не имел. Трудно сказать, откуда он черпал свои прогнозы и такое предвидение поведения начальства. Похоже было, что, читая какой-нибудь приказ, присланный свыше, он, словно графолог по почерку, изучал характер. Хотя вместо почерка перед ним была машинопись, ксерокопия, ротапринт.

Несколько раз ему предлагали повышение, он отказывался. Этого не понимали, стали относиться уже с меньшим уважением, свысока.

Стукнулись стопочками, чтобы зазвенело, выпили. И короткий чистый звон и глущий холодок водки были отмечены Аркадием Матвеевичем. Он умел тешился каждым малым удовольствием жизни, находить их повсюду. Вышли на улицу, постояли, как всегда стоят мужчины у рюмочных и пивных, жалея расставаться.

Пронзительно скрипнули тормоза. Черная «Волга» остановилась у поребрика. Приоткрыв дверцу, высунулся мужчина в светло-сером костюме, кудрявый, румяный, как на рекламе парикмахерской, он повернулся к ним, громко, с укором заговорил:

— Так-то ты, Аркадий Матвеевич, выполняешь. Я же просил срочно, мне ее завтра сдавать.— И он поманил Аркадия Матвеевича пальцем.

Осанистая фигура Аркадия Матвеевича съезжилась, сократилась, бочком он подошел к машине, согнулся. Лосев последовал за ним.

Мужчина посмотрел на него выпуклыми светлыми глазами.

— Вы идите, гражданин, вас не касается... А тебя, Аркадий Матвеевич, я прошу... Нашел время развлекаться. Ты же подведешь меня. Я ведь тебе оказал доверие. Нет, так дело не пойдет. Я думал, ты человек ответственный.

— Напрасно беспокоитесь, товарищ Сечихин, завтра к утру статья будет готова.— Лоб и щеки Аркадия Матвеевича неровно покраснели, он оглянулся на Лосева и покраснел сильнее, конфузливая вздрагивающая улыбка его как бы извинялась за этого человека и за себя.

Улыбка эта резанула Лосева больше всего. Он хлопнул ладонью о горячую крышу машины так, что железо барабанно ухнуло.

— Как же вы себе позволяете, тыкаете человека старше вас? И пальчиком подзываете! Встать не удосужились!

Мужчина встал, опираясь на открытую дверцу. Оставил одну ногу в машине. Был он крепок, подтянут, ни одной морщинки на его ухоженном лице.

— Вы не вмешивайтесь, вы идите себе, гражданин,— сказал он со спокойной угрозой,— давай двигай, не то неприятностей не оберется.

— Невоспитанный начальник — наша большая беда, — громко сказал Лосев, — от него во все стороны хамство распространяется. Что же вы, Аркадий Матвеевич, позволяете? Или вы так провинились?

Неподалеку стояли трое дружинников с красными повязками и поглядывали в их сторону. Лосев знал, что ему ничего не будет, он даже предвкушал момент, когда он вытащит свое удостоверение и все сразу переменится. Видимо, Сечихин тоже что-то почувствовал в его уверенности, потому что дружинников не позвал, а требовательно, командно, все еще свысока спросил Аркадия Матвеевича:

— Это кто такой?

Аркадий Матвеевич наклонился к нему, прошептал, мучительно краснея. Сечихин осмотрел Лосева уже по-другому, благожелательно, и сам стал обретать симпатичность оттого, что признал Лосева своим человеком.

— Как же, прослышаны, очень приятно, давайте знакомиться, я новый начальник Облплана Сечихин Павел Павлович.— Он протянул руку, но Лосев заложил руки за спину, покачался на носках.

— Что это вам должен написать Аркадий Матвеевич? — И вдруг — неизвестно как — догадался: — Может, статью? По случаю вступления в должность?

— Статья в основном составлена,— деликатно и смущенно возразил Аркадий Матвеевич.— Я обещал в смысле литературном.

— Знаем, надо начать и кончить, всего-то, иначе бы они не беспокоились. В наилучшем виде хотят предстать. Ваши мысли, Аркадий Матвеевич,— их подпиши. И все в полном восторге — ах, какой у нас новый начальник, какая культура, какой слог! Владеет пером и сам хорош! Вы бы, Аркадий Матвеевич, ему еще манеры ваши передали,

ему бы цены не было. Представляете — волку, да еще и крылья! — Лосев дал волю своему голосу, если б он еще знал, какое невыносимое выражение у него на лице сейчас, но он и так наслаждался безоглядным своим гневом. — Вы, я вижу, не стесняетесь, товарищ новый начальник. Кричите, требуете. А ведь вы Аркадию Матвеевичу не начальник, вам бы просить его и кланяться.

— Кто кричит? Вы сами кричите.

Аркадий Матвеевич затревожился:

— Будет тебе, Сережа, я виноват, я обещал человеку.

— Не важно. Он права не имеет так себя вести. И вам, Аркадий Матвеевич, не стоит ему писать.

— Да чего особенного случилось, Аркадий Матвеевич? Мы уж как-нибудь сами разберемся, верно? Вы просто выпили лишку, товарищ Лосев, перебрали, бывает. — И Сечихин примирительно похлопал Лосева по рукаву. — Давайте лучше я вас подвезу. Куда вам?

Солнце светило ему в глаза, никакого смущения не было в их прозрачной выпуклости. Они просвечивали насквозь невозмутимой чистотой.

— А то давайте ко мне заедем? Наверняка собирались в Облплан.

— Хватит с меня и этого знакомства.

— Напрасно вы. Все равно придется побывать, никуда от нас не денетесь. — Смеясь, он забрался в машину, опустился на сиденье. — Жду, Аркадий Матвеевич, жду, голубчик!

«Волга», взвизгнув от лишней скорости, умчалась.

Некоторое время они стояли молча, глядя в разные стороны.

— Простите, Аркадий Матвеевич, может, я чем испортил?

Фигура Аркадия Матвеевича постепенно выпрямлялась, обретая прежнюю величавость, расправились плечи, голова поднялась.

— Ах, Сережа, мне-то ничего не будет, я гнуться умею. Кто гнется, тот выпрямляется. А ты вот накинулся, не разобравшись. Ты от него зависишь по всем статьям.

Но Лосев приобнял Аркадия Матвеевича, прижал от полноты чувств.

— Нет, каков экземпляр!

Он не желал думать ни о каких последствиях, гнев освободил его на какое-то мгновение от всяких осмотрительных соображений. Счастлирое чувство оставалось в нем и вечером, когда он сидел у Аркадия Матвеевича в высоком его вольтеровском кресле, наслаждаясь покоем и умной беседой. Не саднило, не оставалось никакой горечи, как бывало после того, как он сорвет гнев на подчиненных.

Стены крохотной холостяцкой квартиры Аркадия Матвеевича состояли из стеллажей, так что вместо обоев пестрели корешки книг. Тут были сочинения философов, начиная от Платона, книги о войне, мемуары военачальников и история России. Мало кто знал, что Аркадий Матвеевич воевал командиром батареи в противотанковом полку. Под Ржевом он попал в плен и после войны долго пребывал где-то на Севере. Чем он только не занимался в долгой своей жизни — был мраморщиком, рисовал этикетки, обучал слепых, работал на звероферме, конструировал детские игрушки, были у него даже статьи, от которых никакой радости и почета не произошло, — одна статья о немецком влиянии на царскую администрацию, вторая об истории русской реакции и мракобесия.

Кресло, обитое вишневым бархатом, уютно вбирало тело. Книги стояли под рукой, выдвижной торшер светил прямо на страницы. Спокойные вечера, наполненные чтением, представились Лосеву желанным, непривычным счастьем. Кант, Сенека, Шопенгауэр — он перебирал эти полужнакомые имена, вряд ли когда-нибудь удастся про-

читать их. Раскрыл книгу наугад, там были жирно подчеркнуты строки: «Человек есть цель сама по себе, то есть никогда, никем (даже богом) не может быть использован только как средство».

У Аркадия Матвеевича постоянно гостил кто-нибудь из родных, нынче жил у него племянник Валерик, высокий молчаливый парень, мастер ОТК, у которого дома происходил ремонт, вот он и жил у дяди.

Ужинали в кухне. Аркадий Матвеевич приготовил картофельную запеканку с мясом и грибами, коронный его номер. Лосев нахваливал и запеканку и самого Аркадия Матвеевича, человека обширных способностей, который, однако, позволяет себя эксплуатировать...

— Ты прости, Сережа, только я напишу ему статью, как обещаю, — сказал Аркадий Матвеевич, не поднимая глаз.

Лосев рассердился. Хотя пришел он к Аркадию Матвеевичу по делу — посоветоваться о визите к Уварову, как да что говорить, — но тут готов был вскочить, уйти, так возмутили его слова Аркадия Матвеевича и эта трусость, приниженность. Хотелось встряхнуть старика: ну почему он обязан работать на этого гуся, с какой стати!

— Вот так мы поощряем невежд, создаем дутые авторитеты.

— Попросят люди, — оправдывался Аркадий Матвеевич. — Не все такие, как Сечихин. И он, знаешь, забавный парень. Умеет перемножить в уме семизначные цифры.

— Кому это сейчас нужно?

— Да, конечно, теперь это не нужно. Но когда-то, наверное, ему пригодилось.

— Если бы вы не писали им, они бы сами должны были. Чего вы боитесь отказать?

— Страх у меня нет, — сказал Аркадий Матвеевич. — Я весь страх свой на войне оставил. И зависимости нет. Я в любой момент могу на пенсию. Между прочим, пенсионеры самый независимый народ.

— Оставьте вы его, — попросил Валерик Лосева.

Но Лосев уже завелся. В такие моменты остановить его было невозможно.

Аркадий Матвеевич поднял предупреждающе руку, перстень-печатка блеснул золотым лучом, запахнул стеганный свой халат с достоинством и даже некоторой гордостью.

— Причина у меня, Сережа, есть... Я ведь редко отказываю. И статьи и речи пишу. С охотой пишу. Мне тоже хочется высказаться, а своей трибуны нет. Какие-то мыслишки бродят. Куда их пристроить... Пусть люди произносят, печатают. Все-таки даром не пропадет. Много вычеркивают, но кое-что остается. То одному, то другому прилеплю. Когда человек их присвоит, то совсем хорошо. Одно дело повторять чужие мысли, другое — присваивать их. Присвоенное становится убеждением.

— Вы и сами могли бы произносить, сколько раз вам предлагали повышение.

— Не хочу. Скажешь — нелогично. Но не хочу. Иметь подчиненных — значит, быть несвободным. А мне моя духовная жизнь дорога. Я сибарит... — Он слегка красовался, поигрывал голосом, как своим перстнем. — Чувство достоинства, оно, думаешь, в том, чтобы на хамство отвечать хамством? На крик криком? Тут руководствоваться надо совестью. Перед ней не уронить себя ни злобой, ни холопством. Я лично воспитывать не могу силой. Вот ты молодец, ты умеешь с ними разговаривать, а я теряюсь. Я могу возражать, когда меня слушают с охотой. — Он вздохнул, пригорюнился. — Невоспитанность действительно бедствие наше. Вот я Сечихину об этом вставить в речь хочу.

— Волка учить блеять овцой,— пробурчал Лосев.

Много лет он пользовался советами Аркадия Матвеевича, обсуждал с ним лыковские дела, выяснял, как, когда выйти с просьбой, вопросом, как бумагу написать. Услуги Аркадия Матвеевича принимались сами собой, в порядке родственных отношений. Собственно, родственником Аркадий Матвеевич приходился Антонине, жене Лосева, однако и после отъезда Антонины отношения с ним сохранились, Аркадий Матвеевич остался так же участлив, и Лосев приписывал это их собственной дружбе.

Ему не приходило в голову, что, в сущности, он только получал от Аркадия Матвеевича. Он возмутился бы, если б ему сказали, что он поступает ненамного лучше Сечихина, разве что действует почтительней. Почтительность, казалось, все возмещала, но недаром древние китайцы считали, что почтительность появляется после утраты справедливости. Впрочем, как знать, может, и через Лосева ухитрился Аркадий Матвеевич высказывать свои идеи. Например, когда они совместно пробивали роддом. Да и сама идея нового роддома оформилась здесь. Так что вполне возможно, что Аркадий Матвеевич при его щепетильности считал, что пользуется Лосевым, эксплуатирует его для своих идей.

У себя в Лыкове Лосев не вспоминал Аркадия Матвеевича. Пока не открывалась очередная нужда. Впрочем, никто не задавался вопросом, чего ради старается для них этот старик. Тот же Сечихин все возмущение Лосева счел хмельной вздорностью, так он и поспешил оповестить в тот же день, обедая в облисполкоме.

Сам Аркадий Матвеевич был всегда рад, когда Лосев прибежал к его помощи, тем более в нынешнем деле, куда более возвышенном, чем обычные малопочетные тяжбы, отписки или даже доклады, где хочешь не хочешь, а многое не вызывало у Аркадия Матвеевича вдохновения.

Затая со Жмуркиной заводью нравилась ему романтичностью и безнадежностью. Привлекало его взаимодействие природы с изображением, красота этого места, открытая картиной. Сам Аркадий Матвеевич в Лыкове был давно и место это представил главным образом по рассказу Лосева да по фотографиям, которые Лосев разложил перед ним. Для воображения Аркадия Матвеевича больше и не надо было — воображение, считал он, может хорошо работать, только когда материала не хватает. Воображение, вероятно, создало ему пейзаж столь прекрасный, что Лосев слушал его с интересом, особенно когда Аркадий Матвеевич стал развивать теорию, что именно в центре города следует сохранять природную красоту, те непредвиденные сочетания, которые пластуются исторически, составляют физиономию города. Архитекторы случайностей создать не могут. Умысел всегда беднее счастливого случая. Город должен иметь интимные уголки, паузы, где вырастает поэзия. Городу это нужнее, чем деревне. Образ Петербурга создавали Росси, Растрелли, Захаров. Но, кроме них, еще и Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок. У Москвы есть свои поэты, у маленьких русских городков тоже... А как — новые расчерченные кварталы, удобные, продуманные и одинаковые, — будут они рождать своих поэтов? А если мы будем добывать старое, то к чему мы придем? Мы загубим среду обитания.

— То есть? — спросил Лосев.

— Старый город — это не отдельные здания. Мы спорим про отдельные дома — имеют они ценность или нет. А есть еще среда старого города. Дух его. Вещь невоспроизводимая. Результат накопления легенд, стилей, истории. Мы занялись охраной природной среды. Воздух, животные... А есть еще среда культуры, красоты, накопленная в

каждом городе, старый центр, особенно когда его окружили новостройки.

Лосеву нравились эти мысли, он старался запомнить их, чтобы привести на ближайшей сессии и привлечь новых сторонников.

Для Уварова все эти рассуждения вряд ли годились. А выходить предстояло на Уварова, все замыкалось на него, все остальные варианты Лосев исчерпал. Попробовал он уломать Грищенко, побывал у проектировщиков, никто из них не возражал, но и поддерживать его не желали. Для них история с Жмуркиной заводью была безразлична. Хотя Лосев приходил к ним с эскизами и некоторыми выкладками. Перенести стройку можно было ниже по реке на два километра, на участок того же типа. Туда и станция ближе, и участок просторнее, будет куда расширяться, и строителям можно не жаться... Все так, соглашались с ним, и все же пусть Уваров нам скажет, мы сами в х о д и т ь не будем.

Аркадий Матвеевич предлагал с Уваровым не хитрить, выложить ему все как есть и про картину не скрывать, потому что, если Уваров что-то слышал, получится некрасиво. Следует продумать последовательность разговора. Аркадий Матвеевич всегда советовал выкладывать дела в определенном порядке. Обговорили, как мотивировать просьбу. Речь пойдет о материи эфемерной, непривычной, Аркадий Матвеевич советовал перевести ее в категории хотя бы газетного порядка. Минимум о т с е б я т и н ы. Допустим: «Участок, обладающий эстетической и историко-художественной ценностью и помогающий художественному воспитанию школьников». Некоторое время он, как старый часовщик в лупу, разглядывал эту формулу, заменял отдельные ее части, пока не получилось такое: «Участок, имеющий историко-художественную ценность для города, а также для эстетической науки и эстетического воспитания молодежи».

— Ты не морщись, Сережа,— сказал Аркадий Матвеевич.— Ты примерь на себя... Скажет тебе начальник вашего клуба, что хочет он начать пробуждение добрых чувств твоих горожан, затрагивая их лирические струны. Куда ты его пошлешь? А если он предложит включиться в мероприятия по пушкинской поэзии под лозунгом «что чувства добрые я лирой пробуждал», то, пожалуйста, готовьте смету.

Далее Аркадий Матвеевич просил не поддаваться соблазну уговоров. Люди, когда хотят убедить кого-нибудь принять их точку зрения, слишком много говорят сами. Лучше дать возможность высказаться собеседнику. Правда, Уварова уговорить нелегко. Уваров любит слушать и, пока слушает, составляет мнение, готовит решение. Аркадий Матвеевич напомним «метод Сократа»: строить беседу так, чтобы получать один за другим утвердительные ответы и тем самым приучать собеседника соглашаться. Хорошо было бы разговорить Уварова, чтобы он высказался о надеждах и планах, которые он связывает с филиалом и с самой фирмой ЭВМ, да беда в том, что Уваров не в пример другим начальникам молчун, для него собеседник даже в неслужебной обстановке прежде всего источник полезной информации. Он нетипичен, ибо, как правило, человек после сорока лет предпочитает хороших слушателей. Умение слушать — редкая способность и высоко ценится. Гораздо чаще стремятся перебить и начать говорить о себе (на этом месте Лосев поймал себя на таком желании), не дожидаясь, пока собеседник кончит, потому что собеседник, разумеется, ненастолько умен, как вы... А надо, наоборот, понять, что человек, с которым вы разговариваете, заинтересован в своих делах, в своей мозоли куда больше, чем в ваших проблемах. Если уж вести разговор, то следует говорить о том, что интересует того же Уварова, например цифры, статистика, он ценит людей, ко-

торые умеют отвечать точными данными — в кубометрах, рублях, тоннах...

Обговорили прочие детали, например что на прием записаться лучше на конец дня, когда не подпирают следующие посетители.

По словам Аркадия Матвеевича, ум делал Уварова высокомерным, одиноким и в то же время он, как умный человек, скрывал свой ум, пользуясь административными штампами. «Как это точно», — думал Лосев, удивляясь, почему он сам не мог этого определить, хотя Уварова знал давно.

Племянник Аркадия Матвеевича не переставал удивляться — справедливое, ясное дело, а сколько приготовлений, сложностей.

— Потому что это разговор, — пояснил Аркадий Матвеевич. — А справедливость у каждого своя, словом «справедливость» размахивать опасно, собеседник твой немедленно в амбицию, и не сдвинуть. Разговор — это шахматная партия. К ней мастер загодя собирается. Но одно ты предполагаешь, а другое партнер. Так и у нас. Мы сейчас мозгуем, как нам поступать, и не берем в расчет, какие контрверзы может учинить он. А о неприятностях надо заблаговременно заботиться.

Тут-то Валерик, до сих пор почтительно внимающий, человек малозаметный, малословный, стал наливаясь пунцовым цветом злости и возмущения и выругался. Продолжая ругаться, он показывал Лосеву эту жалкую, сырую, полутемную — окно в стенку — комнату, в которой проживал его всезнающий дядя, стопки книг, затиснутых под диван, цветущие мохнатой плесенью книги, от которых некуда было деваться. Это и есть результат дядиной учености? Два стареньких костюма, повешенных прямо на стеллаже и прикрытых от пыли целлофаном. Шкафа платяного не было, некуда его поставить, белье лежало в чемодане. Не было ни ковра, ни телевизора, ни проигрывателя — ничего существенного, «соответственно запросам культурного человека». Без стеснения разоблачал он убожество дядиного быта и сравнивал со своей двухкомнатной квартирой, где сейчас идет ремонт, обклеивают ее финскими обоями, в ванной ставят голубой кафель и сушилку... При этом он знать не знал никаких философов и языков, был лишь мастер ОТК, а жил лучше, культурнее и получал больше, и никто на него голоса повысит не смел. Торжество раздувало его чахлую грудь, обтянутую желтенькой цветастой рубашкой, застегнутой у горла на белую пуговку. За что он должен уважать своего дядюшку? — вот вопрос, который он ставил. Дядюшка все уговаривал его учиться, попрекал, что годы уходят, что останется без образования, и что же получилось? Кто выиграл? Хорош бы он был, если бы послушался. Чего стоят все хитрости и умничания, если человек не может себе обеспечить холодильника, полного продуктов? Презрение его словно бы светилось, окружало его фиолетовым коронирующим свечением. Они сейчас стали похожи — дядя и племянник; у Валерика — воплощение враждебности и презрения, у Аркадия Матвеевича — воплощение терпения и кротости, а лицо было одно, один род, который когда-то расщепился, избрав разные дороги. И Антонина, бывшая жена Лосева, принадлежала к их корню, ее-то черты Лосев и узнавал прежде всего в этих двоих. Неприязнь и терпение соединились в холоде ее красивого лица. Последний год перед ее отъездом терпение ее невозможно было нарушить никакими выходками, оно резиново тянулось в любую сторону, при этом враждебность ее оставалась неизменно ровной. Только иногда, в крайние минуты, в воздухе начинало потрескивать это фиолетово-угрожающее свечение.

Воспоминание об Антонине впервые не причинило боли, оно проплыло облаком далеким, безразличным, скользнуло бегучей тенью...

Валерик обращался прежде всего к Лосеву. Домогался ответа от этого, видно по всему, практичного, цепкоглазого, себе на уме начальника, причем не из малых. Валерия раздражала уважительность, с какой Лосев поглощал советы ничего, в сущности, не достигшего старика. Солидные же вопросы, выдвинутые Валериком, не обсуждались. И то и другое было несправедливо, сбивало с толку.

Аркадий Матвеевич, тот покорно признавал резон Валерика, но каялся в чем-то совсем другом.

— ...Стоит оглянуться назад — бог ты мой, сколько упущено, сколько я сам себе бед устроил. Собственная жизнь — прекрасный учебник. Читать его не хотим. Про других читаем... Собственное прошлое изучать неохота, историю своей души... И тела... Судьба? В старости судьба оказывается лишь историей учиненных нами глупостей.

Он подошел и смиренно погладил племянника по голове.

Один Лосев, и то случайно, знал, какие под его словами покоятся давно затонувшие печали. Дети, которые у него могли быть. Двое, трое детей. Та женщина покорно соглашалась на операции, а в последний раз отказалась и ушла. Та женщина умерла, дочь ее выросла, у нее большая семья. Дочь не знала, что она его дочь, и никогда не узнает. Она выросла как дочь другого человека... Портрет той женщины висел рядом с фотографией отца Аркадия Матвеевича — врача царской армии.

Он знал, как обращаться с другими людьми, и не умел обращаться с собой, со своей судьбой, он мог предусмотреть чужие ошибки и не мог предусмотреть свои.

Он знал, как добиваться, хлопотать, вести переговоры, и ничего не мог сделать для себя. У него в этих случаях пропадало всякое умение, предусмотрительность, знание психологии. Иногда на торжественные заседания Девятого мая он надевал ордена и медали, и все поражались — откуда у него их столько? Его сажали в президиум, подносили ему гвоздики, но через несколько дней никто уже не верил, что этот книжник, барственный старомодный чудак командовал, стрелял, носил вместо берета каску... Он и сам, надев ордена, чувствовал себя смущенным, не знал, как держаться, и торопился уйти.

Между тем прежняя бледность вернулась к племяннику. Валерий пригладил свои волосы и погрузился в молчаливое неодобрение. Теперь оно было более прочным и угрюмым. Лосевым он был разочарован и обижен, Лосев вместо ответа посмеивался и пуще восхищался советами Аркадия Матвеевича и милым ему интеллигентным духом этого обиталища. Что такое интеллигентность, объяснить он не сумел. Говорил только, что у него самого этого нет и не будет — хоть коврами завесь, хоть книгами завали, а все не то. И не понять было, то ли он попрекает Валерика, то ли завидует. А потом принялся показывать китайские тени на стене. Он изображал гусей, собак, коров и радовался ловкости своих пальцев.

Аркадий Матвеевич смеялся, вспомнил, что сам когда-то научил Лосева, а его когда-то научил японец, который, впрочем, на самом деле был китайцем и содержал в Харбине ресторанчик, где когда-то собирались русские эмигранты.

Вдруг он затих, всматриваясь в лицо Лосева, опечалился, поднялся, кутаясь в заношенный халат, сказал виновато:

— Боюсь я. Зря я тебя настроил.

— Вот тебе и раз. Это почему?

— Не ходи к нему,— сказал Аркадий Матвеевич, продолжая глядываться в Лосева.— Не надо тебе. Ничего не получится. Не станет он... Зачем ему вступать? Ему придется куда-то ехать, просить, ему скажут: что ж вы раньше смотрели? Могут не сказать, но м о г у т с к а з а т ь — вечная ваша опаска. Для чего это ему?

— Для дела. Я ж ему докажу. Если сумею. Тут от меня зависит.

— Если докажешь, так еще хуже будет. Потому что все равно не захочет. Разозлится... Ему опровергать тебя придется. Для убедительности он еще воткнет тебе. Ты при своем характере не простишь ему, и пойдет...

— По крайней мере совесть моя будет спокойна.

Аркадий Матвеевич пригладил тонкие серебристые свои усики.

— Совесть можно успокоить и дешевле... Если она покою хочет. Но боюсь, Сережа, лезешь ты в историю... Пустые хлопоты в казенном доме...

Улыбки не получилось. Был он печален и встревожен.

— Старый я дурень. Идеалист я. Мотылек. Ты, Валерик, прав. В наше время требуются реальные вещи. Выгода, которую можно подсчитать и показать. Как финские обои. А я морочил тебе голову. Сереженька, не рискуй ты, прошу тебя...

Впервые Лосеву вспомнилась тесная передняя у Ольги Серафимовны, как они стояли перед картиной и то странное предупреждение ее, произнесенное глуховатым нездешним голосом.

Лосев встряхнулся, отгоняя от себя дурное предчувствие, и стал успокаивать Аркадия Матвеевича с самым беспечным видом. В конце концов, о чем речь? Ну откажут, ну выговор дадут, выговор не туберкулез. Если уж на то пошло, то Лосев никогда не держался за свое место. Ни сна, ни отдыха измученной душе от мелких, нудных забот, которым нет конца. Что у него в голове сейчас? Крышку люка свернутую увидел — не забыть бы сказать...

Тут не было притворства, он бранил свою работу от души, он считал, что нет ничего хуже: отвечаешь за все, а можешь так мало и все над тобою хозяева.

Он говорил, стараясь успокоить не только Аркадия Матвеевича, но и себя.

Глава 14

Парень был полужнакомый, из района, приехал на областное совещание дорожников. Доброта так и лучилась из его пышущего румянцем лица, медали на нем блестели, все на нем сияло, начищенное, выскобленное. Увидев в вестибюле гостиницы Лосева, он кинулся к нему как к родному, затряс руку и сразу предложил зайти в бар тут же на втором этаже добавить. Добавить Лосеву хотелось. Именно прибавить к своему состоянию граммов сто, не больше. Может, Лосев и дрогнул бы, но вспомнил, какой завтра предстоит день трудный — визит к Уварову. К тому же в этот момент в толпе у дверей гостиницы мелькнуло что-то знакомое. Он сообразил, что это Тучкова, когда она уже исчезла. Она была в темно-зеленом платье, шла с какой-то компанией. Почему она здесь? Не показалось ли ему? Парень тем временем рассказывал, как он третий день в городе, наглядеться не может, давно тут не был, какая красота во всем... Чего-то он еще говорил — быстро, взхлеб, Лосев не слушал, а услышал про неразгаданные сны и про то, как ему снится марксизм.

— Марксизм? Это как же? — заинтересовался Лосев. — В виде чего?

Парень засмеялся совсем по-детски и объяснил, что снится в виде счастья; руками двигал, изображал, наверное вспоминал свои сны, и Лосев подумал, что если вспоминал — значит, видел, а может, и сейчас мысленно видит.

— Везет тебе, — сказал Лосев.

Пройти в ресторан он не решился.

— Везет, — согласился парень, — я везучий, хочешь моей везухи половину? Даю!

— Спасибо, да только мне половинка ни к чему. Мне много надо, чтобы крупно повезло.

Где-то из ночи ему услышался перестук надвигающегося завтрашнего дня; тревожное предчувствие снова шевельнулось, но он придавил его. Когда-то он был похож на этого парня и сияющие глаза его фортуны то и дело откликались ему своим теплом. Он узнавал ее среди встречных женщин, он слышал запах ее духов, шелест ее платья. Он был уверен, что есть Она, кто следит за ним, заботится, выручает, Судьба, Звезда, Фортуна. Потом он потерял ее.

Засыпая у себя в номере, он попробовал припомнить, как это получилось, куда она делась. Виделась ему при этом женщина в зеленом с блестками платье, темная волна волос падала ей на глаза... Он узнал, что это не та. Ту он не потерял, а забросил. Давно уж он не ловил ее взгляда, не благодарил ее... У него все складывалось логично, согласно его заслугам, достижениям, выполнению заданий, он не зависел от судьбы или удачи, он в них не нуждался, он считал, что обязан самому себе, своей работоспособности и уменью делать дело...

В семнадцать ноль пять Лосев вошел в приемную, поздоровался с Александрой Андреевной. Он специально пришел пораньше поболтать с ней. Она работала в исполкоме в этой приемной пятнадцать лет, помнила Лосева инструктором, в полушубке и валенках с калошами. С тех пор сохранял он к ней то же уважительное отношение, так же, входя, здоровался за руку, сообщал лыковские новости, рассказывал, что за дела у него к начальнику. За высокой обитой дверью кабинета люди менялись, Александра Андреевна оставалась, и он приходил не только к ним, но и к ней. Часто, будучи в исполкоме, заглядывал просто к ней проведать ее, и она это ценила.

В семнадцать пятнадцать голос Уварова в селекторе произнес: «Сергей Степанович, пожалуйста». Тут же дверь отворилась и из кабинета вышел Сечихин. Он поздоровался с Лосевым радушно, как бы обрадованно, но не протягивая руки.

— Как головка? — спросил он, уличающе подмигивая.

Лосев вяло усмехнулся в тон ему и тоже подмигнул. Зачем он это сделал, он и сам не понимал. Думал, что возненавидел, что с трибуны еще скажет про сечихинское хамство, и вот ничего, оказывается, не осталось, разрядилось, ушло, и будет он здороваться как ни в чем не бывало.

— И что же, приняли ее? — спросил он окончание истории, которую рассказывала Александра Андреевна про свою дочь.

Александра Андреевна заторопилась, поглядывая на селектор, Лосев же слушал спокойно, раздумывая над тем, что Тучкова, та не слушала бы про дочь, а рассказывала бы про Жмуркину заводь и выложила бы Александре Андреевне и всем другим секретаршам и машинисткам, кому угодно, без различия должностей...

С этой досадной мыслью он вошел в кабинет Уварова, и непредвиденное это чувство несколько помешало ему.

Хорошо, что имелся план разговора, продуманный Аркадием Матвеевичем. Сперва об одной давней просьбе Уварова — подключить дом отдыха строителей к городской электросети. Просьба была не срочная, дом отдыха второй год питался по временке и еще бы мог подождать. Перед отъездом Лосев вызвал энергетиков, они отказывались, требовали от строителей возвести коробку подстанции, он поднажал и заставил их выкроить мощность и подключить дом отдыха без всяких условий.

Уваров одобрительно кивнул. Мягкие округлые морщины на его одутловатом бледном лице чуть раздвинулись. Было ясно, что все это время Лосев помнил его просьбу, хотя Уваров ни разу не повторил ее.

Уваров откинулся на спинку кресла, позволяя себе расслабиться. Он был моложе Лосева года на два, но с тех пор, как переместился в этот кабинет, различие все уменьшалось, и в последнее время Лосев воспринимал его как человека старшего по возрасту.

Коротко обстриженная лобастая голова Уварова подвижно сидела на поджаром крепконогом теле, хорошо приспособленном к хождениям по стройплощадкам, шатким лесам, езде по глинистым проселкам на вездеходах, к спускам в каменные карьеры, многочасовому вышагиванию по цеховым пролетам, эстакадам, путям... В нем не было ничего лишнего, движения его были чуть замедленны, но точны.

Говорил он короткими фразами, без междометий, криканий, без туманных или общих слов, которые понимай как хочешь.

Слегка затемненные очки мешали видеть выражение его глаз, стекла скрадывали оттенки, оставалось лишь бесстрастное внимание, устремленное на собеседника. С ним было приятно иметь дело — и опасно. Не в пример своему предшественнику он не тянул, не уклонялся от ответа, было замечено, что он старается решить вопрос по возможности сразу и окончательно. Если он откладывал на неделю, то ровно через неделю он звонил и говорил «да» или «нет». Работоспособностью он обладал неслыханной. Приезжая в Лыков, после целого дня хождений и совещаний вечером у себя в номере он просматривал бумаги, изучал сводки, диктовал письма. Он ввел копирующие аппараты, на которых, между прочим, иногда приказывал размножить для всеобщего сведения безграмотные докладные некоторых работников, собственноручно подчеркивал ошибки и нелепости. Первым в области он стал работать с диктофоном, первым научился пользоваться карманным компьютером, который купил, будучи в Штатах.

— Значит, дом отдыха можно подключать к городской сети, — для проверки повторил Уваров и тут же включил селектор, передал это в отдел. Снял очки, потер глаза. — Спасибо тебе. — Глаза у него были водянистые, холодные. — Дальше.

Второе дело было о новых машинах для дорожников. В последний момент выделенные для Лыкова машины передали на строительство автомагистрали. Лосев, будто и впрямь ни о чем не зная, просил, ссылаясь на обещание Уварова.

— Обещал, — подтвердил Уваров. — Мне тоже обещали, однако отобрали. Автострада не местного значения, ты что, не знаешь?

Он всячески упрощал дело, но в его вопросе звучало подозрение. Лосев был на хорошем счету, а хорошему руководителю полагается знать обстановку и выдвигать требования реальные.

Однако упростить Уварову не удалось, дело обстояло сложнее. В свое время, пообещав машины, Уваров попросил дать дорожникам

склады у пристани, поскольку часть магистрали пройдет по Лыковскому району. Лосев помог, предоставил, что, между прочим, было ему не просто, и на сессии исполкома сказал о дорожных машинах, катках, асфальтоукладчиках, грейдерах, обещанных городу. Вдвое больше улиц можно будет заасфальтировать.

— Да-а, влип я,— уныло сказал Лосев, напомним все это.— Понадеялся. Привык, что раз с вами уговорено — все равно что в кармане.

Грубоватый прием, но дозволенный, честный: он смотрел на Уварова без осуждения, с покорностью обманутого подчиненного.

— Хорошо хоть, что на вас не ссылаюсь,— добавил Лосев.— Имени не назвал.

Уварову должно было быть неловко.

— Что делать,— сказал он.— Одно начальство предполагает, а другое располагает.

Лосев не ответил. Он захлопнул папку и удрученно молчал. Пауза затягивалась. Лосеву надо было, чтобы Уваров заговорил первый. Он мог сказать: «Все у тебя?» Или свое «дальше». Но Уваров все же захотел загладить неловкость:

— Роддом у тебя отличный. Мне докладывали. Молодцы вы. Как там с койками, пробили?

Насчет коек Лосеву еще предстояли хлопоты. Тем не менее он сказал без интереса:

— С койками сами дождем.

Возникло новое молчание. Лосев все еще сидел, опустив голову.

Когда-то, придя сюда с завода, Уваров, принимая посетителей, демонстративно включал секундомер. Толстая луковица старого спортивного секундомера лежала на столе и звонко тикала. Многие возмущались. Уварову осторожно указали, что это не помогает, а мешает, угнетает людей, вместо выигрыша времени получается черт знает что. Секундомер исчез, но какое-то тиканье в кабинете Уварова осталось.

Лосев смотрел на носки своих новых туфель.

— Может, что еще надо? — примирительно спросил Уваров.

Формально вопрос относился к роддому. Добиться такого вопроса от Уварова было победой, редкой удачей. Уваров почти никогда не позволял себе такого невыгодного жеста.

Фактически можно было попросить помимо коек, то есть спецкровать, машину для вывоза мусора или автобус. Деньги на освещение. Штатную единицу инженера. Пионерский стадион. Чутье подсказывало Лосеву готовность Уварова дать, и дать с лихвой, не тот человек Уваров, чтобы остаться в долгу.

Можно было закинуть слово насчет прохудившегося моста, о котором давно шли хлопоты.

А крыши!..

При мысли о крышах сразу же заломило в затылке. От одной мысли про крики, скандалы, просьбы, какие были и какие ждали его к осени из-за какого-нибудь десятка листов железа. Там текло, там надо было менять, все срочно, не хватало железа, шифера, сантехники, труб..

Начальники служб, замы, измученные бесконечными прорехами изношенного городского хозяйства, если б они узнали, что он откажется от такой счастливой возможности что-то получить, что никому из них ничего не отколется,— они б ему не простили..

Уваров ждал. Пока что Лосев вынудил его отступить на эту невыгодную позицию, и теперь нельзя было медлить. Перед Уваровым лежал большой, открытый на чистой странице блокнот, сверху круп-

ным расплуснутым почерком написано: «Лосев 27/7» — и лежала черная паркеровская ручка, до которой Уваров еще не дотронулся.

Затея со Жмуркиной заводью может сорваться, тогда Лосев останется у разбитого корыта. Но мысль об этом лишь укрепляла его решимость. Останавливало его другое. В последнюю минуту ему вспомнилась Любовь Вадимовна в брезентовой куртке, враждебный ее взгляд из-под надвинутого платка. Вместо железа, машин для мусора он сейчас мог попросить увеличить оклад библиотекарям, перевести библиотеку в другую категорию — ходатайство об этом лежало у него в папке. Уварову легче было дать машину, дать деньги на стадион, чем увеличить оклад лыковской библиотекарше на какие-нибудь двадцать рублей в месяц. Но Лосев знал и то, что сейчас Уваров пошел бы на это.

Но Лосев знал и другое — что нельзя ни на что отвлекаться. Если он хочет выиграть бой за Жмуркину заводь, он должен пожертвовать всеми другими своими просьбами и бить в одну точку. Стало стыдно перед Любовью Вадимовной, именно перед ней, как будто она заранее знала об этой минуте, когда он снова переступит через нее, поэтому она так и глядела, знала, что опять жертвует ею...

Из-за нее Лосев и сбился. Ему бы не сразу, порциями: «Да вот хотел насчет филиала» — и, запинаясь: «На другое место его перетащить», — как бы нехотя: «Советовались мы...» Так, чтобы Уваров сам спрашивал и чтобы не оборвал неторопливо: «Ближе к сути».

Вместо этого Лосев разом, с разбегу, изложил все подряд, правда без вводных, которых Уваров терпеть не мог и сразу обрывал: «Вы с середины попробуйте, авось поймем».

О самой картине сказал кратко как о явлении, известном в истории искусства; в связи с картиной горожане просят сохранить Жмуркину заводь — традиционное излюбленное место, народ настаивает, были даже случаи открытого возмущения, так что нельзя ли, учитывая эстетическую ценность... и прочее, согласно формуле Аркадия Матвеевича.

— Перенести? Чего ж ты раньше думал?

Вопрос был неизбежный, Лосевым предусмотренный. Со дня согласования прошло два года. Это раз. Много изменилось. Обстоятельства меняются быстро, не так ли?.. Прежнее место застройки оказалось неудачным, ничего страшного, город дает такое же, еще лучше. Это два.

— За такие сюрпризы кто-то отвечать должен.

И к этому Лосев был готов. Если это ошибка, то прежде всего самого Лосева, никого другого.

— Да при чем тут ты... — с какой-то излишней досадой перебил его Уваров, задумался на мгновение, но больше ничего не сказал и пробарабанил по столу.

— За все надо платить, — сказал Лосев.

— Это верно, да цена-то подскочила, — усмешливо ответил Уваров и посмотрел на Лосева с интересом. — Ты что же, выговор просишь, приносишь себя на алтарь?.. Ну что ж, выговор не судимость. Был выговор — и нет выговора. — Он тянул, проясняя для себя ситуацию. — У нас выговоры даются иногда для покрытия расходов. Получил выговор — и чувствуешь себя в расчете. Грехи отпущены. Епитимья наложена.

Улыбка молодила Уварова, улыбался он редко, большая часть дел не нуждалась в улыбке. Да и сейчас улыбался он не Лосеву, а своей мысли, на Лосева же он был сердит, правда какой-то неопасной сердитостью, которая позволяла продолжать разговор.

— Ты зря набиваешься, Сергей Степанович. Выговор тебе сейчас ни к чему.

— Выговор всегда ни к чему,— подождав, ответил Лосев, не поняв, что имел в виду Уваров, а понимая лишь, что Уваров начинает вести свой разговор. Тогда он сказал:— Наседают на меня. Народ недоволен. Могут начать писать. И вам и выше.

— Такая, значит, причина,— сказал Уваров весело.— А ты им разъясняй. Не надо сразу лапки кверху. Свое мнение надо уметь отстаивать, и не только перед начальством, а и перед народом.

— Я ведь не согласен был с самого начала.

— Был не согласен, стал согласен.

— Подчинился.

— Или согласился? Убедили? Теперь уже не восстановишь. Часто ты меняешь свою точку зрения?

— Речь не обо мне. Что я могу людям разъяснить? Кругом шумят об охране природы, об охране памятников. Спрашивают, почему не хлопочете. Поливанова знаете?

Уваров кивнул.

— Вот он... Каменев когда приезжал, его атаковали, он на вас откинул да на меня. Я-то на вас ссылаться не могу.

— Правильно,— сказал Уваров.— Начальство надо защищать грудью. А твоя-то позиция какова?

— Я за то, чтобы сохранить Жмуркину заводь.

— А филиал? О филиале ты думаешь? Ты понимаешь, что такое филиал такой фирмы для тебя, для города, для всей области? Ты что, забыл, как мы боролись за этот филиал, сколько претендентов было? Филиал для тебя опора. Выход на важнейшую отрасль! На ведущие министерства! Отчисления! Да ты лучшее место должен им отдать. Ты в этом предприятии заинтересован больше всех! Мы бы нашли кому отдать.

— Я за филиал, разве я против...

Лосев развернул перед Уваровым заготовленную схему, стал пояснять, показывая выгоды нового участка.

— Что там за дом стоит у твоей заводи, напомни,— попросил Уваров.

Лосев и это предусмотрел, достал из папки цветные фотографии Жмуркиной заводи, что сделал директор леспромхоза. Фотографию картины он оставил в конверте, но Уваров цепко высмотрел ее и стал рассматривать на вытянутых руках, сличая.

Поразился.

Хмыкнул от удивления.

Лосев стоял не шевелясь.

— Занятно,— сказал Уваров.— Что-то тут есть. Конечно, городить из-за этого сыр-бор не стоит. Представляешь, сколько пейзажей написано, разве их все сохранишь... А так — любопытно...

— Да у нас-то он один, пейзаж,— не выдержал Лосев.

— И филиал у тебя один. И возможность у тебя одна,— строго отозвался Уваров.— Ты знаешь, что значит задержать начало строительства? Со всеми ассигнованиями, планами. А задержка при переносе обязательно будет. Для обоснования нужны чрезвычайные обстоятельства.

— Дмитрий Иванович...

— Пейзаж как пейзаж, не вижу я тут проблемы. Чего ты расстраиваешься? Если дом этот с медной крышей имеет историческую ценность — перенесем. Это не вопрос. Есть такая необходимость?

— Не в этом дело, не в доме...

— Вот видишь, значит, не имеет ценности. Все дело в средствах. Базу надо иметь. Промышленность. Будет у тебя промышленность, будут отчисления — сможешь эстетику наводить. Базис, базис заводи! Искусство хорошо смотрится тогда, когда у людей жизнь устроена. Нам с тобой удобства для людей надо делать. Вот ты роддом построил, это нужней картинной галереи...

— Роддомы в Москве еще лучше. Кто у меня жить останется, если красоты не будет? Нам свое преимущество надо иметь. За деньги не все купишь. Средства у меня будут, а Жмуркиной заводи не будет. Да и сколько она стоит...

— Между прочим, это вопрос, сколько она стоит! — заинтересовался Уваров, прерывая Лосева. Мягкий свой голос он редко напрягал, уверенный, что его услышат. — При сегодняшней технике, дай мне средства — я тебе любой пейзаж построю. И рощи будут и горы с водопадами, не Кавказские, конечно, так наши, среднерусские. Моря строим, так что реки, ручейки и заводи запросто...

С годами Лосеву все больше нравился Уваров. Стиль его работы был прост и в то же время практически недостижим. Были случаи, когда Уваров ошибался, но и тогда он успевал увидеть свою ошибку раньше других и первым анализировал ее, если, конечно, в этом была необходимость. От него передавалось ощущение хозяина, то есть здравого смысла, с понятной для всех заботой о выгоде для области, для людей, с подсчетом каждой копейки, с присмотром, с размахом... Все это носило отпечаток личности Уварова, деловой, суховатой, полной нетерпеливой энергии и требовательности. Впервые Лосев слышал от Уварова какие-то общие размышления, и Лосеву приятно было это доверие, и сами мысли Уварова увлекали, внушая Лосеву лестную веру в собственное могущество.

Колонны оранжевых экскаваторов, бульдозеров с блестящими ножами, краны, самосвалы, бетоновозы, тягачи... Рычащие колонны, окутанные угарно-синеватым дымком, могли двинуться по указанию Уварова, сносить, воздвигать — за его словами стояла реальная сила.

— Красота... — Уваров помахал фотографиями перед собою. — А ты можешь показать мне, в чем тут красота?

Лосев пожал плечами:

— Красоту чувствовать надо.

— Вот и неверно, — сказал Уваров спокойно. — Нам на экскурсии в Ленинграде архитектурные ансамбли показывали. Точно показывали, где тут красота, в каких пропорциях, какое решение у автора... Показали, и я увидел. Без них не увидел бы. А цены на картины как, по-твоему, назначают? Можно, следовательно, определить, сколько в каждой красоте или таланта? Я не про наши картины, я в международном масштабе. Так что ты не позволяй себя сбивать этими разговорчиками. Ты всегда требуй доказательств...

В это время приоткрылась дверь и в кабинет вошел Пашков. Бесшумно двигаясь, он подошел к Уварову с другой от Лосева стороны и, раскрыв папку, положил перед Уваровым какую-то срочную бумагу. Затем он кивнул Лосеву, посмотрел на разложенные фотографии и понимающе улыбнулся. Надписав резолюции, Уваров захлопнул папку, Пашков взял папку, придвинул на прежнее место сдвинутые фотографии.

— Знакомые места, — сказал он.

Уваров взглянул на него, привлеченный его тоном, что-то означающим.

— Да, да, ведь ты же отсюда... Вот Сергей Степанович хлопочет

за Жмуркину заводь. Готов перенести филиал, лишь бы не трогать эту красоту.

Пашков посмотрел на Лосева, глаза его весело сузились, и все его тяжелое, отвисшее книзу лицо обрело памятное Лосеву с детства торжествующее выражение мучителя.

— Да какая там красота? Нашли что беречь! Слыхали. Покровитель искусства. Филиал из-за этого трогать? — Он засмеялся нелепости этой мысли, затем добавил протяжно: — Не знаю, ой не знаю.

— За что ж вы так, Петр Георгиевич, не любите родные места свои? — сказал Лосев.

— Все это прошлое, Сергей Степанович, надо о будущем заботиться, чтобы до нашего медвежьего угла дошла научно-техническая революция.

— Прошлое тоже забывать не стоит,— сказал Уваров.— Но ведь все можно подсчитать. И красоту и пользу ее... Мне жалуются, что лес в Ерыгине рубят. А я говорю — подсчитайте. Мне сегодня нужен лес для мебелиной фабрики. Немедленно. За эти три года я столько получу, что смогу посадить вдвое больше леса и все леса привести в порядок. Возмещу все порубки. Если они эту Жмуркину заводь не могут тебе доказать, подсчитать убытки, можешь послать их по-дальше.

Почему-то он упорно выводил Лосева как бы за скобки, был непонятно терпелив, не торопил, посматривал выжидающе, как бы приглашая Лосева высказаться до конца.

— За филиал тебе обеими руками надо держаться. И никому не позволяй противопоставлять интересы города интересам стройки. Производство не химическое, от него ни дыма, ни грязи. Мы охрану среды учитываем. Современное здание в центре украсит город. Снос дома строители компенсируют. Город получит метраж в новом благоустроенном доме. Если недостаточно — добавим. Что еще? Как у вас используется эта заводь?

Пашков не удержался, нарушил от восторга этикет.

— Центр по ковирянию в носу! Используют только для точения ляс!

Уваров продолжал смотреть на Лосева.

Давнее желание шевельнулось у Лосева, как всегда пугая и забавляя своей доступностью, игра, которой он себя развлекал среди какого-нибудь бесцельного совещания: встать на четвереньки и побежать по проходу. Лосев забавлялся, представляя, что станет делать каждый из сидящих, как растеряется председатель. Добежать до дверей, встать и откланяться. Нашлись бы приятели, которые, может быть, поняли бы его. Было порой ощущение, что сидишь на заседании, которое идет второй, третий год, такое же — когда читаешь бумаги: как будто разматывается огромный рулон, ползет, шестит, и на нем читаешь все одно и то же... Побежать, куснув по дороге Пашкова за икру. Он улыбнулся, представив себе его вскрик, а вот реакцию Уварова представить не мог, и это тоже было смешно.

— А между прочим, надо иметь такое местечко в центре, ничего плохого в этом нет,— сказал он с вызовом.

Пашков захохотал над его словами, затем сказал с видом величайшего убеждения и преданности:

— Глупость это все. Абсолютно и безусловно правильно, что современное здание в этом месте украсит город.

Получилось у него приторно и грубо, но Уваров кивнул: слышал, что народ говорит?

Допустить при Пашкове свое поражение Лосев не мог.

— Нет, не безусловно,— с силой, резко сказал он, глядя прямо на Пашкова и чувствуя холодок в груди.— Тебе, конечно, спорить не приходится, Петр Георгиевич, не положено, а я уж поспорю...

Он замолчал, потому что Уваров поднялся, прошелся вдоль желтого полированного стола заседаний, похлопывая рукой по спинкам стульев. Потом пошел быстрее, крупно зашагал из конца в конец, и они молча следили за ним.

— Так, так,— сказал он, как будто что-то подсчитал, остановился, ни на кого не глядя.— Вы свободны.

Лосев не двинулся, а Пашков подобрался, прижал папку к бедру, шел он медленно, в дверях обернулся, ожидая чего-то. Уваров, однако, ничего не сказал. Когда они остались вдвоем, Лосев оробел. Он решил, что все, конец, ничего не вышло. Он наклонился над столом, собрал фотографии. И так, при помощи Пашкова его добились, бесславно и тихо. В результате он ничего не достиг, вообще ничего, остался у разбитого корыта; вспомнил он о Любви Вадимовне и скривился от досады на себя. Фотографии показались блеклыми, краски неестественными. Вчера Аркадий Матвеевич восхищался ими, здесь же, в кабинете Уварова, что-то в них исчезло. Речка, заводь, дом — все стало обыкновенным, ничем не лучше тех, что печатают в «Огоньке», «Смене», что висят на выставках, в музеях, сотни и тысячи пейзажей.

— Фотография, конечно, не передает,— пробурчал он.

— Что? — не расслышал Уваров.

Лосев ничего не ответил, положил фотографии в конверт. Паркерская ручка так и лежала на открытой незаполненной странице. Лосев повел пальцем по желтой полированной столешнице, по изгибам древесных узоров, они сгущались и разряжались, сходились и расходились. Он стоял молча, забыв об Уварове, уставясь в стол, соображая, что это те же годовые кольца, что все эти красивые линии — итоги прожитых лет. Он подумал об этом безрадостно и снова вспомнил про Любовь Вадимовну, потный липкий свой стыд на берегу перед ней.

— Нет, так нельзя! — вдруг сказал Лосев, поднял голову и еще смелее повторил: — Нельзя!

Не важно, пусть все рушится, напоследок он выдаст без всякого стеснения. Самого-то главного он еще не сказал. Ему не на что рассчитывать, так это и лучше, свободнее.

Все, что он не позволял себе в разговорах у Поливанова, и в горисполкоме, и с Анисимовым, все, что скопилось,— все вдруг безудержно хлынуло, понеслось без всякого порядка и его самого закрутило, повлекло так, что он не слышал себя, только чувствовал, как крепнет, поднимается голос. Никогда еще он не произносил таких слов, совершенно непривычных слов для него и для этого кабинета. Когда-то от Тучковой он слышал, что бесполезно передавать картину словами, невозможно было рассказать про то рассветное утро, туман над Плясвой, босые ноги мальчишки-удильщика... Но ему было наплевать, что невозможно, он рассказывал, он видел, как на одутловатом лице Уварова поднялись брови, и не обратил на это внимания, он не боялся Уварова, он ничего сейчас не боялся, он взмыл, отбросил свои расчеты, формулы, уловки.

Резиновый моторчик раскручивался, пропеллер вертелся быстрее, быстрее, наступал миг, когда модель надо было отпускать, она оставалась одна в воздухе и летела, а они бежали за ней, поднимая головы. Так и у него — слова срывались, и он бежал за ними, может быть поэтому он сравнил талант художника с самолетом: живопись помогает увидеть природу иначе, открывает ее, как от-

крывается земля с самолета в совершенно иной, беззащитной красоте. Он говорил о проекте Ивана Жмурина, какой привлекательный можно сделать из Лыкова городок русской старины, провинциального быта, не изгонять этот быт, не уничтожать его, а сохранить...

Сохранить порядок на набережной, за ним новые дома. Пристань, павильоны, играет духовой оркестр, сияет медная крыша кисловского дома. Старые вывески. Мастерские, где шорники шьют упряжь, в кузне куют крюки, ручки, бондари делают бочонки, кадушки, баклажки, все изделия тут же продаются.

Отчаяние воодушевило его и вызвало сладостное чувство освобождения. То, что он говорил, уже не могло помочь делу, разве что окончательно испортить, все это было сыро, непродуманно. Не мудро, что он запутался, сбился, он же не привык говорить без плана, а тут у него не было подготовлено, было лишь счастье выговориться, душу отвести.

Пропадай моя телега, все четыре колеса!

Давно Уваров должен был его прервать, вместо этого слушал бесстрастно, терпеливо.

А Лосеву все было нипочем. Он вспомнил Костика с его чечеткой и рассмеялся.

Брови Уварова сдвинулись, почти не разжимая губ, он тихо сказал:

— Далеко ты зашел. Когда это ты успел...

От этого тихого предостережения тот, прежний Лосев опомнился, с тоской подумал: «Что говорю? Зачем?..» Он понял, что все идет к концу, и это придало ему новую храбрость.

— А что, не прав я? — с дерзостью сказал он. — Из нашего города можно сделать отличный туристский центр. Это тоже наша индустрия. Население занять в сфере обслуживания, восстановим Петровскую крепость, поставим пушки, рядом будет мотель. Затраты окупят себя быстро, будем зарабатывать валюту.

Появилась Александра Андреевна, поставила поднос с кофе и печеньем. Налила в чашечки. Как, когда ее вызвал Уваров, Лосев не заметил, понял лишь, что, значит, еще есть какое-то время.

Уваров прохаживался с чашечкой в руках, пил маленькими глотками. Одутловатое лицо его с высоко поднятыми бровями смотрело откуда-то издали, недоступно и без отклика. Слова Лосева падали в пустоту, не вызывая ни противодействия, ни сочувствия. Но его слушали. Микрофон был включен.

— Это что, у тебя обговорено с горкомом?

— Нет. Я вам первому... решил.

Сглотнул чрезмерную сладость этой фразы. И подивился неожиданной своей чувствительности. Не такое ведь произносил.

Мысль эту Лосев вынашивал давно и кое с кем обговаривал. В план следующей пятилетки включил гостиницу. Заказал прикинуть проект кемпинга. Автобусную линию уже подготовил. Запроектировал три маленьких ресторанчика. Один уже построил. Уварову до времени не открывался, боялся, чтобы тот не поломал своей логикой.

— Разве не нужен нам для молодежи, для истории древний русский городок? Тихий, подлинный, сохраненный! Вы говорите — все можно подсчитать. Давайте подсчитаем. Вы в Суздале были? А в Тырнове? А в Угличе? Видели, какая потребность у народа... Единственное, о чем вас прошу...

Уваров вскинул брови.

— ...это согласитесь со мной!

Наконец-то он заставил Уварова усмехнуться.

Темно-коричневый костюм сидел на Уварове без морщинки, как влитой. Белая рубашка с черным галстуком и черные туфли с желтизной, все в тон, подогнано, как форма, никаких особых примет. Кто выбирал ему этот костюм — жена? Кто она? О чем они говорят дома? Никто ничего не знал об Уварове. Известно было, что он не пьет, не играет в преферанс, не ходит на рыбалку, на охоту, то есть отвергает набор положенных радостей. Многие считали его идеалом современно-го руководителя. Подражать ему Лосев не пробовал, но часто им любовался. Всегда одинаково энергичный, готовый к действию, он был как электрический ток и так же, как ток, опасен.

— Фантазер ты,— сказал Уваров.— Вот уж не ожидал. Хорошо, что у тебя это сочетается с делом. Втихаря, значит, вынашивал свою голубую мечту. Правильно. Но знаешь, не для тебя этот вариант. На культуре, на туризме не выдвинешься. Не ведущая это линия. Слава, может, и будет, а движения не будет.— Голос у него был мягкий, говорил он с паузами, но прерывать его никто бы не рискнул.— Поэт... В молодости стихи писал? Признайся — писал. Неизбежно... А не кажется ли тебе, что слишком много развелось у нас поэтов? И художников. Пишут, пишут, ничем другим не занимаются, а кормить их надо. Требуют корму. Между прочим, за народный счет, поскольку не окупают себя. Убыточны. Сто художников на наш город. Зачем? Свои областные поэты. У нас и лучших московских читать не успевают. Каменев расплодил, как будто в этом культура. Как же: сто художников — показатель! А людей дела не хватает.— Вены на висках его взбухли, припухлые щеки неровно покраснели.— От чего мы больше всего теряем? Мне говорят: пьянство, воровство, халтура. Не это главное. Главное — не хватает деловых людей. Мешают им. Болтаем, кричим. Сбиваем друг друга с толка показателями. Работаем плохо, а показатели хорошие. Как мы плохо работаем! Разучились работать. Не можем ничего сделать не переделывая. Дорожники — я ж их за руку схватил — битум экономят! Вчера был у глуховцев. Кофточки выпускают — срам! Покупатели жалуются. Собрал, стыдить начал. Обижаясь: у нас на предприятии передовики, маяки... Передовики есть, а кофточку надеть нельзя. Не решаемся людям в лицо сказать — лентяи, халтурщики, за что деньги получаете! — Он каменно бил ребром ладони по столу, в глаза ему было опасно смотреть.— У нас хнычут: на производстве настоящего хозяина нет. В Америке, думаешь, хозяина кто-нибудь видел? Я в отеле спрашивал. У них хозяин — компания, сто отелей, безличность. Но у них — культ дела! Непрерывно подсчитывают: выгодно — невыгодно. А мы расчетливых людей презираем. Меня один писака компьютером назвал. Заклеймил.— Откуда-то в руках Уварова появилась маленькая коробка компьютера, пальцы побежали по кнопкам, загорелись цифры красного неона.— Да, я компьютер! Ну и что? Чем это плохо? Если бы люди работали, как этот компьютер — четко, честно, надежно,— думаешь, плохо бы было? В машину человек вкладывает свою мечту о совершенстве, согласен? Нет, ты согласен? — властно потребовал Уваров, перегибаясь к Лосеву через стол, в движении его были какое-то беспокойство и неуверенность.

Лосев подумал, что Уваров одинок. Он подумал так потому, что и сам последнее время испытывал одиночество, друзья-приятели куда-то исчезали — одни из самолюбия требовали, чтобы он звонил первый, проявляя знаки внимания, он забывал, они обижались, другие начинали его эксплуатировать, чего-то просить, устраивать через него.

Постепенно он становился одинок. Одиночество освобождало, приносило независимость.

— ...Зато художников разводим, дармоедов, захребетников!

— При чем тут художники? — не выдержал Лосев. — Это вы зря.

Уваров ничего не ответил, пробарабанил пальцами по столу, сбившиеся его редкие рыжеватые волосы улеглись сами собою, воротничок рубашки выпрямился, разгладился, обычное высокомерное выражение вернулось к нему, отделив его от Лосева, от всего, о чем они говорили. Мягким, ровным голосом он сообщил, что хочет взять Лосева к себе заместителем, первым замом.

Лосев мгновенно вспотел, почувствовал, как прилипла рубашка на спине, пот выступил на лбу. Было стыдно перед Уваровым, но он ничего не мог поделать с собой. Слишком это было внезапно, и слишком долго он этого ждал. Слушок вился давно, его спрашивали и в Лыкове и в области, он отшучивался, уверял, что не собирается в аппарат. Однако с ним самим никто из начальства разговора не вел. Последнее время слухи прекратились, и стало неприятно. Ничего не случилось, а неприятно; томило, что кто-то там, наверху, отверг его кандидатуру. Не пришелся. Разонравился. За что? Кому? Самое лучшее уверять, что не хочешь в аппарат. В любом случае выгодно — и судьбу не дразнишь, и люди уважают, и страхуешься от разочарований.

И вот оно наконец свершилось. Раз Уваров сказал — значит, все, порядок, согласовано.

— Спасибо. — Лосев облизнул губы. — Не знаю, как сумею. Фантазии у меня... Машины во мне мало.

— Появится. В тебе есть другое... — Он повернул двумя пальцами, как поворачивают ключ зажигания, и прицокнул. — Фантазии у тебя завелись оттого, что засиделся. Тесно там тебе стало.

В стеклах книжных шкафов отражался законный вид на город: телевизионная башня, площадь, многоэтажный корпус химкомбината; стекла дробили вид на куски, повторяли. Над шкафом висела карта области: кудлатое облако, на край которого черным кружком закатился Лыков, городок с ноготок, домотканый, деревянный, с петухами и садами-огородами.

Отсюда можно больше сделать для Лыкова — и с мостом и с Петровской крепостью. Легче решать вопрос об освоении местного серого туфа — дивного стройматериала. Вся область со всеми районами, вся эта карта будет висеть в его кабинете. Целое государство. С мстительным удовольствием подумалось о Пашкове, как тот будет стоять перед ним, прижимая папку. И сразу мысль его перескочила на Сечихина, как он позвонит и скажет — вы, Сечихин, хотели, чтобы я к вам зашел, но извините, времени у меня нет, уж придется вам явиться... И в кабинете будет сидеть Аркадий Матвеевич... Так что, честно говоря, в первые минуты Лосев думал не столько о деле, сколько тешил свое самолюбие мстительными этими картинками. И тут же представил он себе новую квартиру, просторную, с лоджией, широкой лестницей, лифтом.

— Дело не в должности, сделать можно больше — вот что дорого. Верно? — с пронизательностью спросил Уваров, склонив голову, словно прислушиваясь к тому, что происходило внутри лосевского организма. — И перспективы. Движение. Мы сами не знаем своих возможностей.

Каждая фраза тут, каждое слово имели значение. Перспектива — это вообще. Но дальше шло «движение», значит, не вообще перспектива, а в связи с движением, то есть передвижкой. И предыдущие

уваровские слова тоже наполнились, высветились. Про выговор, например, ясно, что выговор помешал бы назначению Лосева, в момент назначения любая случайность может помешать. Удивительно, как его разглагольствования не отвратили Уварова, ужас, что он тут наворотил, с какой горячностью. Не мудрено, если б Уваров передумал — зачем ему такой вздорный зам? Так Лосев никогда бы и не узнал, чего он лишился. Прояснились и прочие извивы разговора и почему Уваров терпел, не спешил закончить прием. До сих пор Лосеву казалось, что разговор вел он, добиваясь своего, теперь ясно, что Уварову спор насчет Жмуркиной заводи был нужен, чтобы проверить, прояснить своего будущего зама.

Лосеву нравилось думать, что Уваров, как человек выдающийся, понимал, что выгодно иметь заместителем не бессловесного исполнителя, а работника с выдумкой, мыслящего, способного и подсказать и понять идею своего начальника. Талантливый руководитель не боится способных замов. В подборе подчиненных полезно соблюдать правило: с одной стороны, оставаться умнее их и способнее, с другой — не оказаться среди дураков и карьеристов.

Уваров накрыл рукой руку Лосева.

— Знал бы ты, как мне трудно. Ничего не получается. Бьемся, бьемся...

Рука его была неожиданно горячей. Он вздохнул, вздох этот прорвался сквозь все затворы, из самых глубин. Лосеву услышалось, как там, скрытая от всех, жила и страдала уваровская душа. Его охватило чувство понимания, дружбы, согласия, порывало признаться, что и на него, Лосева, тоже нападает отчаянье оттого, что никто не хочет работать, сколько раз он убеждался, что и сам по-настоящему ничего не умеет... Но он понимал, что Уварову не нужны утешения. И тот деловой, все учитывающий Лосев указал, что не следует ему равняться со своими переживаниями, лучше тактично промолчать и затем, используя настроение, намекнуть, что все же нельзя возвращаться в Лыков с пустыми руками. Так он и сделал, сказав все это, и Уваров согласился не торгуясь. Как бы заодно с ним впервые Лосев рассматривал нужды своего города со стороны. Только в вопросе о ставке библиотекарям он заспорил. Понимал, что просьба его не к месту, никак не соответствует ходу разговора и сейчас слишком хлопотно будет Уварову пробить пересмотр ставок. Не нужно было настаивать, чувствовал, что и без того Уваров дает все что может, и было самому тяжело, когда Уваров поморщился, согласился.

— А ты настойчивый мужик, — сказал Уваров, прощаясь.

Из приемной Лосев специально свернул в коридорчик мимо кабинета Пашкова, мечтая встретить его сейчас и, ничего не сказав, только улыбнуться, чуть подмигнуть, ручкой помахать... Он даже приоткрыл дверь, но в кабинете никого не было. Все равно, не важно, он плыл над ковровыми дорожками коридора, в груди у него тенькало, счастливо пело, как будто там бежало, распевая невесть что, его мальчишество.

Глава 15

Письмо первое

7 августа 1936 г.

Прелесть моя, Елизавета Авдеевна! Наконец-то завязалась моя работа. Вторая неделя кончается как пребываю я в Ваших пенатах. И наконец пошло, покатилося, и все опять стало прекрасно. У меня от работы зависит и настроение, и зрение, и цвет лица, и даже рост. По первому взгляду, как я Вам писал, понравилось мне тут — устойчи-

востью жизни. Те же извечные лопухи, те же старухи в темных платках на лавках, те же веранды в цветных стеклышках, базары, гуляние в саду. Затем меня в местном отеле, то бишь в «Доме крестьянина», лишили отдельного номера по случаю приезда начальства и определили в нормальном общежитии. Что было отчасти любопытно. Среди союзов были уполномоченные, замученные бумагами, до поздней ночи они переписывали формы, ликовали, графили под копирку. Графят в нашем отечестве неслыханное количество бумаги. Я не удержался, набросал несколько рук, сильных, ловких, которые вместо топоров, лопат держат карандаши. Двое колхозников приехали. Передовики. Маются. Еще во вкус не вошли, неловко: за что, мол, платят деньги, за что талоны выдали бесплатные на питание? Один из Журневки, может, помните, деревня на Плясве? Он впервые в жизни летом в городе очутился. По привычке вскакивает на заре, выходит в подштанниках во двор, стоит, не знает, куда себя девать. Я и его нарисовал, с тоской в глазах и смущением. Не понимает, что же произошло: он просто работал как привык, как земля требует, и вдруг пожалуйста — передовик, чуть ли не герой. По чистоте души чувствует себя как самозванец. А сам коричневый, волосы белые — как негатив, на руке браслет цыганский, цыганка подарила, снимать не велела. В главной моей работе меж тем был полный захлоп. Между прочим, из-за Вас. Впрочем, все, что приключается в этом городке, все связано с Вами — тем оно и сладко, тем оно и горько.

Надобно заметить, что от пленера я отвык, однако, не зная этого, принялся весьма лихо, и все получилось само собою, ловко и быстро, так что и осмыслить ничего не успел. Я ведь как — если можно не думать, не думаю. Нынче — не мыслю, значит, существую. Гляжу, готово — песок, сходни. Ваша фигурка в том белом платьице, вышитом красными цветами, какое было на Вас в Сестрорецке, когда Вы гостили перед отъездом у Сологубов. — помните ли Вы в парижской Вашей жизни эти дни? Потом Брюсов пожаловал и мой незабвенный друг и учитель Яков Иванович. Пекли картошку, плясали, все ухаживали за Вами, и Вы читали Лермонтова. Воспоминаниям предаваться не желаю, остерегаюсь расстроить Вас, хотел лишь платье напомнить. Не знаю, помнят ли женщины свои платья, хотя бы победоносные платья? То Ваше платье и трава сразу выписались, позади кусты и Ваш дом. Но столько света вобрала Ваша светлость, что дом сразу потерялся. А Вы ведь просили дом со всем его окружением. Вам-то нужен был пейзаж, а не Ваш портрет. Вы-то свою тоску по отчим местам хотели утишить предметностью. Чтобы возвращаться через мою картину домой. Вы-то мечтали у себя в Париже дом лыковский иметь перед глазами... «такой, как тогда!».

Все это я припомнил, очнулся и оборвал на полпути. Потому что сам не подозревал, что, вместо того чтобы писать картину для Вас, писал ее для себя, пытаюсь через нее вернуться к Вам, в те летние дни Сестрорецка и вслед за ними — в наши с Вами парижские дни. У этого холста столкнулась Ваша тоска с моей тоской. Для любого постороннего, кроме нас с Вами, это глупое, бессмысленное единоборство. Мне же было куда как мучительно. Тем не менее я решил расстаться с Вашей фигурой. Уверял себя, что жертва, которую я приношу, — она Вам приятна. Тут один местный начальник, некий Поливанов, заинтересовался моей работой или моей особой, не знаю. Тем более что выгляжу я для здешних мест подозрительно — по совету Тырсы нарядился я в холщовую блузу, мятую шляпу, в полном соответствии с представлением о художниках. Мне б еще длинные волосы, да не успел отрастить. Поливанов, человек просвещенный, по наряду признал во мне художника и самолично посетил меня на натуре. Фигура

Ваша уже обозначилась, и он стал допытываться — кто такая? Я представил Вас как игру воображения, персонаж, лица не имеющий. К тому же физиономия Ваша в тени, так, один намек. Когда ж я замазал эту картину, Поливанов изумился. Я ничего не объяснял. Мне и без него было тошно. Если бы хоть картина была кончена, а то ведь на половине бросил, знал, что получалось, знал, где вяло, где синего надо прибавить, знал, что кусты пробить надо солнцем, тогда тень от Вашей фигуры станет легче. Меня этот тип спрашивает — почему нельзя было картину кончить, а потом другую сделать? Одно, мол, другому не мешало. В том-то и дело, отвечаю, что мешало. Я ведь потом бы не сумел снова дом в отдельности писать, желание исчерпалось бы. Это я точно почувствовал, но объяснить Поливанову, затянутому во френч, в хромовые сапоги, не мог. Он спрашивает — как допрашивает. Все на нем мягкое, а скрипит, будто под френчем ремни, пряжки, портупей. Ах, Лиза, какая мука была расставаться с Вами, словно бы убийство совершал. Больше всего потому, что незавершенная работа. Недописанное уничтожить труднее всего, с недописанным расстаться сил нет. Помните Бальзака «Неведомый шедевр»? Лучшее, что сочинено про нашу сволочную профессию. Картина доделанная, она отпадает словно лист осенний, словно струп. Я знать не знаю, куда проданы некоторые мои картины с выставок. Где они висят, у кого... Мне и дела нет. А тут — замазал Вас и впал в траур. Все постыло, все вызывало отвращение — и запах красок, и жара, и этот засиженный мухами населенный пункт. Людишки шныряют взад-вперед, парусиновые портфели тащат с места на место, бумаги строчат, мужикам работать мешают. То церковь станут приспособлять, под что — неизвестно, главное купола убрать. Часовню снесут, вместо нее построят трибуны фанерные. И городишко Ваш увиделся мне тараканьей дырой, от которой на весь район исходят глушь и суета. В унылости я уходил по берегу далеко в поля. Оттуда все выглядело нелепым нагромождением, чирьем среди зеленой телесной плавности земли. Видно было, как человек далек от красоты, как бежит ее. Думалось — зачем люди с этого простора сбились в кучу, стиснулись в домишки? Ни воздуху, ни солнцу. Теснота и злость. Так я бродил, отвергая все, пустой и смутный, как мой измазюканный холст.

Представьте, что Поливанов, которого я изругал обидными словами, проявил неожиданное участие и устроил меня на квартиру к одной чистенькой безмолвной старушке, в тихий старинный особняк. Там запущенный яблоневый сад, в саду лягушки. В доме парадное зальце. Рояль. Комплекты «Нивы» и «Огонька». На стенах литографии — страдания бедного Иова. Висят рядышком две лампы: электрическая и, про запас, керосиновая. Уселся я в калачку, тишина, где-то поскрипывает, пахнет сухими травками, покоем, который настоялся десятилетиями. И такая благодать сошла на меня. Я понял вдруг, что настоящая картина, как стихотворение, должна посвящаться кому-то, она должна адрес иметь. Мне счастье выпало, что есть человек, который ждет моей картины. Ведь от этого вся работа моя смысл обретает. И какой! Чего мне еще надо? Об этом же только мечтать можно. Не жертва тут, а любовь. Мне, дураку, дали возможность любовь свою выразить, другого такого случая, может, и не дождусь. И, поняв это, поверите ли, еле утра дождался. Побежал выбирать точку и выбрал — с другого берега стал писать, так, чтобы была река, а не с улицы, где многое заслонил бы сад. От реки и движение воздуха, и небо отражается. А мне обязательно надо больше неба. Я и так и этак перепробовал, пока не нашел, что восход в окнах должен играть, весь воздух в этот час движется. Вариантов я перебрал уйму, но это одно удоволь-

ствие было, как по лестнице взбегал. В эти утра открыл для себя чрезвычайной важности вещь — что воздух красками движется! Не теплом, не ветром, которого не видно, а движение происходит красками. При восходе они бегут сверху вниз и ощутимо колышут туман, особенно над водой. Секрет этот чисто ремесленный. Вам он ни к чему, я же в восторге. Медная крыша Вашего дома покрыта зеленью, такой кислой, которую не знаю, как сделать. Добиться такого зеленого цвета — значит, Елизавета Авдеевна, решить важнейшую для меня сегодня проблему! Вот-с! А дом Ваш презанятный. Взаясь я за него и вновь почувствовал своеобразное дарование Якова Ивановича; постепенно передо мною возникал начальный его замысел, сквозь все недоделки и огрехи замысел пробивался ко мне своей недоовоплощенной гармонией. Талантливая архитектура не безразлична к цвету, дом Ваш помогает мне выбирать краски. Дом этот помогали ему сочинять Лентулов Аристарх и Машков, а однажды затащили Владимира Короленко, это мне рассказывал Яков Иванович, поэтому-то Короленко, а потом и А. А. Богданов и Луначарский хоронились у вашего батюшки, Яков Иванович им устраивал это убежище...

Поскольку холст я не сменил, то, выписывая дом, я под ним, под стенами его кончиком кисти ощущал Вашу фигуру, слои ее краски, я касался Вашего платья, Вашего лица, оглаживал, наслаждаясь, Ваше присутствие в глубине дома было физически ощутимо. Закрашенное Ваше изображение, замурованное — оно внутри дома осталось. Вы остались там — за занавескою окна, на втором этаже, куда я Вас поселил, стояли и смотрели на меня...

Тут один мужичонка, который прибился ко мне, спросил, чего это я вскрикиваю и смеюсь. Я попробовал было объяснить ему, но раздумал и закончил вполне серьезно, что ощутил память местности, что река, воздух помнят, как тут раньше стояла гора... Он выслушал меня с полным доверием и через день принес геологическую книгу, из которой можно вычитать, что тысячи лет назад здесь были известковые горы, что-то в этом роде. Из чего я убедился, что вера горами движет.

Он занятный балабол, самодум, причем уходит в такие материи, про которые никто у нас ныне не задумывается. Например, о душе, какая имеется у камня, у дерева, у озера, и как общаться с этими душами. Маленький, колючий, как кактус, с тихим быстрым голоском, и звать его Степан Иустинович. Я здесь единственный, кто выслушивает его идеи. Ах, Лиза, все это сообщаю Вам, чтобы не скулить от тоски. Не в Ленинграде, не в Москве, именно здесь тоска по Вас накинута на меня, здесь она хранилась, ждала меня. В тех городах я занят другими работами и чувствами, здесь же существуете Вы одна, и все, что есть здесь, все как бы принадлежит Вам. Я все время думаю — а этого Вы знали? а здесь Вы ходили? Смотрю на новые здания — вот этого она не видела.

Мне не больно оттого, что у Вас там тоже пылают свои страсти, что Вас уведут, расхватывают другие люди, что каждый вечер они могут видеть Ваши глаза, это все не важно, моего они не возьмут, того, что я открыл в Вас, этого им не найти, меня гнетет, что это, наше, гложет, зарастает и во мне и в Вас, в нас обоих.

Степан Иустинович вдруг сказал мне, что картина напоминает ему Кислых и младшую дочь Лизу. Вот какая мистика! И так он говорил это убежденно, что я не выдержал и признался — похвастался, что картину пишу для Вас.

Вечером он (Лосев его фамилия — может, помните?) повел меня смотреть концерт в Доме культуры. Потом были танцы. Под немисли-

мое трио — два баяна и разбитое пианино — шаркало, топталось пятьдесят пар. На замызганном лузгой дощатом полу.

Стою, наблюдаю и обращаю внимание на одну пару. Парень в рубашечке с отложным воротничком, их называют у нас апаш, сутулый, красный, неуклюжий, и она в ситцевом платице, с косыночкой, тоненькая, стебелек с большущими глазами наверху. От его неумелости все их толкают, и сам он партнерше на баретки ее наступает. Она губу закусит, потом снова засияет, шепчет ему, учит. Он вспотел, мокрый, измучился, выпустить ее боится, еще больше боится, что вот-вот она ему сделает атанде. Потому что он лица ее не видит, потому что он весь устремлен на свои ноги: куда их девать, куда их ставить. Тут я вспомнил себя, свои страдания, ведь у меня краугольная мечта жизни была научиться вальсировать. Живопись — ерунда, сама в руки лезла, а вот оттого, что танцевать не умел, чувствовал себя в юности малоценной бездарной личностью. Мастеровой, чушка — где я мог вальсу научиться? Всю жизнь так и не мог девицу прокрутить, господи, знали бы Вы, сколько мук и унижений вызывало это. Трагедия моя была. Смотрел я на этого парня и грустил и радовался. Этот научится. Не то что я. У него свой танцевальный зал имеется, они тут хозяева, они видят не затоптанный пол, а зал, огромный, сияющий огнями, и музыка, и огни — все для них. Как это справедливо! Революция пролетариата, она, между прочим, для этого и совершалась. И правильность революции, знаете, чем измеряется? Больше стало счастья или меньше. Глядя на танцы, хотя это всего лишь легкомыслие, я по лицам Ваших лыковских пролетариев могу свидетельствовать — больше стало счастья!

Как бывает: в одном букете цветы и щепки. Танцевальный зал и на стенах плакаты: «Даешь авиацию!», «Подписывайтесь на заем!», «Долой неграмотность!» Я говорю Лосеву: не лучше ли картины повесить? Что-нибудь танцевальное, вроде малявинского «Вихря», можно и Матисса репродукции, в конце концов можно про наших летчиков, покорителей Арктики. Насторожился: а идея какая? Да чтобы весело было, красиво. Нет, говорит, не стоит уводить молодежь от актуальных задач и борьбы. Вот Вам и мыслитель.

Поливанов повез меня на рыбалку, я намекнул, чтобы взять с собою Лосева, — замаял. Не их уровня Диоген, должность не та. Чудная была уха, костер и рассуждения Поливанова: не любит он философии, ненужная вещь, живопись — другое дело, а еще превыше ценит скульптуру — памятники, — а также марши и песни.

При всей моей тоске я бы не хотел, Лиза, чтобы Вы были сейчас здесь. Скучаю, тянусь к Вам, до слез хочется увидеть Вас, вспоминаю плечи Ваши, руки, вкус Ваших щек, а спроси меня, согласен ли я на Ваше появление здесь, — нет, откажусь. Потому что работа моя смысл потеряет, не кончу ее. Оттого, что не хватает Вас, я заново ощутил Вас, обмыслил. Благодаря этому мне в картине многого удалось добиться. Причем на пленере, от которого я давно отказался. Работать на натуре считалось у нас занятием устарелым, наивным, однако не знаю, удалось бы мне в мастерской так столкнуть живую зелень с зеленью окисленной крыши, чтобы в металле как бы душа очнулась. Нет, нет, без натуры можно впасть в схематизм, натура обогащает. Обратите внимание на облупленную штукатурку. Я ее не ради точности оставил. Обнажился красный кирпич, и открылась плоть дома, массивная и уязвимая. Суть вещей можно передать, нарушив, сдвинув, поколебав их форму. А кто это мне подсказал? Утренний туман. Он обобщил. Как я хочу, чтобы Вы поскорее это увидели в картине. Понравится ли Вам? Боюсь, боюсь... Теперь самые муки и страхи ожидания начнутся.

Представляю ее в Вашей спальне или в столовой. За окнами парк, Сен-Клу, кажется, и какая-то фабричка, и шоссе, забитое машинами, виллы над Сеной, а на стене — Лыков, плоты на Плясве, тихое утро с росой, лопухами, шлепаньем белья о воду...

Низко Вам кланяюсь, пребываю и вздыхаю
Ваш Астахов.

Глава 16

Письмо второе

11 августа 1936 г.

Ах, Лиза, Лиза, как все вдруг изменилось, каких глупостей я наговорил, непоправимых, ничем не вызванных...

Стыдно, противно пересказывать Вам. За один вечер, недуманно-негаданно, как огнем обхватило. В субботу под вечер, только мы наладились с моей старушкой чай пить, является Поливанов с женой и сестрой. По дороге из бани зашли якобы навестить. С вениками, распаренные, Поливанов водочки принес, все честь честью, по лучшим правилам. Говорим о том о сем, естественно, и про картину. Просит показать. Я ставлю ее. Любуются. Поливанов спрашивает вполне благодушно: где лозунг, что на стене был? Действительно, два дня назад повесили как раз на мою стену кумачовый лозунг во всю длину. Я Вам, кажется, писал, что Поливанов выделил мне в помощь клубного работника, Лосева Степана Иустиновича. Так вот мы с ним перевесили кумач на уличный фасад, ибо от кумача у меня резь в глазах. Я излагаю Поливанову, что кумач невозможно изобразить, он разрежет картину, он не вяжется по цвету, все краски опрокинет, с таким трудом я уравнивал их, объясняю, что есть законы ритма, сочетаний и всякое такое. Поливанов тоже мне объясняет, что у пролетарского искусства свои законы. Надо боевое, иначе будет понято неправильно. То есть как неправильно? — лезу я на рожон. Он повел головой предупреждающе, до сих пор не знаю — капкан он специально ставил либо же по-хорошему предостерегал. Но это я сейчас соображаю, а тогда, как бульдог, вцепился: что значит неправильно, будьте любезны объясните. Пожалуйста, говорит, скажут, что вы нарочно избегаете примет энтузиазма современности. Боже ты мой, да разве в кумаче дело, как можно так примитивно представлять? Если его, Поливанова, голым в бане нарисовать, без его португеей и значков, значит, он просто будет человек, не советский, значит, все советское осталось в предбаннике? Словом, я его не стеснялся выставить голеньким. Он мне, можно сказать, наступил на ту самую мозоль, что осталась от наших споров в АХРРе двадцатых годов. Сколько мы тогда таких суждений слышали. Зацепил я его, да еще при его дамах, он-то привел их похвастать меценатством своим. И вот он, озлясь да еще хватив стопку, произнес Ваше имя. Избегаете, говорит, расстраивать бывшую владелицу, Елизавету Авдеевну, революционным пейзажем? Занимаетесь, говорит, реставрацией прошлого?.. Желаете пограть наследнице?.. При Вашем имени дом на картине отозвался, не сочтите меня за неврастеника, занавеска в окне вздрогнула, тень Ваша метнулась. Они все видели. То есть в письме это выглядит мистикой, но в ту минуту обнаружилось для всех несомненно... Бесполезно было отрицать. Да и стыдно. Словно отрекаться от Вас. Я и не стал. Однако покраснел. Словно застали нас с Вами врасплох.

Я, конечно, не ожидал, так ведь сам вызвал его. Рубил он меня наотмашь — мол, ясно теперь, почему именно дом Кислых я рисовал. Ничего достойнее не нашел в городе, где бурно строится новая жизнь, где ломают старый уклад. На эмиграцию, значит, работаю. Не на роду

своему хочю понравиться, а Ваше расположение себе ищю, Вашу похвалу. И тут влепил про буржуазное влияние, это на меня которое идет, следовательно, через связь с эмиграцией! Повел на самое пекло. Однако супруга его с этого опасного места сбила. Плечистая, грудастая, коротко стриженная, она не стесняясь подколола: мало ли что у товарища художника за чувства, тебе-то, Поливанов, какая забота, может, у них с барышней дореволюционные переживания с этим местом связаны, зачем им твои лозунги? На что Поливанов встал и закатил беспощадную речь о том, что наше пролетарское искусство должно каждой картиной агитировать. Одно из двух — или я за старое, или за новое. Современность — значит, кумач, и, между прочим, грузовик, что стоит у дома, тоже не изображен. Вместо социализма художник увидел облупленную штукатурку. В лучшем случае у него аполитичный пейзаж. Если уж посылать на Запад, то посылать надо наше искусство, пламенное, участвующее в классовый борьбе! А моя картина — на радость буржуям! Тоска о прошлом!

Речь держал словно с трибуны. Глаза полыхали, рука то выбрасывалась, то отсекала, то сжималась в кулак, ничего не скажешь, хорош, лицо горящее, как пожар! Я даже несколько жестов попробовал ухватить. Да, еще он сказал, что, когда надо, могу же я и для народа работать, известно, какой я сделал портрет передовика-колхозника, его выставят в области, о нем в газете будут писать. Это меня возмутило. Как будто я картину Вашу для народа писал бы иначе. А я утверждаю, что точно так же писал бы. И вообще что это значит: писать специально для народа? Хуже? Проще? Ведь лучше, чем я написал ее, я не смог бы! Разбитая, грязная полуторка в моем пейзаже не может быть приметой новой, советской жизни. Неужели зритель не видит, как много выражает обнаженный кирпич? При чем тут разруха? Разрухой будет кумач, потому что он разрушит всю картину, обезобразит ее, так же как он фактически безобразит дом. Я лучше Поливанова вижу, где красота и в чем красота. Никто, кроме меня, не может знать, что нужно в картине, как нужно писать. Только немногие профессионалы, Грабарь например, решаются указывать как к. Когда мы с Петровым-Водкиным оформляли годовщину Октября в Ленинграде, никто не указывал нам, где прибавить кумача. Видеть надо уметь, не смотреть, а видеть, а чтобы видеть, вкус надо развитой иметь. На эти слова Поливанов обиделся непримиримо. Как это у него вкуса нет? Он ведь считает, что раз у него власть есть, так и вкус есть. Какая ж идея вашей картины? — спрашивает Поливанов. Я говорю — посмотрите, одно окно слепнет от восхода, а в другом еще тускло, а дом не из прямых линий, а все изломы, знаете, как предмет, когда наполовину опущен в воду, в другую среду... Но в чем же тут идея? — настаивает Поливанов. И я понял, что все мои слова — рикошетом. Ему надо четко сформулировать, а я не могу словами выразить. Он почувствовал и наступает. Почему дом так скособочен? Какая ж тут правда? Что штукатурка облупилась, так это случайность, мы тут завтра замажем — и окажется у вас неправда. Озлился он оттого, что не понял моих объяснений. Не стоило объяснять. Лучше просто руками развести, не знаю, мол, так получилось, тогда и спора не будет, усмехнется Поливанов над мазилой неумельца: что с него взять.

С разбегу ляпнул я еще про эту разбитую полуторку, которую писать — только позорить город. Глупость ляпнул, а что бы Вы думали — подействовало! Принимаю, говорит, это предложение конкретное. Но примирения быть не могло, разлад определился окончательно. Прощаясь, Поливанов предупредил, что напрасно я упрямясь из-за ерунды. Мы, говорит, конечно, провинция, захолустье, так ведь даже Москва из-за грошовой свечки сгорела. Картина в таком виде за границу

не попадет. Проводил я их, погулял по саду, вернулся, уже стол был прибран, посуда вымыта, все чисто, как и не было ничего, и бедный Иов на стене по-прежнему ищет в небесах веру во всемогущего. Старушка моя посмотрела на меня, прошелестела: не связывайся, умучает... Да я и сам не хочу связываться. Но уступить не могу. Кроме лозунга, требует и штукатурку замазать и машину пририсовать.

Невозможно. И кому уступить? Поливанову? Он сам не ведает, что творит. Ради Вас уступить? Не верю, что примете такую уступку. Своему будущему, своему покою уступить? Это другое дело. Серьезное. Тут я призадумался. Потому что я отнюдь не вольный сын эфира, не гнушаюсь заказы исполнять, героев пятилетки с удовольствием писал, могу того же Поливанова и его супругу изобразить за приличные деньги. Правда, при условии, что писать-то я их буду по-астаховски. Всего-то-навсего, но в этом весь смысл моего существования заключен. Художников много и было и есть, я же, Астахов Алексей Гаврилович, один, и такого никогда нигде больше не будет. Факт моего появления на земле есть чудо из чудес. Стою я перед своей картиной и думаю: если бы меня на свете не было, никто не нарисовал бы Ваш дом так. По-другому — пожалуйста, моя же картина — единственное создание. Это мир, сотворенный таким, каким я, Астахов А. Г., пожелал из моей любви к Вам. Поэтому и изменить его я не могу, любви изменять не могу. Подумаешь, одна картина, скажет иной. Так ведь и Вы у меня одна. Сколько женщин было, а Вы одна... Ах, Лиза, буду вывески писать, плакаты делать, а ее не стану портить. Рука не поднимется. Не могу. Несколько раз ночью вставал, примеривался. Компромисса искал. Нет его. Если прикоснусь, отвечать придется перед творцом, а не перед Поливановым. Я человек не религиозный, помните, мы спорили о боге, для меня творец — таинственная сила, то поощрение, что заставляет меня писать. Заставляет и при этом освобождает. Когда я пишу, я свободен как никогда, я сам господь бог, ничто не властно надо мною, я творю мир такой, какой мне нравится. Вот он предо мною. Глядя на него, я почувствовал, как я смертен. Больше других. Умру я полно, непоправимо. Так, как я пишу, никто писать не будет. Я в своей манере — вершина. Пусть не великая, но завершение. И мои картины понадобятся, если я останусь самим собою. У нас в России художник должен жить долго, тогда дожить можно до всего, и импрессионистов признают и мирискусников. И нами тоже гордиться будут. Тут старая как мир проблема перед каждым встает: поступишь — получишь при жизни славу, деньги; сохрани себя, стой на своем — тогда терпи и хулу и бедность, в будущем признают тебя и воздадут, и останешься. Казалось бы, просто. А как представишь, что, не уступив, я, может, Вас не увижу, тут и призадумаетесь. Нет, это было бы слишком. Надеюсь, Москва не сторит от поливановской свечки, не станут там считаться с лыковскими ревнителями. И командировку, обещанную мне, Керженцев не отменит. Ведь мы должны поехать с выставкой в пользу антифашистов, куда я дал свои лучшие работы. Я по-прежнему люблю Добужинского и Бенуа, бывает, им завидую, но для себя судьбы их не мыслю. Вы скажете — живописцу все равно, где березки малевать. Все так, березки, они и в Бургундии те же березки, и женщины всюду одинаково хороши. А у нас еще Поливанов попросит на березку флаг повесить. Но здешняя березка у меня чувство вызывает, я писать ее буду с какой-то нравственной идеей. Что-то я через нее объявить желаю тому же Поливанову и супруге его. А в Парижах мне, кроме Вас, обращать ся не к кому. Не думайте, Елизавета Авдеевна, что тем самым я Вас упрекаю, нисколько, мне лишь печально, что разносит нас в разные

стороны, как на льдинах. Смотрел я на звезды и думал: звезды общие, небо над нами одно, надо мною, и над Вами, и над Поливановым, и жизнь такая коротенькая, зачем же столько преград...

Утро сегодня пасмурное, пошел я на берег к полудню. Лозунг опять привесили, полуторку новенькую пригнали, грузовик амовский. Сверкает. На переднем плане! Ультиматум! Представил, как тысячи их, рычащих, воняющих, с наглými мордами радиаторов, будут настигать нас повсюду. Эх, я бы написал ее во всем самоварном блеске, от которого и берег и местность оробели. Но это другая картина. Появляется тут мой Диоген — Лосев, пьяненький, кепка набок, хватает мои кисти и норовит себя измазать. Тут я соображаю, откуда Поливанов мог узнать про Вас, я же одному-единственному человеку открылся — этому Диогену. Спрашиваю его, он тотчас признается. Да как же ты мог? Зачем тебе? Сам, говорит, не знаю, боюсь я Поливанова! Маленький, бескостный, мотается в моих руках, моргает, носом шмыгает, капелька под носом висит. Жалко его, но и сам ведь ненамного лучше его. Немалую честность надо иметь — признать свой страх! Между прочим, он сказал Поливанову, что я, стало быть, самолично надумал преподнести Вам сей презент. Схитрил перед ним. Краюшку зажал, остаток совести своей спасал. За эту краюшку и простил я его, чтобы не терзаться. Тем более что сам я виноват — нечего было откровенничать. Распустил язык — вот и хлебаю. Однако мой Диоген отверг прощение, я, говорит, ничтожество, тварь, меня прощать — значит, разрешать мне снова! Со мной бороться надо! Смотрю я на его капельку — и грустно и смешно. Никакой я не борец и не желаю быть борцом. Я на холсте борюсь, а заставляют еще и вокруг него... Борьба стала обязательной частью таланта. Выигрывает ли от этого талант — вот в чем вопрос. Все так серьезно, мне же серьезность вредна, у меня от нее брюхо болит. Будь Вы здесь сейчас, мы с Вами лазали бы по крышам местных обывателей и расписывали крыши цветами. Какая красота сверху, с самолета! Потом в дар Вашему городу изготовил бы я дюжину вывесок, огромных, жестяных, для парикмахерских, булочных, пошивочных, чтобы было весело — купидончики, козлы, барбосы... В моих мечтах я из всех известных мне женщин больше всего люблю иметь дело с Вами. С Вами всегда получается складно. А еще писал бы с Вас всякие игривые картинки, коврики клеенчатые, и Вы бы продавали их на базаре. Так бы мы и жили. Ровно в двенадцать Вы выходите на базар, а там уже очередь из представителей музеев, клубов, отделов культуры и просто мужчин, влюбленных в Вас, во все Ваши прелести... Ах, Лиза, Лиза, помолитесь за меня, больше всего я боюсь омрачиться душою, впасть в уныние. Недаром церковь считала уныние самым тяжким грехом, а я прибавлю — и наказанием, потому что поддаться унынию значит оторваться от Вас.

Неужели Вы не увидите моей картины, Вашей картины? Не может того быть!

Лосев полагает, что упрямство мое осложнит мою жизнь, хотя и украсит биографию... Но это ерунда... Послезавтра поезд в Москву, и все, все.

Говорят, Поливанов мальчиком дрался тут из-за Вас с каким-то Брусницыным?

Примите уверения в преданности от недостойного Вас холстомаза Алексея Астахова.

Целую Вашу ладонь.

(Окончание следует)



ВИКТОР СМИРНОВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Луг забыл о косе...
Стало меньше машин.
И шальное шоссе
Отдыхает от шин.

Не вчера ли, шутя,
Тем ты лето пугнул,
Что, подсолнух крутя,
Землю вдруг повернул?

Все темней облака.
Грач последний исчез.
И синеет река
Сквозь редяющий лес.

Где тоска? Где печаль?
Места им не нашлось.
Как осенняя даль,
Ты просвечен насквозь.

Помнит лес о красе.
Даль, как прежде, светла...
Вслед за летом шоссе
Мчится словно стрела!

* * *

Порой не сдержат мне улыбки,
И весь я свечусь, как юнец,—
Как будто играет на скрипке
Живой, неубитый отец.

Весною поет он о лете,
О клеверном запахе дня.
Он знает, что есть я на свете,
Хотя и не видит меня.

Был, может, в плечах он чуть шире.
Жизнь сыну вручил своему.
И то, что мне тридцать четыре,
Известно, конечно, ему.

С годами становишься старше,
А значит, душою светлей —
То просто на кладбище нашем
Поет и поет соловей.

~~*

Речка под властью сугробов —
Ох, тяжела их власть!
Не потому ли прорубь
Дымится, как волчья пасть?

И не она ли съела
С помощью солнца снег?
Вот уже справа и слева
Слышится стук телег.

Радует душу соседство
С шумным базаром грачей.
Неутомимо, как сердце,
Бьется последний ручей...

Любо мне видеть с порога:
Лут за глубоким рвом
Белую ест дорогу
Жадным зеленым ртом.



Д. САМОЙЛОВ

★

ПАМЯТЬ


I

Во сне мне послышался голос
Так тихо, что я не проснулся,
И сон мой к последнему вздоху
Как будто в тот миг прикоснулся,
К последнему вздоху Марии,
Который настолько был легким,
Что словно уже относился
К бессмертью души, а не к легким.
На миг, что почти неприметен,
Сошлись непохожие двое —
С ее сновиденьем бессмертным
Мое сновиденье живое.

II

И вот уже больше недели
Как кончилась вся маета,
Как очи ее не глядели
И не говорили уста.
Казалось, что все это рядом,
Но это уже за чертой,
Лишь память не тронута хладом
И не обнята немотой.
И можно ли страхам и ранам
Позволить себя одолеть?
Лишь память, лишь память дана нам,
Чтоб ею навеки болеть.

Скрепляют болезни и смерти
Отчетливость памятных мет
И сумрачных десятилетий
Понурый и грубый цемент.
Когда эта птица мне пела,
Сквозь пенье ее угадал
В основах грядущего дела
Простой и смертельный металл.
И все же не твердость, не холод
Моя кряжевая судьба.
Спасибо за то, что немолод
Я был, когда понял себя.



НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Нет, не он, не Василий Поярков,
А герой Ерофей Хабаров
Распознать сумел край этот яркий,
Отразил врага храбро и браво.
В своем смутном семнадцатом веке
Через дикие дебри и скалы
Азиатских хребтов-перевалов
Трудный путь совершил к добрым рекам
Оптимист и умелец Хабаров.
Вдохновляет пускай его образ
Удалых наших граждан на доблесть!

РАЗМЫШЛЕНЬЯ

1

Гениальность часто не в чести,
Актуальность на Доске почета,
Но неповторимые пути
И открытия не смахнуть со счета.
Человек ржавеет, как металл,
Если нету у него исканий.
Вижу одинаковый финал
У изобретений и изданий!

2

Не очень трудно безрассудно
Идти проторенной тропой,
Любым героем быть нетрудно,
И трудно стать самим собой!
Нет если собственной задачи,
Успехи — те же неудачи!

3

Ошибки мне сопутствуют всегда,
Свершаю их и в шахматах и в жизни
И не могу сказать, что без вреда,
Пожалуй, многие из них излишни:
Обидно не исчезнут без следа,
В час горести не вызовут улыбки.
Утешусь тем, что признаю ошибки!

МАМОНТ

Не малограмотны, а памятны
Дописьменные времена.
Не слон произошел от мамонта,
А мамонт — мамонт от слона.

Как монумент, природой вылитый,
Сумел он трудности учесть:
В дни ледникового периода
Имел внушительную шерсть.
Прекрасны были бивни мамонта:
У африканского слона,
Смотревшего на бивни мамонта,
Текла от зависти слюна.
Был мамонт зверем самым праведным
И молодцом из удалцов,
А как охотились за мамонтом,
Поведал Виктор Васнецов.
В тот самый век, который каменный,
В палеолит иль неолит,
Людьми неведомой окраины
Последний мамонт был убит.

..*

Жил критик. Он смеялся, плакал
И был от правды недалек,
Как начинающий оракул
И успевающий пророк.
Входил он в книжную обитель,
Как Одиссей иль Гильгамеш.
Не как вторитель, как творитель,
Ценил творительный падеж.
Не принимая словоблудья
И всем осточертевших схем,
Он, как взыскательные судьи,
Мог любоваться кем и чем.
А нынче странно опустился
И вкус утратил и размах —
И никакого нету смысла
В его затасканных словах!

ФИЛЬМ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

Шагали тевтоны
Дорогой врагов —
Вступали стотонно
В поверженный Псков.
Предатель Твердила
Их в город впустил —
Резвились верзилы
У свежих могил.
На поприще веском
Наш князь Александр
По прозвищу Невский
Крушил их фасад,
С умением русским
Тот рыцарский сброд
На озере Чудском
Отправил под лед!
Мне дни боевые
Познать суждено,
Когда я впервые

Снимался в кино,
Когда с дерзновенным
Сражался врагом
В году довоенном,
В том тридцать восьмом.
Вращался пропеллер,
Взметая метель,
И вихри пропели:
— Мы те ли, мы те ль?
Из пыли и мела
Мы веем слегка,
А вьюга имела
Снега да снега!..—
Мне меч мой из древа
Надежно служил —
Направо, налево
Ландскнехтов крушил.
Разил их, взгляните,
Как будто зимой,
А солнце в зените
Струило свой зной.
Проворно и ловко
Фанерой гремя,
Массовка массовку
Теснила, грома.
Простой и высокий —
Не нужен мне грим —
Я в русской массовке
Служил рядовым.
Привязан к телеге
Твердила-злодей.
Кричали коллеги:
— Предателя бей! —
Удары не слабли,
Долбали всерьез —
И капали капли
Действительных слез.
Ни в чем не повинный
Страдал наш актер.
— Полсотни накину! —
Сказал режиссер.
Тот вспомнил, рыдая,
Жену и детей
И снова удары
Сносил, как злодей!
Себя на экране
Найти я не смог,
Когда поле брани
Смотрел как знаток.
Себя было сложно
Узнать со спины...
Все сделал что можно:
Спасал честь страны.



ВЕНИАМИН КОЛЫХАЛОВ

★

ИСТОКИ

* * *

Спускаюсь в колодец
До самой воды.
Как близко отсюда
Теперь до звезды.
Маячит призывно.
Над срубом блестит.
Средь полдня
Объят темнотою зенит.
Колодезный свой
Телескоп навожу
И словно в далекое
Детство вхожу.
Все тот же колодец,
Не та лишь вода.
Ужалась звезда,
И разжались года.

* * *

Может, стану звездой
Чуть зримой
После веком
Отпущенных дней,
Мне бы только
Сиять над родимой
Васюганской планетой
Моей,
Видеть лес, луговины,
Истоки,
Плеса, зимники,
Сено в возах..
Отражусь в безымянной
Протоке
Или в чьих-то
Счастливых глазах...



ЮРИЙ КАМЕНЕЦКИЙ

★

ВСЕ СТАНОВИТСЯ НА МЕСТА

День смолкает, и суета
Опадает, как с пива пена.
Все становится на места
И свою обретает цену.

Половодьем в тебе — доброта,
Затихают обиды.
Все становится на места,
На свои выходит орбиты.

И все набело, все с листа —
Так маэстро читает ноты.
Все становится на места,
И теряется что-то.

Паутинку седую с куста
Ветер сбросил.
Все становится на места:
Осень.

Словно спичка, с неба звезда
В прошлогодний упала хворост.
Все становится на места:
Возраст.

И ЧТО Я ВСПОМНИЛ

Памяти М. Светлова.

Ни бела камня и ни города,
И ни рассвет и ни закат.
Цыганки, запрокинув головы,
У эшелонов ворожат.
И встреча дам бубей и треф —
Как столкновение королев:
У ног их замертво легли
Тузы, вaletы, короли.
И лишь король червонной масти
Все ищет даму треф на счастье.
И замелькали руки смуглые
Как два крыла в твоей судьбе,
Дороги дальние и смутные
Навеки выпали тебе...
За нас взывал весь табор к богу,

За нас, парней из дальних мест,
И словно нам вручал в дорогу
Свою судьбу, печаль и месть.
И мы поверили, поверили
В заклатья от смертей и ран.
А сколько же друзей потеряно,
А сколько вызволено стран!
И что я вспомнил камни белые,
Конфликт картонных королев?..
Давно отстроен город Белгород,
Снег на висках у дамы трепф...

СИНИЙ ДЫМ ПОЛЬШИ

Что там было раньше,
а что позже,
двадцать мне
или уже за сорок?
Четверть века
как я не был в Польше,
синий дым над ней —
сирень иль порох?
Падает равнина
к горизонту,
парашютом облако зависло...
К фронту,
к фронту,
на попутных к фронту —
на плацдарм
за Вислу!
Чернозем замешивают траки,
и открытым текстом
шпалят рации:
— Ахтунг! Ахтунг!..
Панцер! Панцер!..
— Танки!..—
И воспоминанья
обрываются,
и перемешались сны и явь,
быль и небыль...

...Неужели четверть века я
в Польше не был?!



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

АБСОЛЮТ

Рассказ

У старых историй и старых дорог никогда не знаешь конца.

Р. Валье-Инклан.

1

Государыня была не в духе. Полное, с желтизной лицо скучало и брезговало, жилка на виске возмущалась. «Худо мне будет но-ни-че»,— раздельно подумал обер-полицмейстер. Твердые слова утреннего рапорта ненужным горохом отскакивали от неприязненного державного молчания.

— С аглицкого фрегата «Дук Мальборо» отвалила шляпка с контрабандным товаром. В час пополуночи оный товар принял на берегу Корпа купца фактор Иван Мюллер. Товар конфискован, фактор отпущен, понеже вместе с патроном своим является вольного города Любека гражданином...

В два часа пополуночи поручик лейб-гвардии Измайловского полка князь Чадов на колокольне храма святого Федора Стратилата ударил раннюю заутреню. Спрошенный поручик показал, что свершил сие, находясь в меланхолии и прощаясь с младостью в ожидании неотвратимой женитьбы.

Дьякон вышеназванного храма Пантелеймон Богоявленский, выбежав из дому на неурочный звон, был остановлен медведем. Вступив с ним в единоборство, дьякон обратал его и доставил в Васильостровскую часть. Сей зверь сорвался с цепи в подворье графа Безбородки. Графский егерь елабужский мещанин Овсей Петров объявил, что контора его сиятельства штраф за медведя заплатит, но будет искать на дьяконе пеню, поскольку оный дьякон животному лапу повредил.

Сообщения, имевшие характер анекдотический, обер-полицмейстер приберегал к концу, рассчитывая на монаршую улыбку. Но на сей раз на лице государыни улыбка не возникла. Глядя на докладчика прямым взглядом, она произнесла, словно отдиктовала для стражи своих воспоминаний, завершенную сентенцию:

— Сии новости суть пошлы и ничтожны. Столица Российской империи, град великого Петра, предстает в них провинциальной Елабугой. Гвардейские поручики лезут на колокольни, дьяконы борются с медведями, гуляющими по улицам. Стыд и смех! И сие в просвещенной стране, в просвещенный век. Ступайте, сударь, и подумайте на досуге о моих словах. Досуга у вас, я вижу, предостаточно.

Обер-полицмейстер стал пятиться к дверям и уже готовился исчезнуть с монарших глаз, как его вернул к действию властный голос:

— А из Корпа набить чучело.

Как ни был подавлен и растерян обер-полицмейстер, но неожиданное приказание вызвало в нем такое же неожиданное чувство. Трудно поверить, но оно напоминало строптивость. Род Свербеевых, к коему принадлежал обер-полицмейстер, был не из древних и знатных, но числил в себе, однако, восемь колен коренной линии и относился к столбовому дворянству. Да и сам Иван Фадеевич не век служил в полиции, а помнил себя с офицерским шарфом еще при Куненсдорфе под началом фельдмаршала Салтыкова в блаженное царствование императрикс Елисавет. Все это мгновенно и некстати промелькнуло в возбужденном мозгу обер-полицмейстера. И, дивясь сам себе, он, вытянувшись в струнку, бросил руки по швам и сказал оловяннным голосом:

— Противу чести дворянской и офицерского респекта чучела мне набивать, ваше величество.

Государыня изумилась. Она даже сделала два коротких шажка навстречу новоявленному поборнику дворянских прав, как бы желая поближе рассмотреть его, но круто остановилась и, явственно борясь с подступившим гневом, ласково спросила:

— Не господина ли Дидерота имею счастье съзннова принимать в северной Пальмире? Впрочем, скорее сюда пожаловал сам Иван Яковлевич Руссо и предлагает мне заключить с ним общественный договор! Но, может быть, я ошиблась и зрю сейчас перед собой дуча Рогана, считающего себя знатностью выше Бурбонов? Ему сия защита чести и респекта весьма свойственна. Хотя, помнится, и Роганы, теряя меру, по указу тех же Бурбонов на плаху подымались. Ан нет! И ни Дидерот, и ни Руссо, и ни Роган, а некий Иван Фадееч стоит передо мной. Иван Фадееч, соединяющий в себе безбожие Дидерота, дерзость Руссо и кичливость Рогана. А теперь запомните, маркиз Свербеев...

Сердце Ивана Фадееча давно уже не билось, оно опустилось куда-то к желудку и напоминало о себе размеренными тошнотными позывами. Последнее обращение dokonало его — он отчетливо вспомнил, что маркизом императрица некогда именовала проклятой памяти Емельку Пугачева. Обер-полицмейстеровы колени начали подгибаться, и он уже готов был пасть на них со спасительным воплем «помилуй, матушка государыня!», когда завершительные императрицны слова удержали его в прежней позиции.

— Единственные честь дворянская и респект офицерский,— произнесла Екатерина Алексеевна,— суть повиновение и послушание воле монаршей. А чучело из Корпа набить и представить мне через три дни.

И царица повернулась спиной к незадачливому своему слуге. Обер-полицмейстер давно уже исчез за дверью, а государыня все не могла успокоиться. Жилка на виске уже не возмущалась, а буйствовала. Прекрасное чело — обширное и выпуклое, подлинный подарок художникам, писавшим Екатерину, — заволокло облаками. Серые глаза потемнели и метали молнии, грозившие испепелить не токмо злосчастливого обер-полицмейстера, но Турцию и Швецию, мартинистов и иллюминатов, внешних и внутренних врагов. Разгневанньм памятником стояла Екатерина посреди утренних покоев Зимнего дворца.

2

Гражданин вольного города Любека Фридрих-Иоганн Корп был не только удачливым купцом, а и не менее удачливым банкиром. Фортуна была к нему до сих пор благосклонна и с милостивой улыбкой взирала на его дела. Они были таковы, что того гляди могли вы-

расти в деяния, а от делишек, с которых начинал свой жизненный путь любекский кондитер, отделялись все прочнее положением и репутацией крупного финансиста. Легковесные пфафенкухен, сиречь пирожные, коими Фридрих-Иоганн завоевывал приязнь любекских горожанок, уступили место в его жизни полновесной русской пшенице, которой Корп обольщал куда более солидных дам — амстердамскую, гамбургскую и лондонскую биржи. Корабли расчленившего купца ссыпали российское зерно в Копенгагене, Гавре, Стокгольме, Ливерпуле и том же Любеке. Умелые торговые операции стали артериями, по которым лилась золотая кровь, наполнявшая подвалы Корпова банка рублями и соверенами, талерами и дукатами. Немалая их толика перешла в просторные карманы русских вельмож, но рука дающего не оскудевала, ибо розданное возвращалось сторицей в виде выгодных договоров и контрактов. Корп был вхож в министерские кабинеты, бывал у Потемкина, удостаивался внимания самой императрицы. Не далее как год назад он даже осмелился преподнести царице небольшой презент и был осчастливлен высочайшей улыбкой. Она показала ему улыбкой самой фортуны, и это весьма походило на истину.

Досадное ночное происшествие с реквизированной контрабандой относилось к категории не дел, а делишек, которыми по старой памяти порой баловался солидный и преуспевающий купец. И фортуна, благоволившая к нему последнее время, не преминула указать на неуместность подобного озорничанья. «Берясь за большое, не разменивайся на малое», — подумал про себя по-немецки Корп, выслушавшая рассказ обескураженного фактора.

— Поделом, поделом нам, любезный Мюллер! — воскликнул он тут же на хорошем русском языке, заметив заинтересованное выражение на лицах конторщиков и слуг. — Поделом, ибо даже в ничтожном нельзя нарушать законы, данные великой государыней простым смертным. С благодарностью примем сей урок, хотя, конечно, весьма жаль прекрасные бургонские вина, лимбургские сыры и гамбургские колбасы, кои так украсили бы свадебный стол нашей милой Амалии. Но я полагаю, что эфто дело поправимое. Уплатив должный штраф, мы возвратим от милейшего Ивана Фадеича заморские дары.

Вернувшись в свою закругленную речь цветистые и простецкие «заморские дары» и «эфто», Федор Иванович Корп почувствовал себя уже совершенным русаком и даже прищелкнул пальцами от удовольствия. Ночное происшествие стало казаться ему теперь полным пустяком. Взглянув в окно на ясное зимнее небо, развеселившийся банкир, забыв о кондовом русском просторечии, не совсем последовательно затянул: «Heilige Nacht...» — но, не успев окончить музыкальную фразу, воскликнул уже опять на языке нового отечества:

— Ба! Да никак сам Иван Фадеич, легок на помине, пожаловал к нам в гости! Слуги!..

Но слуги не успели броситься к дверям, как обер-полицмейстер уже входил в комнаты. Он был важен, хмур и озабочен. На полголовы стал он выше докладчика в царицыных покоях. Сбросив плащ на руки вошедшего с ним сержанта, Свербеев опустился в подставленные кресла. Корп хлопнул в ладоши:

— Фриштгык.

— Не до фриштгыков сегодня, — отмахнулся обер-полицмейстер. — Негоже мне хлеб-соль вкушать у тебя, Федор Иванович. Не знаешь, не ведаешь, с чем я пришел в твой дом.

— Неужто провинился в чем? — схитрил Корп. — Ах да, да! Эф-тот ночной казус... Свадебные гешенки и лакомства для моей Амаль-

хен. На таможене строгий господин Радищев задержал бы их для осмотра, а свадьба не ждет, не ждет... Винюсь, Иван Фадеич! Попечительный отец нарушил закон. Велик ли штраф угодно будет наложить вашей милости?..

— Штраф? — удивленно воззрился на него Свербеев.— Что тебе штраф! Какой ни наложи, он для тебя как с гуся вода. Заплатишь и глазом не моргнешь с такими-то деньжищами. Нет, здесь не штрафом пахнет.

— Уж не в тюрьму ли хочешь спровадить меня за такую безделу? — чуть свысока спросил купец.— Дойдет до государыни, она столь варварскую меру не одобрит, дражайший Иван Фадеич.

— От нее-то, от государыни, я к тебе и прибыл,— веско сказал Свербеев.— А насчет мер варварских ты бы язык прикусил, господин Корп. Я своей царице генерал-поручик и верный слуга. Не мне бы слушать, не тебе бы говорить. Так-то.

Банкир побледнел. В отповеди Свербеева он почувствовал гнев не обер-полицмейстера, а первой особы государства. Произошло нечто ужасное и, может быть, непоправимое.

«Неужто Сибирь?» — промелькнуло у него в голове, и ослабевшим голосом он вслух повторил свой вопрос.

— Тюрьма... Сибирь... — желчно передразнил его Свербеев.— Из тюрьмы выходят, из Сибири возвращаются. Да и опять же не страшно тебе, батюшка, Сибирь. Зачнешь с китайцами торговать или с Шеллиховым в Росской Америке прибыль делить, вдвое богаче станешь.

— Так не крепость ли? — Ужас Корпа возрастал все более.

— Опять двадцать пять. Сказано, из тюрьмы возвращаются, значит, из крепости тоже возврат есть.

— А возврату нет... — договорил за него Корп прерывистым дишкантом, сменившим уверенный басок,— с того свету возврата нет, добрейший Иван Фадеич. Так вас извольте понимать? Господи милостивый!..

И бедный немец жалостно всхлипнул.

— На тот свет разными путями идут,— назидательно заметил обер-полицмейстер.— И тебе путь уготован особый.

Протянулась зловещая пауза. В этой паузе несчастный купец мысленно перебрал все виды смертной казни, предусмотренные законами Российской империи: расстреляние, повешение, отсечение головы, колесование, четвертование. Но сказано: путь особый.. Лучше или хуже, великий боже?! И тут, надоев молчанием, обер-полицмейстер Санкт-Петербурга генерал-поручик от кавалерии Свербеев, приподнявшись из почтения к государыниним словам с кресел, звучно произнес:

— Приказано из тебя, купца Корпа, сделать чучело и представить ее величеству императрице Екатерине Алексеевне через три дни.

Корп разинул рот и так, не смыкая челюстей, простоял несколько минут, пока отогревшаяся за печью зимняя муха, яростно жужжа, не угодила в разверстый зев и сим неожиданным репримандом вывела его из столбняка. Отплевываясь и ругаясь, купец вновь пришел в чувство и, заведомо зная тщетность возражения, все же высказал его:

— Осмелюсь заметить, господин обер-полицмейстер, что я гражданин вольного города Любека и...

— И-и,— протянул за ним, не дав окончить, Свербеев.— А я тебя за умного человека почитал, Федор Иванович. Какой там вольный город Любек ввиду сих бастаионов.— И он кивнул подбородком на Петропавловскую крепость, видневшуюся из окна.— Что твой вольный

город Любек, что провинциальный град Елабуга суть равные ничтожества перед могуществом царицыным. Эка чем вздумал напугать!

Корп и сам знал, что аргумент его слаб и шаток, а посему не стал упорствовать.

Справившись с самой трудной частью разговора, Свербеев заметно помятchel и успокоился. Бросив взгляд на стол, он с приятным удивлением обнаружил на нем добрый немецкий фриштык. Когда он успел появиться, кто его воздвиг в то время, когда решался вопрос о животе и смерти хозяина, неизвестно, но сейчас, когда самое неприятное было позади, можно было переменить начальное решение и вкусить яств в доме жертвенном.

— А у меня ведь с утра маковой росинки не было,— бодро произнес Свербеев, принимаясь за угощенье.— Твое здоровье, Федор Иванович!

Пригубленная чарка так и застыла у отверзшихся уст. «О каком, черт побери, здоровье здесь говорить,— подумал с досадой обер-полицмейстер,— на кой ляд оно ему теперь». «Бывают и хуже обстоятельства, не унывай, душа Корп»,— хотелось ему утешить немца, но разум подсказал, что хуже обстоятельств, пожалуй, и впрямь не бывает. «Эдак я совсем этот проклятый шнапс не выпью»,— озлился он вдруг и построжавшим голосом сказал:

— А впрочем, за повинение и послушание!

Чарка наконец была осушена. Закусывая грибами и принимаясь за кулебяку, Свербеев размышлял вслух, изредка кидая взгляд на купца, опять превратившегося в подобие соляного столба:

— Откровенно скажу, что причина ничтожная. Просто дрянь причина. И, по моему разумению, причина сия не что иное, как предлог. Замешан ты, любезный Корп, в делах посурьезнее контрабандного товара. В делах, надо думать, к ведомству господина Шешковского принадлежащих. Отчего же не Степану Ивановичу, а мне поручено с тобой ведаться? Высшая политика! Степан Иванович мертвого сумеет разговорить, а разговоров твоих, верно, и не надобно. Набить чучело — и вся недолга! Да-а! Высшая политика, а я отдувайся! — И обер-полицмейстер в сокрушении покачал головой.

— Но как же свадьба, Иван Фадеич? — в отчаянии вдруг возопил соляной столб.— Как же свадьба добродетельной Амалии, в крещении православном Анастасии, с прекрасным и достойным офицером князем Чадовым? Послезавтра как раз и свадьба!

— О свадьбе забудь,— хмуро отвечивал Свербеев.— Через год справят, коли жених не сбежит. А тебе не о свадьбе сейчас думать, а о пределах, где несть ни печали, ни воздыхания.

— Боже мой! Боже мой! — возопил несчастный немец.— И за чем я покинул вольный город Любек, где моими пфафенкухен восхищалась сама госпожа президентша городского сената.

— Да, Россия-матушка — это тебе не пфафенкухен,— назидательно сказал обер-полицмейстер.— Однако же разговор разговором, а дело делом. В причины наказанья, уготованного тебе, входить не буду и даже, если бы ты их, паче чаяния, стал объяснять мне, слушать не стану. Одного Шешковского на всю империю за глаза хватит, и коли уж ему не доверили, то мне влезать в твою подноготную резону нет.

— Да ведь и нет никакой подноготной, Иван Фадеич! — взмолился Корп.

— Всегда говорил, что ты умный человек,— заметил обер-полицмейстер.— Нет так нет, и даже лучше, что нет, чем если бы ты отвечивал «да». Значит, мне кривить душой не придется, сохраняя тайну опасную и сокровенную. Умница ты моя,— отнесся уже совсем

любовно обер-полицмейстер к банкиру.— Другой бы исповедоваться начал, за колени хватать, роптать бы стал, а тут — повиновение и послушание. Умница,— с удовольствием повторил он, утверждая столь выгодное для Корпа представление в своем сердце.— Но однако же, моя умница, как мы будем с тобой наше дело делать и государынину волю исполнять? Дело, надо сказать, новое и даже неслыханное, и с какого боку к нему подступиться, я еще не знаю. А время идет...

— Но нет ли возможности переменить решение? — стал приходить в себя потерявшийся вначале Корп.— Ежели бы допустили меня пасть к стопам государыни...

— Не допустят,— отрезал обер-полицмейстер.

— Тогда позволительно ли искать милости ее величества через близких трону сановников?

— Гм-м,— протянул Свербеев.

— Немногие мгновения, оставленные мне государыней, должен я посвятить составлению завещания. Упомяну в оном и вас, Иван Фадееч, поелику был взыскан вашими заботами и неблагодарным прослыть не хочу. Оставляю вам по завещанию аглицких рысаков, коих вы похвалить изволили, и сто тысяч деньгами на призрение сирых и обиженных.

— Пиши вексель на двести и ставь прошлым месяцем,— деловито сказал обер-полицмейстер.— В случае конфискации с казны стребую.

— Сейчас будет исполнено.— И Корп направился к бюро, стоявшему напротив.

— Растрогал ты меня, Федор Иваныч,— молвил Свербеев совсем уже ласково.— И чем могу облегчу твою участь, хотя, прямо скажу, многим помочь тебе не смогу. Уговоримся так: оставляю я теперь тебя под караулом, но не возбражаю пересылку эпистолами и гонцами с нужными тебе людьми. Хлопочи, вдруг да помилуют, ибо сердце царевы в руке божией. Верные сутки у тебя в запасе. Дольше не ручаюсь, можно ли оттянуть, чучела набивать не приходилось, работы небось не на один час, да и кожа, думаю, просохнуть должна. Сейчас поеду в Медицинскую коллегию, это будто по их части, посоветуюсь, как сию операцию производить. Ну, до встречи!

И обер-полицмейстер, поднявшись с кресел, шумно прошел к двери.

3

«Где стол был яств, там гроб стоит» — вслед за пиитой Гаврилой Державиным можно бы воскликнуть, окинув удрученным взглядом печальное жилище купца Корпа. Еще сегодня утром все богини счастья и радости оделяли его своими дарами. А через какой-нибудь час после посещения обер-полицмейстера все рухнуло в тартарары. Обесилевший Фридрих-Иоганн Корп возлегал в широких креслах, а несчастная, хоть и прелестная Амальхен вперемежку со служанками ставила злосчастному отцу холодные компрессы. Ставила на лоб и грудь, сняв пудренный парик и расстегнув бумазейную рубашу. Мы забыли упомянуть, что Фридрих-Иоганн был вдов, а то бы к попечению дочери прибавились заботы супруги. Но супруга покоилась внутри ограды лютеранской кирхи, и любекский купец только дождался дочкиной свадьбы, чтобы продолжить свою фамильную биографию. Судьба, однако, хотела распорядиться иначе.

Тем временем в двери застучал деревянный молоток, лежавший по немецкому обычаю у парадного входа. Двери впустили заявленного жениха Амалии-Кристины-Доротеи Корп, во святом крещении

Анастасии Федоровны. Сей жених был поручиком лейб-гвардии Измайловского полка князем Петром Ивановичем Чадовым.

Поручик был ослепительно молод, красив и глуп. Наиболее постоянная величина — перемена, и согласно сему все три поручиковы качества являлись состояниями временными. Молодость могла длиться еще лет пять — семь, красота ей сопутствовала, а глупость не отделялась в данном случае от молодости и красоты. Отличительным свойством сей возрастной категории была сущая каша в голове молодого гвардейца. Чего только не было в той каше! Вольтижировка и Вольтер, фаворитизм и франкмасонство, вертихвостки и вертеровщина, державность и Державин. Мы не зря сопрягаем столь разные понятия по начальным буквам слов, их обозначающих. Примерно так же соседствовали они в поручиковой голове, что немедленно отражалось на поступках. Едва дав оправить юбки юной фрейлине, молодой князь напускал на себя Вертерову меланхолию. Вскакывая в седло, кривился вольтеровской усмешкой. И тут же, мимо всякого скепсиса, двадцатитрехлетний честолюбец вдруг задумывался над осязаемыми лаврами Зоричей и Мамоновых, Ермоловых и Ланских. Ишь возмечтал о себе! — скажет завистливая молва, но тут же ошибется. С такими, а то и меньшими данными — поручик был чудо как хорош! — другие добивались власти, титулов, десятков тысяч душ. Не зря удачу фаворита окрестили случаем. Попасть в случай! — кто не тешился подобной возможностью в потемкинские времена.

Поручик был глуп, но глуп по возрасту и по времени. Все его поступки находили необходимое продолжение. Та же фрейлина, едва приведя себя в порядок, начинала вторить печальными вздохами Санкт-Петербургскому Вертеру. Измайловские офицеры нарекали верховых жеребцов и кобыл звучными именами вольтеровских героев — Кандида, Гурона, Заиры. В сию же минуту молодой гвардеец жаждал действия. В своем зеленом измайловском мундире он напоминал большого кузнечика, готовящегося взлететь. Взлететь для подвигов и на подвиги! Амальхен, залюбовавшись красавцем, подошла вплотную и на правах невесты облокотилась на спинку кресла, в котором покоился поручик. Покоился? Скорее напрягся! Вся поза его выражала напряжение, черты лица говорили о том же, точь-в-точь перед прыжком. Белоснежный парик, крутой лоб, тупой нос, пунцовый рот, большие глаза — прелесть, а не офицер! Если еще кого напоминал Чадов, то влета из царицыной колоды. Из царицыной? Тс-с. Оглянемся по сторонам. А чем не шутит черт! Нет, черт не поштил. Право, жаль. Не хуже бы Мамонова оказался.

Прострация, в коей пребывал Корп, продолжалась недолго. Первой гильдии Санкт-Петербургский купец показал себя в тяжелую минуту человеком хладнокровным, трезвым, рачительным. Известный нам Иван Мюллер отправился за нотариусом и вскоре явился вместе с ним. Перед глазами Корпа была развернута опись, учиненная его движимому и недвижимому имению. Имущество, принадлежавшее кушцу, оценивалось на сумму, близкую к миллиону рублей. Заметим, что при описях состояние оценивалось много ниже его реальной стоимости во избежание различного рода пошлин. В опись не вошли товары на кораблях и складах. Известная часть капитала была закреплена в долговых обязательствах. Список должников мог дать Корпу необходимые ориентиры в поисках поручителей, ходатаев, вызволителей.

Открывало перечень заемное письмо, данное с десятилетним сроком на пятьсот тысяч рублей. Под распиской стояло неудобнопроизносимое имя. понизив голос до шепота, банкир произнес:

— Павел. — И вдруг его осенило.

Здесь, только здесь источник царского гнева. Давно подсказывало ему сердце, что не стоило связываться с Гатчиной. Опальный цесаревич едва ли не на черный хлеб был посажен Екатериной Алексеевной. Полмиллиона не столь великая сумма для особы его ранга, но дорога ложка к обеду. И сию ложку доброхотно поднес наследнику пряткий купец.

Никакие крамольные мысли не сопровождали данную акцию. Упаси боже, не видел проку в крамоле осторожный Корп. Но деньгами теми могли воспользоваться неосторожные люди. Ежели они послужили пружиной заговора, дело плохо.

Кто навел его на опасную мысль? Не иначе как Шамшеев, очередное увлечение пылкого Павла Петровича. Влюбленный в регламентировку цесаревич восхитился идеей Шамшеева крестить новорожденных точно по святцам. На какой день святой, такое имя носить. Посыпались в шамшеевских деревнях имена, кои даже во сне не при снятся,— Псой и Пуд, Зотик и Кукша, Стадулия и Проскудия. Попечительный помещик не прочь был бы распространить сей порядок на всю Российскую империю, да тут руки оказались коротки. Поди заставь злоязычную вольтерьянку Дашкову назвать сынка Дадой или Зотиком, а саркастического Щербатова наименовать дочку Пуплией или Кикалией.

Услышал же Корп от Шамшеева о денежных затруднениях наследника после заседания масонской ложи, когда вольные каменщики, без чинов и рангов, курили и пили кофе в гостиной елагинского дома. Еще одна скверная зацепка!

Знал Корп, хорошо знал, что царица косо смотрит на все эти новомодные фокус-покусы. Едва ли не от нее пошло уничижительное «фармазон» вместо горделивого «франкмасон». Нужно было ему голову совать в такой хомут! А все тщеславие треклятое, запоздало корил себя несчастный немец, захотелось, видите ли, поближе стать к знатым да вельможным.

Так или иначе, но, угадав причину, надо было исправлять следствие. Первого гонца Корп направил именно к цесаревичу в Гатчину. В письме кратко, но четко объяснялись поводы к его написанию и спокойно, но твердо испрашивалась помощь.

Затем были подписаны эпистолы к другим должникам. Среди них сверкала сиятельными именами екатерининская знать, теснилась, словно в большой приемной, чиновничья челядь, обжимался свой брат — купец и банкир. Попадались любопытные расписки вроде Ивана Степановича Шешковского, сына знаменитого начальника тайной канцелярии, или генерала Михельсона, пугачевского усмирителя.

Письма были подписаны и отсланы. Упреждая события, с тайной грустью скажем, что ни на одно из них ответа не воспоследовало. А уж как умно были составлены, как верно излагались в них обстоятельства, какое достоинство в них сквозило! Отброшены были предложения наполовину скостить долг. Нет, никто даже звука не промолвил в ответ. Все проклятая столичная занятость, санкт-петербургская суетня. Хорошо, что об этом ничего пока не знал бедный немец и новые тревоги еще не проникли в его истерзанную душу.

Вслед за долговыми обязательствами зашелестели купчие, билеты, условия. Корп тяжело вздохнул. Никогда, верно, не возвратит он денег, данных под купчую секунд-майорше Пелагее Петровне Дядевой на крепостную женку Настасью Климову с сыновьями Иваном и Михайлою, с дочерьми Авдотьей и Прасковьей.

Взгляд злосчастливого купца скользнул влево, на перечень книг его домашней библиотеки. Не желая идти в хвосте просвещенного века, Корп довел число томов в книжных шкафах до второй сотни на рус-

ском, немецком, французском языках. «Светская школа, или Отечественное наставление об обхождении в свете», сочинение ле Нобля, переведенное с французского диалекта Сергеем Волчковым, сослужило ему, Корпу, в свое время благодетельную службу. Выученные наизусть комплименты он приучился вставлять в обиходные речения. А вот книга, которая могла бы составить его счастье при дворе: «Телемахида, или Странствование Телемаха, сына Одиссея, описанное в составе ироические пиимы Васильем Тредьяковским, надворным советником, членом Санкт-Петербургския императорския Академии наук» — от слова до слова прочел Фридрих-Иоганн длинный титул и с увлажненными глазами вспомнил надежды, связанные с сочинением господина надворного советника. Потешаясь над тяжеловесным слогом «Телемахида», императрица за пустячные провинности назначала непустячное наказание — выучивать на память целую страницу пиимы. На следующем собрании у царицы должно было прочитаться вслух назначенный урок. Подобное наказание, естественным образом, включало провинившегося в интимный круг Екатерины Алексеевны. И он, Корп, мог быть в том кругу! Боже мой, боже мой...

Рассеянный взгляд Корпа бежал кабинет и вдруг наткнулся на фигуру поручика, застывшего в кресле. Измайловский кузнецик, не теряя времени даром, покрывал беззвучными поцелуями полные руки Амальхен. Невеста милостиво протянула их из-за спинки кресла. Хозяин дома недовольно кашлянул. Руки убралась.

— А что думаете вы предпринять, милостивый государь? — скорбно спросил Корп. — Неужто вы будете равнодушно взирать на мученическую кончину невинного страдальца?

— Я уже решил, господин Корп, что мне надлежит делать, — встрепенулся Чадов. — Немедленно поеду к его светлости князю Щербатову, моему дядюшке. Он человек со связями, что-нибудь присоветует, а то и совершит. Сие неслыханное варварство...

— Тише, тише, — прервал его Корп, — Щербатов, иначе, не из любимцев ее величества. Впрочем, это тоже понадобится! Ну, если вздумал ехать, поезжай.

Амальхен бросилась вслед за устремившимся к выходу Чадовым.

4

— Во-первых, — с анафемской силой сказал старый князь, упирав на последний слог, — во-первых, Катька — стерва, сволочь, и — глядь, как оказала себя ее подлая натура. Вишь, Ивана Грозного вздумала из себя корчить. Сама немка, а бедного немчуру, словно зайца, решила освежевать. Здесь, иначе, большой политик, как говаривали во времена императора Петра. Без этой политик государыня не ходит даже и в нужник. — Случайная рифма развеселила Михайлу Михайловича, и он удовлетворенно хмыкнул. Ergo, надо все паче и паче обдумать.

— Во-вторых, — с анафемской силой сказал старый князь, упирав на второй слог, — во-вторых, упаси боже угодить Иезавели под горячую руку. Мигом на плахе окажешься, а то еще по примеру Корпа чучело из тебя набьют. Ergo, пришипиться, выжидать и слушать в оба уха. Понятно, сударь?

В-третьих, — обычным голосом, с обычным ударением сказал старый князь, но именно потому, что ударение было верным, по аналогии с другими оно показалось неверным, — в-третьих, твою Амальхен надо послать к распротаковской матери, а жениться на моей крестнице.

Поручик Чадов оторопело взглянул на своего вельможного дядюшку. Михайло Михайлович Щербатов был шишконосый стари-

ком с азартным взглядом веселых голубых глаз. Рука его, взбугренная синими венозными жилами («Голубая кровь вон где себя оказывает», — мрачно острил дядюшка), покоилась на только что оконченной рукописи. Перед приходом племянника ее принес князю постоянный переписчик Евграф Шилов. Прочитав сызнова название — «Письмо к одному приятелю, в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его истории от г. генерал-майора Болтина», Михайло Михайлович умилился и пожаловал писарю сверх обещанной суммы елизаветинский червонец. «Покрупней теперешних будет», — не преминул съязвить противник Екатерины. Несмотря на ранний час, старый князь был одет так, как будто собирался на прием к императрице. Белый с голубизной парик был точно прилажен к объемистой голове, коса с кошельком улеглась как раз посредине синего атласного камзола, ровно обтянувшего спину, золотые пряжки на красных лакированных туфлях неугасили блестели. Только что регалий не сверкало на груди, но, по правде говоря, Щербатов не был избалован отличиями.

Старик наслаждался оторопелостью юнца и стал не спеша развивать высказанные положения.

— Конечно, — выговорил он по-старомосковски, — конечно, хотя по-человечески немчуру и жаль, но великой печали я по сему поводу не испытываю. Ежели бы немцы друг другу почаще такие сюрпризы устраивали, нашему брату-русаку много б легче на свете стало жить. Тут другая опасность, коли поглядеть в корень. Кабы Катька, разохотившись на безответном немце, не вознамерилась и на нас пробовать подобные кунштштюки.

Михайло Михайлович подложил руку под крутой подбородок и задумался, прикрыв на мгновение глаза морщинистыми веками.

— Так, может, не пришипиться, а предпринять некие шаги к предупреждению сего варварского поступка, — всхорохорился Петр Чадов.

Михайло Михайлович с любопытством посмотрел на молодого петушка.

— Пришипиться внешне, а стороной никто тебе не запрещает любые шаги предпринимать, только помни, что здесь любой faux pas¹ приведет тебя на эшафот.

— А вы сами, дядюшка?

— Мне сюда мешаться не след. Я и так у царицы на заметке. Разве лишнюю страницу в свою инвективу «Повреждение нравов в России» впишу с превеликим удовольствием.

— И только-то?

— Ты, Петька, не дерзи. Мне видней позиция, чем тебе, дураку. Еще одно: к крестнице сватом сам буду. Так что считай себя женатым.

— Дядюшка! — взмолился вконец обескураженный поручик. — Что же это получается? Приезжаю хлопотать о злосчастном Корпе, так мало того что мне отказывают в участии, еще вырывают из объятий моих дочь мученика! Увы мне!

— Неужто в Измайловских казармах «Страдания молодого Вертера» прочитали? — изумился старый князь. — Или это тебе Амальхен подсунула? Впрочем, не от тебя первого эти кисло-сладкие речи слышу. Ты эту дрянь брось! Бурбонская Франция, замазав сей сентиментальной пастилой рот, к Генеральным Штатам скатывается. Что-то из них выйдет!

— Да ведь с Амальхен уже и свадьба назначена, — прервал дя-

¹ Ложный шаг (франц.).

дюшку незадачливый жених, испугавшись, что тот погрузится в дебри европейской политики.

— Я тебе заместо отца, и так как покойник тебя вразумить не может, вразумит заблудшего старший родственник,— внушительно изрек Щербатов.— Не так уж окончательно пало русское дворянство, чтобы князья на безродных немецких булошницах женились. А ты хоть захудалый, а все-таки князишко. И родня твоя княжеская. Моя дура сестрица не благословясь выскочила за твоего папеньку, польстившись на его брови да усы. Подлинно буренушка пегая возле двора бегала, а тут нонеча усы проявились на Руси— прямо получилось по этой шутовской песенке. Но сделанного не воротись!— Здесь Михайло Михайлович горестно вздохнул.— Древнейший росский род Щербатовых, к Рюрику восходящий, породнился с какой-то чудской деревенщиной. Одно утешение, что тоже князья.

Последние слова были саркастически подчеркнуты, и это-то толкнуло молодого Чадова на неслыханное по тем временам нарушение родственной субординации.

— Осмелюсь возразить, ваша светлость,— звенящим от негодования голосом произнес поручик,— род мой не токмо уступает в знатности щербатовскому, но частью и превосходит его.

Старый князь изумленно воззрился на сумасшедшего. Щербатовы и впрямь были родовитее родовитых.

— Известно ли вам, почтеннейший дядюшка, что Чадовы не от смертных происходят, как все прочие княжеские роды, а от богини земли и неба, огня и воды, именуемой Чадь? Эфто поважней будет, чем тянуть колена от какого-то варяжского разбойника. Очень жаль, что его в оные времена Вадим Новгородский не окоротил.

И молодой князь, решительно довольный своей знатностью и независимостью, смелостью и образованностью, свободомыслием и прочими прекрасными качествами, снова застыл под прямым углом в просторном кресле.

Настала очередь оторопеть старому князю. Лишь через минуту-две он пришел в себя и вопреки характеру своему не возгневался.

— А теленок-то с зубками оказался,— с любопытством процедил он, предварительно пожевав губами.— Сей подробности я за чадовским родословием не знал и в том винюсь. Твоя чудская Гера с римской, конечно, равняться не может и небось недалеко ушла от наших киевских ведьм, а все же родословное древо весьма украшает. Варяжского разбойника я тебе по младости лет и вьюношеской запальчивости прощаю. Однако сказанное тобой, повысив значенье рода твоего, тем более убеждает меня в решительной невозможности жениться на булошнице.

— Да какая же она булошница!— возопил Чадов.— Батюшка ее почтенный купец, ему баронство скоро дадут...

— Пока что из него чучело хотят набить,— усмехнулся старый князь,— а купеческие его капиталы пойдут не иначе как в казну.— И вдруг, построжав, сменил обращение.— Перестань супротивничать, дурак! Я тебе внимал, когда ты о своей чудской богине рассказывал, а теперь ты слушай меня. И— подчиняйся.

Чадов хорошо знал дядюшку, и охота возражать ему на время пропала.

— Женься на дочке чучела,— возвысил голос старый князь,— ты не только свой, но и мой род грязнишь. «Ах, это те, что с чучелами в родстве» — вот какая присказка пойдет. Никакого урона твоему офицерскому слову не будет. «Дядюшка, который мне заместо отца, не соизволил разрешить» — вот и вся недолга. А мой товар, как на сватовстве говорится, сам себя окажет.

На звон колокольчика возник бравый казачок в красной рубашке и синих шароварах.

— Позови боярышню,— сказал дядюшка.

— А они тутотка стоят,— фыркнул мальчишка.

— Не обо всем болтай, что видишь, постреленок.

Казачок исчез, и через неуловимое мгновение в кабинете пенно-рожденной Афродитой, впрочем одетой по последней парижской моде, в юбке на китовом усе, заполнившей половину комнаты, с прической, уходящей под потолок, с мушкой у правого уголка припухшего рта, означавшей отсутствие предмета, появилась Лизанька Ознобишина. Впрочем, отрекомендовал ее старый князь со всей учтивостью как Елизавету Павловну, дочь бригадира, свою крестницу.

— Не сочту лишним сказать,— промолвил в заключение Михайло Михайлович,— что приданого за ней шестьсот сорок душ. Это я как опекун доподлинно знаю. Имена в Саратовской и Тульской губерниях, да еще подмосковная усадьба. Конечно, сие не корповские миллионы, но куш тоже неплохой. А главное, сама хороша.

Девушка черным веером опустила ресницы долу.

— А это князь Петр Чадов, о котором ты известна. Вырван мной из-под венца тебе на забаву и утешение. Голодранец, но малый славный. И к тому же еще божественного происхождения. Расскажи ей про свою Геру,— кивнул старик.— И готовьтесь к свадьбе. Сегодня вторник, в субботу справим.

— Ах, как скоро...— всплеснула руками Лизанька.

— Ничего не скоро! — прорезался вдруг голос молчавшего доселе Чадова.— Можно б еще быстрее...

О tempora! О mores! Женихом невинной Амальхен приехать в хлопотах за ее отца, ожидающего лютой казни, и мало того что тут же похерить эти хлопоты, еще и бесстыже надуть несчастную девицу. Итак, пусть делают из Корпа чучело, пусть к слезам дочери прибавятся слезы обманутой невесты! Ее злодей жених, отказавшись от сомнительных теперь миллионов, получит прочные шестьсот сорок душ вдобавок к очаровательной рожице Лизаньки Ознобишиной. Мушку ей придется переклеить на другую щеку: предмет найден! Всего неделю назад приехала она из саратовской глуши, проездом успела приодеться-нарядиться у французов в Москве, свалилась как снег на голову опекуну-дядюшке — и вот уже становится под венец с красавцем измайловцем. Есть от чего закружиться голове.

Превыше всех был доволен Михайло Михайлович Щербатов. Первый летописатель российский, несмотря на ироническое замечание царицы об отсутствии у него исторического дарования и наглые придирки генерал-майора Болтина, выше всего ставил собственный покой, предоставлявший ему возможность целиком отдаваться излюбленному делу, рыться в летописях и хартиях, вписывать новые страницы в бесчисленные свои труды. Вторжение хорошенькой девицы, опекуном коей он являлся, неизбежные заботы о ее будущем, необходимость не только вывозить, но и устраивать для нее балы удручали старого князя прямо-таки до бешенства. И вдруг счастливым метеором мелькнул в его сознании и яви поручик Чадов. Так что очень кстати о нем доложил казачок. Лизанька и не думала опровергать самовластное решение своей судьбы. Князь Чадов оказался милым и пригожим офицером, к тому же ее ровесником. «А ведь не дай бог за старика бы просватали», — мелькнуло в девичьей головке. Да и не было тогда обычая возражать старшим.

Князь Петр Чадов явил, разумеется, пример необычайного легкомыслия. Но ведь не каждому такая удача падает в руки. Прелестная

невеста, да еще шестьсот сорок душ в придачу. Пропади они пропадом, злосчастный Корп вместе со своей Амальхен!

И вскоре из гостиной зазвучала стройным дуэтом пастораль:

Уже восходит солнце, стада идут в луга,
Струи в потоках плещут в крутые берега.
Любезная пастушка овец уж погнала
И на вечер сегодня в лесок меня звала.

О, темные дубравы, убежище сует,
В приятной вашей тени мирской печали нет.
В вас красные лужайки природа извела
Как будто бы нарочно, чтоб тут любовь жила.

— Коли не ошибаюсь, пьеса господина Сумарокова,— довольно усмехнулся старый князь.

Затем он направился в кабинет, где его ждала рукопись с началом прекрасной фразы: «Брюховность, сиречь материальность, к моему сокрушению, давно стала знаменем нашего развратного века...»

5

Уже за фриштыком у Корпа определил обер-полицмейстер дальнейший маршрут. Трудность предстоящей акции состояла в ее полной неизведанности. Никаких инструкций о набивании чучел из здравствующих людей, хотя бы и немцев, не существовало. Правила надо было измысливать по ходу дела. Здесь Свербееву приходилось выступать в роли русского Коломба. И первое, что вошло ему на ум,— Медицинская коллегия. «Прямое их дело,— подумал Иван Фадееч.— Не моим же малютам поручать сию ажурную операцию».

Карета загромычала в Медицинскую коллегия. Президентом ее состоял Алексей Андреевич Ржевский, фигура заметная на санкт-петербургском небосклоне. Давнего рода тверских князей, потерявших титул еще при Юриковичах, он пренебрежительно относился к своему генеалогическому древу, уповая лишь на самого себя. «В наш просвещенный век,— говаривал он,— лучшие просветители — широкие плечи да быстрый ум, примером тому два Григория».

Конечно, до Орлова и Потемкина ему было далеко. Не хватало ласковой звероватости первого и потемкинских деревень второго. У тех *ragueni* из низшего дворянства, которые едва ли своих дедов помнили, оказался такой запас неукротимой и напористой силищи, что состязаться с ними не представлялось возможным. Все у этих дьяволов было с большой буквы: и саженный рост, и прожекты, и взятки, и тщеславие, и беспринципность. Ржевскому с его почти тысячелетним дворянством они виделись какими-то Аларихами, ворвавшимися в Рим. Но изнеженным и слабовольным патрицием, кладущим шею под их пяту, Алексею Андреевичу меньше всего хотелось стать. Да и не было у него ни патрицианских доходов, ни патрицианской разнеженности. Если не наравне с Аларихами, то рядом с ними! В 1762 году сержант Ржевский деятельно способствовал возведению Екатерины II на престол, и государыня навсегда отметила его в своей расчетливой памяти. После переворота карьера его направилась вверх: он быстро вышел в штаб-офицерские чины, а там и в генеральские. Когда годы вознамерились идти под угор, он с великим удовольствием принял спокойный, видный и денежный пост президента Медицинской коллегии. Во врачевании Алексей Андреевич, кроме домашних снадобий, приготовленных руками жены и тещи, мало что смыслил, но это делу не мешало. Обольстительная пословица тех времен гласила: «Была бы милость, а всякого на все хватит». Тем более что Алексей Андреевич был не всякий, а приметный и заметный. Ни

в какие времена люди умные, образованные, деятельные на дороге не валялись, а Ржевский относился к их числу.

Когда секретарь доложил ему о визите обер-полицмейстера, Алексей Андреич досадливо поморщился. Не любил он вмешательства властей предержавших в свои дела. Узнав, однако, от Свербеева о сути дела, президент Медицинской коллегии озадачился.

— Набить из немца чучело? — удивленно протянул он. Будучи повторенной, фантастическая фраза приобрела отчасти обытованное значение.

Ржевский, надо сказать, уже не царской, а божьей милостью был поэтом. Да-да, поэтом, притом еще и незаурядным. Его басни, написанные им в молодости, до сих пор повторялись в присловьях, а стихи он продолжал сочинять по теперешнюю пору. И, как поэт, он был склонен к метафорическому мышлению. «Скорее всего Екатерина Алексеевна вздумала прибегнуть к иносказанию, а этот осел вообразил бог весть что», — подумалось ему.

— Прошу прощения, почтеннейший Иван Фадеич, но верно ли вы поняли государыню? Не могла ли она иметь в виду, чтобы этого чучело-купца, пьяного остолопа, хорошенько проучить? Не из него, а просто: набить чучело, может быть, в смысле побить пьянчугу, то есть выдрать охальника?

— Тридцать пять лет на государевой службе, — обиделся Свербеев, — а вкось и вкривь толковать царицыны слова не научился. Грешно вам, Алексей Андреич, дурака из меня строить. Да и какой же купец Корп пьяный остолоп! Разве что по великим праздникам чарку выпьет, а так трезвый из трезвых. Мне ли об этом не знать. Но вот проштрафился перед государыней — и битте-дритте.

Множество разнородных чувств и мыслей нахлынуло на Ржевского. Возмущение, негодование и подавленное вольнолюбие не были последними из них. Но возобладала над ними государственная осторожность. Высшая власть всегда права, ошибаются исполнители — гласил ее главный и постоянный закон. Ржевский в своей жизненной практике никогда от него не отступал. Не упустил он из виду и то обстоятельство, что от ведомства Ивана Фадеича до тайной канцелярии было рукой подать, а знаться с Шешковским никому не хотелось.

— Не устаю удивляться неизреченной мудрости нашей государыни, — сказал Ржевский с некоторой даже задумчивостью. — Объемное изображение преступника долгие годы, если не века, будет предостерегать грядущие поколения от повторения его злодеяний.

Свербеев посмотрел на собеседника с нескрываемой издевкой.

— Гм-гм. Всего-то преступления что контрабандный привоз разной дряни.

— Ну, это нам неведомо. Скрытные дела Корпа известны могут быть узкому кругу лиц, к коему мы с вами не принадлежим.

Обер-полицмейстер спорить не стал, его тревожили державные нужды, срочные и неотлагаемые.

— Так каким же образом, ваше превосходительство, будем мы с вами доводить до кондиции означенного немца? — поставил он вопрос на попа. — У вас, насколько я знаю, есть опытные препараторы, обученные сему искусству.

Страсть как не хотелось ввязываться в эту мерзкую историю Алексею Андреевичу.

— Извольте объяснить, господин генерал-поручик, — перевел он разговор на официальный язык, — почему вы обращаетесь с сим предложением в Медицинскую коллегию? В Академии наук есть не менее

опытные препараторы. Да, наконец, можете вы обойтись и собственными средствами. В крайнем случае попросить о содействии...

— Шешковского? — подхватил обер-полицмейстер. — Так и знал, что упомянете о нем. Да нет, Алексей Андреич, ни мы, ни они этого дела не выдюжим. Топорная у нас работа, а здесь нужна ажурная.

Тут в голове президента Медицинской коллегии промелькнула ловкая мысль:

— А Корп в каком виде должен быть представлен для снятия, гм-гм, объемного изображения? В полном здравии или уже отошедшим из мира сего?..

Свербеев думал об этом, но хотел, чтобы сия мысль исходила от другого человека. С некоторой наигранностью он хлопнул себя ладонью по лбу.

— Господи! Главного-то не сообразил. Умница ты, Алексей Андреич. Ведь одно дело с живого шкуру драть, другое — покойника потрошить.

— Полагаю, что именно другое, — решил Ржевский. — В наш просвещенный век нужно обходиться без излишних страданий, даже если имеешь дело с закоренелыми преступниками.

— Вестимо, не мое дело рассуждать, — молвил обер-полицмейстер. — Но к чему потом приспособить это, как вы изволили выразиться, объемное изображение? Может, в кунсткамеру, а может, и семье отдадут?

— А что? — оживился Ржевский. — Объемное изображение отца семейства, помещенное в гостиной или в передней, особливо если оно хорошо сделано, может весьма украсить vestibulum². Если фигуре придать вид приветственного поклона, несколько согнув правое колено, вложив в десницу шляпу, а в шуйцу платок, то впечатление будет прекрасное. Вот, мол, грешник, но повинившийся, преступник, но раскаянный, с радостью встречает входящих в дом сей. Слава государыне, духовно и материально соединившейся посредством объемного изображения с добродетельным семейством недобродетельного подданного.

— А вы уж, кажись, оду пишете? — ухмыльнулся Иван Фадеич. — Немного рановато. Пока что надо распознать, в каком виде готовить немца.

— Да, задача, — сошел с небес на землю Ржевский. — А спросить боитесь?

— До смерти! — признался Иван Фадеич. — Такого страху нагнала утресь, что не приведи господь. Поверите, с маркизом Пугачевым сравнивала.

— Это уж последнее дело, — посочувствовал Ржевский. — Так кто же может спросить?

— Потемкин! — прозвучал женский голосок у него над ухом.

Супружеское счастье четы Ржевских вошло в поговорку. Сам Державин воспел в стихах редкую удачу собрата по поэзии. Дарья Степановна, а по-домашнему Дашенька, Ржевская была непременной советчицей мужу на всех извилистых путях-дорогах его царедворческой судьбы. Советчицей здоровой, тонкой, деликатной. Порой она удерживала авантюриста 1762 года от крайности, а иногда, наоборот, напоминала ему о необходимой решительности, которую потерял благодушный президент Медицинской коллегии. На службе привыкли к мимоходным посещениям Дашеньки. Она была достаточно умна, чтобы не вмешиваться в служебный распорядок, но для каждого — от сторожа до вице-президента — у нее находилось ласковое слово. Обворожить она умела хоть кого и хоть когда. Лет на десять моложе

² Жилище.

мужа, она свои тридцать восемь лет искусно облекала в двадцативосьмилетнюю свежесть, подвижность и улыбочивость. «Не на десять, а двадцать я тебя старше»,— шутя говорил ей Алексей Андреевич.

— Я все слышала,— без всяких околичностей объявила Дашенька.— Проскользнула за портьеру и все-все услышала. Так повторяю: Потемкин!

Иван Фадеев, как и весь Петербург, был наслышан о брачных отношениях Ржевских и знал, что никаких секретов у Алексея Андреевича от жены нет. Поэтому он никак не смутился таким вторжением в деликатное дело, а принял его как должное.

— Поди-кось,— ответил он по некотором раздумье,— к светлейшему тоже запросто не попадешь, но времени-то нет...

— А племянницы? — воскликнула Дашенька.— Предоставьте, господа мужчины, заняться этим страшным делом слабому полу. Все-таки мне кажется, что здесь не все так ясно, как вам представляется.

— Чего уж яснее,— нахмурился Свербеев.— Содрать шкуру, да и только.

— Посмотрим, посмотрим, посмотрим...— примечанием на полях приговора улыбнулась Дашенька.

— Так когда ожидать вестей? — обратился обер-полицмейстер к Ржевскому.— Время подгоняет!

— Не успеете оглянуться,— шаловливо ответила Дарья Степановна и, подхватив под руку полицейскую власть имперской столицы, направилась к дверям.

Ржевский остался один. Сбросив с лица и души прочный заслон, в коем он выступал благодушным, снисходительным, дипломатичным вельможей, он вдруг превратился в пожилого, накануне старости человека с устало опущенными углами рта, запудренными припухлостями у глаз, больных и настороженных.

— Когда все это кончится,— прошептал он про себя,— когда кончится?.. Наверное, никогда.

За этой фразой стояло многое. Только-только все начинало успокаиваться: отошел в прошлое пугачевский бунт, в градах и весях стояла тишина, внешняя политика была дерзновенна и удачлива, границы расширились, включив в российские владения Крым и Белоруссию, искусство и науки процветали, любезная его сердцу поэзия расправила крылья, масонство все больше набирало силу. И вдруг такой неожиданный и жестокий поворот. Чем он вызван, чего ждать еще? Последнее звено в рассуждениях Ржевского имело для него особое значение. Еще в семидесятых годах он поступил в вольные каменщики, а затем, пройдя несколько ступеней посвящения, возведен в ранг мастера масонской ложи «Астрея». Именно в этом качестве не далее как полгода назад он принял в рядовые члены проклятого Корпа, прельщенного возможностью завязать в ложе важные и нужные знакомства. Такой дрянью, как этот Корп, разменивающей высокой движения духа на свои мелкие нужды, всегда было хоть отбавляй вокруг и внутри масонства. Но оно в лице деятелей, подобных Ржевскому, в свою очередь, использовало Корпов обычно как дойных коров. Так или иначе, Корп числился в масонах. Нити, протянутые от него, поднимались бог весть в какие выси. Жестокая казнь Корпа могла стать началом злейших репрессий. Императрица с неприязненным вниманием следила за масонством. Когда же до нее дошло, что ее опальный наследник Павел Петрович присутствовал на заседании «Астреи» одетый в грубую рясу францисканского монаха, такое шутство ей вовсе не понравилось. Отсюда был только шаг до государственного заговора. Ржевский запоздало ругал себя за проявленную неосторожность. С другой стороны. привлечь к масонству не просто

сильных, но сильнейших мира сего было фактической его задачей. Романтичного же цесаревича монашеской рясой да свечами и черепами только и возможно было склонить в его пользу.

— Ну, что было, то прошло, — опять вслух подумал Ржевский. И уже молча продолжил мысль: «С Корпа сдерут шкуру, а для меня по меньшей мере каземат до конца дней. Бр-р».

Каким ослепительным казалось начало царствования молодой императрицы! Свобода, осененная державным скипетром, вольность под сенью горностаевой мантии. Просвещение, заливающее ровным сиянием российские доли. А вокруг юной монархини юные сподвижники, веселые, щедрые, деятельные. И он, Ржевский, среди них. Куда все это делось? Конец правления ополоумевшей немки так и будет рисоваться ее соотечественникам в виде святомученика Варфоломея со снятой кожей, а грубее говоря, ободранного кота. Алексей Андреевич горько усмехнулся.

Однако что-то нужно было предпринимать. От разъяснения Потемкина мало что переменится. Собратом по масонской ложе был молодой Размятелев, близкий одновременно и к царице и к наследнику. Несмотря на возраст, он весьма натерел в дворцовых ухищрениях.

— Лошадей! — крикнул Ржевский выбежавшему на звон колокольчика рыжему камердинеру.

6

Павел Петрович только что отобедал на приватной половине гатчинского дворца, когда сквозь камер-лакеев размашистым шагом прошел в Малый кабинет молодой Размятелев. Роль его была двойственна, и выполнял он ее умно, дерзко и тактично. В глазах цесаревича граф был дальновидным царедворцем, глядевшим в будущее, а не в прошлое. В глазах государыни — талантливым лоботрясом, чья информация о гатчинских порядках соединяла своевременность с пикантностью. Размятелев мог угодить сему и овамо, но угодливость его не сопрягалась с лакейством. Он мог быть дерзок до изумления и был вполне человеком восемнадцатого века, взрастившего авантурные дарования Казановы и Сен-Жермена, д'Эона и Калиостро. Мастер интриги, он сочинял ее, жил в ней, подымался с нею, но никогда не падал.

Идея займа у Корпа принадлежала ему, именно он подsunул ее Павлу Петровичу, а потом перебросил дураку Шамшееву. Когда зерно попало в тщеславную Корпову душу, он быстро дал проклюнуться ростку. Налившийся колос обрел стоимость в полмиллиона рублей.

Совершенно походя Размятелев обещал наследнику прощупать князя Чадова, жениха Амальхен, на предмет привлечения к возможному... Нет, слово «заговор», упаси боже, не упоминалось, и это придавало в глазах молодого интригана особую тонкость готовящемуся кушанью. Говорилось лишь о друзьях из гвардии, чьи симпатии необходимы цесаревичу.

В данном случае сей друг из гвардии был нищ, тщеславен и окончательно бесполезен. О последнем обстоятельстве надо было помнить, учитывая близкую заинтересованность государыни в таковых друзьях. А что лучше бесполезности можно было ей предложить? Князь Чадов был из захудалого рода, не Рюрикович, не Гедиминович, а черт знает кто, из мордовских или черемисских князей. Чухонскую Геру можно было вспоминать только в минуту большой запальчивости.

Никакими связями Чадов также не обладал, положению в гвардии мешало постоянное безденежье. Размятелев был, в общем-то, добрый малый и, раз полюбопытствовав в Чадове, сумел решительно продвинуть вперед его сватовство к Амальхен. Тут все получилось

само собой: Корпу, весьма пренебрежительно отнесемуся к нищему князю, он внушил представление о славном будущем зятя, а Павлу Петровичу, доселе слыхом не слыхавшему о Чадове, изобразил его как заметную фигуру в Измайловском полку. Все это Размятелев делал как бы по наитию, и как раз потому все у него и получалось.

Корп согласился на брак и на заем. Государыне, делавшей вид полного равнодушия к предприятиям наследника, но ничего не упускавшей с глаз своих, он нарисовал происходящее как мышкены забавы на хвосте у кошки. Не могла понравиться Екатерине Алексеевне сумма займа: не очень велика, но и не очень мала. Этот вопрос нужно было как-то обойти, и Размятелев обещал царице привезти точный реестр будущих расходов. «Хорошо,— изволила сказать государыня,— но на весь будущий, а впрочем, и следующий за ним год ни рубля ни от кого, кроме меня». Авантюрный граф послушно склонил голову.

И вот сейчас Размятелев, встав за три шага от Павла Петровича, сокрушенно и прерывисто вздохнул. Такие вздохи входили в ритуал встреч грансиньора и наперсника. Грансиньор узнавал по ним о содержании доклада. Легкий, еле слышный вздох — приятные новости, протяжный и brutальный — важный разговор, а такой вот, как этот, — тревога, тревога, тревога. А Павлу Петровичу было о чем тревожиться.

К Размятелеву он относился с не знающим меры доверием, на которое способны лишь не в меру подозрительные люди. Доверие это зиждилось на мнимой фронде графа, многожды преувеличенной в его рассказах, мнимой отчаянности, будто бы руководившей его поступками, мнимой неприязни к государыне, якобы державшей на него гнев из-за цесаревича.

Помогало приязни внешнее сходство. Размятелев был как бы улучшенным изданием Павла Петровича. По возрасту он годился в племянники своему покровителю, но по внешности прямо в сыновья. Павел Петрович тешил себя мыслью, что именно таким молодцом он был в юности. Он и был бы им, если б господь прибавил ему двух-трех вершков росту, подправил курносость и скуластость. Тех же щей, да погуще влей! Размятелев был на полголовы выше цесаревича, но в его круголицести, вздернутом носе, голубых, навывкате глазах впрямь можно было угадать подправленные черты наследника. Конечно, характер был совсем иной! Родись Размятелев в начале века, ему бы служить в денщиках у великого Петра. В денщиках, кои не только ваксали царские сапоги, но выполняли государевы поручения. Веселый, поспешный, увертливый, он был на все руки, за чем пошли, то и делает.

Итак, Размятелев вздохнул сокрушенно и прерывисто.

— Плохие вести? — чуть заикнувшись, спросил грансиньор.

— Не столь плохие, сколь странные...

— Тянуть не смей.

— На утреннем рапорте государыня в великом гневе указала Свербееву набить из Корпа чучело.

— Какое чучело? Почему чучело? Зачем чучело?

— О сем только гадать приходится.

— Каковы догадки?

— Устрашенье Гатчины, ваше императорское высочество,— тихо, медленно, внушительно проговорил Размятелев.

Цесаревич вскочил с кресла и заметался по комнате.

— Господи сил! Неужто заем злосчастный так отыгрался немцу? И все опять на меня!

— Государыня подозрительна. Корпу был передан милостивый отзыв вашего высочества об измайловце Чадове. Такие рекомендации

в тайне не держатся. Связь с гвардией, подкрепленная деньгами, да еще масонство.

- Позволь, разве Корп масон?
- Полагают.
- А которой логи?
- Может быть, «Урании».

Все заколебалось в зыбком разуме цесаревича. Вспыхивали и рассыпались причудливым фейерверком, составленным из множества фигур, странные и дикие видения. О, эти фигуры! Страшная тень Петра верхним дуновением прошла над ним. То был прадед, великий и несвергаемый. Что он значил перед ним, ничтожный гатчинец! Придавленное августейшим каблуком самолюбие вырывалось из-под него, негодуя и гневаясь. Постоянным его спутником выступало тщеславие, напоминающее о себе множеством унижений, которые персонафицировались в гнусном лике одноглазого фаворита. Но превыше всего был страх. Он бил наотмашь, стигая волю, затмевая рассудок. Ни последние рабы, ни первейшие особы империи не были защищены от него, всевластного и всепроникающего. Фигуры фейерверка, принимавшие вид кругов, овалов, квадратов, вдруг собрались в параллелограмм, а тот своеочередно в сутулую долговязость царевича Алексея. Куда только, несчастный, не пытался удрать, где не хотел спрятаться. Вплоть до Неаполя достигнул. Все зря! Властная рука самодержца выгнала его из заморского убежища и бросила на пытку и плаху в родных пределах. Сами венценосцы не были избавлены не токмо от страха — от ужаса! Что чувствовал бедный Иоанн Антонович под направленной в сердце шпагой в шлиссельбургском каземате? А собственный отец его Петр III под безжалостными пальцами душителей? Нет, не будет при надобности считаться с нелюбимым отпрыском Екатерина Алексеевна, злая и дурная мать, распутная и жестокая повелительница.

Фейерверк догорел. Размятелев знал, что подобные приступы длятся много коли полчаса. Правда, в оные полчаса таких чудес можно было насмотреться, что не приведи бог. Цесаревич снова оказался в креслах, снова доступный увещаниям и суждениям.

За полчаса беспорядочных выкриков и выкликов привычный к сему Размятелев имел возможность прикинуть свое место в сложившейся ситуации. Впрочем, определил он его еще по пути в Гатчину, а теперь лишь уточнил частности. Для него было ясно следующее. Сколько-нибудь значительной опоры ни в придворных кругах, ни в гвардии у Павла Петровича не было. Люди, пытавшиеся держать на него ставку, Панины и Куракины, были разосланы по деревням, Екатерина Алексеевна, однако, памятуя о легкости дворцовых переворотов, последним из которых она сама была возведена на трон, не хотела отдаваться на волю случая. Всегда найдутся горячие головы, всегда сыщутся удалыцы, решившие скакнуть из грязи в князи, из писарей в канцлеры, из сержантов в фельдмаршалы. Подобные скачки были у всех не только на памяти, но и на глазах. Удачный переворот сулил неисчислимо многое счастливым его участникам. Ежели вдобавок удалые и горячие головы будут направляться головами холодными и расчетливыми, тогда шутки плохи. И царица таких шуток допускать не хотела. Наследник носу не смел показать из Гатчины, где в утеху ему был оставлен полк солдат, небольшой штат служителей и с дюжину царедворцев второго ранга. Сыновья Александр и Константин были отобраны у отца и воспитывались бабкой, помышлявшей лишить цесаревича наследства и передать престол прямо внуку Александру. Относительно младшего, Константина, строились далеко идущие планы о короне греческой империи. В связи с этим даже имя

августейшему младенцу было подыскано соответствующее. Последним императором Византии являлся, как известно, Константин XII.

Павлу Петровичу ввиду сих фантазмагорий, грозивших стать ощутимой явью, оставалось муштровать на прусский манер своих гатчинцев, терзаться от крупных и мелких укоров самолюбия, тешиться грядущими переменами и расправами над сегодняшними обидчиками. Надежда на свержение законной монархии не оказывалось. Екатерина Алексеевна заласкала дворянство, приручила гвардию, придавила бесчисленных подданных. Искать будущих заговорщиков без того, чтобы тут же не попасться на зубы Шешковскому, было затруднительно. В отчаянье Павел Петрович попытался ухватить в руки призрачный луч масонства, но он проскользнул сквозь пальцы, не оставив в памяти ничего, кроме странных обрядов и обетов. Быстрое увлечение цесаревича зловецом аукнулось на судьбе Корпа. Размятеlevский разум не желал разбираться в масонских умозрениях. Девственно чистый и юношески трезвый, он отбрасывал их, словно пыльную паутину с зеркального дворцового окна. Размятеlev полностью был согласен не токмо умом, но даже сердцем с екатерининским определением масонства как противонелепого общества. Светская религия, коли на то пошло, значительно уступала в его глазах праотческой с привычными попами, скороговорочными «отченашами» и свячеными пасками. Постоянный враг масонов Потемкин, глядевший на них с брезгливой настроженностью, являлся для Размятеlevа постоянным образцом.

Подобные мысли попеременно с черепами, шпагами, треугольниками и другими масонскими атрибутами проносились в быстром и холодном мозгу Размятеlevа, пока он наблюдал бушевавшего цесаревича. Свое место в ситуации граф уже определил. Позиция его вместе с наследником сводилась к краткой формуле: игнорировать и отрицать. Цесаревич данную программу принял.

Под сию формулу и угодил Иван Мюллер, посланец злосчастливого Корпа, беспрепятственно прошедший в Малый кабинет. Беспрепятственно, ибо путь от заимодавца к должнику всегда был прямым, если речь шла не об отдаче денег. Здесь же заем был свежим и даже проценты еще не успели нарасти.

Формула была тут же применена к делу. Грансиньору даже не пришлось вступаться.

— Вот что, любезнейший,— брезгливо проговорил Размятеlev,— срок займу десять лет, а до тех пор его императорское высочество цесаревич Павел Петрович слыхом не хочет слышать о всей вашей ничтожной компании. Никаких дел с такой братией иметь ему невместно.— С этими словами граф разорвал на мелкие клочки почтительную просьбу Корпа.— А теперь вон, любезнейший.

Павел Петрович смотрел сквозь Ивана Мюллера. Он его просто не видел.

7

Схожий с львиным рывканьем хохот провожал тощую фигуру доминиканского патера Жозефа де Пальма. Опрометью мчался патер по скользкому мрамору Таврического дворца, то попадая на бархатные дорожки, то сбиваясь с них, пока не вылетел к парадной лестнице. Кубарем скатился с нее и, едва не забыв шубу на руках дежурного гайдука, выскочил на улицу. Оглянувшись на высокие окна дворца, он вдруг тонко и растерянно всхлипнул.

— Люцифер! — невесть кому пожаловался де Пальма.

Недавняя сцена вновь проходила перед глазами иезуита. Патер Жозеф после долгих просьб и настояний удостоился приема у могу-

щественного Потемкина. Светлейший князь вновь был награжден всеми возможными знаками отличий во время своего праздничного отъезда с поля брани после взятия Очакова. Звезда его после охлаждения царицы к Мамонову снова стояла высоко. Патер возлагал большие надежды на свой визит и тщательно готовился к нему. Цель его состояла ни много ни мало в воссоединении церковью римской и греческой. Следуя стройной логике ученика святого Доминика, достаточно было императрице вместе с ближними вельможами принять догматы католицизма, как законопослушный народ, распевая «Te Deum laudamus»³, преклонит колени пред наместником божьим на земле. Мысль эта казалась патеру Жозефу настолько простой, ясной и достижимой, что он никак не сомневался в ее осуществлении. Стоило лишь доказать Потемкину преимущества истинной религии перед ложной, и первый вельможа государства убедит царицу в необходимости великого шага. Себя самого патер Жозеф прозревал причисленным к апостолам святой веры, со светящимся венцом вокруг горбоного лика.

Потемкин принял его сидя, но и в креслах, обычно скрадывающих рост, показался патеру огромным до чудовищности. То ли не сошел с него загар Новороссии, то ли был он смугл от природы, но утонченному посланцу Рима князь Таврический показался истым азиатом. Такому впечатлению содействовал просторный бухарский халат, в который запахнулся Григорий Александрович. Фельдмаршал был без парика. Тронутые сединой — перец с солью! — темные спутанные волосы спускались на выпуклый лоб.

— Ну что там у тебя? — бесцеремонно тыкнул его Потемкин.

Патер, не смущаясь таковой фамильярностью, вполне уместной при обращениях высших к низшим, стал развивать свои умодоказательства.

Светлейший слушал его с заинтересованным вниманием.

— Разъединение церковью пагубно сказывается на судьбах всего христианства, — развертывал суждения доминиканец. — Еще Флорентийский собор пытался излечить сию застарелую болезнь.

Вице-император, как его величали завистники, весь превратился в слух.

— Могущество святого престола обнимает обе Индии, Африку и Азию, теперь оно досягнет до Камчатки и Росской Америки, — вдохновенно вещал патер.

Ничто не дрогнуло на каменном лице первого вельможи империи.

— Рим благословит крестовый поход против Турции, — непрерываемо заверил де Пальма. — Во власти папы вязать и разрешать.

Светлейший посмотрел на доминиканца, как тому показалось, чуть пристальнее.

— Сколь велико будет торжество христианского мира! — поднялся на высокую ноту опытный проповедник. — Едва кумир своих поданных Екатерина Великая примет истинную веру, как...

Тут де Пальма загнулся. Рука Потемкина, подпиравшая крутой подбородок, поднялась к щеке, выхватила из-под века левый глаз и подкинула его кверху. Поймав, снова подбросила. Еще раз, еще раз. Снова, снова, снова.

Будто месмерову опыту подверженный, остолбенело смотрел патер Жозеф на движения рук светлейшего. Тот уже действовал обеими дланями, между коих прыгал большой голубой глаз с черным зрачком. В какое-то мгновение доминиканец вдруг увидел, как зрачок превратился в головку чертика. Чертик тоненькой лапкой почесал рожки и, высунув красный язык, подразнил им.

³ Тёбе Бога хвалим (лат.).

— Люцифер! — возопил патер и стремглав выскочил наружу.

Вдогонку ему загредел львиный хохот князя Таврического.

Много после де Пальма сокрушенно сознавался, что в те минуты полностью запамятовал о том, что Потемкин был крив.

Светлейший еще не отхохотался, когда дверь в его покои приоткрыла Сашенька, ближняя племянница князя. Не случайно название ближней, так как попеременно одни приближались, другие отдалялись. Были и дальние. Всего их числилось пять, сестер, — Александра, Варвара, Екатерина, Надежда и Татьяна. Красавицы, богачки, фрейлины царицы, они считались завидными невестами, но дядя неохотно отдавал их в замужество. Рано или поздно, они все же выскакивали за счастливых, но светлейший продолжал их держать в своей орбите. Недавно овдовевшая Александра Браницкая сразу по приезде фельдмаршала в отпуск расположилась в его дворце на правах хозяйки и домоправительницы. Кстати говоря, Сашенькой ее звал только сам Потемкин. Умная, гордая, властная, никому, кроме него, она не позволяла подобной короткости. Светлейший в отличие от большинства умел ценить достоинства даже в ближних. Не зря при смерти он хотел видеть ее около себя. Заметим, что из всей прекрасной пятерки, кажется, лишь она одна оставалась для Потемкина только племянницей.

Красавицами всю эту девичью, включая Сашеньку, можно было назвать лишь условно. На выставке северной красоты, каким зарекомендовал себя в Европе екатерининский двор, потемкинские родственницы отодвинулись бы во второй, а то и в третий ряд. Не то что они казались дурнушками, нет, миловидную прелесть их никто не оспаривал, но конкурентки, блиставшие прямо-таки фантазмагорической статью, не дали бы им ходу. Однако сверканье вельможного имени было таково, что все достоинства Варенек, Наденок, Катенок множились на него многажды. Именно племянницам было обеспечено постоянное место в капризном сердце светлейшего. А близость к нему в буквальном смысле ценилась на вес золота.

Чем объяснялось подобное внимание к степени второго родства? Такой трехбунчужный паша, каким являлся Потемкин, мог ведь и впрямь перенести мусульманские обычаи в православную столицу. Достаточно было ему моргнуть единственным оком, как первостатейные петербургские красавицы сплели бы вокруг него шаловливый хоровод, готовый к чему угодно. Взгляд Потемкина, однако, останавливаясь неподолгу на владычицах большого света, неизменно возвращался в домашний круг. И он был сполен вознаграждаем за такую последовательность. Каких восторгов не принесла ему Варенька! Запечатанные именными перстнями записки пересылались из одних дворцовых покоев в другие. Сердца горели, сердца пылали...

Варенька давно уже стала княгиней Голицыной, восторги прерывались, но не стихали. Но с другой княгиней, Браницкой, отношения установились иные. Александра Васильевна вошла в приоткрытые двери потемкинского кабинета. Дав отсмеяться дядюшке до конца, она спросила о причине смеха. Князь, прерывая рассказ новыми взрывами хохота, объяснил ей суть дела. Она поулыбалась вслед за ним.

— Но тут вот какая гиштория, — не без озабоченности сказала старшая племянница. — Мне ее сейчас на хвосте принесла Дава Ржевская.

И она пересказала известное нам.

Даже выдавший всякие виды Потемкин озаботился.

— Нет, Ржевиху ко мне не зови. Больше, чем она выболтала, не скажет. Диковинно, что мне ничего не известно. Случилось дело утром, но такие предприятия подготавливаются заранее.

Потемкин был человеком обстоятельств, а не цели и плана. Но с обстоятельствами он справлялся мастерски, и теперешнее, вновь возникшее, он тут же решил обратить в свою пользу. Подперев щеку ладонью, он протянул сильную и резкую ногу:

— Увидела я, младшенька, свою тень на воде.
Ох, тень моя, тень пустая,
Тень холодная, как вода на реке.

Не зря эта песенка ко мне с утра пристала. Все мы тени на воде. Пустые тени, Сашенька, холодные тени.

— Из теней чуел не набивают,— сумрачно заметила Саша.

— И то верно. Разве только этим мы и подтверждаем свое земное существование. Скажи Ржевихе,— приказательно отнесся он к племяннице, — что я займусь ее делом. Придется, видно, ехать к государыне.

Александра Васильевна покинула апартаменты, а светлейший с помощью камердинеров стал готовиться к посещению царицы. За одеванием он перебрал поводы скверного настроения, из которого его на короткое время вывел анекдотический визит патера Жозефа.

Пребывание фельдмаршала в столице подходило к концу, пришла пора возвращаться к армии, воевавшей в Причерноморье против турок, не согласно его воле, а скорее вопреки ей. Подчиненные ему генералы во главе со строптивцем Суворовым гнули свою линию. Здесь, в Петербурге, ему удалось пожать лавры не только за себя, а и за них. Новые пожалования, новые отличия, новые имения. Супротивников, оставшихся при войсках, обделили. Фельдмаршальский жезл Суворов еще подождет.

Екатерина Алексеевна соглашалась с рекомендациями своего постоянного любимца, они сходились с ее взглядами. Талантливых полководцев надо всемерно поощрять, с одной стороны, а с другой — держать в крепкой узде, дабы окоротить преторианские намерения. Потемкин в действующей армии осуществлял ее личную власть, и сопротивление светлейшему равнялось противлению самой царице. Возьми Суворов еще хоть десять Очаковых, в споре с ним прав оказался бы все равно Потемкин. Тут Григорий Александрович мог быть всегда уверен в своем непременном выигрыше.

Тем более точил его неутолимый червь. Удачливому человеку кажется, что удача будет сопутствовать ему во всем, за что бы он ни взялся. Хороший политик, Потемкин не сомневался, что станет и хорошим военачальником. Он ли не умел распоряжаться людьми, он ли их не знал? За год раньше становились ему видны их поползновения. Решительности, сметки, ловкости, да, если хотите, жестокости занимать тоже не приходилось. И вот при всех этих блистательных качествах Потемкину так же далеко было на поле брани до Румянцева и Суворова, как им до него на дворцовом паркете. Будучи человеком умным, превосходство профессионалов марсовой науки он оценить, естественно, умел. Популярностью среди солдат, как тот и другой, Потемкин тоже не обладал. При всей его щедрости, когда он мог запойть и задарить целую армию, Суворов, хоть был и скупенек, одной ложкой, погруженной в солдатскую кашу, полностью заслонял все размашистые жесты любимца Екатерины.

Само отношение полководцев-практиков было к нему обидно снисходительным. Внешняя почтительность, диктуемая субординацией, соблюдалась точно, но не более. Это напомнило Потемкину его знакомство с пиитом Ермилом Костровым. Пьянчуга, обворанец, позаборник, с каким насмешливым высокомерием поглядел тот на него, когда он сдуру подsunул ему свои вирши. «Изрядно, изрядно. Рифмо-

вать только надо подучиться, ваша светлость. Впрочем, это дело нехитрое, я вам покажу». Тогда он, к счастью, нашел хороший выход. Велел выкатить бочку полугара и сказал, хохотнув: «Утопись ты в ней вместе со своими рифмами». Но полководцам так не ответишь.

Помилования и награды, полученные светлейшим, при всей своей грандиозности имели досадно утешительный характер. Екатерина в душе была довольна стратегическими незадачами фаворита. Чрезмерное обилие талантов, соединенных в одном человеке, всегда грозит непредвиденными осложнениями. Уж и так Потемкина за глаза величали некоронованным монархом, а при наличии у него Цезарева или Аннибалова гения он смог бы, пожалуй, стать и коронованным. Теперь призрак возможного величия отступил раз и навсегда в небытие, и утрату его никакие награды не возмещали.

Беспокоила Потемкина и сама царица. Накануне своего шестидесятилетия она не хотела отказываться от Овидиевой науки, и жаждающий взгляд ее обещал возвести в случай нового фаворита. Упasi божь, Григорий Александрович не ревновал государыню ни к одному из этих красавцев. Васильчиковы, Зоричи, Завадовские, Корсаковы, Ланские, Ермоловы, Мамоновы приходили и уходили, а он оставался в постоянных любимцах, как племянницы при нем самом. Давно уже не было у него с Екатериной альковной близости, но духовное согласие от этого едва ли не увеличилось. Порой он сам подталкивал к державной постели нового фаворита, из своих рук обеспечивая спокойный путь государственного экипажа.

Пока он был в отсутствии, Мамонов, прогневив императрицу, получил отставку, а нового красавца еще не было приискано. Царицыны глаза все чаще останавливались на молодом Платоне Зубове. Хорош был, подлец, несказанно. Но за античной внешностью что в башке у этого мальчишки? Удовлетворится он титулами и поместьями или замахнется на его, Потемкина, прерогативы?

В карете по дороге в Зимний Григорий Александрович окончательно расставил по местам все рго и сонга в этой странной гиштории.

«Все это не вяжется с основной политикой империи. Сама ли Екатерина Алексеевна смилоствивилась, палач ли последнюю услугу самозванцу оказал, но даже Пугачеву четвертование на самом эшафоте заменено отсечением головы. А тут с безвестного немца шкуру драть. Вещи несовместимые.

А что, если это блеф? Воронцов привез новое словцо из Лондона. Не понравился мне покер. Игра для аглицких скупердяев. Солдатское наше «очко» не в пример лучше. Так, может, государыня хочет лишь припугнуть баловников? Но только выбрано чересчур сильное средство. Ах, Екатерина Алексеевна, не стало рядом с тобой хороших советчиков. Припугнуть нужно, но и в острастке надо знать меру, а то прямо в Марии Кровавые попадешь.

Вот здесь-то и состоит возможность моего выигрыша. Хватай снова фортуна за чуб, Григорий Александрович! Это начало нити, а там и клубок размотаю».

Потемкин откинул голову на красный сафьян и прикрыл зрячее око. Другое, незрячее, осталось открытым, и холодная голубизна его не выражала никакого участия к терзаниям приговоренного Корпа, к сомнениям Щербатова, к боязни Ржевского, к страхам цесаревича, к заботам всех причастных к сей гиштории.

Не виделось в незрячем оке и никакого участия к зловещим последствиям, кои могут возникнуть для империи после неслыханной и страшной казни.

Карета подъехала к Зимнему дворцу, и арап, спрыгнув с запяток,

распахнул дверцу, из коей на крепкий морозный снег вышел, мгновенно распрямившись, генерал-фельдмаршал российских войск светлейший князь Потемкин-Таврический.

8

— Где государыня? — гремел потемкинский бас, наполняя собой покои до самого потолка. — Я тебя, старая ведьма, наизнанку выворочу и на ту вон печь сушить повешу.

Протасова, давняя наперсница Екатерины, не боявшаяся никого на свете, страшилась единственно окаянного Гришки. Застигнутая врасплох и вконец растерянная, она пробормотала:

— В нужник, батюшка, пошла, в нужник. Это ведь дело женское, не могу я так сразу брякнуть.

Из угловой двери, торопясь, выходила повелительница севера. Потемкинское рывканье подняло ее с судна, на котором спустя семь лет застанет ее смерть.

— Ну и шумен ты, Гриша, — с легким недовольством заметила царица. — Разве что случилось с тобой?

— Не со мной, — значительно произнес Потемкин. — Не со мной, ваше величество. Случилось, однако, нечто в царских ваших палатах, о чем полуотставному сановнику, видимо, знать не полагается. Смирился бы с такой оказией, коли сама фортуна не толкнула меня в средоточье сей гиштории, о коей известен весь Петербург.

— Загадками говоришь, Григорий Александрович, — вспыхнула императрица. — Ничего не пойму из твоих речей.

Потемкин пытливо посмотрел на царицу. Кажется, не лгала.

— Тогда я, наверное, сам попал впросак. Меня умолили дознаться у первой особы государства, живьем с немца шкуру сдирать или предварительно отправив его к праотцам?

— Какого немца, господи сил? — в гневном изумлении вскричала Екатерина Алексеевна. — Какого немца? Что вы за чушь городите, милостивый государь?!

И вдруг, вплотную приблизившись к давнему любимцу, переменяла тон и тихо спросила, легко потянув твердым носом:

— Гришенька, а ты нынче не того? Всегда с такой ерунды хандра у моего героя начиналась. Чем я тебя обидела?

— К прежним обидам новую добавляете, — покраснел Потемкин. — Кто я, Барков или Костров, пииты божьей милостью? Так что мне ответствовать просителям, в каком виде из Корпа чучело набивать?

— Из Корпа? — протянула царица. — Из Корпа? Постой, постой...

«Вся политика основана на трех словах: обстоятельство, догадка и случай». Эта екатерининская сентенция всегда руководила действиями государыни. Ум у царицы был подвижным и скорым. Он мгновенно соединил далеко разошедшиеся концы. Так вот в чем дело!

Екатерина начала так смеяться, так смеяться, как, наверное, не смеялась с детских лет. Слезы выступили у нее из глаз, изнемогая от смеха, она даже не в силах была утереть их. Наконец кашель прервал смех, она отдышалась, и тут, в свою очередь, развеселившийся Потемкин узнал такую неожиданность, которая могла подивить кого угодно.

Простыв на дворцовых сквозняках, околел нежный баловень царицы пудель Корп. Назван он был так по имени дарителя, известного нам купца, гражданина вольного города Любека, осмелившегося презентовать его Екатерине Алексеевне в день тезоименитства. Пудель был ученым: опираясь на августейшую руку, превосходно делал первые па менуэта, умел считать до двенадцати и, прижимая лапу к сердцу, объясняться в любви фрейлинам.

Царицыно горе при его кончине было искренним и глубоким, стремление увековечить милый облик вполне понятным. По человеческому свойству ей казалось в первые часы, что смерть баловня должна быть у всех на устах. Отсюда ее приказ без пояснений: «А из Корпа набить чучело». Бедный обер-полицмейстер, не осведомленный о гибели пуделя, применил приказ к самому купцу. Екатерининская нотация с привлечением имени маркиза Пугачева окончательно сбила его с толку. Дальше события стали нарастать подобно снежку, летящему с горы. Под конец он может образовать лавину.

— Так будем отбой бить, Григорий Александрович? — охрипшим голосом спросила императрица. — Поди обер-полицмейстер шкуру-то с Корпа еще не содрал? — И она опять принялась смеяться.

— Знаю только, что Свербеев уже в Медицинской коллегии побывал на предмет изготовления из него чучела.

— Значит, вызовем сейчас нашего цербера и прикажем ехать к Корпу виниться, что зря напугал.

Потемкин, хохотавший перед тем так, что заставил колебаться подвески на ближних канделябрах, неожиданно посуровел и настораживающе протянул:

— Э нет, так дело не пойдет, Екатерина Алексеевна. С каких пор вышняя власть перед подданными извиняться начала? Пусть Корп подает просьбу о помиловании, а ты наложишь резолюцию.

— Да в чем же он виноват?

— В чем-нибудь да виноват, — мудро заключил Григорий Александрович. — Кстати, знаешь ли, что Корп масон?

— Эта вафля? — презрительно отозвалась Екатерина. — Ох и надоели мне господа фармазоны!

— Сей казус и будет удобной возможностью припугнуть всю их компанию.

И тут в сознании Екатерины холодным лучом просверкнула мысль о безмерности ее власти. Она еще больше выпрямилась, и все в ее кабинете от последней кошки, согласно английской пословице дерзающей смотреть на королеву, до светлейшего князя Таврического увидели нимб вокруг ее головы. В божественном сиянии растворились мысли и поступки бесчисленных ее подданных. Что значили глупый Корп, бестолковый Свербеев, вельможный Потемкин рядом с умопомрачительным блеском сего нимба? Из самого существа монархии исходила субстанция фантазмагорической ее власти. По богословской терминологии это было чистое действие, подобное природе ангелов. Самодержавие захватывало не токмо земные, но и небесные сферы.

— А и впрямь можно было набить из этого дурака чучело. Все бы решили, что так и надо, — сказала императрица всероссийская и замораживающе улыбнулась.

Светлейший князь Потемкин-Таврический, первый вельможа государства и первый подданный империи, почувствовав перемену, резко отделившую его от нимбоносицы, смиренно и восхищенно прознес:

— Аб-со-лют!

Так, или почти так, рассказал об этом в своих записках граф Сегюр д'Агессо, последний посол старой Франции при Санкт-Петербургском дворе.



АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ

история

ПРОЛОГ

Взойдя на гору, основав державу,
я знал людскую славу и разор.
В чужих соборах мои кони ржали —
настало время возводить собор.

Немало в жизни виделось чудовищ,
Они пойдут на каменный узор.
Чтоб было где хранить потомкам овощ,
настало время возводить собор.

Меж правого и левого базара
он оставался все-таки собой.
В Архитектуре главное, пожалуй,
не выстроить, а выстрадать собор.

Начало будет в Муроме покамест,
Казбек от его звона задрожит.
Положен во главу лиловый камень.
Под этим камнем человек лежит.

«Ваш прах лежит второй за алтарем», —
сказал мне краевед Золотарев.

I

В лето семь тысяч шесть десят первом году Государь и Великий князь Иоанн Васильевич IV вся Руси приде во град Муром и молятся в первоначальной церкви Благовещенья (деревянной), помощи прося со слезами: «Аще град Казань возьму, аз повелю здѣ устроить храм каменный Благовещенья». Государь Казань взял и того же году, в лето, прислал в Муром каменщиков.

«Житие Константина, Феодора и Михаила, муромских чюдотворцев» (древнерусская повесть XVI в., со списка, хранящегося в Муромском музее, к-7165, мм-30152).

...собор основан в 1555 г. близ берега Оки. Называлось же место это Посадам. В память пребывания в соборе в 1812 г. Московской Иконы Иверской Б М установлено празднество každогодно 10-го сентября.

Из описания А. Полисадова мая 31 дня 1887 г.

Кто ты родом, Андрей Полисадов?
Почему, безымянный заложник,
малолетнее чадо,
привезен во Владимир с Кавказа?

Значит, надо. В архивах не сказано.
 (Шла война. Мятежи грозили.
 И Царевич бежал к безбожникам¹).
 Его спешно усыновили,
 дали имя: Андрей Полисадов.
 Домом стал Собор на Посаде.
 «Кто я?! Кто?!» — взвояет выросший ссыльный.
 Утешает собор его: «Сын мой...»

II

«Господи, услышь меня, услышь мя, господи!..»

На границе Горьковской и Владимирской области
 я стою без голоса, в неволю отданный,
 родина, услышь меня, услышь мя, родина!
 Назови по имени, пошли горных коз пасти.
 Ты ж сама без голоса, услышь ее, господи...»

И летят покойники и планеты по небу —
 «кто-нибудь услышь меня, услышь мя кто-нибудь...».
 Это ж твой ребенок, ты ж не злоумышленник.
 Мало быть рожденным, важно быть услышанным.

Смыслы всех мятежников, взрывы современщины:
 «Женщина, услышь меня, услышь мя, женщина...»
 «Это я, господи! Услышь мя, господи! —

на углу Горького и Маяковского
 ты кричишь мне, нищая, в телефонной хижине —
 Господи, услышь меня! господи, услышь меня!»

И тебе история вторит фразой горскою:
 «Господи, услышь меня, услышь мя, господи...»

III

Полисадов Андрей (Алексий), год окончания 1834, по
 1-му разряду, 5-му номеру, 1836 — свящ. с. Шиморского,
 1866 — Москва, 1-го класса, Новоспасский монастырь, 1882—
 Благовещенский Муромский монастырь.

*Малицкий Н. В., «История Владимирской Духов-
 ной семинарии» (выпуск 2-й).*

С 1882 г. Благовещенский собор управлялся архимандритами (первым был Полисадов).

Травчатов Н. В., «Город Муром и его достопримечательности» (Владимир, 1903).

Русифицированного мцъри
 в семинарии учат на цырлах.
 В восемьсот тридцать пятом женился.
 Его ждал Собор на Посаде.
 Темной мыслью белых фасадов
 стал он. Плен не переменялся
 оттого, что купцы прикладывались
 к кольцу с тоскливым аквамаринном.

¹ «Грузинский Царевич Александр Баграт через Турцию бежал к шаху» (Дубровин Н., «История войны и владычества русских на Кавказе», СПб, 1886 — из библиотеки Полисадова).

Умер муромским архимандритом.
 Отвлеклось родословное древо.
 Его дочка, Мария Андреевна,
 дочь имела, уже Вознесенскую,
 мою бабу, по мужу земскую.
 Тут семейная тайна зарыта.
 Времена древо жизни ломали.
 Шарил семинарист знаменитый —
 в чьих анкетах архимандриты?
 У нас в доме икон не держали,
 но про деда рассказ повторяли.
 И отец в больничных палатах
 мне напомнил: «Андрей Полисадов».

Прибыл я в целомудренный Муром.
 Город чужд экскурсантам и турам.
 Шел июль. Сенокосы духмяные.
 За Окою играли Тухманова.
 Шли русалочки, со смешочками
 огурцы уплетая сочные.
 Шла с завода смена рабочая.
 По тропинке меж дикой малиной
 поднималась к собору мешочница
 на горбу со своею могилой.

Там я встретил Золотарева,
 «Жду вас. Ваша могила готова.
 Ваше тело сто лет без надзора.
 Тело ваше! Я б начал с собора.
 Как поэт-антирелигиозник,
 вы найдете вопросник курьезным».
 Мое тело меня беспокоит.
 В нем какой-то позыв беззаконный.

IV

Муром целомудренный. Над Окой хрустальной
 посидите тайно.

Не забаламутьте вечер отошедший.
 Читите целомудренность отношений.

Не читайте почты, вам не адресованной,
 не спугните чувства вашего резонами,

не стучите дворником в окна к ласкам утренним,
 все двоим дозволено — если целомудренно.

Эта целомудренность отношения
 по лесам кому-то говорит отшельничать,

там нельзя охотиться, там стоял Суворов,
 соловьи обходятся без суфлеров.

Мудрость коллективная хороша методою,
 но не консультируйте, как любить мне родину.

(И когда усердные патристы мнимые
 шлют на нас публичные доносы анонимные,

просто из брезгливости природной
не полемизирую с оборотнем.)

У любви нет опыта, нету прогрешения,
только целомудренность отношения.

V

«Нет ли в ризницах церковных старинных омофоров, сакосов, фелоней, епитрахилей, палиц, стихарей, орарей, мантий и власяниц? Старинных, шитых золотом и цветными камнями воздушков, убрусов, хорутвей и плащаниц?» «Нет. Кроме четырех княжеских шапочек. Они малинового бархата, шиты золотом и серебром».

Из рукописных ответов архимандрита А. Полисадова на вопросник Академии художеств мая 31 дня 1887 г.

Сохранилась соборная опись.
Почерк в усиках виноградных
безымянного узника повесть
заплетал на фасад и ограды.

«8 старых опор. 8 поздних.
Консультировал Барма и Посник»².
И ложился в архив синодальный
Муром с привкусом цинандали.
«Пол чугунный и пол деревянный,
называю вас, сам безымянный!»
Византийские ризы расшили
птицы будущего Гудиашвили.
В этом перечислении скорбном,
где он пел золотую тюрьму,
я читал восхищенье собором
и неясные счета к нему.

«Не имеются ли мощи изменников?
Сколько окон? Живая ль вода?»
«Не имеется. Жизнь — одна».
«Мать Иверская, икона,
эвакуированная от Наполеона,
мы судьбой с тобой схожи, товарка.
Так же будешь через столетье,
нянча сына, глядеть в лихолетье
из проема в вагоне товарном.
Когда край мой с моей колокольни

возвещает печаль и успехи,
из второй моей родины, горной,
через час возвращается эхо.
Кто ты родом, костыль палисандровый?»
Помолись за меня, Полисадов...
«Я молюсь за царя Александра,
что когда-то лишил меня имени.
Тяготят теперь имя и сан его.
Хочет он безымянную схиму.
Спор решает душа, не топор».
«Да, отец», — отвечает собор.

² «Ступенчатый трюмп колокольни свидетельствует, что в Муроме работали Барма, Посник или кто-либо из членов их артели» (Н. Н. Воронин, сборник работ. Л. 1929).

Так толкуют в своем разладе
дух смиренный и дух злорадный:
«Погоди, Собор на Посаде!»
«Подожду, Андрей Полисадов».

Как сейчас они сходны судьбою!
Человек, одинокий в соборе,
и собор, одинокий в истории,
и История — в мертвых просторах.
Завитую пожарскую чашу³
оплетал виноград одичавший.
Завитком зацепилась усатым
подпись бледная: «Полисадов».

VI

Почему он бежать не пытался?
Не из страха ж или конвоя?
Полюбил он лес за Окою,
это поле с немым укором,
где тропинка — прямым пробором,
как у всех его прихожанок.
Полюбил он хмурую паству,
русых узников государства.
Утешая печалей толпы
в двух церквах, холодной и теплой,
разделенных стеной допотопной,
вдруг он понял, что в них нуждался,
в них он большую боль увидел,
чем свою. И для них остался.

Ежедневно он шел к ограде,
в пояс кланяясь эху фасадов:
«Добрый день, Собор на Посаде».
«Добрый день, Андрей Полисадов».

Обмирала со свечкой школьница —
глаза странные, золотые...
Это первое чувство молится!
Он ее ощущал затылком.
Он томился перед собором,
золотым озаренный взором.
Но когда совратитель исподволь
прошептал ему что-то площадно,
он избил его среди исповеди,
сломал посох и крикнул: «Прощаю!»
После сутки лежал на плитах,
Не шутите с архимандритом!

VII

Подари мне милостыню, нищая Россия,
далями холмистыми, ношей непосильной.

³ «Чаша водосвятная красной меди, под рукоятью вычеканены слова: «Лета 7147 июля 17-го сию чашу очищения приложил для Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Муроме на Посаде, Боярин Князь Дмитрий Михайлович Пожарский» (из ответов А. Полисадова). Сейчас чаша эта экспонирована в Муромском музее. Полисадов ошибся, она из сплава олова.

Подвези из милости, гужевик бродячий,
подари мне истину: бедные — богаче.

Хлебом или небом подарите милостыню,
ну а если нету, то пошлите мысленно.

Те, над кем глумились, нынче стали истиной.
Жизнь — подарок, милостыня. Раздавайте милостину!

Когда ты одета лишь в запах сеновала,
то щедрее это платьев Сен Лорана.

VIII

В 1979 г. реставрированы интерьеры, колокольня ныне действующего Благовещенского собора.

Из вежливости

Реставраторы волосатые!
Его дух вы стремитесь вызвать.
Голубая тоска Полисадова
в ваши пальцы вьелась, как известь.
Эти стены — посмертная маска
с его жизни, его печали —
словно въпуклая азбука,
чтоб слепые ее читали.
Муромчанка с усмешкой лисьей
мне шепнула, на свечку дунув:
«Новый батюшка — из Тбилиси».
«Совпадение», — я подумал.
Это нашей семьи апокриф
реставрировался в реальность.
Не являюсь его биографом,
но поэтом его являюсь.
Эхо прячется за колонною,
словно девочка затаенная.
Над строительными лесами
слышу спор былых адресатов:
«Погоди, Собор на Посаде!»
«Подожду, Андрей Полисадов».

IX

Реставрируйте купол в историческом кобальте!
Реставрируйте яблоню придорожную в копоти.
Реставрируйте рыбу под мазутными плавнями.
Возвратите улыбку на губах, что заплакали.
Возродите в нас совесть и коня Апокалипсиса.
Реставрируйте новое, что живое пока еще!
Что казалось клиническим с точки зрения приказчика,
скоро станет классическим, как сегодня Пикассо.
Чистый вздох стеклодувши из глуши гусь-хрустальной
задержался в игрушке модернистки кустарной.
Чтобы лет через тыщу реставратор дотошный
понял вечную душу современной художницы.

X

Он остался в архивах царевых,
в подсознание Золотарева.
Он живет по Урицкого, 30.

В доме певчие половицы.
 Мудр хозяин, почти бесплотен,
 лет ему за несколько сотен.
 Губы едкие сжаты ниточкой.
 Его карий взгляд над оправой,
 что похожа на чайное ситечко,
 собеседника пробуравит.
 Взгляд был цепким и тем не менее
 был каким-то щемяще семейным.
 Пимен нынешний не отшельник,
 я б назвал его пимен-общественник.
 Он спасает усадьбу Некрасова,
 окликая людей многократно
 от истицы Истории имени.
 Бескорыстно-районные пимены!
 Боли, радости, вами кошимые,
 ваша память — народная совесть.
 Я ему рассказал свою повесть.

«Полисадов?» — он спросит ехидно,
 лба морщины потрет, словно книгу.
 И из недр его мозга с досадой
 на меня глядел Полисадов.

Профиль смуглый на белом соборе,
 пламя темное в крупных белках,
 и тишайшее бешенство воли
 ощущалось в сжатых руках.
 (Вот таким на церковном фризе,
 по-грузинскому царевровым,
 в ряд с Петром удивленной кистью
 написал его Целебровский⁴.)
 Но не только в боренье с собою,
 посох сжав, побелела рука —
 в каждодневном боренье с собором.
 Он в нем с детства видел врага.
 В нем была бы надменность и тронность,
 если бы не больные глаза
 и посадки грузинская стройность,
 что всегда отличала отца.
 «Что тебе, бездуховный отпрыск?» —
 как бы спрашивал хмурый образ.
 Но материализм убеждений
 охранял меня от привидений.
 Молодая жена Валентина
 чай подаст и уложит сына.
 Долго спор об усадьбе Некрасова
 и о том, что история — классовая.

XI

В 1850 году семья карачаровского графа Уварова потратила на свои нужды 75 тыс. руб., в то время как крестьянская семья расходовала 181 руб. 26 коп.

Д. Пугков, «Муром» (1979).

Как Россия ела! Семга розовела,
 луковые стрелы, студень оробельный,

⁴ Целебровский П. И. (1859—1921) — художник I класса, расписывал собор по заказу Полисадова (см. Н. Кондаков, «Словарь русских художников»).

красная мадера в рюжке запотела,
 в центре бычье тело корочкой хрустело,
 синяя чурчела, крабов каравеллы,
 смена семь тарелок — все в один присест,
 угорь из-под Ревеля — берегитесь, Ева! —
 Ева змея съела, яблочком заела,
 а кругом сардели на фарфоре рдели,
 узкие форели в масле еле-еле,
 страстны, как свирели, царские форели,
 стейк — для кавалеров, рыбка — для невест,
 мясо в центре пира, а кругом гарниры —
 платья и мундиры, перси и ланиты,
 а кругом гарниры, — заливные нивы,
 соловьи на ивах, странники гонимые,
 а кругом гарниры — господи, храни их! —
 сонмы душ без имени... —

позабывши перст,
 ест дворянский округ, а в окошках мокрых
 вся Россия смотрит, как Россия ест.

хп

Я твою читаю за песню песнь:
 «Паче всех человек окаянен есмь».
 Для покорных жен, для любовных смен
 паче всех человек окаянен есмь.
 Говорящий племянник зверей и рощ,
 я единственный в мире придумал ложь.
 Почему на Оке от бензина тесмь?
 Паче всех человек окаянен есмь.
 Опозорен дом, окровавлен лес,
 из истории стон, из Гаяны — весть,
 но кто кинет камень, что чист совсем?
 В одного камнями кидают семь.
 Но отвергнув месть, как пройдя болезнь,
 человек за всех неприкаян есть —
 ставя храм Нерли, возводя Хорезм,
 человек за всех осиянен есмь.
 Почему ж из всех обезьян, скотин
 осиянен есмь человек один?
 Ибо «Песней песнь» — человечья песнь.
 Человек за всех богоявлен есмь.

хш

Это было в марте, в вербном шевелении.
 «Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

Я разделась в церкви — на пари последнее.
 Окрести язычницу совершеннолетнюю.

Я была раскольницей, пьянью, балериной.
 Узнаешь ли школьницу, что тебя любила?

Глаза — благовещенские, желтые, янтарные...
 Первая из женщин я вошла в алтарную.

От толпы спасут меня сани шевролетные...
 Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

Я люблю твой голос, щеки в гневных пятнах.
Буду годы, годы тайная жена твоя.

На снегу немыслимом, схваченная платьем,
встану с коромыслом — молодым распятым!

Я пришла дать волю и раскрепощенье.
Я тебя простила, слепой священник...

Завтра в шали черной вернусь грех отмаливать.
Врежется в плечо мне перстень твой эмалевый.

«Любишь! любишь! любишь!» — прочту во взорах...»
Содрогнулось чудище пустого собора.

XIV

В 1882 г. чугунный пол заменен на деревянный, цитовой, главы покрыты железом и крашены медянкой, пробита арка для соединения храма с теплой церковью, клиросы отделены киотами, стены заново покрыты живописью.

Из описания Полисадова.

...были заподозрены в разброске прокламаций два послушника Благовещенского монастыря.

Из «Донесения Влад. Губернского Жангармского Управления».

Он случившимся тяготился,
золотой заложник истории!
В середине шестидесятых
он от дел мирских удалился.
Сбросил имя. Стал Полисадов
настоятелем Алексием.
Настоятель был прогрессивен.
Сгоряча собор перестроил.
Церковь теплую свел с холодной
аркой циркульной, бесколонной,
полстены проломив при народе.
Арка ахнула переходная
как глубокий вздох о свободе!
А над аркой, стену осия,
повелел написать Алексия
и за ним — глаза золотые.
И сказал, как в зеркало, глядя:
«Чья взяла, Собор на Посаде?»

Задержалось эхо с ответом.
Человек расквитался с историей.
Он стоял, свободы отведав.
Он казался себе Егорием
с пятиглавою аллегорией.
Был он воин. Он был мужчина.
Распрячилась жизни пружина.
Звал художников⁵. Знался с Уваровой⁶.
Своим весом спасал арестованных.

⁵ Магдалина, что обмирала, вышла в Омске за генерала.

⁶ Уварова Прасковья Сергеевна — графиня, жила под Муромом, с 1884 г. председательница Императорского Археологического об-ва, автор 174 работ, в том числе «Могильники Сев. Кавказа» (Историческая энциклопедия).

Например, когда пару монахов
(Агофангела и Евлахия)
обвинили в расклейке листовок.
Было страху!
Революция только заваривалась.

Но уже завезли в ограду
камень редкого лабрадора
цвета выцветшего граната —
камень с именем «Полисадов».
И Уварова губы кусала.
И вздохнуло эхо фасадов:
«Чья взяла, Андрей Полисадов?»
Похоронен он у Собора
на Посаде.

xv

Чья ты маска, Андрей Полисадов, —
дух мятежный семьи Багратов?
друг и враг шамхала Тарковского?
несмирившийся вихрь мюрида?
на соборной стене осадок?
Золотой мотылек бестолковый
залетел на твой светочадов.
Ты в миру Андрей Полисадов,
а до мира, а после мира?
Смысл бессмертный и безымянный,
что хотел ты в земных временках,
став Андреем и Алексием?
Почему из людского стада
духи Грузии и России
тебя выбрали, Полисадов?
Почему против воли пиита
то анафемою, то стоном
голос муромского архимандрита,
словно посох, рвет микрофоны?
И влечет меня, и влечет меня
что-то горнее, безотчетное,
гул низинный вершин грузинских...
Может, мне Калантадзе кузина?

xvi

Ты прости мне, Грузия, что я твой подкидыш.
Я всю жизнь по глупости промолчал. Как примешь?

Бьется струйка горная в мою кровь равнинную.
Но о крови вспомним мы, только в грудь ранимые.

Вот зачем отец меня брал на ГЭС Ингурскую,
Где гора молитвенна, как игумен.

Эта кровь невольная в моих темных жилах
вместо «вы» застольного «мы» произносила.

«Наши!» — говорю я, ощущая пульсом,
как мячи пульсируют в сетку ливерпульцам.

«Это наши пропасти, где мосты мизинцами,
это наши прописи рыцарства грузинского.

Может, есть отдельные короли редиса,
но делился витязь шкурою единственной

с Александром Сергеевичем, Борисом Леонидовичем,
тер щекой сердечно мокрые ланиты.

Вновь ночные фары — может, мои кровинки —
на горе рисуют полосы тигровые».

И какой-то тайною целомудренной
тянет сосны муромские к пицундовским.

XVII

Когда сердце устанет от тины
или жизнь моя станет трудней,
календарь на часах передвину
на тринадцать отвергнутых дней —
перейду из Пространства во Время,
где Ока и тропинка над ней.

И тогда безымянный заложник
выйдет в сумерках на косогор,
как слепую белую лошадь,
он ведет за собою собор.

И, обнявши за белую шею,
что-то шепчет на их языке —
то, о чем рассказать не сумею.
А потом они скрылись к реке.

I ЭПИЛОГ

Изменяйте ангелу, изменяйте черту —
но не изменяйте чувству безотчетному.

Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,
тайное отечество безотчетное.

Женщина замешана в нем странноочевая —
ты мое отечество безотчетное.

Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчетное, безотчетное...

Шинами обуется, мантией почетною,
только не обучитесь безотчетному,

где перо уронит птица неученая —
как письмо в отечество безотчетное.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчетное.

Это безотчетное, безогчетное
над небесной пропастью вам пройти нашептывает...

Когда черти с хохотом вас подвесьят за ноги,
«Что еще вам хочется?» — спросят вас под занавес.

«Дайте света белого, дайте хлеба черного
и еще отечество безотчетное».

И ЭПИЛОГ

Мой муромский мюрид, простимся, мой колодник!
Я обещал собор. Я выстрадал собор.
Меж теплой стороной и стороной холодной
сквозит в стене дыра, пробитая тобой.

Я говорю с тобой из теплого собора.
Зачем второй раз жить? А первый раз зачем?
Лампадкой ты горишь в мозгу Золотарева,
в мозгу моих друзей, читателей поэм.

Любая жизнь — собор. В моей — живые башни.
Одну зову я «Ты», другую — «Родион»,
и безымянный звон над башней самой зряшной,
собор — не Пантеон.

Распущен мой собор на волю, за грибами.
Горюют, пьют, поют. Назначен в сердце сбор.
Одна из башенок мотор разогревает.
Все это мой собор.

Меньшую башенку экзаменатор топит.
По баллам недобор для нашенских сорбонн.
Но в сердце у нее тысячелетний опыт —
куда профессору!
Все это мой собор.

Бродите по земле, собор нового типа!
Между собой моей вы связаны судьбой.
За счастье вас любить — великое спасибо.
И это мой собор.

Пускай летят в собор напрасные каменья.
Из праздных тех камней сработаем забор.
Живу я как пою — пою я как умею.
Свободен мой собор.

Однажды ошибаются саперы.
Шумит любовью жизнь. Но не лови ворон.
Горят огни лампад вселенского собора
и без лампад огни в соборе, во втором.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЭРНСТ ГЕНРИ



НЕОФАШИЗМ ПОДЫМАЕТ ГОЛОВУ

Близится тридцатипятилетняя годовщина победы в величайшей битве в истории человечества — победы над фашизмом. У кого из нас те годы не оставили неизгладимый след в душе на всю жизнь?

Бывают глобальные политические эпидемии несравненно страшнее физических. В 30-х и 40-х годах мир пережил одну из них, и если бы не социалистическая великая держава, выигравшая главную битву с гитлеровской чумой, мир мог бы погибнуть. Земля, быть может, на века превратилась бы в планету изуверов и садистов. Люди старшего поколения никогда не забудут о том, что было пережито.

Встает вопрос, и теперь задают его все чаще: предстоит ли такое еще раз? Выживет ли фашизм в оставшиеся десятилетия нашего века? Сумеет ли он перейти к серьезной атаке, к мести за 1945 год, или мы наблюдаем всего лишь его замедленную агонию? Действуют ли на сцене более или менее заметные кандидаты в новые гитлеры и муссолини, или же речь идет только об авантюристах и прохвостах мелкого пошиба?

Ясно, что от ответа на такие вопросы для будущего, особенно европейцев, зависит немало.

Споры на эту тему велись все послевоенные годы. Мнения разделялись. Многие считали, что фашизм в результате войны если и не убит наповал, то, во всяком случае, искалечен до такой степени, что на большой международной арене в наше время способен только ковылять и шипеть, но всерьез не нападать. Указывалось, например, на то, что в современном капиталистическом мире, кроме Италии, нет ни одной страны с массовой фашистской партией; что даже господствовавший еще после войны фашизм на Пиренейском полуострове, в Испании и Португалии, в 70-х годах бесславно развалился. Подчеркивали, что мелкая буржуазия, прежде толпами вливавшаяся в фашистские организации, теперь во многих случаях движется скорее влево, чем вправо, либо же пребывает в апатии. Наконец, обращали внимание на то, что монополистический капитал, также якобы учитывающий прошлое, сейчас больше склонен поддерживать «мирные», солидные буржуазные партии, чем фашистских головорезов.

Все это, несомненно, в какой-то степени отвечает действительности. И тем не менее сегодня мы стоим перед фактом, что фашизм после довольно длительного обморока начинает приходить в себя и становиться на ноги. Есть даже основания считать, что он готовится вновь броситься на человечество — если не завтра, то все же при жизни ныне здравствующих поколений.

Так ли это?

Мы оглядываемся на Запад.

Сигналы, свидетельствующие об активизации неофашистов, приходят одновременно из разных стран.

В Западной Германии, когда-то очаге мирового фашизма, на горизонте внезапно обозначилась тень выглядывающего из могилы Гитлера. Книжки о нем расходятся в огромном количестве, «очеловечивающие» его фильмы смотрят миллионы людей. Широко распространяются пластинки с его речами и выступлениями Геббельса, дневники

организатора нацистской военной промышленности Шпеера, печатаются статьи о гестаповце Гейдрихе, публикуются даже факсимильные переиздания газеты Гитлера «Фелькишер Beobachter». Не отстают в этом деле и телевидение.

Совершенно очевидно, что все это не случайно и не стихийно. Кто-то за сценой дирижирует оркестром. Большой неонацистской партии нет (главная фашистская организация — НДП насчитывала в 1977 году 9 тысяч человек), а неонацистская пропаганда внезапно приобретает массовый размах. Казалось бы, одно не соответствует другому. Но это не так. Оказывается — и это относится не только к Западной Германии, — наступающий фашизм мыслим и без открыто действующих больших организаций.

Мало того. В ФРГ, тоже как будто «стихийно», учащаются грубые фашистские эксцессы. Уже за 1977 год властями был отмечен почти двойной рост таких провокаций с «повысившейся готовностью» неонацистских банд к применению насилия. Установлено, что эти банды систематически накапливают оружие, боеприпасы, взрывчатку, предпринимая с этой целью налеты даже на армейские посты. Такого раньше не было.

Вновь разжигается антисемитизм, хотя евреев в Западной Германии осталось всего 24 тысячи. Возобновились случаи осквернения еврейских кладбищ. Во время трансляции документального фильма о гитлеровском плане поголовного истребления евреев происходили взрывы. «После взрывов, — писала тогда по этому поводу социал-демократическая газета «Нойе Рур-цайтунг», — уже никто не может представлять старых и новых нацистов как какой-то курьез, как занозу еле видимую, досадную, но терпимую в обществе, кичащемся многообразием мнений». Совершенно верно. Отрицать наличие реальной фашистской угрозы за Эльбой теперь уже довольно трудно. Как будет сказано ниже, есть и другие, особого рода факты, подтверждающие, что это так.

Но распространение рецидива фашизма не ограничивается Западной Германией, и это весьма характерно. Никакой «национальной» специфики тут, как выясняется, нет. Примерно то же наблюдается в других странах Западной Европы, хотя и не всюду столь же отчетливо. Нацисты все-таки старые специалисты своего дела.

В Италии, где неофашистская партия «Итальянское социальное движение» (ИСД) насчитывает около 300 тысяч человек, фашистский бандитизм стал чем-то повседневным. В январе минувшего года сенаторы-коммунисты заявили, что неофашисты пытаются создать в Риме «обстановку хаоса». Отряды специально обученных погромщиков непрерывно пытаются нагнать страх на население.

Тысячу километров дальше к северу, в Англии, стране, где фашизм до войны не смог пустить корни, положение — тоже более или менее внезапно — резко изменилось. Вырастая из маленькой организации «Национал-социалистское движение», расистская партия «Национальный фронт» прорывается на улицы английских городов, хотя пробиться в палату общин не может. Ведется бешеная агитация против цветного населения с расчетом на голоса безработных белых. Но типично гитлеровское лицо этой банды уже раскрыто. Ее главарь Дж. Гиндзэл не скрывает, что следует учению фюрера. «Британия, — пишет лондонская газета «Санди миррор», — стоит перед лицом растущей угрозы со стороны нового поколения нацистов. «Национальный фронт» замышляет прийти к власти тем же путем, как это в 30-х годах сделал Гитлер в Германии». «„Национальный фронт“, — подтверждает видный лейбористский деятель Дж. Джонс, — это современная английская фирма фашизма». А ведь сколько раз в прошлом и еще совсем недавно почти все английские лейбористские и консервативные политики с самоуверенной улыбкой заверяли, что на британской почве, в доброй старой Англии, ничего такого скандального, как фашизм, произрасти не может, что это исключено. Те же джентльмены теперь серьезно обеспокоены. История действительно многих — далеко не всех — учит, хотя и не сразу. Зато временами учит довольно жестоко.

Во Франции неофашисты пока не так открыто выбирают из своих нор, хотя их ячейки разбросаны по всей стране. Они по-прежнему выжидают тот день, когда левые силы во Франции получат большинство на парламентских выборах и окажутся

у дверей власти. В практике терроризма, во всяком случае, упражняются и здесь. Не надо забывать, что творилось во Франции около полутора десятка лет назад, когда тайная фашистская организация ОАС держала под обстрелом всю страну. Кадры оасовцев не исчезли из французских городов и не завалились спать на печку. Запившись, они ждут своего часа, чтобы под какой-то новой вывеской вновь приступить к террору. Кто за их спиной на этот раз?

Зашевелились даже еще так недавно разбитые испанские, португальские и греческие фашисты, о которых многие думали, что собраться с силами они уже не смогут. В Испании был раскрыт заговор франкистов, намеревавшихся захватить правительственное здание, арестовать министров и создать «правительство национального спасения». Еще раньше пять неофранкистских партий объединяются в легально действующую партию «Народный альянс», представленную в парламенте.

Расчитывая на обострение экономического кризиса и раскол в демократическом лагере, почти неприкрыто заново собирают свои силы фашисты в Португалии. В Греции в прошлом году была обнаружена фашистская «Организация национального возрождения», устроившая в Афинах в течение двух лет 70 взрывов и стремящаяся к восстановлению режима «черных полковников».

Можно было бы продлить этот список, включив сюда другие странички из до-ссы «Неофашизм в Европе». Но стоит ли? Тенденция вполне ясна.

Нет нужды сгущать краски. Говорить о настоящей, генеральной мобилизации фашистских сил пока не приходится. Идет, однако, нечто весьма похожее на подготовку к ней, на предварительную тренировку с целью проверки боеготовности. Спрашивается: почему неофашисты зашевелились именно сейчас, в конце 70-х годов? Что их побуждает? Есть два ответа. Один дополняет другой.

Кризис западного капиталистического общества обостряется теперь на глазах у всех, даже не слишком заинтересованных в политике рядовых обывателей. Такого кризиса не было уже много лет. Классовая борьба как внутри отдельных капиталистических стран, так и на международной арене усиливается. Ряд государств поворачивает на путь, ведущий к социализму. В других странах, например в Италии, силы правящих буржуазных партий слабеют.

Нет ничего удивительного, что в такой момент внимание стратегов капиталистического мира вновь — впервые после войны — поворачивается в совершенно определенном направлении. Ожидать каких-то внезапных драматических шагов с этой стороны, по-видимому, еще не время, но неожиданности тут или там уже не исключены.

До сей поры влиятельные правые силы на Западе держали неофашистов в резерве, как бы сохраняя их на крайний случай. Это вело к тому, что неофашистские организации, не получая достаточно ощутимых толчков извне, большей частью находились в сравнительном застое. Они шумели где и как могли, начинали практиковаться в терроризме, но доходить до широкомасштабных политических действий все же не осмеливались. Со сцены фашизм не сходил, но по-настоящему и не двигался вперед.

Тому же содействовало и другое. Массы к фашизму после войны почти нигде не шли. Память о пережитом была жива у людей, и повторять прошлое никто, кроме кучек профессиональных головорезов и психопатов, не хотел. Ни в центре Западной Европы, ни за Пиренеями, ни в США создавать большие неофашистские организации, способные вести крупную игру, не удавалось. Наследники Гитлера и Муссолини топтались на месте, хотя из кожи лезли вон, чтобы продвинуться вперед.

Сейчас многое обстоит по-другому. Неофашисты считают, что в 80-х годах они сумеют собрать множество новых сторонников. А это для них теперь особенно важно. Ведь ясно: какие бы планы они ни вынашивали, чтобы пробраться к власти, без серьезной поддержки им в решающий момент не обойтись. Чем же заменить исчезнувшие массовые фашистские партии?

Достаточно присмотреться к деятельности современных неофашистских организаций в разных странах, чтобы заметить, кого они стараются завербовать в первую

очередь. Это молодежь. Погоня за ней ведется теперь неустанно. Расчет очевиден. Молодое поколение в капиталистических странах, если не говорить о сознательной рабочей молодежи и передовой части студенчества, о прошлом, как правило, почти ничего не знает — ни о второй мировой войне, ни о фашизме. Буржуазная школа и буржуазное государство обычно не шевелят и пальцем, чтобы помочь молодым узнать и понять, что тогда происходило. Это разительное и трагическое по своим последствиям явление, но это факт.

Обманывать же тех, кто не знает, довольно легко. Речь идет не только об учащихся средних школ, но и о значительной части буржуазного студенчества. Какого сорта молодежь растет сейчас, например, в Западной Германии, показывают следующие факты (по данным советского исследователя Л. Г. Истятина). Из приведенных либеральными и социал-демократическими кругами в ФРГ опросов выяснилось, что немалая часть учащихся в этой стране руководствуется «антикоммунистическими воззрениями, негативными клише и фантастическими представлениями об угрозе коммунистов». Свыше 40 процентов опрошенных школьников старших классов заявили, что не имеют ничего против «занятия национал-социалистами руководящих позиций» в стране, 60 процентов высказались за «сильную национальную партию», то есть за тех же нацистов.

В Баварии 48 процентов молодых людей ответили, что приветствовали бы появление диктатора, если он окажется «способным государственным деятелем». По Западной Германии в целом эту идею разделяли 30 процентов опрошенной молодежи.

В правящих кругах ФРГ это прекрасно знают и нервничают. «С растущей озабоченностью я наблюдаю,— заявила не так давно боннский министр по делам молодежи, семьи и здравоохранения А. Хубер,— как часть молодых людей проявляет все больший интерес к правой идеологии, личности «фюрера», «романтике вермахта»...» Сюда и вбивают кол неонацисты. Иначе говоря, возникают предпосылки для рождения новой гитлерюгенд.

Замечено, что если еще в конце 60-х годов ядро неофашистской партии НДП состояло преимущественно из старых нацистов и эсэсовцев, то теперь это в основном молодежь, вступившая в организацию в годы экономического кризиса 1974—1975 годов и в самое последнее время. Тогда как число членов самой НДП сокращалось, ее молодежная организация «Молодые национал-демократы» даже расширилась.

Надо учесть, что, помимо НДП, в Западной Германии действуют теперь свыше двух десятков других неофашистских организаций, также вербующих сторонников преимущественно в среде молодежи. Это «Юные викинги», «Молодежь Штальгельма», «Национал-социалистский фронт действий», «Расовая германская молодежь» и другие. Чем они занимаются? Это не представляет секрета: прежде всего форменной боевой подготовкой. Проводятся военные учения, изучаются техника взрывов и практика уличных провокаций, из складов воруют оружие. Те же организации составляют черные списки лиц, подлежащих в свое время расправе. Так, например, главарь террористической молодежной банды «Национал-социалистский фронт действий» Кюнен заявил: «У нас есть списки со многими именами судей, полицейских, адвокатов и коммунистов — наготове для дня Икс». Либеральных судей и полицейских устрашают так же, как коммунистов. Таким путем готовится новое поколение эсэсовцев.

Сходные явления наблюдаются в ряде других западных стран. В Италии, где большинство армии безработных составляет молодежь, неофашистская партия делала и делает все, чтобы привлечь ее на свою сторону.

Сегодняшняя молодежь — завтрашняя реальная политическая величина. На этом и строятся расчеты неофашистов. Конечно, в их сети попадают только наиболее отсталые, наиболее незрелые слои молодых. Лучшие из молодых становятся активными антифашистами. Но именно незрелые и нужны неофашистам. Молодежь, однако, дело не ограничивается.

В последнее время становится ясно и другое. Неофашисты где только могут стараются приблизить к себе еще один слой (если допустимо называть его слоем) — люмпен-пролетариат. Ничего действительно нового в этом побуждении с их стороны

нет. Люмпены, в особенности уголовные и полууголовные элементы, вербовались фашистами и в прошлом. В Германии гитлеровские отряды штурмовиков и эсэсовцев с самого начала включали немалое число уголовников, которые совместно с отставными офицерами учили нацистов, как устраивать погромы, как грабить и убивать.

Типичным люмпен-пролетарием в начале своей карьеры был сам Гитлер. Из той же среды вышел вожак берлинских нацистов в 20-х годах Хорст Вессель. Таки же подонками кишела гвардия Муссолини. Фашистов и уголовников всегда связывало не только что-то общее в их бандитской психологии, но и обоюдная бешеная ненависть к рабочему движению, к интеллигенции, к подлинной культуре.

В настоящее время, однако, люмпен-пролетариат как социальный слой, живущий в подвалах буржуазного общества, значительно разросся. Под воздействием того же экономического кризиса, выбрасывающего за борт в странах капитала миллионы людей, люмпены образуют целую армию. Особенно увеличивается число тех же уголовников. Об этом приходят сообщения из различных стран.

Относительно небывалого роста преступности в современном капиталистическом мире социологи и юристы писали уже много. Но необходимо учитывать и политические последствия этого процесса. Тут на росте преступности больше всего выигрывает именно неофашизм. Фашизация ненавидящих общество люмпенов происходит довольно быстро, и неофашисты, пополняя свои ряды, широко открывают им двери. Прилив люмпен-пролетариев в их организации, конечно, не афишируется. Но их там действительно встречают с распростертыми объятиями, включая таких молодчиков как «специалистов» своего дела прежде всего в террористические банды. Кое-кто из них даже становится ведущей фигурой в организации. Так, НДП в западногерманском городе Дуйсбурге не так давно выдвинула своими кандидатами в местные органы власти двух бывших уголовников. Один из руководителей той же партии в Брауншвейге в прошлом пытался ограбить банк. Такие же случаи замечены в Италии, Португалии и Японии, где люмпены за участие в фашистских уличных провокациях получают почасовую оплату.

Действующий в США «Национал-социалистский фронт освобождения», заготавливающий черные списки приговоренных им к смерти и уже организующий покушения с бомбами, состоит преимущественно из имевших судимость уголовников. Перевоплощаться в фашистов профессиональным гангстерам проще всего.

Фашисты стараются завербовать и тех скатившихся в люмпен-пролетариат людей, кто еще не причастен к преступному миру, но в результате хронической безработицы потерял всякую надежду на нормальное существование. Им обещают не только неплохую плату за услугу, но и карьеру в будущем.

Проходить мимо возможности дальнейшего притока люмпенов к неофашистам, особенно в случае обострения кризиса на Западе, видимо, нельзя. Это тоже готовые кадры для формирования террористических банд. В чем-то они для нынешних фашистов заменяют мелкобуржуазных сынков гитлеровских времен.

Но все это еще не дает ответа на вопрос, каким образом неофашисты рассчитывают прийти к власти в тех или иных странах. Ясно, что сделать это только своими руками они не могут. Соотношение сил в мире совершенно иное, чем до войны. Антифашизм несравненно сильнее, чем тогда, и неофашисты это знают. Рассчитывать в наши дни на повторение трагического раскола антифашистских сил едва ли возможно. Горькое прошлое рабочим движением не забыто. Рисковать столкнуться с этим движением один на один фашисты, по крайней мере в Европе, разумеется, не хотят. Другими словами, чтобы подобраться к власти, им нужны теперь достаточно мощные союзники в верхах буржуазного государства.

Такие союзники налицо.

Это, во-первых, правые и крайне правые партии, имеющие вес в данной стране. Это, во-вторых, — и здесь кроется главный расчет заговорщиков — профашистские генералы, стремящиеся стать диктаторами, генералы пиночетовского типа. Долго искать их не приходится. Такие генералы и адмиралы водятся сейчас на Западе повсюду и только ждут своего часа; ждут под маской верных стражей буржуазно-демократического строя или без маски, как откровенные сторонники диктатуры.

Все они как огня боятся прекращения гонки вооружений и мирного сосуществования. Все стоят за крайний антикоммунизм, за подготовку террора в сговоре с американскими и натовскими «ястребами». Все полны уверенности, что именно им предназначено «спасти страну» от коммунизма и «советской угрозы». И от всех протягиваются нити к военным ведомствам империалистических держав, особенно к штабам парашютных войск и морской пехоты и к разведкам. Стать новыми пиночетами или новыми «черными полковниками» — для этого они живут. На деле, став диктаторами, генералы ультра неизбежно передадут фактическую власть в руки кадровых фашистов. Предвидя это, те и готовы предложить правой военщине в любой момент свои услуги в качестве преторианской гвардии. Вот почему неонафашисты теперь повсюду открыто выступают за идею военной диктатуры, за реакционных генералов. Так, например, главарь террористической неонафашистской банды «Военный спорт» в Нюрнберге Гоффман прямо заявляет, с какой целью его организация проводит регулярные военные учения: с целью, сказал он, подготовки «ко дню Икс, когда полиция больше не сможет справиться одна с левыми».

Гоффману вторит за океаном фюрер «Американской национал-социалистической партии» Кейл, заявивший: «Когда разразится полная катастрофа, наступит наш звездный час. Правящая элита не сможет больше контролировать обезумевшее от паники простонародье. И тогда мы предложим наши идеи и наше лидерство... Врагам не будет пощады!» Это сигнал военщине: совершайте государственный переворот, мы стоим за вами!

Не случайно и то, что в Западной Германии неонацисты теперь усиленно стараются пустить корни в бундесвере. Уже в 60-х годах было подсчитано, что примерно каждый четвертый солдат или офицер бундесвера симпатизировал неонацистам. В последние годы наблюдались случаи, когда служащие или отставные военные участвовали в организации фашистских сборищ и совершении террористических актов. Замешанными в такие дела оказывались почти все учебные центры бундесвера.

Такие же явления наблюдаются в Италии. В окружении тамошних неонафашистов уже годами гласно или негласно действуют влиятельные генералы и адмиралы, мечтающие о совершении государственного переворота и установлении в Риме военной диктатуры. Несмотря на скандальные разоблачения, некоторые из них все еще зачинают высокие посты.

Такие же сообщения приходят из Португалии и Испании, где франкистские генералы не перестают плести нити заговоров. Демонстрирующие на улицах испанских городов фалангисты выкрикивают: «Армию к власти!» За спиной всех этих сил прячется главный штаб НАТО.

Больших неонафашистских партий за одним исключением в Европе все еще нет. Но военный фашизм может в критический момент вполне заменить их. Пиночеты сейчас опаснее, чем мелкие гитлеры. В кругах ультра только и думают о том, как помочь им поскорее прийти к власти.

В этой связи стоит отметить еще кое-что новое в операциях современных фашистов: их маскировку под террористов левацкого толка. Не все наблюдатели на Западе в достаточной степени учитывают значение этого хода.

Целый ряд фактов подтверждает, что такая операция проводится фашистами теперь не от случая к случаю, а планомерно. Цель ясна: усилить с помощью массового псевдолевого терроризма атмосферу напряженности в той или иной стране, в частности в Италии, и таким образом расчистить путь для диктатуры профашистских генералов. Судя по всему, решение приступить к такой политике было принято неонафашистскими руководителями еще в конце 60-х годов и подтверждено на тайных международных конференциях неонафашистских руководителей в Каттоликке (на берегу Адриатического моря) в марте 1974 года, в Лионе в декабре того же года. На этом стоит остановиться.

В настоящее время в Западной Европе действует строго законспирированная организация, претендующая на роль своеобразного «черного интернационала». К ней принадлежат наиболее активные из неонафашистских групп в разных странах, стоящих за чистокровный, стопроцентный гитлеризм, включая культ фюрера и дуче, расизм

и антисемитизм. Более агрессивных фашистов теперь нет. Большинство филиалов этой организации принимали название «Новый порядок» или «Черный порядок». Ее основателями в январе 1953 года были кадровые эсэсовские офицеры из иностранных легионов Гиммлера, вернувшиеся после войны безнаказанно в свои страны и решившие продолжать свою кровавую карьеру у себя дома. Лет десять спустя к ним присоединился ряд прогоревших руководителей крупнейшей фашистской террористической организации во Франции ОАС («Организация секретной армии»), годами наводившей ужас на страну убийствами и взрывами, но в начале 60-х годов потерявшей большинство своих членов.

Знаменательно, что в ряде случаев ведущие эсэсовцы и оасовцы в организации «Новый порядок» были одни и те же лица; присоединившиеся к ней французы из ОАС большей частью служили Гитлеру еще во время войны. Третьей опорой этого террористического интернационала стали наиболее бесноватые итальянские неофашисты из партии «Итальянское социальное движение», близкие к ультрареакционной военщине.

По данным хорошо осведомленной в таких делах правой итальянской газеты «Темпо», на повестке дня конференции «черного интернационала» в Каттолике 1 марта 1974 года фигурировала следующая тема: «Терроризировать антифашистов при помощи бомб; создавать ужас перед массовыми убийствами; при помощи актов насилия создавать напряженность, применяя методы великой и незабвенной ОАС».

Известно и то, кто стоит во главе «черного интернационала»... Это, во-первых, бывший французский офицер эсэсовского отряда «Шарлемань», он же бывший капитан ОАС Ральф Герэн-Серак. Во-вторых — один из лидеров крайнего крыла итальянских неофашистов, депутат Пино Раути. До недавнего времени к руководству «Нового порядка» принадлежал и бывший бельгийский офицер эсэсовской дивизии «Валлония», он же соучастник ОАС Леон Дегрелль. Человек этот, приговоренный в своей стране к смерти, проживал в Испании, где сотрудничал с последним главарем нацистской разведки, любимцем Гитлера Отто Скорцени. Все эти лица — фанатичные сторонники фашистского терроризма. Под их руководством, видимо, и был разработан план внедрения неофашистов в левацкие организации. Существование этого плана не подлежит сомнению. В 1978 году итальянский сенатор А. Банфи, президент «Международной федерации борцов сопротивления», предал гласности следующий факт. Связанная с «черным интернационалом», впоследствии разоблаченная подпольная агентура «Ажинтер» разработала проект, в котором говорилось:

«На наш взгляд, первым делом должно быть разрушение государственной структуры (либерально-буржуазной страны.— Э. Г.), и это должно произойти под прикрытием действий левых экстремистов и прокитайцев. Мы уже внедрили (свои.— Э. Г.) элементы во все эти группы, и мы явно должны приспособить к ним наши собственные действия — пропаганду и акты насилия, которые выгладели бы так, как будто они исходят от наших коммунистических противников».

Сенатор Банфи знал, о чем говорил: к нему стекаются сведения из самых различных источников, самых различных стран. Из того же материала видно, что фашистам в Италии, например, уже тогда действительно удалось протащить своих агентов в «Политический коллектив метрополии» — организацию, которая была предшественницей нынешних «Красных бригад».

Мало того. Впоследствии выяснилось, что главой этих «бригад» стал не кто иной, как Ренато Курчио — бывший участник итальянского филиала того же «Нового порядка»! В настоящее время Курчио находится в тюрьме за участие в террористических актах. Убийство бывшего премьер-министра Италии Моро в 1979 году, взволновавшее всю страну, было совершено членами той же организации.

Налицо и другие подтверждения той же «интеграции» правых и левых экстремистов. Установлено, что группа левацких террористов в Южной Италии «Вооруженные пролетарские ядра» (НАП) почти идентична с неофашистской бандой «Группа действий Муссолини». В Турции фашисты вообще трудно отличимы от леваков, в Испании — от промаоистской террористической организации «Грапо».

В сентябре 1967 года в Швейцарии была основана промаоистская организация, называющая себя «Коммунистическая партия Швейцарии марксистов-ленинцев».

В числе ее ведущих членов оказались сам лидер «черного интернационала», бывший эсэсовский и оасовский офицер Ральф Герэн-Серак и другой бывший эсэовец и оасовец, Леруа. Это звучит невероятно, но таков факт. «Бывший» фашист Марио Мерлино, сотрудник этих лиц, стал по их поручению одним из основателей левацкой итальянской террористической группы «22 марта». По заданию главаря фашистского «Черного порядка» Раути этот Мерлино специально проникал в левацкие организации и организовывал с их помощью взрывы бомб. И так далее.

Факты неоспоримы. Важно учесть, что все эти контакты и связи налаживаются неофашистами не случайно и спорадически, а явно в организованном порядке, методически. Проводится в жизнь определенный план. Осуществляющая его организация «Новый порядок» может сейчас безусловно считаться главным оперативным центром международного фашизма, располагающим филиалами или агентурами почти во всех западноевропейских странах. Директивы, принимаемые на международных совещаниях этого центра, выполняются десятками организаций на местах. В настоящее время это происходит прежде всего в романских странах. Левозкстремизм как бы пронизывается неофашизмом. Нити тянутся и к ЦРУ.

Отрицать, что многие искренние рядовые леваки легко попадают в сети неофашистов, не приходится. Виною тому их крайняя политическая наивность, превращающаяся в преступную безответственность, отсутствие подлинного революционного опыта, царящая в их кругах атмосфера безысходного отчаяния, наконец — склонность того или другого к авантюризму. Тому же способствует засоренность рядов левацких организаций люмпен-пролетарскими элементами, охотно, как всегда, идущими на то, чтобы продать и себя и свою организацию.

На этом и строят свою игру неофашисты, непрерывно подталкивая левозкстремистов к анархистским действиям. Все говорит о том, что политика прикрытия «левыми» масками будет проводиться ими и впредь, даже форсироваться. Игра эта обходится неофашистам очень дешево, выигрыш же для них может быть немалый.

По существу, речь идет о повторении в расширенной, новой форме старого гитлеровского маневра с поджогом рейхстага, устроенного самими нацистами и приписанного коммунистам. Цель все та же: искусственно раздуть панику в буржуазной стране и побудить военщину совершить государственный переворот.

Одновременно с расчетами на правых генералов на Западе неофашисты делают ставку на совсем другие силы, находящиеся на другом континенте, на тех, о которых старый фашизм не мог и подумать. Нынешние же ученики Гитлера возлагают и на них совершенно особые надежды. Это маоисты в самом Китае.

Не может быть сомнения, что в Пекине играют сегодня в четыре руки не только с диктаторами в Южной Америке. Еще больше маоистов интересует западноевропейский фашизм. Причины ясны.

Во внешней политике международный фашизм стремится именно к тому, о чем современные мандарины мечтают день и ночь: к созданию глобального агрессивного антисоветского альянса. Пекин тоже за третью мировую войну. Этого для сговора достаточно.

Неофашистам, особенно за Эльбой, известно, что маоисты за них, пусть пока еще втайне. «С Китаем против Советов — в этом всемирно-исторический шанс, особенно для нас, немцев!» — провозглашает 1 сентября 1978 года мюнхенская неонацистская газета «Дойче националь-цайтунг». Различия в официальной идеологии сторон не имеют для той и другой никакого практического значения. Решает общий для обеих бешеный антисоветизм.

Будущее покажет, налажены ли уже между ними прямые контакты, как между КНР и Чили. Исключать это нельзя. Когда делегация старых гитлеровских генералов приехала в Китай, их встретили как близких друзей и показали многое, чего не показывают другим.

Так или иначе, в негласном сговоре с маоистами неофашисты видят еще один повод к переходу в наступление. Для заговорщиков в Европе иметь союзника в Азии отнюдь не лишне.

Речь шла о новых кадрах и новых союзниках неонацистов. Но дело и в их кассе. Кто снабжает их деньгами? На какие средства они живут, формируя свои новые отряды? Только не на членские взносы. Это можно исключить. Их деятельность начинает приобретать такие масштабы, что финансировать сами себя они не могут. Кто-то им помогает.

Уже отмечалось, что мобилизации неонацизма объективно способствует обостряющийся кризис капиталистического мира. Гниение привлекает крыс. Но в пользу неонацизма, несомненно, действует прямым путем и определенный субъективный фактор. Становится все яснее, что в приведении неонацистов в боевую готовность заинтересованы теперь те же влиятельные круги на Западе, которые уже годами ведут из-за кулис лихорадочную кампанию против идеи сокращения вооружений, — миллиардеры, торгующие оружием массового уничтожения. Какую роль эти круги в наши дни играют в политике империалистических держав, широко известно. Новое в том, что в 70-х годах международный военно-промышленный комплекс явно начал увеличивать свои субсидии неонацистам. Делается это по-разному, в том числе и косвенными путями, например путем раздачи темным фашистским изданиям рекламных объявлений крупных концернов. Это происходит совершенно легально. Практика такого рода особенно бросается в глаза в той же Западной Германии.

Ведущими военными монополиями в ФРГ, обороты которых превышают многие миллиарды марок, считаются такие фирмы, как «Сименс» и «АЭГ-Телефункен» (электроника), «Мессершмитт» (самолеты, ракеты, спутники), «Флиг» и «Квандт» (танки, моторы, стрелковое оружие), «Байер» (химия и атомное дело). Все эти фирмы помещают платные объявления в неонацистских листках, как будто какой-нибудь фашистский громилла может приобрести танк или ракетноносец. Говорят также, что тесно связанный со старым гитлеровским концерном «Мессершмитт» лидер западногерманских реваншистов Ф.-Й. Штраус пользуется немалой популярностью у неонацистов.

В Италии к фашистам ведут давнишние следы от мощной финансовой группы Пирелли, заинтересованной в поставках для военной промышленности, в Португалии — от судостроительного концерна «Лижнаве», с которым близок генерал Спинола, и так далее.

Конечно, деньги неонацистским организациям текут не только от военных монополий. Как в марте 1978 года сообщила западногерманская газета «Кельнер штадтанцайгер», неонацистов субсидируют также старые, разбогатевшие после войны гитлеровцы и какие-то «анонимные объединения» — вероятно, агентуры, распоряжающиеся засекреченными фондами старой нацистской партии.

Но ключи к кассе все-таки в руках тех, кто больше всего боится мирного существования и спада в производстве вооружений. В этих кругах в последние годы, по-видимому, приходят к выводу, что в случае обострения международного положения военно-фашистские режимы в Европе, опекаемые Пентагоном и НАТО, предпочтительны всем другим. Если международный военно-промышленный комплекс в дальнейшем окончательно решит пойти по этому пути и еще шире откроет свои кошельки лагерю ультра, то исключать возможность серьезных вспышек неонацистской чумы едва ли придется.

Еще вопрос. Как, судя по всему, планируют фашисты на этот раз действовать в континентальном масштабе? Какова их стратегия, если рассматривать ее в рамках всей Западной Европы? Иначе говоря, откуда они теперь думают начинать и где кончать?

В первое послевоенное время, в период острой «холодной войны», международный неонацистский центр определенно считал, что попытаться вновь ударить на Европу вернее всего из центра континента — оттуда же, откуда начинал Гитлер. Первоначальный план состоял в том, чтобы, сговорившись с бывшими генералами вермахта и реваншистскими деятелями правившей тогда в Бонне правой партии Аденауэра, внезапно захватить власть на Рейне и затем полюбовно договориться с антисоветскими державами Запады.

Но военщина в те дни, так скоро после войны, действовать не решилась. Аденауэр предпочел сохранить власть в собственных руках. США и Англия не хотели волновать мировое общественное мнение. Заговор, ставший потом известным как «заговор Наумана» (тогдашнего тайного руководителя нацистов и эсэсовцев), провалился, второй Гитлер не пришел.

После этого в делах международного фашизма произошел длительный застой. Его силы стали таять, в его штабе участились споры и ссоры. И только в 70-х годах было окончательно принято новое решение: повернуть к югу и юго-западу континента, сосредоточиться на осаде другого бурлящего района в Западной Европе — Средиземноморья.

Целью стало создание неофашистской оси Рим — Париж — Мадрид — Лиссабон — Афины. Вместо «системы Гитлера» обновить решили «систему Муссолини» как более перспективную в послевоенное время. То, что не удалось на Рейне, должно было, по замыслам нового плана, удасться у берегов латинского моря.

Есть все основания считать, что эта идея по сей день проводится действующим в Риме неофашистским центром — проводится, несмотря на ряд уже имевших место неудач в ходе таких попыток. В январе прошлого года в Лионе созывалось тайное совещание ведущей во Франции неофашистской организации «Новый порядок» с представителями таких же групп в Италии, Испании, Бельгии и Греции. Очевидно, обсуждался все тот же план.

Мотивы, побуждающие неофашистских стратегов нацелиться прежде всего на юг, понятны.

20 апреля 1945 года, за восемь дней до казни Муссолини итальянскими партизанами, он заявил в своем последнем газетном интервью: «20 лет фашизма (в Италии.— Э. Г.) было слишком мало. Человек более великий, чем я, доведет фашистскую идею до победы. Если союзники (антигитлеровская коалиция военных лет.— Э. Г.) победят, то третья мировая война неизбежна. Но тогда пробьет час Италии, если она найдет человека, который сыграет козырем».

Современные фашисты в средиземноморских странах считают, что предсказание Муссолини может вскорости оправдаться. Легко себе представить, как они рассуждают. Дело даже не в том, что в Италии они располагают сравнительно большой партией. Их «геополитики» исходят прежде всего из того, что обостряющаяся классовая борьба в этой стране может при известных обстоятельствах побудить находящийся здесь южный штаб НАТО пригрозить вооруженной интервенцией против левых сил. Из Вашингтона уже не раз довольно громко намекали о такой возможности.

В этом случае фашисты немедленно потребовались бы интервентам и связанной с ними военщине как террористическая гвардия. В то же время, двигаясь из Италии дальше, военно-фашистская волна должна была бы захлестнуть другие средиземноморские страны, прежде всего Францию, где накал классовой борьбы тоже высок, также Испанию и Португалию.

Следует добавить, что и события на Ближнем Востоке, столь взволновавшие в минувшем году империалистический лагерь, подкрепляют неофашистов в убеждении, что их главный удар должен быть направлен в сторону Средиземноморья. На то же указывает их негласный альянс с левозкстремистами именно в этом районе.

Нельзя считать подобные планы пустой фантазией. Готова удар по югу Западной Европы, неофашисты рассчитывают добиться того, чего не добились в первые послевоенные годы попытками начать из Западной Германии; сговора, пусть и негласного, с атлантическими империалистами.

Таковы их нынешние диспозиции. Они намерены действовать, и именно на нашем континенте. Убраться из Европы, перекочевать в какую-нибудь другую часть света — например, как одно время думали некоторые, в Латинскую Америку — было бы для них равносильно политическому самоубийству. А последыши Гитлера и Муссолини, эти черви на теле планеты, по-прежнему хотят жить — жить, чтобы задушить человечество.

Но решает другое. Антифашизм в наше время во много раз сильнее фашизма. Главное — в единстве его сил.

Последний вопрос: есть ли у современного фашизма действительно реальные шансы чего-нибудь добиться?

Никто, разумеется, не может заранее утверждать, что неофашистские (в частности, военно-фашистские) авантюры в той или иной точке капиталистического мира сразу же непременно обречены на провал. Если стратеги империализма решатся пойти на то, чтобы в критический момент пустить в ход фашистские резервы, как это уже было сделано в 1973 году в Чили, а в 1967 году в Греции, то они, несомненно, попытаются действовать самым решительным образом, предоставив проффашистским заговорщикам все нужные средства.

Бесспорно, однако, и другое. Соотношение сил внутри каждой большой капиталистической страны в наше время по сравнению с 30-ми и 40-ми годами коренным образом изменилось в пользу антифашизма. Это совершенно очевидно, например, как раз в таких бывших фашистских странах в Европе, как Италия, Испания, Португалия, та же Греция. Не подлежит сомнению, что силы рабочего движения на Западе в послевоенный период неизмеримо выросли. Коммунисты, в частности, представляют собой сегодня совершенно иную величину, чем раньше. Антифашисты теперь сознают, что дать взять себя врасплох во второй раз было бы беспрецедентной катастрофой.

Не менее важно и то, что так же круто в пользу антифашизма изменилось во второй половине века и международное соотношение сил. Империализм уже не в состоянии диктовать народам свою волю так, как прежде.

Конечно, дело не только в соотношении сил. По-прежнему исключительно важное значение имеет вопрос о координации политики антифашистов. Если они будут противостоять врагу сомкнутыми рядами и действовать наступательно, не задерживая мобилизацию народных масс и не теряя инициативу из-за излишних трений, как в прошлом, то фашизм, несмотря на все его новейшие методы и ухищрения, на этот раз пройти не сможет и будущего у него нет. Но непременной предпосылкой этому служит заблаговременно согласованное боевое сотрудничество левых на нашем и на других континентах. Главное и теперь в их единстве.



В МИРЕ ИСКУССТВА

Е. КИБРИК



ВСЕГДА ОТКРЫТИЕ

Евгений Адольфович Кибрик (1906—1978) — народный художник СССР, профессор, действительный член Академии художеств СССР — был человек изумительный, художник с начала до конца своего бытия, всего своего существования.

В его биографии много интересных фактов, типичных для целого поколения художников, чья молодость совпала с Великой Октябрьской революцией. Я хочу напомнить, что ему, родившемуся на Украине, в маленьком степном городке Вознесенске, с детства запомнилась ожесточенная гражданская война, бушевавшая длительное время, пока в городке не установилась советская власть. Молодой Кибрик был поражен изменениями, которые немедленно принесла с собой революция в самые заходустные уголки России, и тем, что, несмотря на разруху, голод, нехватку во всем, сразу же возникла огромная потребность в искусстве. Это ощущение глубокой связи искусства со строящейся новой, советской жизнью Кибрик сохранил навсегда, и оно помогло ему устоять перед влиянием всевозможных «измов» (вплоть до модной в свое время школы Филонова) и, овладев подлинным реалистическим мастерством, развить свое дарование в различных областях изобразительного искусства.

У художника Кибрика есть черты, которые заставляют относиться к воспоминаниям и рассказам мастера о своей деятельности с особенным интересом. В творчестве Кибрика огромна роль логического, разумного начала, которое, однако, ничуть не заглушает способности сильно и непосредственно чувствовать. Талант его — умный талант. Другая черта, которая меня всегда поражала в нем, — это незаурядное творческое воображение, его умение представить себе со всей выпуклостью, со всей конкретностью то, что он изображает, что он творит. Это относится как к его станковым работам, посвященным ленинской теме и Октябрьской революции, так и к работам в книжной графике, где вклад Кибрика очень велик. Его иллюстрации к «Кола Брюньону», «Тарасу Бульбе» и «Борису Годунову» остаются непревзойденными образцами глубокого проникновения художника в творчество писателя.

В воспоминаниях, публикуемых «Новым миром», Евгений Адольфович подробно рассказывает и о своей работе над иллюстрациями к «Кола Брюньону», о которых Ромен Роллан сказал художнику: «Благодаря вам я как бы заново увидел свою книгу». Евгений Адольфович оказал огромную услугу теории искусства, именно тому разделу, который занимается проблемами книжной иллюстрации, ибо позиция его здесь совершенно определена: Кибрик-иллюстратор всегда принимал на себя ответственность за полное, законченное, возможно более адекватное изобразительное истолкование литературных произведений, бережно сохраняющее образы и стилистику писателя, и заставлял верить читателей в созданные им изобразительные образы так же, как читатели верят в литературные образы Гоголя, Пушкина, Роллана.

В искусстве бывают мастера, которые поглощены только творческой практикой, предоставляя другим ее осмысливать и анализировать. Но есть художники другого склада, у которых их творческая практика порождает стремление осознать ее законы, обобщить опыт. У Кибрика это стремление выросло из его преподавательской деятельности. Блестящий педагог, он в течение двадцати пяти лет был профессором Института имени Сурикова, а затем руководил творческой мастерской графики Академии

художеств. Потребность объяснять учащимся сложные законы искусства побуждала его к теоретическому осмыслению таких коренных проблем, как композиция, пути художественного обобщения и многие другие.

Книги, статьи, доклады Евгения Адольфовича дают столь содержательный самоанализ творческого процесса, что искусствоведам мало что остается добавить к тому, что уже сказано самим художником. Эта черта свойственна, на мой взгляд, и последней книге Кибрика, главы из которой вы прочтете.

В. КЕМЕНОВ,

вице-президент Академии художеств СССР.

К ак-то был у меня разговор об искусстве с умным, очень симпатичным мне человеком.

Речь шла о том, как формировались в процессе жизни мои взгляды на искусство. Товарищ настойчиво советовал мне написать воспоминания на эту тему.

Осенью 1977 года, закончив многолетнюю работу, я получил возможность заняться рукописью.

В ней я касаюсь обстоятельств моей жизни только в той мере, которая позволяет понять, как я стал художником и как под влиянием времени, среды и творческого опыта складывались мои взгляды и убеждения.

Так получилось, что я вспоминаю только свою деятельность иллюстратора книг, не касаясь работы над образом В. И. Ленина и историко-революционной темой.

Эта работа заняла у меня более двадцати лет, и в рамки данной рукописи она не уложилась.

О ней я еще, может быть, напишу особо ¹.

Я встречал много ярких, интересных людей, и о некоторых из них я не мог не написать.

Но, как правило, я говорю только об ушедших — это мне кажется естественным для воспоминаний.

Кстати, все, что я пишу, это именно только то, что сохранила память. Никогда я не вел дневника, ничего не записывал, а те документы прошлого, что у меня хранились, за малым исключением погибли в Ленинграде в дни Великой Отечественной войны.

В те дореволюционные годы, с которых я начинаю свои воспоминания, — в годы первой мировой войны я жил в семье, ни о чем еще не заботился и целиком был погружен в книги. Я читал все, что попадалось, запоем. Запоем прочитал Достоевского, начавши с его «Игрока», Джека Лондона, очень мне близкого и понятного в юности, и многое другое. До Октава Мирбо включительно. Во время налета банды Тютюника, когда никто не спал, я ночь напролет с увлечением читал «Княжну Джаваху» Лидии Чарской.

И, конечно, я с упоением читал романтическую, приключенческую литературу, начиная с бесконечных выпусков копеечных книжек о сыщиках Нате Пинкертоне, Нике Картере до сочинений Луи Буссенара, Луи Жаколио, Дюма, Фенимора Купера, Жюль Верна, Конан Дойла, Герберта Уэллса.

Всего не перечислишь. Я был неутомимым читателем. Им и остался. (Может быть, поэтому, в частности, я стал иллюстратором книг.)

Но увлекали меня не только книги, но и иллюстрированные журналы. В основном «Нива». Этот журнал имелся в городской библиотеке за все годы его существования — с 1870 по 1918 год.

Думаю, что я проштудировал его досконально. В сущности, это был почти единственный источник моих сведений о прекрасном мире искусства. В первую очередь я говорю об иллюстрациях, воспроизводивших картины. Увлекали меня также рисунки фронтальных художников (шла первая мировая война) — Самокиша, Авилова, Луком-

¹ Этим планам Е. А. Кибрика уже не суждено было сбыться. Вскоре после окончания работы над публикуемыми воспоминаниями он скончался (16 июля 1978 года).

ского и ряда других, не запомнившихся мне авторов. В конце журнала помещались сведения о художественных выставках с репродукциями лучших картин и краткими аннотациями на показанные на выставках произведения.

Этот раздел журнала меня притягивал особенно сильно. Выставки дипломных работ императорской Академии художеств Союза русских художников, Общества акварелистов, передвижников, «Мира искусства», персональные выставки — все они обычно представлялись в журнале.

Сказочная, недостижимо далекая от меня жизнь, о которой я мог только мечтать. Но кроме «Нивы» я во множестве копировал картинки и из «Пробуждения» и из «Солнца России». Читал толстые журналы — «Шиповник», «Русское богатство» — и, обладая хорошей памятью, в 1949 году в Кисловодске находил бесконечные темы в беседах с чудесным Корнеем Ивановичем Чуковским о забытых и полузабытых писателях литературных журналов 900-х годов — таких, как Семен Юшкевич, Ефим Зозуля, Муйжель и многие другие. Корней Иванович с большим удовольствием погружался в воспоминания тех далеких лет.

Журналы с картинками, в особенности цветными, были в то время для меня постоянным источником вдохновенного копирования.

Копирование. Все, наверное, художники с этого начинали.

Оно и понятно. Я еще ничего, совершенно ничего не умею, и тем не менее из-под моего карандаша выходят сложные картины, очень похоже срисованные. Это увлекательно. Но полезно ли?

Не знаю, что ответить. Рисовать так не научишься, ибо рисовать надо сознательно, а копирование — процесс главным образом механический.

А что-то, возможно, это и дает. Вероятно, талантливый человек незаметно для себя что-то и усваивает. Думаю, что это индивидуально — кому полезно, кому бесполезно.

У меня, например, множество копий с картин композиционных способностей не развилось. Много позже и на основе работы для печати я сложился как композитор.

Я говорю о юношеском, бездумном копировании. Понятно, оно не имеет ничего общего с копированием сознательным, позволяющим проникнуть в особенности техники великих мастеров прошлого. Это копирование обязательно входит в серьезную школу искусства и очень много дает копиисту.

С копированием связано и мое первое ощущение себя художником. Мне было восемь лет, когда я очень похоже срисовал откуда-то портрет Горького, и тогда родные впервые заметили, что я хорошо рисую.

Отец сказал, в шутку конечно: «Вырастешь, поедешь в Петербург в Академию художеств, будешь художником».

Он этим словом не придал значения и тут же забыл их. Но мне они запомнились навсегда и, безусловно, сыграли решающую роль, когда весной 1925 года мы с моим другом Митей Крапивным неожиданно для себя решили уехать из Одессы, считая, что делать нам там больше нечего. Куда ехать — в Москву или Ленинград?

Я настоял — в Ленинград. Ведь помнились слова отца, как пророчество: «Поедешь в Академию художеств».

Юношеская жизнь проходила в гимназиях — мужской и женской.

В женской училась моя старшая сестра Маруся. Веселая, красивая, насмешливая, добрая (могли ли мы тогда думать о том, как ужасно окончит она жизнь много лет спустя: в 1941 году фашисты расстреляли ее в Макеевке, где она была учительницей музыки).

В доме у нас всегда было полно Марусиных подруг, и, несмотря на то, что все они, как и Маруся, были старше меня на три года, я с ними дружил, а иногда оказывался и очень нужным для них человеком. Это происходило перед гимназическими вечерами, где обязательно должны были фигурировать программки, украшенные красочной виньеткой. Рисовал их я один и задолго до вечера в женской гимназии засиживался допоздна за их производством. Образцом мне служили открытки, изображающие цветы, чаще всего розы, и я их тщательно копировал акварелью.

У нас в классе в гимназии висели вокруг комнаты бордюром большие цветные репродукции с картин русских художников на темы русской истории.

Эти картины я очень запомнил, ибо глазел на них с увлечением и почтением каждую возможную минуту. Там были и Е. Лансере, и А. Бенуа, и Аполлинарий Васнецов, и Сергей Иванов, и Суриков, и другие. Десятки лет спустя я узнал, что это было издание И. Кнебеля, необыкновенного энтузиаста-новатора, удивительно инициативного просветителя своего времени.

Никогда никто из учителей не обращал на эти картины нашего внимания. Ни историк, ни словесник, ни учитель рисования Павел Иванович Павлов, величественный, чудной, тупой, с расчесанной надвое бородой, как у Александра II. Но мне эти картины в душу запали, и я запомнил их навсегда.

Я смутно чувствовал в них явление настоящего, большого искусства. Они не чета были слащавым картинкам из «Пробуждения».

У Вани Носова, гимназиста первого класса, я купил за один рубль маленький этюдник с несколькими масляными красками. Краски были очень красивые, неведомой мне фирмы «Мэвис», пахли маслом, льняным или маковым. Особенный запах — чарующий, таинственный запах живописи, заключенной в этих тюбиках с замазанными, наклеенными на них этикетками.

Краски влекли меня неудержимо. Но я не знал, как ими пользоваться. Они были из какой-то другой жизни, не похожей на ту, что меня окружала. Эта другая жизнь, где существуют художники, искусство, чудесные принадлежности для рисования и живописи, проходила бесконечно далеко от нашего заштатного города Вознесенска Херсонской губернии, пыльного, жаркого летом, усаженного акациями, цветущими в мае и наполняющими бесконечно прозаический наш городок густым опьяняющим запахом.

Но я не умел правильно пользоваться масляными красками Вани Носова и, пробуя писать ими пейзажи, поражался тому, что все они выходят у меня черными. Мне невдомек было, что, когда пишешь, надо свою работу обязательно держать в тени. Я же всегда садился так, что солнце освещало мой этюд.

Работал я ошущью, наугад, одержимо рисуя всех окружающих. Меня привлекали только люди, их портреты, пейзажи я рисовал, но гораздо реже, чем портреты.

Однажды попал ко мне выпуск толстого журнала «Искусство для всех» под редакцией, кажется, Маковского. Там была статья о композиции, которую я совершенно не понял — ничего из нее не вынес. Рассуждения о диагональной композиции, о роли треугольников в построении картины были для меня слишком отвлеченными и не связаны с практическим рисованием.

А вот изображение удобного попюпитра для рисования, где доска кладется на колени, а ножки на петлях просто и устойчиво держат доску с нужным наклоном, меня увлекло.

Я раздобыл старый ломаный шезлонг и, удачно использовав его детали, сделал себе попюпитр, очень похожий на картинку из журнала.

Революцию я запомнил только Февральскую. Помню солнечное утро. Мужская гимназия идет в колонне революционной демонстрации. Впереди массивная фигура нашего директора в белом мундире с золотыми пуговицами. Окладистая седая борода лежит на груди, касаясь большого красного банта. Сияют трубы оркестра, играющего «Марсельезу».

Далее — немецкая оккупация Украины, гражданская война: гайдамаки, петлюровцы, красные, кулацкое восстание, опять красные, налет банды Тютюника, снова советская власть, затем деникинцы... Я жил в каком-то другом мире, читал все, что попадалось под руку, рисовал и мечтал. Как сквозь сон помню тревожную обстановку, беспокойство старших, стрельбу, бои, смены властей.

Запомнился эпизод солнечной осени 1919 года. Я сижу во дворе со своим попюпитром и акварелью копирую с обложки «Нивы» за 1915 год схватку наших с немцами, выполненную Самокишем пером и акварелью. Удивительно теплое и спокойное утро. Вдруг в тишине раздается громкий военный марш, распахиваются ворота и во двор въезжает взвод донских казаков. В город, где не было ни одного красноармейца, неожиданно входят с оркестром деникинцы...

Огородом, через нижний двор, на зады, к речке бегут сотрудники, машинистки юротодела, расположенного в нашем доме...

Стрельба началась позже, а белый террор с повешенными на деревьях подпольщиками, с расстрелами на улице — еще позже...

Три месяца зверствовали денкиинцы в Вознесенске.

Одна картина врезалась мне в память на всю жизнь. Ноябрь. Серое, тяжелое небо, черная, глубокая грязь на улице. Одноэтажные, каменные, замшелые, как бы ушедшие в землю дома на противоположной стороне нашей Петроградской улицы. Все это я вижу в окно. Посреди мостовой идет Ткачук (он был председателем ревкома в Вознесенске, и к нему хорошо относилось население). Идет бледный-бледный, светлорусый — запомнилось, что волосы его были светлее безнадежно серого фона. Руки связаны за спиной, на груди плакат, что написано — не разобрать. На Ткачуке черный костюм, серые валенки. Валенки тонут, вязнут в грязи. Он идет медленно, вытаскивая из грязи то один валенок, то другой...

Зубы изо всех сил сжаты, подбородок поднят, идет мужественно, гордо.

По тротуарам с обеих сторон по два контрразведчика в английских френчах, галифе, желтых крагах, начищенных ботинках на толстой британской подошве, с длинными парабеллумами в руках. Идут, осторожно ступая по сухим островкам на мокром тротуаре. И, кроме этой группы, никого, ни души нет.

Напротив в окне мелькнула женская фигура, перекрестилась и поспешно закрыла ставни...

Ткачука так провели по городу и расстреляли на бульваре. Бульваром называлась у нас квадратная площадь аракчеевских времен, обсаженная вековыми, дуплистыми тополями. После гражданской войны в центре ее поставили деревянный памятник жертвам этой войны — обелиск с трибуной.

Образ Ткачука, прочно врезавшийся в память, всю жизнь стоит у меня перед глазами, вот уже почти шестьдесят лет. Я всегда считал своим долгом изобразить его и назвать «Большевик». Но я не мог этого сделать без этюдов осенней вознесенской улицы. Очень уж была своеобразна ее гнетущая, безысходная обстановка, где все черное и темно-серое — небо, земля, дома, голые стволы акаций, костюм Ткачука, а светлое только одно пятно — лицо Ткачука...

А в Вознесенск я попал на два дня только в 1964 году, в ноябре же. Было сухо. При мне выпал снежок, и я написал акварелью улицу со свежим снегом. Но все было не то, что виделось мне. Вместо каменных домишек, снесенных ураганом Отечественной войны, белые, деревенского типа мазанки. Все не то...

Не довелось мне сделать «Большевика». Всю жизнь об этом жалею.

Тяжелые это были годы — годы гражданской войны, тяжелые и страшные. Город маленький, степной, беззащитный. Сколько боев рядом, перед глазами, сколько властей, и так временами казалось бесконечным это медленное военное время.

Многое забылось, стерлось временем, но почему-то запомнилась мысль, промелькнувшая в голове бабьим летом 1919 года. Тихо, спокойно, летит паутина, и уже не жарко, но еще очень тепло. Я во дворе. Тишина. Только изредка где-то за городом бухает пушка. Трехдюймовка, наверное. В кого она стреляет? Что еще случится? «Неужели, — думал я, — наступит время, когда не будут стрелять, а в магазине Ленберга снова будут продаваться чудесные карандаши в темно-вишневом блестящем дереве с золотым тиснением «Иоганн Фабер № 2» по пять копеек за штуку?..»

Почему вот такое способно навсегда запомниться, а важнейшие для меня события часто забывались начисто?..

В гражданскую войну не только стреляли, но и пели. Не знаю, как в других местах, но на юге Украины пестрая политическая жизнь с частой сменой властей, жизнь очень огнестрельная, опасная и тревожная, проявлялась и в зубоскальстве и в шутке — в них обыватель отводил душу.

Очень распространены были песенки, куплеты, в первую очередь знаменитое «Яблочко» — «Эх, яблочко, да куда котишься, на «Алмаз» попадешь, не воротиться...». Оно обошло, кажется, всю Россию. Из города в город разъезжали куплетисты, исполнявшие песенки на злободневные темы после сезансов в кино — иллюзионе, как тогда

говорила. Быстро менялись власти, менялись и слова в куплетах. При красных пели: «Пароход бежит, да вода кольцами, будем рыбу мы кормить да добровольцами...» При белых куплет перефразировался: «Пароход бежит, да бежит к пристани, будем рыбу мы кормить да коммунистами...» Обыватель приспособлялся.

Эта мода на злободневные песенки продолжалась и первое десятилетие советской власти. Все распевали в 20-х годах на Юге «Свадьбу Шнейерзона»: «Невеста же — курьерша финотдела и разоделась прямо в пух и прах — фату мешковую одела и деревяшки на ногах...» и т. д.

В 1957 году я сидел с переводчиком в «Ревю» в Стокгольме. Ведущий конференсье сопровождал поток скетчей на политические темы куплетами, которые исполнял на удивительно знакомый мне мотив. Вслушиваюсь вне себя от изумления — ведь это же подмывающий, озорной мотив «Свадьбы Шнейерзона». Я прямо усидеть не мог от желания завопить — ведь это же... да некому было. Переводчик, молодой москвич, не мог меня понять. А ведь так было необычайно, неожиданно услышать голос начала наших 20-х годов в стенах стокгольмского театра в 1957 году...

Конец гражданской войны запомнился отчетливо. Морозная ночь 29 января 1920 года (дата запомнилась, так как это день рождения Маруси). Метет метель. В нашем доме взвод денкинских артиллеристов. Под окном кухни пушка. Она бьет непрерывно — прикрывает отступление денкинцев. Все стекла в кухне вылетели.

В доме отогреваются по очереди солдаты, и отец с матерью ставят самовар за самоваром, а солдаты их подгоняют — «скорей, скорей».

Потом солдаты исчезают, и вскоре сквозь вой ветра едва доносится песня. Поют «Интернационал». В город навсегда вошла советская власть, и одновременно началась моя биография художника. В следующем месяце мне исполнилось четырнадцать лет. Вскоре я получил первые профессиональные сведения от Андрея Васильевича Великанова, окончившего Харьковское художественное училище. Мобилизованный белыми в Харькове, он заболел сыпным тифом в Вознесенске и вышел из госпиталя уже при советской власти. Рослый, худой, русский, в солдатской одежде, старой и рваной (он не снимал шинели, прикрывая изодранные штаны), Великанов был ровно на десять лет старше меня.

Когда мы встретились в бывшей учительской комнате нашей гимназии, куда я прибежал по объявлению о том, что открывается художественный кружок, ему было двадцать четыре года.

Кружок я посещал с энтузиазмом: шутка ли — я впервые встретил настоящего художника.

Мы писали в кружке натюрморты и портреты самодельными красками и кистями.

Великанов все умел и не смущался никакими трудностями. Он был настоящим художником — изобретательным, увлеченным, обуреваемым неугасимой жадной творчества, созидания.

У него ничего не было, не только никаких материалов для живописи, но и никакого имущества вообще — он владел только тем, что ему выдали при выходе из госпиталя.

Все необходимое он сделал своими руками из «подручного материала», а под руками были только материалы для малярных работ — красочные порошки, олифа, столярный клей, большие малярные щетинные кисти.

Масляные краски он тер на льняном, предварительно отбеленном на солнце масле, достав в аптеке фарфоровые ступу и пестик, применяемые для стирания масел.

Под тюбики приспособил промытые кишки, достав их на городской бойне. Эти тюбики попросту завязывались шнуром, чтобы краска из них не вылезала.

Писал на плотной оберточной бумаге, промасленной олифой либо покрытой слоем столярного клея либо даже разведенным желатином, употребляемым в пищу.

Он жил, как Робинзон Крузо на необитаемом острове, создавая все необходимое из случайных материалов, выброшенных на берег морем.

Акварельные краски терлись в той же ступе, из тех же красочных порошков с примесью меда, глицерина, а вместо гуммиарабика Великанов научил нас собирать сок вишневого дерева, и он вполне достойно выполнял свою связующую роль.

Краски хорошо разводились водой. Щетину для кистей мы брали либо из кистей малярных, либо тайком стригли знакомых свиней. Свиньи этого не любили, и случались неприятности. Кисти для акварелей добывались труднее — нужно было выстричь длинный черный ворс из хорькового меха. Хорьковые шубы у вознесенцев имелись, но кто позволит стричь мех?

Великанов построил хороший этюдник. Но у меня этюдник был фабричный, купленный у Вани Носова. Сделал Великанов и отличную пастель. Медную трубку нужного диаметра он забивал красочной массой, стертой на слабом клею, и выталкивал ее металлическим прутком. Получались отличные карандаши. Круглые, один в один.

Он очень хорошо писал этой пастелью женские портреты, а мы ему подражали.

Я не помню, чтобы он учил нас словами, — он учил примером. Работал рядом с нами ту же модель, а мы смотрели, как он это делает, и поступали так же. Так я многому научился у Великанова.

Через полгода он разыскал в Вознесенске нескольких художников, а я думал, что художников в городе нет. Художник Вахрамеев оказался в военной части. Пара, как сейчас говорят, самодеятельных художников, самоучек, служила в разных учреждениях. Великанов устроил первую в истории города художественную выставку. Для меня она была первой в жизни. Я тоже был в числе участников выставки.

У Великанова я многому научился, помогая ему выполнять заказные работы. В то же время я впервые начал зарабатывать деньги своим искусством и очень гордился этим.

Мы с ним сперва расписывали городской клуб в здании бывшей городской управы.

Писали больше цветные панно и орнаменты (по трафарету). Прежде всего я научился проводить на стене вспомогательные линии — горизонтали и вертикали.

Брался длинный шнур, натирался сажей, и мы натягивали его за два конца на нужное место. Как струну натягивали. И если в центре оттянуть этот шнур и щелкнуть им по стене, то возникала стройная черная линия, немного мохнатая. Если нужно было, ее легко можно было смахнуть. Рисунок для панно по клеткам увеличивался на большие, склеенные в размер панно листы. Затем линии рисунка протыкались часто иголкой, как бы прострачивались ею. После этого рисунок накладывался на нужное место, на прямоугольник, отщелкнутый ранее шнуром, и притирался сажей. Когда лист (так называемый картон) со стены снимался, оставляя легкий пунктир линейного рисунка, на месте этого рисунка уже кистью рисовался черный или темно-коричневый контур. Плоскости, ограниченные контуром, — лица, одежда, предметы — закрашивались разными цветами. Писали мы красочными порошками, разведенными жидким столярным клеем (правда, Великанов справедливо заверял заказчиков в том, что краски должны разводиться на яйцах. Но время было голодное, и яйца, конечно, шли на яичницу для художников).

Проектами панно служили иллюстрации С. Спасского для прекрасного «Календаря 1919 года». Эти рисунки, очень ясные по смыслу, выполненные штрихом и линией, касались всех лозунгов времени и отлично помогали нашей работе.

Правда, в последней росписи, что мы делали вместе на стенах вознесенского вокзала, Великанов очень хорошо импровизировал прямо на стене, делая «труд фабричный». Я, стоя, как и он, на высоких лесах и выполняя по рисунку Спасского «труд крестьянский», с восхищением и удивлением наблюдал за тем, как смело и уверенно Великанов без предварительного «припороха» рисовал кистью прямо на стене большую фигуру кузнеца у наковальни. Он был талантлив.

Трафареты для орнаментов мы сперва рисовали в натуральную величину на бумаге, затем намечали, какие части рисунка какого будут цвета, и для каждого цвета вырезали соответствующий трафарет. Когда цвета на стене совместятся, то получится нужный узор. Вырезанные из толстой бумаги трафареты промасливались олифой (чтобы были прочными и чтобы клеевая краска к ним не приставала), и по ним набивался кистью рисунок. По трафарету не писали, ибо жидкая краска обязательно потечет по вертикальной стене, а набивали рисунок круглой щетинной кистью, коротко подвязанной и ровно подрезанной, густо и сухо взятой краской, держа кисть перпендикулярно стене.

Я узнал названия красочных порошков: крон, охра, мумия, бакан, ультрамарин, киноварь, сажа, зеленый купорос..

Меня очаровывали названия красок, запах клея, вид всех инструментов для работы. Все это стало родной для меня атмосферой. Казалось даже, что я в каком-то бышем, забытом существовании все это уже знал... до глубины души любил, как и теперь.

Великанов, помнится, работал хорошо — свежо, сочно, точно рисуя, гармонично сочетая краски. Он навсегда остался для меня примером художника, творца, создателя.

Через год он уехал в Харьков в той же солдатской шинели, лихо заломленной папахе, в обмотках и грубых солдатских башмаках. Но уже с багажом — этюдником через плечо и с большим пакетом своих работ.

Я так и не знаю дальнейшей судьбы Андрея Васильевича. В 1976 году, будучи в Харькове, я настойчиво расспрашивал о нем старых художников. Никто ничего не знал...

А вскоре судьба занесла в Вознесенск художника совсем другого склада — Александра Александровича Риттиха. Риттих был художник европейского типа, точнее немецкого. Он и учился в Мюнхене и Вене и, как я сейчас понимаю, работал явно в плане Бёклина, так поразившего в свое время молодого Репина. Небольшого роста, изящный блондин с бородкой, длинными волосами, очень похожий обликом на традиционное изображение Иисуса Христа. Когда я познакомился с ним, ему было тридцать три года.

Как я понял, он вернулся в Россию после Октябрьской революции и попал в водоворот гражданской войны на Украине. В глухом селе заболел тифом, и когда Мария Тарасовна, деревенская фельдшерница, выходила его, женился на ней. Мария Тарасовна была намного выше его, со следами оспы на широком добродушном лице, веселая, приветливая, очень славная.

Удивительная была пара и очень дружная.

Они поселились в той же бывшей учительской комнате мужской гимназии, где в прошлом году помещался наш изокружок. Придя знакомиться, я огляделся по сторонам, и мне показалось, что я очутился в незнакомом мне, таинственном и прекрасном мире. Стены были завешаны небольшими, выполненными масляными красками картинами Александра Александровича. Вот девушка в белом выезжает из сказочного леса, сидя на спине единорога; вот русалки, освещенные луной, играют в темной реке; вот болотные огни среди кувшинок мерцают в глубине картины и т. п. Все это тонко нарисовано, полно фантазии и сделано с большим мастерством. Спустя короткое время Риттих переехал в Николаев, близкий мне город, где жил отец моей матери, к которому в детстве меня привозили маленьким пароходом, ходившим по нашему Южному Бугу. В 1921 году я в последний раз был в Николаеве и тогда же зашел к Риттиху. Он на больших фанерах, пользуясь кроватью вместо мольберта, писал маслом многофигурные композиции на революционные темы с присутствием ему легким мастерством.

В следующем году он навестил меня уже в Одессе. В моей комнате стояло хозяйское пианино. Риттих присел к нему и заиграл. Моя старшая сестра была хорошей пианисткой, но подобной игры я еще не слышал. Стояли сумерки, и это еще больше усиливало воздействие музыки.

Одна вещь, им исполненная, произвела на меня особенно сильное, потрясающее впечатление. «Что вы играли?» «Марш фюнебр» (похоронный марш) Бетховена».

Я настолько влюбился в эту вещь, что у знакомых консерваторок специально научился читать ноты, разучил «Марш фюнебр» и играл его до тех пор, пока не запомнил наизусть. Правда, без непосильных для меня пассажей, аккорды главным образом. И долгое время, изо всех сил нажимая на обе педали, я с чувством играл «Марш фюнебр»...

В 1937 году в Ленинграде на Невском я неожиданно встретил постаревшего, несколько отяжелевшего Александра Александровича. Он жил в Алма-Ате, знал мои работы. Он рассказывал, что Мария Тарасовна, связанная с книжным делом, доставала все мои книги и каждый раз ему говорила: «Вот, смотри, Женька Кибрик сделал». Больше я его не видел, и все, у кого спрашивал о нем, ничего мне не могли сообщить.

После отъезда Великанова уже один я расписывал порталы железнодорожного клуба. Хорошо помню, как увеличивал плакат, направленный против панской Польши (шла война с белополяками).

В 1922 году на короткое время Вознесенск объявили уездным городом. По этому случаю открывалась районная сельскохозяйственная выставка. Я один ее всю оформил. Написал портреты, лозунги, диаграммы (их тогда очень любили, и много я переделал диаграмм впоследствии и в Одессе и в Ленинграде), вывески, объяснительные тексты.

Заработал 300 миллионов рублей (я неоднократно об этом вспоминал — очень уж эффектная сумма, хотя на наши деньги это, я думаю, рублей 120—150). Никогда еще у меня не было таких денег, и впервые я мог серьезно подумать о том, чтобы поехать учиться. Конечно, в Одессу, ближайший университетский город. Восемь часов езды поездом. Отец пришел в отчаяние: ну что за профессия — художник, художники ведь босяки... Учился бы уж лучше на архитектора... Но я ехал на свои, заработанные деньги, чувствовал себя независимым и был непреклонен.

Итак, летом 1922 года на заработанные деньги я в переполненной теплушке уехал учиться искусству в Одессу.

Я в большом, настоящем городе. Ищу художественный институт и нахожу его на Преображенской улице, дом 12.

Я приехал вовремя — идут вступительные экзамены. Пишу натюрморт, рисую натурщика. Я принят.

Экзамен вел Даниил Карпович Крайнев, небольшой мрачноватый человек с жесткой бородой, в очках, очень молчаливый. Прежде чем что-либо сказать, он долго откашливается, потом помолчит, а затем каким-то глухим, как заржавевшим голосом говорит несколько слов. Много позже, глядя на мой эскиз, он, также помолчав, изрек: «Что это вы рисуете индейцев? (У меня были совсем не индейцы.) Разве вы видели когда-нибудь индейцев? Рисуйте то, что можете увидеть, например: мальчик тянет кошку за хвост...»

Он вел рисунок и во время рисования портрета подошел как-то ко мне, долго смотрел на мою работу и говорит: «Почему это волосы у нее как суконные?» — и пошел дальше.

Вообще я почти не помню примеров прямого и ясного обучения чему-либо за три года пребывания в институте.

Основные понятия техники рисунка и живописи прояснились для меня много позже, на собственном опыте. Замечания профессоров сводились к простым указаниям о пропорциях: голова мала, руки, ноги длинные либо короткие и т. п.

А вот как начинать работу, чтобы разместить ее лучшим образом на листе, каким способом установить правильные пропорции, как трактовать форму, как построить колорит (я вообще не понимал, что означает этот термин, и только долгое время спустя наткнулся у Джеймса Уистлера на идеальное определение того, что такое колорит: «композиция цвета»? Даже такой большой мастер, как Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, в ленинградской Академии художеств туманно толковал о «цветосиле» и «светосиле», не сумев объяснить, что это обозначает.

А имел он в виду тон, без которого невозможна живопись, но и это я понял только на своем опыте, самостоятельно, уже зрелым художником.

В основном обучение идет в процессе подражания более умелым товарищам или учителю, если он сам садится исправить твою работу.

Большое значение имели музеи и книги, вернее, альбомы репродукций.

В музеях впервые я увидел настоящие произведения искусства в таком количестве и разнообразии.

Первый из них — музей имени В. В. Верещагина в Николаеве. Здесь на многих экспонатах стояли надписи: «Дар князя Гедройца». Так никогда и не узнал я, кто же этот князь. Работы Верещагина, очень правдивые и мастерски исполненные, очень заинтересовали меня. Особенно большая вертикальная картина — хищные птицы над трупомбитого солдата.

В Одесском музее искусств наибольшее влияние оказали на меня великолепный овальный портрет Алафузовой работы В. Серова, один из его шедевров, написанный необычайно свободно, широко и в то же время точно, и серия карандашных портретов Сомова.

Я им, этим сомовским портретам, безусловно, подражал. Они были такие тонкие и красивые, что лучше, кажется, не нарисуешь.

Это в первый год обучения в мастерской Павла Гавриловича Волокидина. В его мастерской работали очень способные люди, реалисты, имевшие один идеал — близость к натуре.

Однажды мы, студенты, побывали в мастерской Волокидина, и мне очень понравились его работы — свежие, сочные, с открытым мазком. Он был талантлив и работал в духе «южнорусского» реализма. То есть в системе передвижнической, соединенной с хорошей дозой импрессионизма с его вниманием к цветовым рефлексам, синим теням в пленере.

Я подружился со студентом мастерской Волокидина Борисом Николаевичем Зуевым, жившим в богато обставленной профессорской квартире, художником опытным, лет на десять старше меня. Писал он множество изысканных картинок, и весьма умело.

Не пойму, что могло быть общего между нами в каком бы то ни было отношении, и тем не менее он со мной дружил, снабжал очень хорошими старыми рамками, и мне запомнилось, как он меня учил, что в композиции обязательно должно быть нечетное число фигур. Я это запомнил — что-то в этом правиле есть, хотя бы то, что «неделимую» композицию естественнее сложить из нечетного числа фигур, так как четное число легче распадается на равные части. Правда, я могу легко назвать много отличных классических композиций с двумя или четырьмя фигурами.

Иногда в мастерскую Волокидина приходил Петр Васильев (впоследствии прославившийся портретами В. И. Ленина), садился близко к модели и тщательно писал портрет мягкой колонковой, акварельной кисточкой, пользуясь муштаблем.

Кажется, он учился еще с 1915 года в художественной школе, и не знаю, был ли он еще студентом либо просто приходил потренироваться. Ходил он в сапогах, галифе, аккуратной гимнастерке и, как мне казалось, очень похож был на унтер-офицера.

Работали студенты мастерской Волокидина увлеченно, но участия в общественной жизни института не принимали, каждый жил своим миром.

Хорошо и как-то заинтересованно относился ко мне старик профессор Соколов. Не знаю, что он делал. Мне кажется, что у него не было учеников. Он звал меня к себе, дарил отличные большие серые венские картоны для живописи.

В 1923 году я, не имея квартиры, одно голодное время жил у товарища и спал на полу, расстелив эти чудесные картоны вместо тюфяка.

В мастерской Теофила Борисовича Фраермана, к которому я перешел на следующий год, писали совсем иначе. Грубо говоря, ориентируясь на репродукции со старых мастеров итальянского Возрождения. Мы применяли локальный цвет (не подчеркивая цветовые рефлексы, как у Волокидина) и, другим цветом — цветом тени, модулировали форму. Сама атмосфера в мастерской была такова, что принцип живописи как бы носился в воздухе и вдыхался автоматически.

В мастерскую Фраермана я перешел потому, что меня очень привлекала компания его студентов. Активные общественники, они очень интересно делали институтскую стенгазету с прекрасной графикой Миши Муцельмахера, расписывали институтский клуб и т. п. И все это в новом для меня, а значит, и привлекательном стиле.

Работы самого Теофила Борисовича никто из нас не видел. Я познакомился с ними только ровно через тридцать лет, когда приехал в Одессу со своей персональной выставкой в 1952 году.

Теофил Борисович пригласил меня к себе на обед, кормил чудесной копченой скумбрией и впервые показал свои работы. Маленькие, сделанные маслом и гуашью. Они оказались ближе всего к Сезанну, о котором в Одессе я никогда не слышал.

В каждой из мастерских утверждался свой стиль. Думаю, что этот стиль зависел от личности наиболее одаренных студентов, ибо ничто так не влияет, никакие словес-

ные советы учителей, как конкретный пример работающего рядом с тобой товарища, лучше, убедительнее решающего общую задачу.

Как-то мы с женой, Ириной Александровной, выходили из мастерской моего друга Тараса Гурьевича Гапоненко, художника тонкого, безошибочного вкуса, талантливого колориста. И мы оба одновременно обратили внимание на то, что увидели пейзаж Верхней Масловки глазами Гапоненко, его красками.

На молодого художника еще более сильно действует творчество талантливого соседа.

От Теофила Борисовича мы, так же как и от других профессоров, узнавали немного. Чаще всего он советовал. «Берите в тенях темнее, в светах светлее. Четче,— говорил он,— четче...»

И постоянно безуспешно требовал от нас эскизы. С эскизом у меня однажды вышло трагическое недоразумение. Было задание на тему «Идут...».

Почему-то я написал маслом стену монастыря, освещенную луной, за ней черные кипарисы, а перед стеной шествие монахов в клобуках, с горящими свечами в руках...

Может, это было навеяно романтическими композициями А. А. Риттиха, либо что-то подобное я видел в «Ниве».

Во всяком случае, меня торжественно исключили из института за идеологическое преступление, и мне с большим трудом удалось остаться в институте.

Но я имел и свой первый успех на ниве сочинения эскизов.

В 1924 году был объявлен институтский конкурс композиций на тему «Праздник урожая».

Я написал эскиз маслом, явно навеянный старыми мастерами.

Первый план занимали стоящие в тени группы фигур со снопами, плодами, фруктами, символизирующими изобилие.

За ними, ярко освещенные солнцем, три хоровода — ближе, в центре, один, а за ним два, несущиеся в обратную сторону.

Фоном служило грозовое, темное небо, нависшее над черно-синими горами.

Я получил первую премию: трехметровый горизонтальный холст и мастерскую для написания картины.

Неожиданно я оказался один в большой мастерской перед, как мне казалось, огромным холстом.

Я растерялся — черт его знает, как пишут картины, не знал я, как взяться за дело.

Увеличил свой эскиз в размер холста. С маленькими фигурами на эскизе я справился, но на картине фигуры оказались в человеческий рост — чем же их заполнить?

Поразительно, что мне не пришло в голову взять натурщиков и рисовать с натуры, и никто не подсказал мне этого, как и того, что для земли, неба, деревьев следовало сделать этюды также с натуры.

Я все стал выдумывать и развел такую стилизацию и схематизм, что самому противно было смотреть на свое произведение с его мертвыми красками...

И все же у меня сложился некий стиль работы со строгим отношением к форме, со стремлением к монументальной, а не жанровой композиции.

Сейчас я понимаю, что дело не только в моей индивидуальной склонности. Это было не случайно. Нас вдохновляла мечта о светлом будущем, ради которого мы жили,— лозунги о мировой революции, идеи социализма и коммунизма. А плакат расцветал — в нем находили воплощение лозунги и идеалы эпохи.

Зима казалась мне особенно холодной, так как нечем было топить. Вечером я приходил домой, прихватив в булочной сайку или бублики, и, войдя в промерзшую комнату, прямо пропадал без горячего чая. Комната небольшая, в центре ее стоял чугунный казанок для отопления утлом, но денег на уголь не было. Однажды я догадался, что делать,— сорвал толстый картонный переплет с «Истории философии» (не помню, как ко мне попавшей), раскромсал его, сунул в казанок, поджег и на нем чудесно вскипятил чайник. Я был счастлив своим открытием, и теперь каждый вечер у меня было топливо. За переплетом пошла в ход и сама книга — на плотной бумаге печатали книги в XIX веке.

За «Философией» отправились остальные тома—я втянулся в это дело. Пустил в ход свои работы. Сначала те, что я считал менее удачными, и прежде всего мои юно-

шеские рисунки, а затем стал снимать со стен и свои лучшие работы, считая, что нечего их хранить, так как позже я научусь рисовать и писать лучше. К концу зимы я сжег все, что у меня было горючего.

Чего бы я не отдал сейчас за то, чтобы хотя бы посмотреть на те работы, что я так легкомысленно сжег. Как я был глуп, не понимая, что если я и начну работать лучше, то этих работ я уже никогда не сделаю. Увы, разным путем у меня погибло почти все, что я сотворил до 1928 года. Не могу сказать, как мне это сейчас досадно.

Забота о том, где достать денег, чтобы прожить сегодняшний день, стала для меня ежедневной проблемой. Прежде всего мне ненавистна была мысль о материальной зависимости, об иждивенчестве в любой форме. Я хотел чувствовать себя независимым, самостоятельным, я ведь был силен, здоров (еще в 1920 году в военном клубе я занимался борьбой и тяжелой атлетикой) — мне чудилось, что я все могу преодолеть. Я ничего не боялся, никаких трудностей, наоборот, они меня прищипывали, я любил преодолевать препятствия. Недаром так любил я в юности Джека Лондона. Но зарабатывать я хотел только исключительно трудом художника, в любой форме, но только как художник. Я не хотел никаких других заработков, какие иногда возможны были через студенческие организации. В этом тоже была моя гордость, гордость художника, который должен постоянно ощущать нужность, полезность его ремесла для людей.

В одесском институте ИЗО я в свои шестнадцать лет был самым младшим. И, как самый молодой, брался обычно за ту работу, от которой отказывались мои старшие товарищи из-за ее низкой оплаты. И так как мой друг Митя тоже не боялся труда, мы славившись среди товарищей своей трудоспособностью. Трудную работу заказал нам город Первомайск — 100 праздничных плакатов. Нужно было сочинить эскиз, нарисовать его в натуральную величину, вырезать 5 трафаретов по числу красок плаката и, лежа на полу, отстучать 500 раз, следя за совпадением цветов. И это все за 15 рублей со своим материалом. За ничтожную же плату мы с Митей взяли написать декорации для одесского загородного рабочего клуба. «Богатый павильон», «бедный павильон», «лес», то есть самый нищенский набор декораций. Платили так мало, что вместо белилы мы вынуждены были купить дешевый мел и выкрасили им «бедный павильон». Мы поставили сушить декорации на воздух, ветер поднял пыль, она пристала к мокрому мелу и так осталась большими темными пятнами. Мы уверяли заказчиков, что это пятна еще мокрой краски... У нас не было больше материала, чтобы перекрасить декорации заново.

1923 год. Мне семнадцать лет. Я ищу работу, любую — для художника. Неожиданно Таня, пианистка, тапер кордебалета Одесского оперного театра, заходит за мной и буквально тащит меня в театр. Оказывается, старый балетмейстер театра итальянец Роберт Иосифович Белланотти рвет и мечет, требуя найти ему немедленно молодого, совсем молодого художника. В театре есть прекрасные старые декораторы, например Садовников, высокой квалификации, но Белланотти они не годятся. На носу его бенефис, а он, съездив перед этим в Москву, очаровался Мейерхольдом. Его просто ошарашила всесторонняя «революционность» Мейерхольда. Белланотти, старый ребенок, виртуозно владевший классическими традициями балета, со всем темпераментом и экспансивностью своей природы захотел сам немедленно стать «футуристом». Этим термином он называл все новое, непонятное ему в искусстве. В театре Мейерхольда он ровно ничего не понял, но у него не было никаких сомнений, что нужно попросту все делать обратно принятому. В театре занавес — значит, нужно занавес побоку, в театре действие начинается по звонку — нужен гонг или, может быть, автомобильный рожок?

В театре декорации, изображающие реальную среду, а кулис не видно. Нужно, значит, обнажить закулисную часть сценической площадки, а сцену заставить какими-нибудь эффектными и неожиданными вещами и т. д. Когда осуществился бенефис Белланотти, он выступил в рыжем парике, исполняя «Танец убежденного футуриста», стоя на голове...

Но все это было потом, а пока я стоял в пальто и кепке, от смущения не вытиская трубки изо рта, а вокруг меня щebetал веселый кордебалет в туниках, бесцеремонно рассматривая и тормоша меня.

Высокий, габкий, молниеносный Роберт Иосифович пришел в восторг от **моей** юности (это как раз то, что он хотел), схватил меня за руку и увлек в свой кабинет, маленький, заставленный сувенирами, фотографиями, безделушками, непрерывно говоря, приплясывая от нетерпения.

В бенефис он ставит «Пяццев»... балетом, а я ему нужен для эскизов декораций, хотя он ни за что не хотел именно декораций. Он мечтал о поражающей бессмысленности, чтобы было, как ему казалось, «совсем как у Мейерхольда».

Он тараторил на своем балетном жаргоне: «Сделайте такие футуристические загибулины и побольше трулюлюлек, трулюлюлек...» Я понятия не имел о том, что такое футуризм и тем более «трулюлюлки» — очевидно, это что-то, что выдвигают ногами прелестные балеринки, которые все еще мельтешили у меня в глазах.

«Да, лестницы, обязательно поставьте большие лестницы», — объяснял мне Роберт Иосифович.

Когда я робко спросил его о том, для чего лестницы и что, в общем, будет происходить на сцене, он замахал на меня руками и объявил, что мне этого знать не нужно, это, мол, не имеет никакого значения.

Последние годы я не раз вспоминал Белланотти, глядя на некоторые работы молодых художников. Я ясно видел, что они также старались подражать «левым» художникам 20-х годов (как Белланотти Мейерхольду). Я страстно хотел заработать хотя бы десятку, но тут я стал в тупик и просто бежал.

Через несколько дней Таня меня разыскала и силком притащила в театр (иначе, говорит, Белланотти ее прогонит, а у нее ребенок. Белланотти требует от нее меня, нет уже времени искать кого-либо другого). И вот я снова в кабинете Белланотти, он даст мне бумагу, акварель и говорит, что выхода у него нет иного, как запереть меня на ключ и держать до тех пор, пока я не сделаю эскизы. Выхода и у меня нет, и я делаю на черном фоне оранжевые «загибулины», через весь задник пускаю оранжевую же молнию, ставлю как попало стремянки и театральные станки, обычно подпирющие сзади стены павильонов.

Белланотти счастлив, оранжевая на черном мешанина эффектна и бессмысленна, как ему и хотелось... Я же не только заработал гонорар (не помню уже какой), но и получил свободный проход за кулисы, где торчал все вечера, всегда, когда мог, и переслушал весь оперный репертуар. Кстати, вблизи пересмотрел прекрасно писанные декорации (их делали, кажется, в Вене). Запомнились горы из «Демона», написанные с очень высоким мастерством, — совсем как настоящие.

В 1924 году был большой пожар в оперном театре, и все декорации сгорели на-чисто.

В общественной жизни института заметное участие принимала компания студентов мастерской Фраермана. Они тесно дружили с группой архитекторов и некоторыми студентами театральной мастерской во главе с красивым, талантливым, остроумным Игорем Вусковичем, ныне он один из ведущих художников «Ленфильма». С ним мы сохранили дружбу на всю жизнь.

Меня так привлекали эти люди, что из-за них я перешел в мастерскую Фраермана.

Они все были старше меня, остроумнее, опытнее, веселее, а я умел только работать и, пожалуй, бороться, и только. А это все был народ живой — и пели, и играли, и придумывали много интересного, хотя бы «живое кино» — веселую и остроумную пародию на кинодетективы, имевшую большой успех у вузовской молодежи. На наши вечера «живого кино» — «Доктор Мабузо», «Черный ящик», «Синдидуш» (синдикат душепителей) — народ валом валил.

С этими спектаклями, а также с забавными скетчами мы выезжали и в подшефную красноармейскую часть.

В институте нередко выступали писатели и поэты. Выступал у нас и И. Бабель.

Бабель сидел на сцене нашего клуба, небольшой, в очках, и скучным, монотонным голосом читал недавно написанный им рассказ «Соль».

Контраст между заурядной внешностью писателя и блеском его необычайного слова был удивителен.

Целые фразы сразу же и навсегда врезались в память. Как стихи. Это было чудесное явление новой художественной прозы.

Выступал у нас не раз Эдуард Багрицкий. Его короткое, астматическое дыхание давало какую-то особенно волнующую интонацию пушкинским и его собственным стихам, которые он превосходно читал. Между прочим, я запомнил читанную им у нас шуточную поэму «Граф Калиостро».

Музыка два часа гремит.
Княжна Елена по паркету,
Душой предавшись менуэту,
С арапом медленно скользит...

Эта поэма, кажется, не вошла в собрание сочинений Багрицкого, и мне говорили, что ее как будто бы не оказалось в наследстве поэта. Но я ее слышал в великолепном исполнении самого Багрицкого.

Весной 1925 года, решив ехать в Ленинград, мы с Митей задумали заработать деньги на дорогу в Вознесенске, делая вывески. Прежде всего нам заказал вывеску «Хлебопродукт», которым заведовал отец. Мы написали большую, красивую вывеску с картинками — фигурами хлеборобов со снопами в руках.

Митя, который любил техническую работу (его радовала отлично покрытая краской плоскость), сделал «бархатный» синий фон. А синяя краска плохо кроется, все стремится лечь пятнами. Он несколько раз широкой плоской кистью, флейцем, покрыл железо вывески и добился очень красивого результата. Я в это время рисовал фигуры, а затем мы вместе очень тщательно написали буквы. Потом нам заказало вывеску отделение Госбанка, после чего все учреждения города захотели иметь новые красивые вывески, и мы заработали не только на дорогу, но и на одежду. Я оделся прекрасно: хромовые сапоги, черные галифе, синий китель, перекрашенный из офицерского защитного, кожанка на байковой подкладке. Митя оделся по своему вкусу. А мать, которая любила Митю, сшила ему длинную куртку на вате из моей гимназической шинели, и мы смело покатали в далекий Ленинград.

Бедная мама, она умерла от голода весной 1942 года в Ленинграде, во время блокады...

Мы с Митей приняты в Академию. Нас очень много принято на первый курс, и мы все собираемся в вестибюле. Нас встречает ассистент Петрова-Водкина — Сергей Васильевич Приселков: в белом халате, в пенсне, с подстриженными усиками над губастым ртом и с маленькой эспаньолкой. Он говорит нам небольшую речь о живописи. Он оперирует новыми для меня понятиями — «гигиена холста» (Петров-Водкин высоко ценил белизну холста, позволяющую прозрачными красками, лессировками, начинать работу), «цветосила», «светосила».

Потом нас ведут в две большие мастерские первого курса. В каждой из них работает человек по 40. Разбираем мольберты. Старые, академические мольберты, измазанные масляной краской, сизой фузой — смесью красок, снятых мастехином с палитры, иногда с надписями.

Мы как бы принимаем эстафету от предыдущих поколений студентов.

Почему-то меня ужасно тяготила атмосфера старого, необъятно большого здания Академии. Очень неуютного. Длинные-длинные коридоры, прерываемые переходами через двор, где дул холодный ветер, сводчатые потолки, множество помещений, лестниц. Много надо времени, чтобы сориентироваться среди всего этого.

Была какая-то нелепость, противоречивость, неуверенность в преподавании искусства в Академии.

Не доверяя профессорам как «буржуазным специалистам» и боясь их персонального влияния на студентов, руководство в 1925 году изобрело «коллективный» метод преподавания, при котором один день к нам приходил один профессор, на другой — другой (начисто отвергавший указания первого).

Профессора, нетерпимо относившиеся друг к другу («Ну что он понимает в живописи!»), без конца дискутировали, мы яростно спорили с ними, вызывая у некоторых из

них смятение. Даже такой чудесный мастер, как милый Аркадий Александрович Рылов, был как-то запуган, что ли. Только однажды я услышал, как он, оглянувшись, тихо посоветовал моему соседу: «Вы пишете больше мазками, мазками» (сосед тушевал кистью).

Что касается композиции, то в этой области царил полный туман. Никаких идей, задач перед нами не ставилось. Консультировал композиции Александр Иванович Савинов. В те времена я видел только его дипломную картину «Купанье», большую, многофигурную. Он был однокашником И. И. Бродского и в молодости оказал заметное влияние на последнего. Техника Бродского, как бы «вышивавшего» маленькими мазками свои картины, сложилась под влиянием Савинова. Об этом говорил мне сам И. И. Бродский.

Ректор Академии — очень интересный человек, но далекий от искусства — Эдуард Эдуардович Эссен рассуждал при мне о загадочности метода преподавания композиции. Он всерьез говорил о том, не следует ли брать для упражнения в композиции иконы, заменяя, скажем, фигуру Георгия Победоносца фигурой красноармейца и т. п. (эту задачу решали позже художники Палеха, и с большим успехом).

В Академию я постепенно стал ходить все реже и реже, так как неопределенности мне было достаточно собственной, и я стал искать ответ на свои вопросы в окружающей художественной жизни, а там бушевала дискуссия. Во взглядах на искусство проявлялось крайнее разнообразие, причем разнообразие воинственное, яростно спорящее. Я обнаружил его в первую очередь в среде студенчества.

Безусловно, все мы были убеждены, что современное искусство должно быть каким-то новым, ничем не похожим на старое, дореволюционное искусство, бывшее в наших глазах таким же буржуазным, как все без исключения, предшествовавшее революции.

Новым... но каким конкретно?

Большую силу представляли последователи Пикассо, Матисса — так называемого нового французского искусства, причем Пикассо воспринимался главным образом через его кубизм. В этом духе была выполнена большая картина Вячеслава Пакулина на выставке дипломных работ 1925 года.

Воевали импрессионисты, немало последователей находили конструктивисты, оформившиеся несколько позже в общество «Октябрь» с его проповедью о том, что станковая живопись, картина, устарела, а современным является оформление предметов окружающего нас быта. (В наше время это дизайн, имеющий свою, очень важную в жизни область художественной деятельности.)

Дул ветер новых исканий, идущий от Казимира Малевича и группы его приверженцев, причем сам Малевич на дискуссиях не появлялся и казался фигурой таинственной, непонятной.

Особо стояла группа учеников Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Он преподавал в Академии, недавно вернувшись из Франции.

Помню его фигуру в шубе с бобровым воротником, обходящего амфитеатр в циркульном классе, где шел у нас рисунок. В его замечаниях чаще других слышалось слово «форма», «форма», которое он произносил в нос, с французским акцентом.

Впоследствии я хорошо с ним познакомился, а в 1933 году даже председательствовал на его юбилее. Он сидел рядом со мной, слушал хвалебные речи и наконец заметил: «Вот все меня хвалят, а мне интересно было бы услышать и критику». На это я тут же говорю: «Ежели так, я решусь вас немного покритиковать. Знаете, Кузьма Сергеевич, я давно заметил, что персонажи в ваших картинах внутренне разобщены, лишены психологических контактов, их объединяют, как правило, только композиционный ритм и колорит».

Он этак лукаво на меня искоса посмотрел и говорит: «Вот черт, заметил...»

Приверженцы традиционной русской реалистической школы, все старики, объединились в «Общине художников» и «Обществе имени Куинджи».

Главное, что звучало в речах стариков реалистов, были слова «правда» и «красота». Мы, конечно, смеялись над старомодными чудаками.

Прошло более полувека... «А ведь «чудаки» оказались правы», — говорю я себе.

Очень часто в спорах о новом искусстве фигурировало имя Сезанна, но в Ленинграде не было в те годы яркой сезанновской группы. Она находилась в Москве в лице художников «Бубнового валета» во главе с П. П. Кончаловским и И. И. Машковым.

На объединенных выставках встречались прекрасные работы стариков — Б. М. Кустодиева, А. Я. Головина, А. А. Рылова, но мы, молодежь, на них не реагировали, мы искали «новое», только в нем видя свое будущее.

Особняком стоял И. И. Бродский, выполнявший картины по правительственным заказам.

Я не назвал самую многочисленную и организационно мощную группу — АХРР (Ассоциация художников революционной России). Она сыграла большую роль в развитии нашего искусства, тем более что ее поддерживали чрезвычайно влиятельные люди (достаточно назвать К. Е. Ворошилова и Емельяна Ярославского).

Главная идея АХРР заключалась именно в новых сюжетах. Сюжетах советской действительности, реалистически выполненных в традиции передвижников. АХРР имела и сильную материальную базу, что многих весьма привлекало.

Но нам казалось, что сама традиционность живописи АХРР уже не революционна, а ретроспективна, и уже одним этим не представляла для нас интереса, ибо первое, в чем мы были уверены, — это обязательная внешняя новизна советского революционного искусства. Лозунг АХРР — «назад к передвижникам» — казался нам художественно реакционным. О материальных выгодах мы не думали, увлеченные романтикой исканий. (Когда я говорю «мы», я имею в виду себя и круг моих товарищей.) Кроме того, наиболее талантливые ахрровцы, как, например, Б. В. Иогансон, работали в Москве.

Любопытно (это мне сейчас видно, тогда мы этого не замечали), весь спор в нашем кругу шел только о том, как писать, то есть затрагивал главным образом форму, и никто из спорящих не поднимал вопроса о том, что писать. Мы рвались к живописи, но не знали, как ее делать.

Споры художников, как мне кажется, бывают нередко бесплодными, ибо художники по своей природе чрезмерно субъективны. Объективность в понимании искусства редко встречается в их среде. Страстная потребность утверждения своего чувства и взгляда на искусство обычно сопровождается категорическим отрицанием всех остальных тенденций.

Это никогда не может быть справедливым.

Если художник влюблен в Рембрандта, то он чаще всего будет утверждать, что Гольбейн или Микеланджело просто не живописцы, хотя совершенно очевидно, что это только другая живопись.

Я встречал объективных художников, но очень редко.

Между прочим, И. И. Бродский (может быть, потому, что он был серьезным собирателем картин, что невозможно без способности их понимать) в спорах мог верно оценить явления искусства, даже враждебные ему как художнику.

Так, при мне в начале 30-х годов он очень высоко оценивал П. Н. Филонова, говоря, что в мире нет второго такого. Мастер отдавал должное мастеру: Филонов при мне очень хвалил «Заседание Коминтерна» Бродского.

Мы же не были мастерами, а со всем темпераментом и жаром юности предавались дискуссии. Шла она и в стенах Академии.

В нашем переполненном клубе на сцене — скульптор Сослан Тавасиев, герой гражданской войны, с орденом Боевого Красного Знамени на оранжевом полупубке, с окладистой, жгуче-черной бородой. Высоким митинговым тенором он с надрывом начинает: «Това-а-ариши!..» — и дальше разносит Академию и ее профессоров. Мы распеваемся — покажись профессора, покидали бы их, кажется, в окна..

На тех же подмостках студенческого клуба я впервые увидел и услышал Павла Николаевича Филонова, выступавшего с проповедью «аналитического искусства».

Высокий, в серой толстовке с поясом, в солдатских ботинках, с бритой головой и лицом твердым, как бы вычеканенным, с пристальным взглядом. Каждое слово он четко вбивал, как гвоздь в стену. Казалось, сделан он был из того материала, из которого делают пророки. Во всем облике — нечто неподкупно убежденное, за словами

чувствовалась глубина мысли, внутренний мир необыкновенного человека. Он произвел на меня прямо-таки гипнотизирующее впечатление.

Он развивал мысли о революции в мировом искусстве, о том, что изобретенное им «аналитическое искусство» начинает новую эру, открывая дорогу новому содержанию. А оно — во внутреннем мире художника, непосредственно выражаемом непрерывно изобретаемой художником формой. На этом пути, не связанный ни темой, ни сюжетом, художник дает полную свободу своей интуиции, причем одинаково хороши любая форма и любой цвет. Единственное, что делает этот процесс явлением искусства, — это «сделанность», открытая Филоновым.

«Сделанность» — процесс аналитический. Движет искусством Филонова сплав интуитивного потока «содержания» и «аналитической» сделанности. Отсюда тезис Филонова об «аналитической интуиции» как основе его художественного процесса.

Филонов утверждал, что за два месяца он из каждого, буквально из каждого человека может сделать мастера «высшей формации», не ниже Леонардо да Винчи...

Когда я впервые пришел к Филонову, из его последователей сформировалось официально зарегистрированное общество под названием «Коллектив мастеров аналитического искусства», в скобках — «школа Филонова».

Общество представляло собой коллектив равных участников во главе с секретарем, которым выбрали почему-то самого младшего — меня. Сам Филонов был и членом коллектива и одновременно стоял особняком как глава школы и общий учитель.

Собирались мы всегда у Филонова, жившего на втором этаже Дома писателей на улице Литераторов, Аптекарского острова, на берегу Черной речки.

Комната с двумя окнами, метров двадцати или немного больше. У стены железная, больничного типа кровать без тюфяка, застеленная серым одеялом (Филонов спал на голых досках). Между окнами зеркало, небольшой стол, табуретки, простой шкаф, черный мольберт. На белых стенах сплошняком, почти без просветов, висели картины Филонова. Больше всего врезалась в память самая большая и самая ранняя (кажется, 1913 года) — «Пир королей».

Короли сидели вокруг стола. Королевского в них было — только короны. В остальном они были внеисторичны и вненациональны. На них были одежды, и в то же время их не было... Не конкретные короли, а как бы отвлеченное понятие о королях.

Вся картина таинственно горячая — коричневая, красная и золотая.

Форма напряжена, сжата до крайности. Руки с откровенно проступающими костями, цвет не локальный, силуэтный, а переливающийся, мерцающий.

Были абстракции, примитивы, например странная группа упрощенно рисованных фигур. У одного из них головной убор из перьев наподобие индейского.

Запомнилась начатая Филоновым картина, стоявшая на мольберте во время моего последнего прихода к нему в 1930 году.

Холст горизонтальный, примерно 1,7 метра по длинной стороне.

Быстро и жидко прописанный черно-зеленым цветом широкими горизонтальными полосами. По нему разработка (точками) потоком маленьких квадратиков — белых, красных, голубых.

Филонов называл картину «Формула весны».

Я видел множество работ Филонова, они хранились в шкафу. Работы маслом, акварелью, карандашом, пером и чернилами, на холсте и бумаге, даже на линованной в клеточку из ученической тетради. Были вещи необыкновенной красоты.

Филонов различал четыре русла своего искусства. Реализм, понимаемый как изображение природы «точь-в-точь». Таким был превосходно писанный маслом портрет его сестры, Евдокии Николаевны, жены старого большевика Глебова-Путиловского. В 1930 году он написал своего близкого друга, жившую с ним по соседству старую народоложку Екатерину Александровну Сибирякову. Портрет написан сухо, но абсолютно точно, точен и красив (я Сибирякову знал и могу судить о сходстве).

Между прочим, Филонов однажды при мне обмолвился, сказав, что общественное, социальное значение имеет только реализм.

Второе русло «аналитического искусства» Филонов видел в примитиве (работа на основе неполного знания о предмете, приблизительного представления о нем). Примитив чаще всего встречался в наших работах, попросту плохо рисованных.

Третье русло Филонов называл натурализмом не в том понимании, какое термин получил в наши дни, то есть бесстрастное, протокольное копирование предметов, а в том, как именуется творчество Золя, опирающееся на научное представление о жизни.

В натурализме Филонов видел изображение в изобретенной, то есть субъективной форме (попросту абстракции) идеи о невидимых процессах, происходящих в каждом атоме материи, в воздухе, человеческом теле, в любом предмете.

И, наконец, чистая абстракция, позволяющая выражать что угодно, любую отвлеченность, просто смутный мир подсознания, интуиции, как бы и самый темперамент художника как таковой.

Наши работы, следуя терминологии Филонова, можно было отнести почти без исключения к примитиву и абстракции.

Буквальное обучение Филоновым учеников происходило преимущественно в один прием.

Он давал, как он говорил, «постановку на сделанность», объяснял разницу между «сделанной линией», в каждой точке проработанной, «сделанной формой» и «сделанным цветом», «напряженных», проработанных точкой прежде всего по границам. Остальное заключалось в абсолютно свободной импровизации любыми формой и цветом.

Нет у меня никаких сомнений в том, что Филонов по своей уникальной, удивительной природе был действительно исследователем, изобретателем в области искусства, как он говорил. У меня навсегда осталось чувство встречи с человеком необыкновенной цельности, чистоты, честности и совершенной оригинальности и искренности. Нравственно он был безупречен. По характеру — аскет, непоколебимо проводящий в жизнь свои взгляды. Он свел до полного минимума расходы на жизнь. Одежду — свою неизменную куртку из выкрашенной в синий цвет солдатской шинели, серую кепку, солдатские башмаки и старые черные брюки — носил по выработанной им системе абсолютно бережно. Питался черным хлебом, картошкой, курил махорку. Он решил тратить не больше 20 рублей в месяц. Зарабатывал их техническими переводами (по самоучителю изучил иностранные языки).

Произведения свои он отказался продавать, говоря, что все его творчество — это единый исследовательский труд, из которого нельзя вырывать страницы. Все оно, по его словам, принадлежит народу. Он был патриотом в высшем смысле этого слова.

В 1928 году при мне переводилось письмо из Парижа от торговца картинами, посетившего перед этим Филонова. Он умолял художника согласиться на выставку его картин в Париже. Помню фразу: «Ваши условия — мои...»

Филонов отказался. Он сказал, что до того, как его признают в нашей стране, он не хочет иностранного признания.

Таков был этот человек, сын московского извозчика и прачки.

В журнале «Юный пролетарий» печатали мои рисунки и даже предложили высказаться по вопросам искусства, что я и сделал.

У меня сохранился лист обложки журнала за январь 1929 года, где воспроизведен был мой рисунок. На обороте листа редакция поместила следующий текст под названием «Нельзя проходить мимо». Привожу текст, так как он кажется мне любопытным документом эпохи. Любопытен и сам Филонов, вобравший в себя приметы того бурного времени.

«Изобразительное искусство — один из наиболее сложных участков культуры, где новаторство, оригинальные приемы творчества, специфические законы мастерства и смелый полет мысли получают наиболее яркое выражение.

Твердого, универсального критерия «здесь нет» и сейчас быть не может, т. к. изобразительное искусство переживает период исканий. Для многих непонятно, почему изобразительное искусство имеет столько разветвлений, школ и группировок с совер-

шенно отличными друг от друга способами художественного оформления темы. Это, во всяком случае, не может служить оправданием для упрощенного взгляда на искусство, а также развития примитивных вкусов и грубо «потребительского спроса».

Филоновская школа — крайний фланг изобразительного искусства. Она не имеет предшественников и производит полную переоценку художественных ценностей (правильно или неправильно — это другой вопрос), пользуясь на первый взгляд необычайными и не совсем ясными способами выражения наиболее важных тем и вопросов, выдвинутых революционной эпохой. Отсюда не следует, однако, что на этом основании к ней нужно относиться как к кастовой школе, созданной для духовных одиночек, а не для массы. Нужно изучать работы филоновской школы точно так же, как произведения, представляющие противоположные течения в искусстве. Нужно вынести на коллективное обсуждение основные, наиболее характерные и яркие работы разных художественных группировок, привлекая к участию в дискуссии и массу рабочей молодежи. В процессе обсуждения выявятся мнения, и, таким образом, читатель сумеет выработать свои взгляды.

Редакция, предлагая вниманию читателей рисунок тов. Кибрика, просит присылать свои отклики и отзывы о нем, не стесняясь формой изложения. Просьба излагать откровенно свои впечатления от рисунка, разбирая вопрос о том, насколько автор справился с социальным заказом.

Вот что заявляет тов. Кибрик по поводу его работы: «Искусство сводится целиком к тому, что мы называем «действие содержанием», т. е. художник потому и делает рисунок, что хочет изобразить «что-то», что можно назвать его, художника, содержанием. Второй момент действия в искусстве — «как», т. е. как изобразил художник нужное ему содержание. Только так и можно оценивать любое произведение искусства — что и как в нем сделано. Содержание не надо смешивать с «сюжетом», так как сюжет может быть кошельком, который не изменится от содержимого — будь то и золотой и фальшивый гривенник содержания».

Поэтому о рисунке (обложка «Юного Пролетария») поупунктно.

I. Сюжет — «Порядок царит в Берлине»; порядок и изображен — восстание подавлено; рабочие хоронят павших, лучшие из живых — в тюрьмах... Это сюжет.

II. «Действие равно противодействию» — таков закон физики. Жестокость, с которой подавляется революция, зажигает непримиримейшую ненависть в сердцах тех, кто ее делает.

Рабочие, которые хоронят павшего в бою товарища, «спокойны», но до последней складки на пальто все в них сопротивляется этому «порядку». Вот эта-то неистребимая воля к революции, вместе с тяжестью понесенного поражения, и составляет «содержание» рисунка. Стремление реализовать это содержание в каждом частном, из которых слагается рисунок, определило то, что сделал он с «усиленным выражением».

III. Анализируя изображаемое, естественно, будешь также анализировать в процессе изображения. Результатом будет максимальный упор в реализации каждого частного, чем объясняется и самая «техника» рисунка, где проработана, «сделана» буквально каждая точка».

Попробуйте все это разобрать, оценивая напечатанный рисунок».

Филонов весьма удовлетворительно усмехался, читая мое сочинение.

Все чаще я получал заказы на обложки, фронтисписы, заставки в разных издательствах, пока наконец в марте 1930 года меня не пригласил директор Издательства писателей в Ленинграде и предложил мне иллюстрировать ироническую повесть Ю. Н. Тынянова «Подпоручик Киж». Это была большая честь для меня.

Мне довелось за два месяца сделать 20 иллюстраций к «Подпоручику Киж» — моему первому полноценному художественному изданию. Эти иллюстрации — результат чистой фантазии, натурой я стал пользоваться значительно позже. Применяя филоновский «принцип сделанности», я пускал в ход любые ассоциации, любые попутные образы, стремясь только к выразительной неожиданности.

...Начало лета 1930 года. Готовится объединенная выставка всех художественных обществ.

Мы собираемся у Павла Николаевича для совместного просмотра наших работ перед представлением их выставочному.

Показывает работы Капитанова, немолодая женщина, очень нам антипатичная, недавно введенная в нашу группу Филоновым как прошедшая «постановку на сделанность».

Она показывает большой лист с карандашным рисунком. Здесь изображено, как на могильных камнях Марсова поля (священных для нас камнях) красноармейцы возятся с проститутками.

Шум. Мы с Борисом Гирвичем не только возражаем против принятия этой работы, но и требуем исключения Капитановой из нашей группы как антисоветского элемента. Филонов возражает и говорит, что раз Капитанова признает принцип «аналитического искусства», она такой же революционер в искусстве, как он сам и как каждый из нас. Стало быть (его любимое слово), мы не можем ее исключить.

Завязывается, на два дня, длинный спор.

В пылу спора я заявляю о том, о чем уже давно думал: «То, что мы делаем, — формализм, непонятный и чуждый зрителю. Мы не участвуем своим искусством в общенародном деле, а называем себя почему-то революционерами».

Не помню, совсем не помню, что Филонов мне ответил, я очень волновался, но дословно помню, что я ему на это сказал: «Если так, Павел Николаевич, то нам с вами не по пути...» — повернулся и вышел из комнаты. Кое-кто вышел со мной, кое-кто остался. Так кончился «Коллектив мастеров аналитического искусства» в том виде, каком я его знал.

Вот и все. Началась новая полоса в моей жизни. Товарищи, что ушли вместе со мной от Филонова, не составили новой группы. Разбрелись.

Но я чувствую потребность воздать Павлу Николаевичу то, что он заслуживает. Чем больше я думаю о Филонове, тем отчетливее выступает передо мной трагическое заблуждение этого необыкновенного человека.

Об искусстве 20-х годов. У меня не было и нет возможности специально изучать материалы, относящиеся к теме. Я пишу только о том, что сохранила память и собственные размышления об искусстве. Стало быть, совершенно индивидуально, субъективно — как художник, но отнюдь не как историк и искусствовед.

За последние годы возник повышенный интерес к нашему искусству 20-х годов. И в среде нашей молодежи и на Западе, причем и в социалистических и в капиталистических странах. Правда, с разным «подтекстом». Если у одних это пылкий интерес к нашему началу, к истокам советского искусства, то у других — нечистое желание поднять на щит явления «формотворчества» этих лет и тем как бы набросить тень, скомпрометировать дальнейший реалистический путь развития нашего искусства, намекая на то, что этот путь уклоняется от истинного революционного прошлого, изменяет ему.

Так или иначе, но за последние годы различными силами стали настойчиво пропагандироваться имена Малевича, Филонова, Татлина, Гончаровой и Ларионова. Вот мне и хочется высказать свое мнение об этих и о некоторых других художниках, тем более что кое-что во взглядах и идеях наших дней, некоторым кажущихся новыми, передовыми, я вижу попросту повторение тех идей и взглядов, которые лихорадили нашу художественную жизнь 20-х годов.

Итак, о «новых» идеях 20-х годов.

Прежде всего эти идеи возникли много раньше и получили свое теоретическое и творческое оформление примерно (если не ошибаюсь) к 1913 году.

Общим у всех них (включая и работы этого периода Пикассо и Матисса) было убеждение в том, что путь развития всего мирового искусства изжил себя и больше на этом пути нечего делать, ибо ничего нового найти невозможно.

В 40—50-х годах на Западе сформулировалось и теоретическое обоснование этих взглядов. Мол, XX век — это век научно-технической революции, создавшей новое научное понимание мира и сформировавшей современного человека как человека кардинально нового типа. Говорится здесь о сверхскоростях передвижений, завоевании космоса, расщеплении атома и т. д.

Забывается только о том, что чувства человека, его страсти, его рождение, юность, старость, смерть, труд, любовь, материнство остаются прежними, как и биология чело-

века, а именно это — неизменное содержание искусства, к какому бы времени и народу оно ни относилось.

Не видя ничего привлекательного в пошлости буржуазной реальности, уже исторически обреченной, неспособной вдохновить на творчество, взгляды ряда талантливых молодых художников обратились на самую личность художника, на смутный мир его подсознания, на его интуицию, на его темперамент как таковой, на поиски некой самодовлеющей ценности художественных приемов, самодовлеющей ценности декоративного качества живописи (Матисс).

Примерно на такой же психологической основе базировались искания ряда талантливых художников 10-х годов. Соединяясь с идеями футуризма и кубизма, с поисками истины в непосредственности детского рисунка и примитива в искусстве отсталых народов, они породили причудливые художественные последствия.

Гончарову и Ларионову ярче характеризует обращение к примитиву, и изобретенный ими «лучизм» — своеобразная форма абстракции. Последние годы их имена и творчество все чаще фигурируют в искусствоведческих трудах, посвященных предреволюционному периоду русского искусства. Их имен в 20-е ленинградские годы я не слышал, и мне кажется, что они явление чисто московское.

Последствия международного значения имел абстракционизм, изобретенный в начале 10-х годов русскими художниками Кандинским и Малевичем.

В ряде стран Запада, а особенно на венецианских биеннале, я видел буквально километры абстракций всех стран мира. Публики, как правило, на этих выставках не было. Великое множество холстов, в общем, варьировало две линии абстракционизма, исчерпанные уже его изобретателями: живописно-эмоциональную — Кандинским и геометрически-рациональную — Малевичем.

В 20-е годы не раз возникали попытки «обновить» искусство связью его с наукой и техникой.

Так, в 1926 году одно время преподавал в Академии художеств некто Чупятлов, приглашенный Петровым-Водкиным. Я был у него дома и видел странные работы, например человека, изображенного вверх ногами. Большого размера. Работы эти выполнены были не кистью, а механическим распылителем краски — аэрографом. (На словах Чупятлов нес такую околесицу, что ничего нельзя было понять.) Тогда «живопись» аэрографом была курьезной новинкой, сегодня аэрограф, шелкография широко применяются на Западе, пробуют их применять и у нас.

В 20-х годах появился фотомонтаж в работах Родченко, например в его иллюстрациях к «Про это» Маяковского.

В те же годы мы познакомились с великолепными фотомонтажными плакатами Джона Хартфилда через широко распространявшуюся у нас немецкую коммунистическую фотогазету «АИС». Плакаты Хартфилда до сих пор не превзойдены как страстное, ярко-образное искусство. В наше время получило популярность буквальное использование фотографии не только в плакатном искусстве (где оно уместно), но и в станковом искусстве, где оно не только неуместно, но и является пародией на настоящее искусство, подделкой его. Правда, это чаще всего попросту проникновение к нам американского гиперреализма — откровенно упадочнического течения.

Весь этот калейдоскоп исканий и находок разного рода в те годы яростно противопоставлялся станковому образному искусству, отрицая его вплоть до требований уничтожить музеи (Малевич).

Манифесты, провозглашавшие подобные идеи, обычно сопровождалась революционной фразеологией. Этой фразеологии было очень много и в манифестах футуристов.

Мне кажется, что главный смысл футуризма в культе идеи движения, для выражения которого футуризмом был изобретен прием сдвигов. Сдвиги, повторяя контуры предмета, сообщали ему ощущение динамики, как бы одновременного нахождения предмета в разном пространстве.

Нечто в этом роде иногда встречается в современных плакатах.

Раньше я говорил уже об идеях конструктивистов — они были существенно новыми в 20-е годы. Но в эти нищие годы, годы разрухи, они не могли иметь того практического, производственного значения, которое приобрели сейчас в форме ди-

зайна — художественного оформления предметов быта и механизмов. В то время эти идеи воплощались в изобретательстве, имевшем скорее эстетическое, чем производственное значение.

Татлин изобретал в те годы то пальто на все времена года, то какую-то необыкновенную печку, то (уже гораздо позже) свой «Летатлин», не способный летать, но отличающийся красотой выточенных автором из дерева аэропланоподобных форм.

Матюшин занимался цветоведением и поисками эстетики цветковых плоскостей как таковых и имел группу своих приверженцев. Я его не встречал, но помню курьезные разговоры о том, что Матюшин, мол, изучает «видение затылком». Так зубоскалили.

Идеи экспрессионизма, идущие из Германии, воспринимались как культ выразительности, понимаемой как главное качество искусства.

Мне всегда думалось, что настоящее, полноценное искусство, призванное самой природой своей открывать прекрасное в действительности, воплощать то, во что верит, что любит художник, изображать «идеи, нравы и облик своей эпохи» (Г. Курбе), должно обладать целым рядом качеств.

Оно должно быть и выразительным, и декоративно цельным, и прекрасным, оно должно быть крепко и закономерно устроенным, оно должно обладать совершенной формой и гармоническим сочетанием красок.

Оно, наконец, должно быть н у ж н ы м современникам.

В этом смысле мне кажется возможным сравнить произведение искусства с самым великолепным созданием природы — с человеком.

Человек ~~тогда~~ полноценный человек, когда в нем гармонически сочетаются и костяк, и мышцы, и нервная система, и внутренние органы, и мозг, и способность слышать, видеть, обонять, осязать и, главное, мыслить.

Множество художественных течений, возникших с начала нашего века, как бы расчленяют, мне кажется, великое единство искусства, гипертрофически культивируя одно из его обязательных качеств.

Одно течение занимается только выразительностью, другое только декоративной живописностью, третье только движением, четвертое только конструкцией, пятое только целесообразностью и т. д.

Если продолжить сравнение с человеком, то в одном случае это будет как бы несоразмерное развитие руки, в другом случае ноги, в третьем случае уха, или носа, или глаза, или любого другого органа... То есть получаются уроды... Так и бывает, когда направленные теории исповедуют неодаренные люди.

Талантливый же художник не может делать уродливых вещей, и его творчество, какие бы манифесты он ни подписывал, всегда интересно и поучительно.

«Супрематизм» Малевича породил новые декоративные явления в росписи фарфора и в оформительских работах большого масштаба.

Вспоминаю выставку пейзажей Малевича в 1939 году в ленинградском Доме писателей. Пейзажи были реалистическими, крепко построенными и очень напряженными по цвету.

В фондах Русского музея есть весьма любопытная живопись Малевича, хотя бы его «Красная конница» (не ручаюсь за правильность названия).

Татлин нашел себя в работе для театра и до конца жизни работал в Театре Красной Армии, делая очень интересные декорации, будучи одновременно предтечей современного дизайна.

Фотомонтаж прочно вошел в практику современного плаката и т. д.

Целый ряд явлений «левого» искусства 20-х годов оказался попросту идеями прикладного и декоративного искусства, и как таковые они ассимилировались в дальнейшем в русле прикладного искусства.

Большинство «левых» художников первых лет революции, приветствуя Октябрьскую революцию, приветствовали только ту ее сторону, что разрушила старый мир, против которого они выступали еще в предреволюционные годы. Практический же

смысл революции, ее созидательное значение были им чужды так же, как интересы пролетариата, с которым у них не было никакой связи.

Поэтому так быстро исторически обанкротилось «левое» искусство, не имевшее перспектив развития.

И все же мне всегда казалось, что нельзя рассматривать как явление одного порядка «формотворчество» революционных лет, одухотворенное хотя и субъективными, но революционными идеями, и «формотворчество» современное нам, откровенно реакционное по содержанию.

Новизна — это вечная проблема искусства, одна из его коренных проблем.

История искусства — это цепь художественных открытий прекрасного в действительности, в жизни. А жизнь понятие динамическое, она бесконечно развивается и в пространстве (национальное) и во времени.

История искусства наполнена бесконечным разнообразием, отражающим бесконечно многообразие развивающейся жизни. Бесконечным рядом возникающей художественной новизны. Новое в искусстве означает открытие какой-то новой черты жизни.

В истории искусства не так уж много кардинально новых явлений. Стилей до сих пор было только несколько. Но есть понятие новизны как запечатленного восторга художника перед открывшейся ему новой чертой действительности, перед новой закономерностью ее, перед новой ее гармонией либо контрастом.

Вот это чувство новизны, запечатленное художником, навсегда остается волнующим, захватывающим зрителя.

Всякое вновь возникающее сильное чувство художника требует своих, иногда существенно новых технических средств воплощения. Могучая сила заставляет художника искать приемы, технические средства, способные наиболее точно передать природу его чувства. И художник ищет, изобретает, неспособный удовлетвориться техническими средствами, имеющимися в огромном арсенале мирового искусства. Художник постоянно и неумолимо ищет новое, стараясь, в частности, не повторяться.

Да, часто то, что кажется новым, на самом деле только забытое старое, но и тогда, вновь вызванное к жизни новым содержанием, оно изменяется, никогда не становясь буквальным повторением пережитого. Так что новизна в искусстве — большая сила, и не удивительно то, как страстно ищет ее молодежь, очаровываясь невиданным.

Середина 30-х годов отмечена расцветом ленинградской книжной графики.

К. И. Рудаков, Н. А. Тырса, А. Н. Самохвалов, В. М. Конашевич, В. В. Лебедев, А. Ф. Пахомов, Юрий Петров — это все мастера талантливые, первоклассные. В это время в Ленинграде сложилась очень творчески напряженная обстановка. Поэтому, когда я взялся за «Кола Брюньона», рядом со мной прямо-таки гудело от творческого накала. В литографии Академии печатал свою многочисленную и превосходную серию иллюстраций к «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина А. Н. Самохвалов, на литографских камнях Союза художников рядом со мной делал свои виртуозные иллюстрации к «Милому другу» Мопассана К. И. Рудаков.

Я уже говорил, что очень многое зависит от того, в каком окружении находится художник. Если рядом с тобой работают сильные и талантливые люди, ты незаметно для себя мобилизуешь такие резервы творческих возможностей, о которых и не подозревал до тех пор. И наоборот, слабое, вялое окружение усыпляет творческую энергию человека. Я взялся за «Кола Брюньона», находясь в окружении крупных и оригинальных дарований, соревнующихся друг с другом в решении больших художественных задач, открывая путь, ведущий к чему-то настоящему, художественно полноценному.

Осенью 1934 года меня неожиданно пригласили зайти к директору кооперативного (тогда еще были такие) издательства «Время» Георгию Петровичу Блоку.

Я кое-что сделал для этого издательства, выпустившего иностранную литературу на русском языке. Фронтисписы — цветные литографии к книгам Шарля Луи Филлипа и к «Старой Франции» Роже Мартен дю Гара.

Прихожу и слышу чудесные речи. Георгий Петрович говорит о том, что следит за моими работами и считает, что пора мне «развернуться» и сделать все, на что я способен. Он предлагает мне: выберите любую книгу из нашего плана, продумайте издание, все его элементы — бумагу, шрифт, формат книги и полосы набора, количество и характер иллюстраций и технику их исполнения. «Даю вам карт-бланш», — говорит Георгий Петрович, — заранее согласен на все ваши предложения.

Такое услышать в двадцать восемь лет...

Я называю «Дон Кихота» и «Гаргантюа и Пантагрюэля». К этим книгам существуют гениальные иллюстрации Гюстава Доре, но тогда меня ничто не смущало, мне казалось, что я все смогу сделать (счастливое заблуждение молодости, поры избытка сил). Нет, говорит Блок, эти книги, к сожалению, в нашем плане отсутствуют. Вот прочтите, что у нас запланировано. Читаю и почти сразу нахожу своего героя — «Кола Брюньон» Ромена Роллана, который предоставил монополию на издание своих произведений на русском языке издательству «Время». На «Кола Брюньоне» мы сходимся, и я лечу домой обдумывать задание.

Вскоре мы заключили договор, и я приступил к сбору материала. Мне нужны Бургундия 30-х годов XVII века, город Кламси.

У меня был доступ в замечательную библиотеку Эрмитажа, где я познакомился не только с французским искусством XVII века, но и с искусством Фландрии, Германии, Испании того же времени.

Беда в том, что французы того времени работали главным образом на темы мифологические и придворные и почти не изображали быт горожан и ремесленников, кроме трех братьев Ленеи, отчасти Абраама Босса и Паламедуса. Но, к счастью, Ленеи сделали много, и их прекрасное реалистическое искусство было тем, что мне нужно. Вскоре в филармонии я встретил писателя К. А. Федина. Он спрашивает меня, над чем я работаю, и я делюсь с ним своей заботой по сбору материалов к «Кола Брюньону». Федин недавно был за границей, посещал Роллана в Швейцарии и посоветовал мне написать ему. Дал адрес и сказал, что могу писать по-русски, так как жена Роллана — русская.

Я немедленно так и поступил, вложив в конверт некоторые образцы своих работ.

Через шесть дней пришел ответ. Мы переписывались потом пять лет, и всегда я получал ответ через шесть дней. Три дня письмо идет туда, в тот же день Роллан отвечает, и три дня обратно. Как часы. Я же, сознаюсь, всегда вынужден был врать, что уезжал, болел и т. п., так как никогда ранее чем через месяц мне не удавалось ответить. Особенно после личного знакомства с Ролланом, когда Мария Павловна посоветовала мне писать по-французски, так как Роллан любит читать сам.

Роллан мне прислал альбомчик открыток — видов города Кламси — и писал, что очень рад тому, что я берусь за иллюстрации к «Брюньону», и готов мне всячески помогать, но ему не верится, что это может сделать художник, не выезжавший за пределы СССР, ибо Бургундия страна своеобразная и своими типами, и пейзажами, и архитектурой, и вообще всей своей атмосферой.

Я ему ответил, он ответил мне, и завязалась переписка. Он всегда обращался ко мне со словами: «Дорогой товарищ Кибрик!» — на что я ему отвечал: «Дорогой товарищ Роллан!» (После встречи в 1935 году он уже иначе начинал свои письма и писал: «Дорогой друг!» — а я ему в ответ: «Дорогой мэтр!»)

Я начал работать сперва по-старому — по воображению — и сделал две композиции: фронтиспис и «Осаду Кламси». Первая работа в серии для меня всегда самая главная и трудная, ибо в ней нужно найти все черты, решающие будущую серию, — образ героя, стиль и технику всей серии.

Затем я начал пользоваться натурой для своих композиций. Я, конечно, не приглашал натурщиков — на это у меня не было денег, да и натурщики вообще не подходили мне, так как профессиональный натурщик привык выполнять роль механическую — манекена, что ли. Во всяком случае, натурщик привык принимать заданную художником позу.

А мне модель нужна была именно для того, чтобы найти «позу», жест.

Были все же исключения.

Так, я попросил Аленушку, прелестную дочку моего соседа и милого друга — известного писателя И. С. Соколова-Микитова, посидеть на валике дивана. Мне нужно было нарисовать Глоди, внучку Кола, сидящую на плече деда. А спину деда, самого Кола, задрапированную плащом, я нарисовал с моего другого друга, известного талантливого актера и добрейшего человека Ф. М. Никитина. Широкий, коренастый Кола удачно получился с высокого и худощавого Феде, накинувшего на плечи одеяло.

Вообще-то для фигуры Кола мне иногда любезно позировал хороший оформитель книг П. Д. Скалдин (его фигура вполне соответствовала задаче). Но иногда нетерпение не позволяло ждать, и я рисовал с совсем неподходящих моделей, в процессе наброска изменяя пропорции нужным мне образом. Так, однажды днем я ворвался к жившему в моем доме писателю Леонтию Раковскому (моему партнеру по шахматам) и уговорил его полежать на полу для фигуры Кола, больного чумой. А мертвую старуху, жену Кола, рисовал с молоденького Жени Комарова, бывшего изобразовца, приехавшего в Ленинград и забежавшего ко мне повидаться. (Это не так уж удивительно. Мне рассказывал киевский живописец Георгий Степанович Мелехов о том, что в его известной картине «Молодой Тарас Шевченко в мастерской Карла Брюллова» все три фигуры — Брюллова, Шевченко и художника, сопровождавшего Тараса, — сделаны с жены автора, причем все они вышли поразительно разные.) Для костюма Кола прекрасно служила моя пижама и т. п.

За время работы над «Кола Брюньоном» окончательно сложился мой творческий метод и стиль рисунков.

Хотя последние литографии, сделанные весной 1936 года, и выполнены совсем в другой манере, чем фронтиспис, с которого я начинал, получилось, что в целом не произошел разрыв, а только разнообразие, к которому я сознательно стремился. Под разнообразием я имею в виду то, что нельзя, по-моему, говорить одним языком о комическом и трагическом, о лирическом и эпическом и т. д.

А в книге объединяются и иронические (например, герцог и герцогиня в главе «Залетные птицы») и глубоко драматические мотивы (хотя бы Кола, подавленный своими несчастьями и размышляющий, что же делать, в главе «Сожженный дом»).

Я решил идти только от своего чувства и каждый раз, руководимый им, должен был найти изобразительные и композиционные приемы, соответствующие этому чувству, а не объединять серию одним предвзятым приемом.

Вообще всю эту работу я подчинил одной задаче — только бы вышла жизнь, движущаяся, сверкающая, думающая, чувствующая — многообразная.

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 120-летию со дня рождения А. П. Чехова

В. ТУРБИН

★

ВОДЫ ГЛУБОКИЕ

Из заметок о жизни, творчестве и поэтике Чехова

Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут,—

обронил в конце жизни Пушкин, и в стихах его, грустных, как вздох, отозвалось томление, ностальгия по жизни, которой не было отпущено ни ему, ни его собратьям по перу, современникам, ни, как выяснилось позже, потомкам. Не удавалась тихая жизнь: дуэли, смертный приговор и ссылка на каторгу, эмиграция, догорание в скорбном доме, а как лучший удел — в глубокой старости уход из дому и бесперомонное любопытство пусть даже доброжелательных журналистов, рев газетных заголовков, истерический стук телеграфа. Лермонтов, Достоевский, Герцен, Огарев, Глеб Успенский и далее до А. Н. Толстого: жизнь русского писателя мятежна и полна тяжелых эксцессов.

Но Чехов — в немногочисленном ряду тех, чья жизнь протекала «тихо». Эксцессов не было. Уже этим он исключителен. А у других эксцессы-то были потому, что со времен Радищева повелось: писатель — инициатор социальных движений, деятель. А. Н. Толстой, Короленко, впоследствии Горький — эти современники Чехова жили в сплошном вихре отчетливо направленной социальной деятельности. Каждый владел определенной доктриной, совершенствовал ее, обострял; программа каждого была у всех на виду. Конец XIX века в русской литературе — время непререкаемых манифестов. «В чем моя вера», «Так что же нам делать?» — на эти вопросы могли уверенно ответить и задавший их А. Н. Толстой, и Короленко, и, разумеется, тогдашний властитель дум Михайловский.

Слово русского литератора исконно было обращено к некоему последователю. Чехов как будто бы последователей не искал, а, скажем, монологи его героев о России, которая станет их садом, на фоне программной социальной педагогики, предшествовавшей Чехову и окружавшей его, звучат достаточно неопределенно. Понятно, что значит быть последователем Чернышевского, Короленко, Михайловского, А. Н. Толстого. Но что значит быть последователем Чехова? Что последователь Чехова призван пропагандировать? Каким быть?

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь,—

сказал Некрасов о герое поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Применимо ли это к Чехову? Казалось бы, нет. Но странно и по-человечески тяжело как-то: в тихой жизни Чехова (и не эпизодом каким-нибудь, а чем-то определяющим и решающим) предстает то, что с угрюмым юмором предсказано было Некрасовым,— чахотка, Сибирь.

Никто не ссыла Чехова за Урал, в Нерчинск, в рудники. Однако он словно бы сам приговорил себя к каторге; и тихий героизм его путешествия на Сахалин, его трактата о Сахалине еще не выявлен в достаточной степени его биографами, не оценен.

А что это была за поездка? И спокойно-отважное пребывание на самой удаленной восточной границе России, среди последних людей, на окраине географической (Сахалин) и социальной (каторга), — чем это было? Что позвало Чехова в дальний и тяжкий путь?

Прежде всего, вероятно, то, над чем бьются социологи, писатели, артисты, художники: в народе это попросту называется влезать в чужую шкуру. Это перевоплощение: ты как бы принимаешь на себя долю людей, отстоящих от тебя достаточно далеко и психологически и социально. Ты проделываешь путь, проделанный ими, реальный, топографический путь: Москва — Екатеринбург — Красноярск — Иркутск и далее, далее до среза материка, через воды Неласкового пролива, на сумрачный остров. Оставаясь самим собою, Чехов смог прожить и жизнью среднестатистического русского простолюдина, мыслителя и страдальца, правонарушителя, проделавшего дорогу от ворот Бутырской тюрьмы до каторжных казарм отреченного острова, 10—11 тысяч верст, четверть экватора.

И само путешествие Чехова и его книга о Сахалине — традиция продолженная и традиция продолжаемая: традиция физиологического очерка 40-х годов, натуральной школы с ее влечением к углам, к закоулкам, к жизни окраин, к устройству этих углов, к их быту. Но социально-аналитическая традиция была доведена Чеховым до конца, до предела: не было угла более отдаленного, нежели Сахалин, и не было социального унижения ниже каторжного.

Да, Чехов знал, где остановиться. Он знал, что он всего лишь зритель трагического спектакля, что он волен воротиться с каторги когда захочет и что обратно он поплывет на комфортабельном пароходе. А другие останутся, отбывая свои безнадежные сроки, выходя не на свободу, а на поселение. Все это Чехов знал так же, как артист, играющий принца или шута, знает, что после его убийства на сцене или после оплеух и пинков, которые ему отвесят по ходу действия, он вернется домой или отправится куда-то, где его уважают, ценят: пережить смерть, претерпеть унижения было всего лишь условием его творчества. Но тем не менее вряд ли какой-либо доподлинно унижаемый шут сможет упрекнуть в чем-нибудь разделившего его боль артиста.

С Сибирью у Чехова все обстояло так, как было предначертано народным заступникам: не было оснований для ссылки — отправился сам. И если говорить о традициях Чехова... Мне кажется не очень-то продуктивным сейчас, сегодня во что бы то ни стало искать их в текстах рассказов наших прозаиков. Спору нет, традиции Чехова живут и у Юрия Казакова, и у Георгия Се-

менова, и у Владимира Маканина. Но обнаружить их там и подобным образом подтвердить силу художественного творчества Чехова — этого было бы маловато и для Чехова и для Маканина. Есть ли в современной культуре традиции Шекспира? Конечно! Но надо ли искать их в пьесах Александра Вампилова? Сомневаюсь. Не пытаюсь равнять Чехова с Шекспиром, скажу лишь, что прежде всего два этих художника воспринимаются современностью совершенно особенно. Они не столько в текстах каких-либо книг, сколько вокруг нас, в нас, в проблематике нашей жизни, в ее стиле.

В лице Чехова Россия создала эталон гармонии в отношениях между человеком и обществом: независимость в равновесии с подчинением, убежденность — с терпимостью, открытость — со сдержанностью, прямота — с деликатностью.

А прославленная чеховская деликатность не могла быть замкнута в сфере индивидуальной психологии писателя. Основа деликатности — признание равенства пребывающего на виду и пользующегося всеобщим вниманием со скрытым в тени, в небрежении того, чему поклоняются, с тем, от чего могут и отмахнуться с насмешкой. И Чехов пишет рассказ «Студент»: в холодную осеннюю ночь герой его вдруг как-то смутно, неясно догадывается о глубоком родстве трагедии, разыгравшейся когда-то в римской провинции Иерусалиме, с окружающей его невыразительной деревенской жизнью. То, «что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему»; и прошлое «связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого». В прошлом — апостол Петр и троекратно повторенные им слова отречения, в настоящем — полупустая деревня, две бабы на огородах. Растерянность, какая-то смутная неустроенность. Курская или воронежская деревня не Иерусалим, а огородницы-бабы в историю не войдут. А история проходит и через их быт, их сознание; и обнаружение их равноправия с теми, прославленными, делает героя рассказа, сына дьячка, хранителем и творцом заветных духовных ценностей нации, ее преданий, слова ее. Заурядный юноша из бедняков входит в некий устойчивый, торжественный, веками хранившийся жанр. Он погружается в миф, как бы поверяя его реальностью и обнаруживая в реальности его отблески.

Говорится о непрерывной цепи событий.

Слово «событие» влечет за собой представление о значительном, выдающемся. Но у Чехова есть рассказ, называющийся «Событие»: дети, брат и сестричка, играют с кошкой, строят дом для ее котят, воздвигая целое царство. И деликатность знает, что все это такое событие; и миф, разыгрываемый детьми, художественно равноправен с другими идеями, мнениями, суждениями о мире.

Деликатность — равенство — универсализм... Традиция Чехова появляется там, где исчезает пренебрежение. К человеку ли, к вещи, к скучному деревенскому огороду, к твари ли бессловесной.

Традиция — это все-таки некое уподобление. Уподобление, к которому присоединяется стремление вступить в диалог с ее основоположником и — в идеале — его превзойти. Но можно ли превзойти кого бы то ни было в... деликатности? Творчество Чехова ныне ставит этот вопрос. И ответ видится мне прежде всего на пути анализа текстов, а шире — на пути анализа судеб: встречи потомков Чехова с Чеховым на этом пути бывают более достоверными. Научиться жить очень спокойно, творчески продуктивно и внутренне драматично, проникать в неоткрытые «углы» окружающего и открывать в них какую-то долю того, что открывал в них Чехов, научиться, я бы сказал, интеллектуальной и художественной застенчивости — этим начинается традиция Чехова. А продолжать ее может и профессиональный писатель, и всякий, кто умеет осознать свою жизнь как искусство, как стиль.

Где отзвуки Чехова в текстах Твардовского? Не знаю, да их там, вероятно, и нет. Но признанный поэт, человек, обремененный кучей деловых обязательств, неотложных начинаний, назначенных встреч, бросает все, громоздится на верхнюю полку вагона и поспешает туда же, в сторону Сахалина. Затем, вероятно, чтобы приобщиться к жизни неведомых ему краев и земель, чтобы уединиться в толпе новых лиц и чтобы с совестью гражданина побыть с глазу на глаз. «За далью — даль» не имеет аналогов в рассказах и пьесах Чехова; но поступок журналиста, поэта, право же, по-чеховски полон достоинства и естествен в своем эксцентризме, благопристойном и деликатном.

Нередко говорят о чеховских традициях, скажем, у Юрия Казакова. Однако его рассказы ближе не к Чехову, а скорее к Бунину. Бунин, волею судеб встав между нами и

Чеховым, сократил расстояние, нас от Чехова отделяющее; и иногда стали произносить словно бы через запятую: Чехов, Бунин. Но Бунин другой совершенно. Однако что мне видится бесспорно чеховским у Казакова, так это его стремление включить себя в традицию перевоплощения и целенаправленных путешествий куда-то в углы страны, вдале. Писатель назначил себе крайний север России, Беломорье с его экзотикой и его обыденностью. Он привез оттуда рассказы. Мог бы привезти поэму, драму в стихах, лирический цикл — его дело: ни одна всерьез развиваемая традиция не должна закупориваться в культивируемой ее основателем жанровой форме; и если давно известно, что традиции античной трагедии переплелись в романы Достоевского, а эпопеи — в романы Л. Н. Толстого, то почему же творчеству прозаика Чехова не отзвучать в чей-то лирике или в поэме? И Юрий Казаков мог бы написать хоть бы и поэму о Беломорье. А традиция Чехова ожила бы не в тексте ее, а всего прежде в идее, которая двигала бы писателем — современником нашим: проникнуть в угол, добраться до рубежа родимой земли и в меру своей одаренности осветить его жизнь, быт, уклад, с тем чтобы показать существование происходящего там, в углу.

Человек может, конечно, вычерчивать свою жизнь, формировать ее облик, культивировать ее стиль. Но жизнетворчество получится у него лишь тогда, когда протекает оно в согласии с голосом его времени.

Годы становления Чехова справедливо наречены безвременьем. На стыке рассыпавшегося русского феодализма и капитализма возникла давящая и томительная пустота, пауза, длительности которой никто знать не мог. Чехов жил «тихо»...

Жить «тихо», как подобает «людям премудрым», не значит, наверное, жить отшельнически, жить в тиши; Пушкин, очевидно, имел в виду тишину не акустическую, а моральную: жить, хоронясь не в скиту, потому что и уход в скит выделяет ушедшего, делает его фигурой сенсационной хотя бы в масштабе окрестных сел, уезда, губернии, а прячась в мирской суете, в толчее. Жить, не позволяя сделать из себя живую достопримечательность. Жить в буквальном смысле слова самозабвенно: забывая себя, раздавая себя людям. Ходить, раздавать окружающим мысли, сюжеты и, не прилагая к тому никаких усилий, быть

им опорой: живет такой-то — и другим жить рядом с ним почему-то легче.

«Он был гостеприимен, как магнат. Хлебо-солство у него доходило до страсти», — писал о Чехове К. И. Чуковский, подметив действительно присущее Чехову влечение звать к себе встречных и поперечных, развлекать, убажывать их, кормить, устраивать на ночлег и лечить.

Безвременье может располагать и к душевной неопрятности. Легко опуститься, потерявши прежде всего простую житейскую бодрость и чувство юмора, без которых немислима какая бы то ни было духовная жизнь. Диалог Чехова с его временем, с духом времени начинается с быта: гостеприимство, тяга к шутке, к мистификации — проявление дара жить «тихо», но при этом жить интересно. И если уж мы мерим Чехова строчками Пушкина, вспомним: Пушкин был убежден, «что ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом». И «безумные шалости» были.

Чехов стремился жить в кружении созданного им людского водоворота. Сверкали непрерывные импровизации: затеи, игры. Художник Левитан изображал бедуина, бедуин совершал в пустыне намаз, потом умирал, его несли хоронить, а он, воскресши, вскакивал с паланкина; проезжая мимо городского, ему с таинственным видом сунули в руки обернутый в бумагу соленый арбуз, шепнули, что это бомба. А направлены «безумные шалости» были двояко. Во-первых, как вызов угрозе уныния, ибо верно говорится у Михаила Булгакова в «Белой гвардии»: «...уныния допускать нельзя... Большой грех — уныние...» Во-вторых...

Чахотку и Сибирь готовила судьба народным заступникам, и прогноз поэта обернулся для Чехова диагнозом медиков: Сибирь он посетил добровольно, чахоткой его наделила природа. Каторгу Чехов носил в себе четверть века: у каждого своя каторга. А веселость Чехова как человека, его бодрость, подтянутость — вызов сугубо индивидуальному каторжному, смертному приговору: безвременье переживали все, но носить в себе палочки Коха досталось не каждому. Да и только ли чахотка была?

«Кстати, по медицинской части. Найдено средство от рака. Вот уже почти год, как с легкой руки русского врача Денисенко пробуют сок чистотела, или бородавника (*chelidonium*), и приходится теперь читать о поразительных результатах. Рак болезнь тяжкая, невыносимая, смерть от него —

страдальческая; можете же судить, как человеку, посвященному в тайны эскулапии, приятно читать об этих результатах», — писал Чехов А. С. Суворину за семь лет до своей кончины. Чехов-врач ошибался. Сути и размеров бедствия представить себе он не мог, но как оно выглядит, знал.

В поездке на каторгу он, свободный, вошел в жизнь каторжанина. А в своем быту он, больной, приговоренный, ежедневно перевоплощался в здорового.

Отвлекусь: два слова о международном резонансе творчества Чехова в той мере, в которой мне приходится ощущать его на собственном опыте, весьма небольшом.

Приехал на филологический факультет МГУ англичанин из Кембриджа Патрик Майлс. Привез тему «Трагическое в творчестве Чехова». Жил у нас, пылая каким-то не британским, а вроде бы испанским, итальянским азартом. Собрал картотеку: мотивы, ситуации, обороты речи, повторяющиеся у Чехова из рассказа в рассказ. Отбыл. Напишет, несомненно, добротную монографию, которая будет опираться на тысячу мелочей, не увиденных ранее фабульных линий. Но такая монография может быть задумана лишь при ясном сознании нравственной, почти интимной близости Чехова современной Англии, Европе вообще. Чувствуется, что не замкнуто академической она будет: Чехов как эталон, образец одоления тоскливой силы безвременья — такой Чехов нужен Европе.

Приехала молодая русистка-филолог из ФРГ Рената Дёринг. С порога — с по-своему красивым немецким акцентом:

— А что вы думаете об отношении Чехова к Гоголю? — И тут же торопливо, поспешно: — Вы помните то письмо Чехова, где он сравнивает себя с Коробочкой?

Мы находим: «Имение у меня не важное, не красивое, дом небольшой, как у помещицы Коробочки, но жизнь тихая, не дорогая и в летнее время приятная», — пишет Чехов из Мелихова весной 1897 года. Дальше — больше: «Я, нижеподписавшийся, все время сию дома, у себя в Мелихове, и постепенно обращаюсь в помещика Коробочку». И: «Будьте здоровы и благополучны и, пожалуйста, не забывайте помещика Коробочку», — месяц спустя острит Чехов. Высмотреть такие детали самохарактеристики Чехова — значит, уже открытие сделать: шутовское сопоставление себя с герцогиной «Мертвых душ», домовитой помещицей

есть эпизод художественной системы, объединяющей жизнь, творчество и поэтику Чехова. Чехов снова воплотился в кого-то другого, на сей раз в гоголевский типаж. И воочию видно, как Чехов живет, изобретательно примеривая на себя пестрые одежды гоголевских героев: «Буду... на манер Ноздрева ездить по ярмаркам», «Я чувствую какой-то зуд и ноздревский задор». Был он, значит, Коробочкой. Был Ноздревым. Был он и Иваном Федоровичем Шпонькой и собирался, купив под Полтавой хутор, подписываться: «Полтавский помещик, врач и литератор Антуан Шпонька». Потом Шпонька и Коробочка в Чехове соединяются, и он, Чехов, уже видит себя попавшим «в сонм Шпонек и Коробочек».

В героев Гоголя превращаются и близкие Чехову люди: «Миша... наслаждается семейным счастьем и постепенно обращается в гоголевского Мижуева». А десятью годами ранее было сказано: «Наш Мишка, путешествуя, обратился в кисловодского Манилова». Или: «Если увидите Елизавет Воробей, то скажите ей, что мне хотелось повидаться с ней, но помешали обстоятельства». Тут уж не с живыми гоголевскими героями Чехов общается, а с одною из покупаемых Чичиковым мертвых душ, с бабой, корысти ради переделанной в мужика, и прозвищем Елизавет Воробей наделяется писательница Е. М. Шаврова.

Письма различных лет, с середины 80-х годов до конца 90-х. Пережиты десятилетия, преодолены тысячи верст расстояний. Но герои Гоголя неотступно влatchаются за Чеховым. Сонм их отступает его экипаж. Они ссорятся, скупердяйски хозяйничают и торгуют на ярмарках. Они глядят из окон его подмосковного дома. Они в Чехове, а он, Чехов, в них. «Ничего не делаю, обленился дурачки, как П. П. Петух», — пишет Чехов уже и в 1897 году, отдавая дань все тем же неотвязным сближениям.

Когда Чехов закончил «Степь», он писал: «Я знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится. В нашей литературе он степной царь. Я залез в его владения с добрыми намерениями, но наерундил немало» (Д. В. Григоровичу, 1888). Но дружески-пристойным почтением к Гоголю, царю волшебного художественного царства, ряжение себя в Ноздрева и Шпоньку не объяснишь. Нет ли тут и другого, более узкого: гоголевские герои сплошь наделены через край бьющим здоровьем. Их как-то ничто не берет... И, как мне кажется, влечением Чехо-

ва к Гоголю руководил целый клубок причин — социальных и индивидуальных: в безвременье, естественно, влечет к громкому, к самому яркому из национальных писателей, а в тяжелой болезни влечет к лукавой и умной стилизации себя под несокрушимо здоровых литературных героев, причем поэтика такой житейской, бытовой стилизации рассчитана, конечно же, на активность со стороны вовлеченных в игру друзей и знакомых: прочтут — и согреется жизнь чьей-то мимолетной улыбкой и отодвинется мысль о боли, страданиях. Большая традиция, традиция Гоголя, приходит к Чехову и из общественной жизни и из личной, из быта. Созерцая мир Гоголя, проникая в него, Чехов, столь чуткий к чужому страданию, свой образ строит как образ здорового, беспечно и даже блаженно-ленивого жителя мира: никаких страданий, хорошо устроился, обзавелся именем, экипажем. Он такой же, как все. И не в центре он общественной или литературной борьбы, а на периферии ее, тоже в «углу»...

Понятие «угол» социально конкретно, изменчиво. Неуклонно меняется оно в наши дни, менялось и прежде. Угол вообще экспансивен по отношению к тому, что на данном отрезке истории является признанным центром. При Чехове эта экспансия проявлялась достаточно бурно: в недрах безвременья назревал промышленный подъем. Вчерашний человек из угла мог оказаться и оказывался властителем центра: Лопахин покупает имение Раневской и Гаева, и от этой очевидной социологии «Вишневого сада» не уйдешь, как ни интерпретируй жанр, стиль и характеры героев достаточно не проясненной чеховской пьесы.

Но есть все же и то, что останется периферией надолго. Отправившись на Сахалин к каторжанам, Чехов нашел «угол»-предел. Но дело в том, что подобные, хотя, быть может, и менее ярко выраженные «углы» искал и находил он всю жизнь, опираясь не на роман, а на рассказ, эпизод, набросок или на повесть, словно стесняющуюся того, что она повесть, а не рассказ. И наконец, произведение, которое может претендовать на место в центре творчества Чехова, «Остров Сахалин», намеренно создано в традициях литературной периферии: цикл очерков, статистика, эскизные зарисовки быта. Но Сахалин в изображении Чехова двойствен.

Сахалин — остров. Образ острова в худо-

жественной литературе и мифологии был многозначен и многозначителен, и широко известны два популярных романа XIX столетия: «Таинственный остров» Жюль Верна и «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Остров — плацдарм для построения утопий. Идеальные социумы планировались на острове, а в других утопических построениях на острова предполагалось ссылать самых отпетых, неисправимых граждан идеально организованных обществ. Светлые царства сказок воздвигались тоже на острове, и, например, мореплаватели у Пушкина

На знакомом острове
Чудо видят наяву.

В творчестве Чехова остров определяется по учебнику географии. Забавно, что в «Душечке» гимназист-первоклассник Саша, зубря урок, возмечает: «Островом называется... часть суши, со всех сторон окруженная водою». И то ли вторая мать его, то ли нянька и гувернантка Ольга Семеновна радостно повторяет: «Островом называется часть суши...» Увы, они совершенно правы. И вода со всех сторон обступает чеховский Сахалин, а общество доделывает остальное, саму стихию превратив в стража, в конвоира толпы мужиков, баб, бывших священнослужителей и чиновников. И уж кто-кто, а узники-островитяне с научным определением острова согласились бы.

«Остров Сахалин» — «хождение» в отрешенные земли. Общественная жизнь здесь будто бы или остановилась, или, словно обезумев, вильнула куда-то в сторону. Законы? Здесь есть и крепостное право и классическое рабство; но есть здесь, впрочем, и полнейшая анархия, сбывшаяся утопия князя Кропоткина и его адептов. Законы дикого царства — в беззаконии, нравы — в безнравственности, а история — в каком-то патологическом отсутствии памяти. «Не помню», — отвечают бродяги на вопрос о том, где они родились. И «год прибытия на Сахалин — год страшного несчастья, а между тем его не знают или не помнят». Нет труда, а нет и отдыха, и не раз встретишь здесь «бобыля, который, казалось, очоленел от вынужденного безделья и скуки». Нет семейного уклада, но и бессемейности нет, потому что возникают сожителства, рождаются дети.

Остров невелик. Но впечатление его безграничности возникает оттого, что жизнь на нем, так сказать, безгранна: причудливое гоголевское «ни то, ни се» везде, всюду.

Стерты грани между человеком и вьючным животным, между избой и тюремной камерой. В каждой избе «чувствуется отсутствие чего-то важного; нет деда и бабушки, нет старых образов и дедовской мебели, стало быть, хозяйству недостает прошлого, традиций... Нет обычаев... А главное, нет родины».

«Остров Сахалин» — традиция от «хожения» до очерков физиологии. Но книга Чехова помнит и о трактовке острова как романтической или утопической земли, олицетворяющей в глазах мечтающего о ней надежду. Да, остров — царство. Но существеннейший у Чехова мотив царства, обнаруживаемого в углу, разворачивается в его книге как социологически трезвая антиутопия. Остров Сахалин — царство, ставшее памятником безвременью с его эклектизмом, простирающимся на все вплоть до быта, с его мешаниной нравственного и вненравственного, бюрократизма и полной анархии. В книге о Сахалине уже не может не быть заметен чеховский принцип: в углу открыть целый мир.

В сахалинской избе, сокрушается Чехов, «нет красного угла, или он очень беден и тускл, без лампы и без украшений...». Чехов заметил именно этот изъян в убранстве избы. Ибо что есть красный угол русской избы? Как раз то, что развито Чеховым в его творчестве — угол, вбирающий в себя царство: лампада (свет), икона (идея, святость), украшения (красота).

Сахалин — угол России, угнетенной безвременьем конца XIX столетия, но не красный угол, а серый. И структура острова в целом повторяется в подробностях его быта: Сахалин — царство антикрасоты, царство, не ставшее для его подданных родиной. Сахалин — утопия наоборот.

Чехов не пугает, не ужасается. Он спокоен перед лицом настоящего, ближайшего будущего (а есть что-то вечно и в том, что писатель отправился на Дальний Восток незадолго до русско-японской войны). Видя в Сахалине порождение современной ему эклектичности феодально-капиталистического уклада, он видит здесь и то, что переживет настоящее: музыку, природу, детей. «Много детей, все на улице и играют в солдаты или в лошадки и возятся с сытыми собаками, которым хочется спать», — написал Чехов в «Острове Сахалине».

Он искал такие углы социального бытия, которые могли бы считаться углами устойчиво и незыблемо. И — дети, играющие с

собаками. До чего же прочен у Чехова этот мотив: ребенок, а рядом — животное. И до чего же существен: и детвора и тварь бессловесная — активные участники бытия, носящие в неразгаданных душах своих невидимые царства.

Град Китеж — невидимый град, город-остров, ушедший на дно волшебного озера при виде вражеских толп. Легенда о нем — легенда-метафора: Китеж не географическая данность, не историческое событие, Китеж — нравственный феномен, завещанный нам предками императив. Человек человеку — Китеж. Жить — в каждом встречном китежанина видеть, веря, что в нем скрыто царство и открыться оно может лишь добрым и любящим.

Чехов, кажется, нигде не упоминает легенду о Китеже — может быть, потому что патетики он побаивался. Но в героях своих видел он китежан, утопающих в современном ему российском быту.

Китеж — то духовное, что живет и в крестьянках-огородниках из рассказа «Студент», и в сознании детишек из рассказа «Событие», то, чего пытаются лишить людей на острове Сахалине. Какая-то «сахалинщина» подкрадывается к затаенным духовным царствам: материк и остров как бы ведут диалог, и «отсюда», с материка, что-то светлое пытается пробиться на остров, а «оттуда», из-за пролива, словно надвигаются на Россию тамошние нравы, тамошние опустошенность и безысходность.

Человек под конвоем — один из постоянных мотивов Чехова. Он может звучать юмористически: «Стража под стражей». Но уже в рассказе «Злоумышленник» берут под стражу и препровождают в тюрьму взрослого ребенка, дремучего мужика Дениса Григорьева: сам того не ведая, он оказался преступником — он гайки с рельсов отвинчивал на железной дороге и ладил из них грузила. В рассказе «В суде» судят подозреваемого в убийстве крестьянина, и вдруг он, сбитый с толку уликами, обращается к конвойному солдату с вопросом: «Прощка, где топор?» Солдат, конвоирующий подсудимого, — его сын. И хотя никто «не видел лица конвойного... ужас пролетел по зале невидимкой, как бы в маске». Фабула рассказа, быть может, чуть-чуть надуманна, но зато мотив обострен: диалог подконвойного с конвоиром, проникновение живой жизни в мертвящий порядок.

Под конвоем не раз оказываются взрос-

лые, но некие блюстители порядка караулят и малых ребят. Иногда ребятам удается бежать, уйти от блюстителя затем, впрочем, чтобы их поймали («Беглец»). И, во всяком случае, они ухитряются и под строгим надзором делать то, чего жаждут их души: царство, хранимое в них, не от мира сего, оно недоступно суровому взгляду взрослых, и ребенок оказывается обладателем скрытой свободы. Он побеждает, и оттого-то пребывание его под охраной не оставляет безрадостных ощущений. Но когда царство, рождающееся где-то в «углу», в ребячьих мечтаньях, все же хочет найти общий язык со взрослыми, ребенок у Чехова становится нарушителем порядка, дезорганизатором мирка, в котором он пребывает. А значит, он уже в какой-то мере преступник. Даже в невинном, безгрешном, идиллическом мирке «Детворы» дети, играющие в лото, норовят сплутовать или просто не могут уразуметь правил игры. В «Событии» дети попирают сложившийся в доме порядок, ломают структуру режима семьи. Герой рассказа «Злой мальчик» — шантажист, ехидно мстящий своему старшему брату и гувернантке, своей страже, за вынужденное подчинение им, но, впрочем, заслуживший расправу, возмездие. Однако этот мальчишка, он-то как раз «без царя в голове», и, кажется, он единственный маленький герой Чехова, не носящий в душе потаенного царства, то и дело рвущийся в скучный мир стражей — взрослых. А в рассказах «Кухарка женится», «Гриша» то же царство, возникающее в детском сознании. А какое прекрасное царство воздвигнуто в знаменитой «Каштанке»! И создано оно опять-таки из соцветия мотивов ребенок — животное.

В самых трагических рассказах Чехова из детской жизни — «Ванька», «Спать хочется» — то же: царство в «углу». «Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки...» — так начинает Чехов «Спать хочется». Снова углы, и от угла до угла — веревка. А что касается конвоиров, то в рассказах не из господской жизни, а из жизни простонародья они и во все люты. Но есть свое царство и у Ваньки и у девочки, засыпающей меж двух углов, под веревкой с пеленками. Не может оно открыться лютому конвоирам-хозяевам, а соткано оно из полусонного бреда, грез.

И Ваньке и замордованной няньке-нищенке видится... ро-ди-на! Уж какая кому, но родина это! Волшебное царство прсаизич-

руется, но многое зато проясняется в нем: души маленьких китежан верны родине, а там, где есть обретение родины, безысходности быть не может.

«А главное, нет родины», — писал Чехов о сахалинцах. Грезы его маленьких страдальцев-героев свидетельствуют: родина у них есть. Бедна она. Но это родной уголок! Богатство их, последнее прибежище. Больше у них нет ничего.

Прибежище скудно. В «Спать хочется» дело повернуто так, что даже слово в родном углу нечленораздельно. Да и обращено оно не к Варьке, а к кому-то другому. Видится ей смертник отец, слышится его мучительное «бу-бу-бу»: он от боли бубнит, катаясь по полу. «Коли смерть пришла, что уж тут...» — говорит он, обращаясь к доброму доктору и будто вовсе не замечая маленькую Варьку. Но и она, последняя нищенка, полуживая от недосыпания и побоев, богата услышанным ею когда-то, как бы в некоем ином измерении родным словом, будь оно мужчишкой философской сентенцией или междометием только.

И логика творчества Чехова подводит к сложной проблеме: герои писателя в их отношении к реченному слову, к своему ли, чужому ли. К стилю, к жанру, в котором живет это слово, воспринимаемое ими или же отвергаемое.

Есть «родной угол», который каждый из нас носит в себе; это — слово.

Но слово ничто перед фактом, и по отношению к факту, к реальности оно имеет служебный, информативный характер — такова была обиходная трактовка слова, позитивизм, адаптированный каким-то незримым оппонентом Чехова, носителем духа эпохи безвременья. В рассказе «Событие» спор Вани и Нины с их «опекунами» был спором облекшегося в легенду слова с фактом: там, где детям открывался их Китеж, опекавшие их папаша, мать, няня, кухарка и сытый лакей Степан видели лишь нарушение порядка, ломку упорядоченной структуры, в лучшем случае — биологию: кошка родила трех котят. Прозреть царство дивное было им не дано.

Но есть у Чехова герои, такие же строгие родители непослушных детей, которые царство дивное в слове прозреть все-таки могут; и тогда в их мир приходит реальное, а не заданное ему извне равновесие, приходит искомая всяко русской литературой (да и нами, конечно) гармония. Гармония

ни я, а не скучный порядок, пародия на гармонию!

«В некотором царстве, в некотором государстве», — начинает слагать для семилетнего сына Сережи вечернюю сказку его отец, очень серьезный человек, прокурор Евгений Петрович в рассказе «Дома». Отец узнал, что его сын курит, он пытается увещевать мальчика, сыплет назидательными примерами. Но хотя факты, как известно, упрямая вещь, Сережа оказывается упрямее фактов. И тогда вдохновение осеняет отца: он рассказывает о царе, жившем в некоем стеклянном дворце, и о его единственном сыне-престолонаследнике. Все было хорошо, но царевич курил, он заболел чахоткой и умер. «Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Некому было управлять государством и защищать дворец. Пришли неприятели, убили старика, разрушили дворец... Так-то, братец...» Что ж, град Китеж снова воздвигается на наших глазах, и строительный материал его белокаменных очертаний — слово, стиль, счастливо найденный жанр. Пробуждены они вдохновением, а вдохновение пришло в ответ на воспоминания, нахлынувшие на отца и сына: рассуждая о вреде курения, отец упомянул дядюшку, умершего от чахотки. А сын стал думать «о смерти, которая так недавно взяла к себе его мать и дядю... Смерть уносит на тот свет матерей и дядей... Покойники живут на небе где-то около звезд и глядят оттуда на землю. Выносят ли они разлуку?»

Сын сочиняет импровизированную балладу, отец — сказку. Оба они оказываются тончайшими реставраторами духовности слова; и они работают над жанрами так же усердно, как умельцы зодчие трудятся над реконструкцией древних теремов и церквей. Чехов начал с рассказов о забытом имени, о выпавшем из памяти героя музыкальном мотиве: «Лошадина фамилия», «Забыл!». Имя, мелодию вспоминали; ускользнувшее слово приходило, возвращалось, пусть с опозданием. «Дома» — уже из рассказов о слове в широком его понимании. Герои Чехова становятся словотворцами; и сказка взволнованного прокурора объединяет его с сыном так же, как лекции профессора из «Скучной истории» объединяют его со студентами.

На каторге Чехову бросилось в глаза: слово здесь испохаблено и словесный цинизм превосходит всякую меру и не идет в сравнение ни с чем... Человек пишет и вырезывает на скамье разные мерзости, хо-

тя, в то же время, чувствует себя потерянным, брошенным, глубоко несчастным». Писатель негодовал: «Но какая гадость чиновничий язык!.. Я читаю и отплевываюсь. Особенно паршиво пишет молодежь. Неясно, холодно и неизящно; пишет, сукин сын, точно холодный в гробу лежит» (А. С. Суворину, 1893). Каторга, канцелярия... Удушье родного слова надвигается с разных сторон; к слову тянутся и татуированные лапы отупевшего матершинника и холеные руки надворных и тайных советников. А слово-то надо жить: оно достояние няньки Варьки, Ваньки Жукова, толпы городских бедняков, крестьян и мастеровых. Оно народное достояние. И слово живет, сохраняя себя, появляясь в самых неожиданных местах: в строгом кабинете прокурора окружного суда вдруг зазвучала сказка.

«В Московском университете,—писал Чехов в заметке «Хорошая новость»,— с конца прошлого года преподается студентам декламация, т. е. искусство говорить красиво и выразительно. Нельзя не порадоваться этому прекрасному нововведению. Мы, русские люди, любим поговорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершенном заgone». Между тем, продолжает Чехов, «в древности и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры... Все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами». Зачем Чехову, не произнесшему в жизни ни одной заметной публичной речи и не читавшему лекций, понадобилось выступить с единственным, кажется, в жизни его манифестом — с манифестом о силе и красоте публичного слова? Но невозможно представить себе творчество Чехова без героев-ораторов.

Оратор может попасть впросак, оказаться в комическом положении и заставить некоего достаточно почтенного человека вживе внимать напутствующему его в лучший мир надгробному слову («Оратор»). Но тең Цицерона осенят даже этого болтуна. Однако ораторы Чехова — это, как правило, люди, умеющие говорить и одновременно осознавать, анализировать поэтику того, что они говорят. «Филология» означает «словолюбие», и коли так, то рассказы и повести Чехова населены филологами и скептически вззирающими на них логофобами.

Лекции профессора Николая Степановича

из «Скучной истории» — слово, создаваемое на фоне подступающей к профессору смерти, в кутерьме житейских неурядиц, невзгод и дрызг. Но в слове его духовное спасение, его последнее благо. Он мнителен, он может без конца иронизировать над собой, он отклоняет патетику; но слово в его устах осознано как торжественный ритуал, как священнодействие. В рассказе «Святою ночью» есть отголоски поэтики акафиста, редчайшего речевого жанра; и поэтика народного слова, поэтика вековых традиций открывается здесь как живое, радостно творимое дело.

Демосфен, Цицерон...

«Один простой смертный силою слова обращает тысячи убежденных дикарей в христианство... Вся история состоит из подобных примеров, а в жизни они встречаются на каждом шагу...» В рассказе «Сильные ощущения» спорят молодой адвокат и его приятель, скептик, не желающий верить в силу ораторского искусства. Адвокат ставит эксперимент: он берется разубедить приятеля в его любви к девушке, боготворимой им, к его невесте. И не проходит и получаса, как разубеждает! «Приятель говорил не новое, давно уже всем известное, и весь яд был не в том, что он говорил, а в анафемской форме. То есть черт знает какая форма! Слушая его тогда, я убедился, что одно и то же слово имеет тысячу значений и оттенков, смотря по тому, как оно произносится, по форме, какая придается фразе». И герой пишет невесте грубый отказ. Письмо опускают в ящик, а на обратном пути адвокат также походя убеждает друга в прямо противоположном: его невеста — его счастье, она лучшая девушка в мире и совершена роковая ошибка. Впрочем, все кончается хорошо: адрес на письме был нарочно запутан, письмо пропало и герой, «маленький, щеголевато одетый толстяк», ныне благополучно женат. Но друг-адвокат преподавал ему отличный урок...

Понятно, почему Чехов так упорно работал над водевилем-«лекцией» «О вреде табака»: работал с 1886 по 1902 год (другого произведения, которому было бы отдано шестнадцать лет жизни, у Чехова нет). А. С. Лазарев (Грузинский) не советовал Чехову включать «лекцию» в сборник его рассказов. «У меня создалось такое впечатление,— писал он,— что Чехов питает пристрастие к своему слабому детищу, подобно

тому как многие родители наиболее любят своих захудалых детей...» Но Чехов рассказ защищал.

«О вреде табака» по-своему программная вещь. Иван Иванович Нюхин, читающий косноязычную лекцию,— антипрофессор из «Скучной истории». Например: «Я изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым тис'ом... Бываю я болен тис'ом»,— говорит о себе профессор. А Нюхин вторит ему: «Когда я читаю лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым глазом»; между обоими есть какое-то жуткое сходство. Нюхин — антипрокурор из рассказа «Дома»: именно о вреде табака толкуют оба они. И то, что блестяще получалось у профессора и у прокурора, у бедняги Нюхина вовсе не получилось. Он воплощение российского косноязычия, проклипаемого Чеховым в заметке «Хорошая новость». Ему не дано умения найти в своем «углу» царство дивное, духовно опереться на слово, на жанр. Он натягивает, напяливает жанр на себя, но жанр расплзается по швам, как рубище нищего: в лекции образуются прорехи, в прорехи лезут сетования на жену, на дочерей. Быт «угла» одолевает саму мысль о каком бы то ни было мире, который может быть скрыт в этой повседневности. Нюхину дали возможность высказаться. Дали свободу. А он оказался рабом, не знающим, что же с ней, с этой свободой, делать, и послушной рысцой потрусившим обратно в родной загончик. В веренице героев Чехова, мечтателей и ораторов, Нюхин — ярко выраженный последний; оттого-то и был он писателю совершенно необходим; и когда современник Чехова предложил ему исключить рассказ-водевиль из книги, Чехов посмотрел на него «какими-то странными глазами».

Нюхин не может создать в области слова ничего своего. Рядом с ним персонажи, бесильные воспринять что-либо чужое: чужого слова они просто не слышат или же слышат его, но с порога отвергают.

Детишки в рассказе «Событие» «проснулись не в духе». «Не в духе» называется рассказ о типичном для Чехова жанрово глухом обывателе. Становой пристав Пращин проиграл в карты восемь рублей. Он не в духе, а рядом, за стеной, его сын Ваня зубрит отрывок из «Евгения Онегина», стихи о зиме. Брюзжащий отец каждую фразу Пушкина, повторяемую сыном, воспринимает утрюмо буквально: восседающий на дровнях реальный крестьянин, его лошадка

и шалун мальчуган, играющий с собачонкой (кстати, снова, на сей раз в цитате из Пушкина, ребенок — животное; маленькие герои «События», «Ваньки», «Каштанки» выступают прямыми литературными наследниками дворового мальчика из «Евгения Онегина»). Крестьянин, лошадка, мальчишка — свидетельство беспорядка, разнузданности и распущенности. Жанра нет. Нет поэзии: русская полиция — в который раз! — посягнула на русскую поэзию и, брюзжа, добила ее наконец.

Можно, стало быть, убить стиль. А можно убить и за стиль, и такое убийство происходит у Чехова и в юмористическом рассказе «Драма» и в очень серьезном «Убийстве». Писатель некий убивает графоманку, которая вторглась к нему в кабинет и пустилась читать ему свою драму. Ему спать хочется, грезы дают его, и сквозь сон доносятся до него междометия: «Тру-ту-ту»,— упоенно читает дама. Бедный писатель «схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаха ударил им по голове» истязательницу.

Мотивы «Драмы» почти буквально, хотя и неузнаваемо повторяются в рассказе «Спать хочется». Повторятся они и в «Убийстве»: трактирщик Яков и его жена почти так же, ударом по голове, убьют Матвея, своего близкого родственника, двоюродного брата. За что? Да за стиль! Прежде всего за стиль речи и за стиль жизни вообще: не так говорил, ел, молился не так, не по-ихнему. Вообще некое особое отношение к слову было у братьев в роду, и не случайно же Чехов вводит в рассказ родословную братьев, изложенную в специфическом для его художественной мысли аспекте: у отцов Матвея и Якова «была та особенность, что они понимали писание не просто, а все искали в нем скрытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна», а дед убитого и убийцы «в старости... наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор».

Диапазон отношения к слову у Чехова предельно широк: от безудержной болтовни до молчаливчества, от бесспорных подвигов на поприще слова до жестокого эксперимента, поставленного молодым адвокатом над влюбленным приятелем. Слово в творчестве Чехова принципиально серьезно. Вокруг него может твориться что-то очень смешное. Само оно может смешить, даровать веселость, веселие. Но высочайшая духовная суть слова всегда остается при нем,

даже если оно нечленораздельное междометие. Да, оно задвинуто в угол. Его топчут, его попирают и каторжники и чиновники; в этом их социальная ошибка, их историческая вина. А историческая правда на стороне тех, кто как бы то ни было чтит, почитает слово и, пусть в порыве безумия, в мученических грезах, в веселой детской игре или в спокойном труде поднимающегося на кафедру профессора, воздает ему дань уважения, с которым подобает относиться к исконным народным святыням.

Слово могут испохабить и оказенить: сквернословие, якобы противостоящее официальному бюрократическому языку, на самом деле намертво связано с ним, ибо крайности сходятся (сквернословящий бюрократ — такое и у нас попадает). За слово, за стиль речи могут убить. Но страшнее всего, наверное, подмена, фальсификация слова: народную святыню подменяют муляжом, фикцией; так происходит в замечательном рассказе «На святках».

«— Что писать? — спросил Егор и умокнул перо» — так рассказ начинается. Заметим попутно, что писание, само это священнодействие занимает у Чехова поистине огромное место. «Ванька Жуков, девятилетний мальчик... вздохнул, умокнул перо...»; «Ванька» — 1886 год, «На святках» — 1899, одно из последних произведений XIX столетия. И через годы проносится один жест: «умокнул перо». И рождество в одном случае, в другом — святки: праздник, осеняющий писание особой значительностью.

Дальше трагедия. Маленькая трагедия о том, как у двух крестьян, старика и старухи, отнимают их стиль. Осиротели они: дочь Ефимья вышла замуж, уехала от них в Петербург, ни слуху ни духу. И хочется неграмотным старикам написать дочери о себе, о родной деревне. Поведадь о скудности, о нужде. «Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу...» Но не знают старик и старуха, «как выразить это на словах? Что сказать прежде и что потом?».

А наемного писаря Егора вопросы стиля и композиции не занимают, и он застрочил: брызжет из-под его вымуштрованного пера какая-то невообразимая абракадабра, мешанина из воинских уставов, вразумлений, угроз. Унтер Пришибеев тоже писал какие-то проскрипции околоточного масштаба, списки крестьян, которые ночью сидят с огнем.

Он возбранял людям петь. Но Егор пострашнее Пришибеева будет: тот просто за прещал слово людское; этот же подменяет живое, сердечное слово какой-то словесной фикцией, жанром оскорбленным и обнаглевшим. Он фальсифицирует последнее, что осталось у двух крестьян, — их свободное слово. Два стиля — два полюса: добро — зло, свобода — рабство, реальность — фикция. Кто победит?

И все-таки добро победило! Победила одна-единственная фраза, втиснутая стариками в письмо от себя; и воссияла она над жанровой стилистикой наемного борзописца: так в народных сказаниях похищенную царевну-красавицу исторгали из мрачной пещеры похитившего ее дракона, дракон издыхал, а царевна продолжала сиять неземной красотой. Пришло письмо в Петербург, прочла его дочь Ефимья и разрыдалась, лаская троих ребятишек: «Это от бабушки, от дедушки... Из деревни... Царица небесная, святители угодники... Там теперь снегу навалило под крыши... деревья белые-белые... Ребятки на махоньких саночках... И дедушка лысенький на печке... И собачка желтенькая... Голубчики мои родные!»

«На святках» — какое-то неузнанное продолжение «Ваньки»: в том, раннем рассказе маленький горожанин-невольник мысленно видит и доброго дедушку и «всю деревню с ее белыми крышами». Но там письмо идет, как известно, на деревню дедушке, а здесь — из деревни, от дедушки. И там, обобрав малолетка, колошматя его, ему все же оставили его стиль, его слово. А здесь на этот стиль, на жанровые истоки его посягнули. Нагло, грубо. И что же?

А то, что стиль все-таки победил!

Жанр победил, потому что величайшая это социальная силища — жанр, в архаичных своих клише хранящий память веков и обладающий загадочным свойством даже в рамках канона исконных народных эпистолярных традиций сохранять и доносить до людей и святость благословений, и обаяние заурядного быта, и боль, и любовь, и даже запахи родимой земли.

«Я люблю Чехова, знаешь? Как-то я его нежно очень люблю», — говорит в рассказе Юрия Казакова «Проклятый север» молодой моряк рыболовного флота, полярник; он отдыхает в Ялте и хочет побывать в доме Чехова. Дом Чехова его разочаровывает: шумно, многолюдно. Кучки экскурсантов,

неизбежные туристские пошлости. Два моряка злятся и уезжают из Ялты.

Хороший рассказ! Он — о борьбе за Чехова, такой же, наверное, незаметной и даже тихой, какою была борьба Чехова за себя, за исконность народной культуры.

Чехов не мог быть ни Рылеевым, ни Чернышевским. Он негодовал не по поводу тирании, не по поводу крепостного гнета. Ирония его обрушивалась на «чиновничий язык», на духовную чахотку, на интеллектуальный рак, характерный для того отрезка истории, в котором ему выпало жить. Но мы все еще не слышим иеремиад писателя, считая, очевидно, что негодование по поводу рака слова — это все-таки какое-то неполноценное негодование, заведомо уступающее негодованию прямому, направленному непосредственно на экономику, политику. И трудно доказать, что по своему социальному содержанию образ писателя Егора из рассказа «На святках» не уступает образу Угрюм-Бурчеева из «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, а образы профессора из «Скудной истории», монаха Иеронима, детишек из рассказа «Событие» или старика и старухи, растерянно топчущихся перед всемогущим грамотеем Егором, — образам пушкинской Татьяны Лариной, князя Мышкина из романа Достоевского «Идиот», Пьера Безухова из «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

И еще хорош рассказ Казакова тем, что любовь к слову Чехова сочетается у его героев с любовью к музыке.

Чехов — филолог, как никто другой умевший ощущать духовную метафизику слова и социальный характер жанра и стиля. А одухотворенное слово — ступень к еще более сложной, наверное, форме общения и единения, к музыке.

Герои «Скрипки Ротшильда» косноязычны, они почти немые. То, что они говорят, безрадостно и не всегда вразумительно. Но царство дивное процветает и в том темном углу, в который забросила их судьба, в неопрятном местечке; и звуки музыки говорят о граде Китеже, скрывавшемся в душе скучного гробовщика Якова Иванова.

Глух Сахалин. Умирает здесь слово; но «здешняя жизнь вылилась в форму, какую можно передать только в неумолимо жестоких, безнадежных звуках, и свирепый хо-

лодный ветер... только один поет именно то, что нужно». И еще очень «странно, когда среди тишины раздается вдруг песня»: это поет старик, чужак каторжный. И в музыке, в песне выражается правда о жизни, которую не по силам выразить даже словом.

Жизнь Чехова — притча о том, как, живя, по слову поэта, «тихо», стяжало «имя громкое народного заступника».

«Воды глубокие» текут плавно, они деликатны. Но приходит время, и как раз в деликатности проявляется духовная мощь.

Подходят ли к Чехову слова пушкинского «Пророка»?

И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Вероятно, Чехов отшутился бы от подобного. Вместо содрогания неба у него в «Степи» знаменитое сравнение появилось: отдаленный гул приближающейся грозы слышен был так, будто кто-то прошелся босыми ногами по железной крыше. Вместо полета ангелов — разве что тень, призрак, черный монах, являющийся к теряющему рассудок молодому ученому. Вместо гадов морских — каторжники-сквернословы.

Но «Пророк» — начало русского классического реализма, а «Степь», «Черный монах» и книга о Сахалине — завершение длительного этапа его истории. Он завершился достойно — художественным универсализмом. Юноша медик, студент Московского университета, пришелец из южной провинции, взглянул на окружающее так, будто не знал о заранее заданной, априорно привнесенной в мир иерархии признанных общественных ценностей. Он рассказал о равенстве героев народного мифа и баб с деревенского огорода, серьезного мыслителя и смешного ребенка.

Известно, что поначалу современные Чехову критики обвиняли его в равнодушии: все равно ему, что описывать. Но тут не «все равно». Тут другое, тут скорее уж «все равны» — мысль, которая еще не раз будет высказываться в новых, неожиданных своих проявлениях, сперва вызывая недоумение и насмешки, а после ошеломляя всех простотой и какой-то внутренней, скрытой торжественностью.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

«ХУДОЖНИК И ЧЕЛОВЕК НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЧУТКОСТИ...»

Один из парадоксов XX века: при всех крутых переменах, сдвигах, переворотах, при всех катаклизмах именно этот век ознаменован растущим ощущением историко-культурных корней, преемственности в развитии человечества. Нам все больше открывается долговечная жизненность Пушкина, Гоголя, Некрасова, Толстого, Достоевского, неубывающая ценность и актуальность их творчества.

В этом смысле Чехов по праву может быть назван современником нашего века. Его книги, непрерывно издающиеся, всегда оказываются библиографической редкостью. Много раз выходили собрания его сочинений — от прижизненного десятитомного марксовского издания до полного собрания сочинений и писем в тридцати томах, завершающегося в ближайшее время. Чехов — один из самых популярных, как говорят, «репертуарных» драматургов у нас и за рубежом, на всех континентах земного шара. В последние десятилетия его произведения все чаще становятся объектом кино- и телеэкранизации.

Глубинный интерес писателя к человеку тесно связан с благородной идеей переустройства жизни общества, и советское литературоведение убедительно раскрыло социальную направленность творчества Чехова.

Но дело не только в этом. Читателям и зрителям Чехова оказывается близкой сама его личность, характер, особенности жизненного поведения. Это тем более удивительно, что сам писатель ревниво оберегал свой внутренний мир от постороннего вмешательства, любопытного внимания. Он предпочитал быть известным как автор произведений и решительно отказывался от разного рода интервью, литературных бесед, встреч, рассказов о себе, о своей жизни, работе, быте, привычках и т. п.

Однако читая произведения Чехова, его письма, скудные дневниковые записи, воспоминания современников, неоднократно издававшиеся в советское время, внимательный и чуткий читатель улавливает черты и приметы Чехова-человека. Эстетическое чувство, которое мы испытываем, входя в художественный мир Чехова, сливается с глубокой, сокровенной симпатией к Антону Павловичу. И потому с таким интересом прочитываются немногочисленные уже мемуары, обогащающие новыми фактами и сведениями наше представление о художнике и человеке.

В настоящей подборке читатель найдет воспоминания, опубликованные в старых газетах. Они не входили в сборники мемуаров и поэтому практически недоступны широкому читателю.

В публикации «Премьера «Чайки» актриса Александринского театра М. М. Читау рассказывает о беспрецедентном провале чеховской пьесы. Воспоминания об этом, как правило, принадлежат зрителям злополучной постановки. М. Читау, исполнявшая в «Чайке» роль Маши, имела возможность наблюдать Чехова на репетициях и премьере. Выразительно рисует она неразбериху и неурядицу, царившие в театре в дни работы над спектаклем. Перед нами ценное свидетельство: в провале «Чайки» на Александринской сцене в 1896 году повинна не только публика, оживавшая увидеть легкую и веселую бенефисную комедию, но и режиссер, весь театр, не понявшие носторской природы чеховской пьесы. Единственным исключением была В. Ф. Комиссаржевская, первая исполнительница роли Нины Заречной.

Невелики по объему, но весьма важны воспоминания Е. П. Семенова. Читая их,

мы узнаем о намерении Чехова в разгар борьбы вокруг дела Дрейфуса встретиться с Золя. Русский писатель передает французскому собрату привет и благодарность («...человека за человека благодарю»).

Воспоминания молодого прозаика Бориса Лазаревского относятся к последним, ялтинским годам жизни Чехова. В эту пору высшего расцвета достигает художественное дарование писателя. Заметно повышается его интерес к общественной жизни страны, усиливается чувство неизбежности перемен во всем укладе, хотя при этом, как свидетельствует мемуарист, писатель не придавал значения «кличке», ярлыку, он требовал от печатных органов «художественно верного изображения действительности и признавал только проповедь любви к тяжелой доле человечества».

А. С. Суворин — одна из самых противоречивых фигур среди чеховского окружения. Издатель реакционнейшей газеты «Новое время», решительный противник демократического движения, освободительных идей, он в то же время сыграл в литературной судьбе Чехова не только отрицательную роль. Суворин любил Чехова, он обладал большим литературным и драматургическим опытом. Письма к нему Чехова несут на себе печать большей откровенности, нежели ко многим другим лицам. После процесса Дрейфуса, по отношению к которому они заняли противоположные позиции, их переписка идет на убыль. Отношение Чехова к «Новому времени» и самому Суворину резко меняется, хотя отход его от Суворина начался значительно раньше. «Новое время» «теперь отвратительно», записывает слова писателя Б. Лазаревского. Справедливо отмечая неизбежность разрыва Чехова с Суворинным, нельзя закрывать глаза на то, что в первое десятилетие их знакомства Чехов многое делал, писал, ставил на сцене в контакте с Суворинным.

Публикуемые воспоминания — первый, непосредственный отклик Суворина на смерть Чехова. Мы находим здесь немало интересных свидетельств — о духовной самостоятельности Чехова, его нелюбви к проповедничеству, об отношении к нему Толстого и многое другое. Большого интереса заслуживает рассказ Суворина о Чехове во время провала «Чайки» (приехавший в Петербург на премьеру писатель остановился на квартире у Суворина). Обращает на себя внимание то место воспоминаний, где речь идет о попытках Чехова написать роман и, в частности, о его намерении взять форму «Мертвых душ».

Однако тот факт, что Чехов не создал романа, получает у Суворина наивное объяснение: все дело в заботе о насущном хлебе, а затем в приступах болезни. В действительности же Чехов создал свою особую форму романа-повести: это «Моя жизнь», охватывающая всю судьбу героя, «Три года», «В овраге».

Как видим, в подборку включены воспоминания о Чехове современников разных взглядов. И степень их близости к писателю также различна. Но при всем несогласии оценок, неизбежной субъективности вырисовываются некоторые важные черты облика Чехова — художника и человека, верного правде, беспощадного ко всякой лжи и насилию, не теряющего веры в завтрашний день.

М. М. ЧИТАУ



ПРЕМЬЕРА «ЧАЙКИ»

Из воспоминаний актрисы

Ко времени постановки чеховской «Чайки» на сцене Александринского театра необходимость искания «новых тонов» окончательно созрела в сознании молодых драматургов, но еще совсем не проникла в сознание большой публики. И театральные заправилы, впрочем всегда довольно равнодушно относившиеся к русскому драматическому театру, не думали о новшествах.

Помню, что написанная П. П. Гнедичем в виде пробы пера в «новых тонах» пьеса «Мгла» (еще в 1880 или 1881 г.) так и не увидела света ramпы: ее находили несценичной.

Первой большой пьесой А. П. Чехова, поставленной в Александринском театре, как известно, был «Иванов». Пьеса шла в бенефис Давыдова, исполнялась прекрасно и имела блестящий успех¹. Видимо, переходные «тона» ее были верно схвачены артистами и пришлись по вкусу публике. Но второму произведению Чехова, «Чайке», жестоко не повезло в том же театре, чему способствовали прямые и косвенные причины.

«Чайку» выбрала для своего бенефиса Е. И. Левкеева². Публика, неизменно видевшая ее в комических ролях, шла на этот спектакль в надежде весело провести время. В данном случае имя Чехова как остроумного «Чехонте» могло тоже обосновать такие надежды.

Однако за кулисами заранее уже говорили, что «Чайка» написана «совсем, совсем в новых тонах», это интересовало будущих исполнителей и пугало, но не очень, так как было уже установлено, что пьесу прочитает им сам автор, от которого и ожидалась помощь для восприятия новых открытий.

Роли в «Чайке» распределял сам А. С. Суворин. М. Г. Савина должна была играть Нину Заречную, Дюжикова 1-я — Аркадину, Абарина — Полину Андреевну, Машу — я. В главных ролях из мужского персонала участвовали: Давыдов, Варламов, Аполлонский, Сазонов³.

На считку «Чайки» мы собрались в фойе артистов. Не было только Савиной и автора. Савина прислала сказать, что больна. Но, конечно, не ее присутствие интересовало собравшихся, а присутствие и чтение самого автора.

Ждали его очень долго, сначала довольно молчаливо, потом началось ежеминутное поглядывание на часы, томление и актерская болтовня. Наконец вошел главный режиссер Е. П. Карпов и возвестил, что Антон Павлович прислал из Москвы телеграмму, что на считке не будет. Все были разочарованы этим известием. Карпов же распорядился, чтобы суфлер Корнев прочитал нам пьесу.

Не унывающая никогда бенефициантка не участвовала в «Чайке» и выбрала для себя более подходящую веселую комедию для конца спектакля⁴, но на считку приехала и теперь утешалась тем, что Чехов сам поведет репетиции и послужит нам камертоном, так как такового среди режиссуры не имелось.

Без всякой пользы для уразумения «новых тонов» и даже без простого смысла доложил нам пьесу Корнев, а затем мы стали брать ее на дом для чтения.

Когда впоследствии я любовалась исполнением «Чайки» в Московском Художественном театре, мне казалось, что сравнительно с первой ее редакцией многое было изменено и более удачно применено к сцене⁵. Может быть, я ошибаюсь и дело не в тексте и не в режиссерах, а в нашем плохом исполнении этой пьесы.

Начались репетиции. Автор еще не приехал из Москвы⁶. Савина продолжала хворать, и реплики Заречной читал нам помощник режиссера Поляков.

На второй репетиции автора все еще не было, и стало известно, что Савина, тоже не приехавшая в театр, отказалась от роли Нины, но изъявила готовность играть Аркадину вместо Дюжиковой 1-й⁷. Роль Заречной была передана Комиссаржевской. Конечно, всякие перетасовки являлись досадной помехой делу, когда для подготовки новой пьесы давалось всего семь репетиций, хотя в данном случае перемены были и к лучшему. Комиссаржевская приехала на репетицию, приехала и Дюжикова репетировать за Савину. Эта добросовестная, честная и прекрасная артистка для пользы дела шла на то, чтобы изображать какой-то манекен, который вынесут на чердак, как только явится настоящая фигура. Но и пользы-то, собственно, оказать она не могла, ибо ни угадать, ни передать соисполнителям пьесы, как поведет роль Савина, было, конечно, невозможно. Давыдов давал кое-какие указания некоторым из нас, помимо режиссеров, которые все слышались на будущие указания автора. Но и сам Давыдов при всем своем огромном таланте не улавливал «новых тонов».

Одна Комиссаржевская уже настолько художественно набрасывала эскиз образа Нины Заречной, что жизнерадостная бенефициантка, блестя выпуклыми глазами и по привычке вертя кистями рук с растопыренными пальцами, помню, делалась со мною надеждами на то, что «Вера Федоровна щеп и лучины нащепает из Нины, Савушка будет великолепно в роли провинциальной примадонны — что, может, пьеса поставлена ахово, а сам Антон Павлович окончательно наведет лак».

Интересовало и пугало многих, как примет публика Александринского театра монолог Нины Заречной на импровизированной «сцене на сцене», который написан не только в новых тонах, но казался даже нащупыванием каких-то ультрановейших лучей в драматургии.

Наши закулисные юмористы уже дополняли его в своем стиле и духе.

Но из этого испытания Комиссаржевская вышла победительницей. Она начинала монолог с низкой ноты своего чудесного голоса и, постепенно повышая его и приковывая слух к его чарующим переливам, затем постепенно понижала и как бы гасила звук и завершала последние слова периода: «...все жизни, свершив печальный круг, утасли» — окончательным замиранием голоса. Все зижделось на оттенках, на модуляциях ее прекрасного органа. Многие знают подобные старые приемы декламации, многих им учили, но мало кто мог бы так виртуозно применить их.

Только с закутыванием в простыню Комиссаржевская не могла справиться «с убеждением», что и сказалось на спектакле: публика отозвалась на этот жест взрывом хохота.

Приехав на третью репетицию, я нашла в своей уборной нашу гардеробмейстершу, с которой я давно выбрала себе в театральной гардеробной платье для роли Маши, и просила ее кое-что переделать в нем. Она казалась смущенной, и когда я начала торопить ее мерить платье, к большому удивлению моему, заявила, что «Мария Гавриловна (Савина) нашла это платье вполне подходящим и будет играть в нем, а потом уже можно будет перешить его, тогда мы его и померим».

Недоумение мое разрешила появившаяся при этом бенефициантка, как-то несвойственно ей сконфуженная, и объяснила, что Савина, хотя вообще не понимает «Чайки» и от роли Аркадиной, как и от роли Нины Заречной, тоже отказалась, но в память прежней дружбы с ней, Левкеевой, предложила сыграть для ее бенефиса... Машу, потом повторить и затем передать роль мне—Читаю. Сегодня я буду репетировать, а остальные репетиции предоставлены Марии Гавриловне.

— Да какие же это вообще репетиции?! — вскипела я.— И у меня отняты еще четыре! Ведь бенефиса не отложат из-за того, что, по чистой совести, пьеса не только не будет готова, но мы даже не знаем, как к ней и приступить-то!

Но это бесполезно высказанное мнение так огорчило Левкееву, что я поспешила загладить свою ошибку и пошла продельвать свою последнюю репетицию.

Автора все еще не было. Иные из исполнителей были раздражены или обескуражены всей этой неурядицей, другие, махнув рукой, принялись дурачиться. Конечно, не только «новые тона» не вырабатывались, но невозможно даже было при таком положении дела вообще как-нибудь спеться, и все шло вразброд. Только Комиссаржевская, уже продумавшая, усвоившая и, главное, почувствовавшая свою роль, шла особняком и репетировала еще лучше.

На другой день я не должна была быть на репетиции и не была. Однако в тот же вечер приехал ко мне Карпов и объявил, что Савина и от роли Машки отказалась⁸, на репетиции читал за меня Поляков, роль возвращается мне.

Никогда еще не было такого ералаша в нашем муравейнике!

А. П. Чехов приехал наконец и посещал наши репетиции до конца⁹. Однако оттого ли, что он нашел, что поздно или невозможно что-либо поправить, или по другим причинам, но только никаких указаний он не делал, репетиции оставались каким-то никчемным делом, настроение все падало, и только Комиссаржевская все более и более становилась совершенной в роли Нины да Абарина не потеряла куража и, думая, что нашла ключ к «новым тонам», убежденно советовала многим:

— Главное — надо говорить уныло!

И, репетируя всюю, со слезой в голосе говорила Треплеву:

— Ну вот, теперь вы стали известным писателем...

А воспитанная на «старых тонах» бенефициантка недоумевала. «Ведь это хорошо, что он стал известным писателем,— шептала она мне,— так почему же Тоша (Абарина) говорит это, точно сообщает ему о болезни любимой тетеньки?!»

Остается еще сказать несколько слов о самом бенефисе.

Перед поднятием занавеса за кулисами поползли неизвестно откуда взявшиеся слухи, что «молодежь» ошкандоляет пьесу. Тогда все толковали, что Антон Павлович не угождает ей своей аполитичностью и дружбой с Сувориным. На настроение большинства артистов этот вздорный, может быть, слух тоже оказал известное давление: что-де можно поделаться, когда пьеса заранее обречена на гибель?

Под такими впечатлениями началась «Чайка».

Как была воспринята пьеса по ту сторону рампы, писалось уже много раз очевидцами этого зрелища. Добавляю от себя, что ни одна, кажется, пьеса так мучительно плохо не исполнялась на сцене Александринского театра и никогда не случалось нам слышать не только шиканья, но именно такого дружного шиканья на попытки аплодисментов и криков «всех» или «автора»¹⁰. Исполнители погрузились во тьму провала. Но всеми было признано, что над ним ярким светом осталась сиять Комиссаржевская, а когда она выходила раскланиваться перед публикой одна, ее принимали восторженно. И если зрители, пришедшие на бенефис комической артистки вдоволь посмеяться, заодно хохотали над жестом Комиссаржевской с «коленкоровой простыней» (как выразился по этому поводу один из мемуаристов), то в этом артистка не повинна, общее же исполнение «Чайки» не могло способствовать тому, чтобы заставить эту праздную публику радикально изменить настроение.

Не помню, во время которого акта я зашла в уборную бенефициантки и застала ее вдвоем с Чеховым. Она не то виновато, не то с состраданием смотрела на него своими выпуклыми глазами и даже ручками не вертела. Антон Павлович сидел, чуть склонив голову, прядка волос сползла ему на лоб, пенсне криво держалось на переносье... Они молчали. Я тоже молча стала около них. Так прошло несколько секунд. Вдруг Чехов сорвался с места и быстро вышел.

Он уехал не только из театра, но и из Петербурга¹¹.

На втором спектакле произошла волшебная перемена: пьесу прекрасно принимали, раздавались многочисленные крики — «автора», вызывали «всех». О восторгах по адресу Комиссаржевской и говорить нечего¹². Но в общем играли мы «Чайку», конечно, не лучше и во второй раз.

Читау-Кармина Мария Михайловна (1860—1935), артистка Петербургского Александринского театра (по сцене — Читау 2-я). В труппе театра с 1878 года по 1900 год. Оставив сцену, занималась педагогической деятельностью. М. М. Читау — первая исполнительница роли Маши в пьесе Чехова «Чайка», поставленной в Александринском театре впервые 17 октября 1896 года. Воспоминания напечатаны в парижской газете «Звено», 1926, № 201.

¹ Пьеса «Иванов», во второй редакции, была поставлена в Александринском театре впервые 31 января 1889 года, но не в бенефис В. Н. Давыдова, а в бенефис режиссера театра Ф. А. Федорова (Юрковского).

² Ле в к е е в а Елизавета Ивановна (1851—1904). В 1896 году отмечалось двадцатипятилетие ее сценической деятельности. Спектакль 17 октября был не только бенефисным, но и юбилейным.

³ Мужские роли исполняли: В. Н. Давыдов—Сорина, К. А. Варламов—Шамраева, Р. В. Аполлонский — Треплева, Н. Ф. Сазонов — Тригорина.

⁴ В этот вечер шла также пьеса Н. Я. Соловьева «Счастливейший день», в которой Левкеева исполняла роль Ольги Николаевны.

⁵ Изменения в спектакле МХТ касались главным образом авторских ремарок, которые были внесены К. С. Станиславским во время режиссерской работы над пьесой.

⁶ Чехов приехал в Петербург 9 октября, но стал бывать на репетициях, когда роли были распределены окончательно.

⁷ М. Г. Савина в письме А. С. Суворину от 10 октября 1896 года объяснила, что заставляет ее отказаться от роли Нины Заречной: «Роль Нины вся основана на внешности и вследствие этого совершенно мне не подходит <...>. Годы Нины слишком подчеркнуты <...>. Я думаю, что если Нину отдать Комиссаржевской, а мне сыграть Машу, то пьеса несомненно выиграет. Маша очень интересный тип, и я с большим удовольствием поработаю над нею» (И. Шнейдерман, «Мария Гавриловна Савина». Л.— М. 1956, стр. 272). (Аркадину М. Г. Савина играла при возобновлении «Чайки» в Александринском театре в 1902 году.)

⁸ В интервью с Савиной, напечатанном в «Петербургской газете» 17 января 1910 года, она так объяснила свой отказ играть Машу: «Артистка, которой поручили эту роль, ни за что не хотела уступить ее даже для одного раза».

⁹ Чехов был на трех репетициях «Чайки» — 12 октября, 14 октября и на генеральной 16 октября. Только одна репетиция (14 октября) прошла хорошо. О ней вспоминает бывший на репетициях вместе с Чеховым писатель И. Н. Потапенко: «Все подтянулись и

начали играть <...>. Появился рисунок, даже что-то общее, что-то похожее на настроение. Когда же вышла Комиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра». Но на генеральной репетиции, по словам Потапенко, «что-то как будто переломилось, словно артисты, дав слишком много на той репетиции, надорвали свои силы. Вдохновения уже не было... Все шло гладко, но бледно и серо» (сб. «Чехов в воспоминаниях современников». М. 1960, стр. 355).

¹⁰ И на первом спектакле были зрители, сумевшие оценить пьесу. М. И. Чайковский писал А. С. Суворину 21 октября: «За много лет я не испытывал такого удовольствия от сцены и такого огорчения от публики, как в день бенефиса Левкеевой» (ЦГАЛИ). Ал. П. Чехов послал 17 октября записку брату: «Я с твоей «Чайкой» познакомился только сегодня в театре. Это — чудная, превосходная пьеса, полная глубокой психологии, обдуманная и хватающая за сердце» (А. П. Чехов, «Неизданные письма». М.—Л. 1930, стр. 17). Писательница С. И. Смирнова-Сазонова написала в дневнике 17 октября: «Ума, таланта публики в этой пьесе не разглядела. Акварель ей не годится. Дайте ей маляра, она поймет» («Литературное наследство», т. 87, стр. 309). Н. А. Лейкин, записавший в дневнике о провале «Чайки», увидел в ней «новые типы и характеры». «Ни банальностей, ни общих мест никаких, а публика Александринского театра любит банальности и общие места» («Литературное наследство», т. 68, стр. 504). Л. А. Авилова прислала в «Петербургскую газету» «Письмо в редакцию» (напечатано в № 290): «Говорят, что «Чайка» не пьеса. В таком случае посмотрите на сцене «не пьесу!» Может быть, после таких «не пьес» мы и вокруг себя увидим то, чего не видели раньше, услышим то, чего не слышали».

¹¹ Чехов вышел из зрительного зала после второго акта, когда провал пьесы был уже очевиден. Просидев до конца спектакля в уборной Левкеевой, он ушел из театра и до двух часов ночи бродил по городу. В 12 часов дня первым товаро-пассажирским поездом уехал в Москву.

¹² Второй спектакль «Чайки» состоялся 21 октября. Пьеса шла с небольшими купюрами и измененными ремарками, сделанными Сувориним и Карповым (монолог свой Нина говорила только в первом и четвертом действиях — в сцене с Машей он пропущен; Сорин не оставался на сцене в последнем действии, не стелили ему постель, так что Нина декламировала, не набросив на себя простынку). «С Вашими поправками я согласен — и благодарю 1000 раз», — писал Чехов Суворину 22 октября. Однако постановка в целом все же оказалась неудачной и после пятого представления «Чайка» была снята со сцены Александринского театра.

Е. П. СЕМЕНОВ



ЧЕХОВ И ЗОЛА

Это было в разгар борьбы, начатой автором «Ругон-Маккаров» за «правду и справедливость»¹ в деле Дрейфуса. Вся Франция, а за нею и весь мир были вовлечены в эту борьбу, причем на Зола лишний раз оправдалась истина: «никто не пророк в стране своей»². В тот знаменательный год большинство французов было против Зола, тогда как большинство цивилизованных людей во всех странах были за Зола и поднятое им дело.

Чехов очутился в Париже проездом на юг и оставался там буквально считанные часы.

Он остановился в центре Парижа, rue Caumartin, Hôtel de S-Pétersbourg, где я его видел по поручению правления русских студентов, которое посылало Чехову через меня почетный билет и просьбу приехать на литературно-музыкальный вечер общества.

Чехов принял билет, очень благодарил почтивших его приглашением русских учащихся в Париже, объяснил, что он через несколько часов уезжает и ни у кого быть не может.

— А вот у Зола я хотел бы быть и все бросил бы и заехал бы к нему... Но — язык... Дурак дураком будешь, — говорил Чехов искренно, с грустью... — А вы мне, Евгений Петрович, расскажите о нем: что он теперь делает? Как его здоровье? Состояние? Самочувствие?

Я рассказал Чехову о положении дела в тот момент, о настроении и о деятельности Зола все что знал.

Чехов слушал внимательно, предлагал вопросы, останавливался на подробностях.

Когда я кончил, он взял меня за руку и серьезно, с большой сердечностью и заметным волнением попросил меня передать Зола его привет, его благодарность — «человека за человека благодарю»...

— И пожелайте ему здоровья... Пожелайте ему счастья в его деле.

Я обещал Чехову непременно передать все это, как он меня просил, Эмилио Зола.

В ближайший же четверг³ я передал Зола всю сцену с Чеховым, его слова, его привет и пожелания.

Зола был очень доволен и тронут и просил, в свою очередь, передать Чехову его благодарность и привет.

К сожалению, у меня более не было случая встретиться еще раз с Чеховым. Так я ему привета от Зола и не передал.

Семенов Евгений Петрович (1861—?), журналист, эмигрировавший во Францию в 1882 году, парижский корреспондент петербургской газеты «Новости», переводчик, друг Золя. Его воспоминания «Чехов и Зола» были опубликованы в газете «Петербургский курьер» 2 июля 1914 года за подписью «Е. С.».

Встреча с Чеховым в Париже состоялась, когда Чехов ехал с юга Франции в Россию, 2 (14) мая 1898 года.

Пребывание Чехова во Франции (с сентября 1897 года по 2 мая 1898 года) совпало со временем острой политической борьбы, в ходе которой демократические и радикальные круги Франции требовали пересмотра дела офицера генерального штаба Альфреда Дрейфуса, ложно обвиненного в шпионаже (передаче Германии секретных документов) и приговоренного в декабре 1894 года к пожизненной каторге. Э. Золя, получивший возможность ознакомиться с этим делом по документальным материалам, пришел к убеждению в полной невиновности Дрейфуса и стал выступать в его защиту, публикуя статьи, связанные с этим делом: «Г-н Шерер-Кестнер», «К юным!», «Письмо к Франции». Когда же военный суд 11 января 1898 года оправдал настоящего виновника графа Эстергази, Золя написал открытое письмо президенту республики Феликсу Фору, в котором обвинял поименно всех лиц, а также генеральный штаб и военное министерство, подстроивших «дело Дрейфуса», в целом ряде преступных действий. Это письмо, озаглавленное «Я обвиняю!», опубликовано в газете «L'Aurore» («Орор») 13 января 1898 года. После этого выступления Золя был обвинен в оскорблении государственной власти и приречен к суду. Суд, длившийся пятнадцать дней, приговорил Золя к тюремному заключению на двенадцать месяцев и денежному штрафу. 1 апреля кассационная палата верховного суда, рассмотрев жалобу Золя, отменила приговор, но уже 8 апреля на этот раз военный трибунал подал в суд на Золя, обвиняя его в оскорблении высшего военного суда.

Во время встречи Чехова с Семеновым Золя был на свободе, но уже ожидал вторичного судебного процесса. Со стороны реакционных кругов не прекращался поток клеветы на Золя в печати, оскорблений, угроз, в одном доме, в котором жил Золя, летели камни и т. д. Чехова глубоко волновали происходившие в Париже события. Он просил знакомого студента-медика Н. Н. Тугаринова, уезжавшего через Париж в Россию как раз в дни судебного процесса, написать о его парижских впечатлениях. В архиве Чехова сохранилось письмо к нему Тугаринова от 11 февраля 1898 года из Москвы: «Когда мы приехали в Париж, первое впечатление было: масса жандармерии конной и пешей... На мой вопрос, для чего все это, cochet (кучер) с видом департаментского чиновника отвечал: «Это для того, чтобы защитить от человека, который хочет погубить правительство. Я говорю об этом негодяе (vaurien) и об этой собаке (chien) — Зола!» Как видите, с места в карьер попал в самое злободневное «чрево Парижа» («Из архива А. П. Чехова», М. 1960, стр. 238. «Чрево Парижа» — название одного из романов Золя).

Отношение Чехова к выступлениям Золя известно из его писем: «Золя вырос на целых три аршина; от его протестующих писем точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава богу, есть еще справедливость на свете и что, если осудят невинного, есть кому вступиться» (письмо Ф. Д. Ватюшкову, 23 января 1898 года). «Вы спрашиваете меня, все ли я еще думаю, что Золя прав. А я Вас спрашиваю, неужели Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усомниться хоть на минуту, что я не на стороне Золя?» (письмо А. А. Хотяинцевой, 2 февраля 1898 года).

¹ Слова из открытого письма Золя Феликсу Фору: «Военный суд только что, по приказанию, осмелился оправдать некоего Эстергази, чем нанес смертельное оскорбление правде и справедливости».

² Неточная цитата из Евангелия: «Несть пророка в отечестве своем».

³ Вероятно, по четвергам у Золя были «приемные часы». Он писал Е. П. Семенову 14 октября 1900 года: «Меня можно по-прежнему застать дома вечером по четвергам, и если Вы захотите повидаться, думается, Вам лучше всего прийти как-нибудь в четверг» («Литературное наследство», т. 31-32, стр. 957).

БОР. ЛАЗАРЕВСКИЙ



А. П. ЧЕХОВ

Материалы для биографии

Почти два года назад я закончил и сдал в печать свою статью об А. П. Чехове¹. Мне казалось, что я написал об этом необыкновенном человеке все что мог. Думалось также, что революция заслонила собою интерес общества ко всем людям, деятельность которых не имеет тесной связи с текущими событиями. Но обе эти мысли оказались ошибочными <...>.

И мне кажется, я не вправе не поделиться с читающей публикой тем, что знаю о жизни и словах А <нтон> П <авлович>, а также несколькими его письмами, любезно предоставленными в мое распоряжение академиком А. Ф. Кони. И то и другое, во всяком случае, имеет ценность для будущего биографа Чехова.

Антон Павлович неоднократно журил меня за то, что я говорю о произведениях художественной литературы, о мерзости всякого насилия, о возможности лучшего будущего с людьми или глубоко невежественными, или теми, вся деятельность которых давно потеряла личную инициативу и стала похожей не на поступки живого существа, имеющего совесть, сердце и волю, а на работу какого-нибудь стального или деревянного инструмента. Я возражал по этому поводу, что если такие люди слепы, то их нужно сделать зрячими, если холодность сердец делает их похожими на зверей, то нужно попытаться вернуть им образ человеческий. Отлично помню ответ Чехова по этому поводу. Он тряхнул головою и сказал:

— Нет уж... Все это будет бесполезно и бесцельно. С ними нужно поступать вот так, как поступали Моисей и Аарон с иудеями. Они водили их по пустыне до тех пор, пока не перемерли все старики и только их дети увидели землю Ханаанскую.

Однажды мы разговаривали о литературных неудачниках, о тех страданиях графоманов, которые так удивительно хорошо нарисованы Чеховым в его рассказе «Всеной». Антон Павлович отнесся скептически к возможности существования писателей с талантом, которые, однако, никогда не могли в силу тех или иных обстоятельств развернуть этого таланта перед людьми. Он говорил:

— Год, два могут мешать обстоятельства, но затем уже становится ясно, что в человеке ничего нет. Вот если у птицы есть крылья, то рано или поздно они выростут и она полетит... Да...

В Ялте мне случилось гостить у г-жи Т-вой², у которой бывали и находили самый радушный прием все писатели и поэты — и большие и маленькие, и талантливые и бездарные. Как-то пришел туда поэт Ляпунов. Совсем еще юноша на вид, крестьянин и самоучка, он сделал сильное впечатление на всех присутствовавших своим стихотворением, которое прочел наизусть. Если не ошибаюсь, оно называлось «Сапожник» и было напечатано в «Русской мысли»³. Ляпунов был болен горловой чахоткой и почти не имел средств к жизни. Л. Н. Толстой, М. Горький и г-жа Т-ва помогли Ляпунову и словом и делом. Антон Павлович не был знаком с Ляпуновым, но живо интересовался его здоровьем.

Взволнованный прочитанным стихотворением и драматизмом положения поэта, я рассказал Чехову все, что передумал и перечувствовал в этот вечер во время чтения Ляпунова. Выслушав меня, Антон Павлович сказал:

— Да, мне о нем говорили... Видите ли, Ляпунов отличный, чудесный поэт, но он не может оставить серьезного следа в литературе, потому что форма, в которую он облачает свои стихи, создана не им, а его предшественниками: Кольцовым, Некрасовым. А вот, например, К. Д. Бальмонт, стихотворения которого многим очень не нравятся, он все-таки огромный поэт, потому что он создал свое, совсем новое... У поэтов же, не создавших своего стиля, или у переводчиков всегда бывает особенно симпатична скромность... В Москве у меня есть такой друг, фамилия его N⁴. Так вот этот N по

профессии портной и вывеску имеет. Иногда он пишет очень недурные стихи и печатает их, а потом опять шьет жилеты и штаны. — Антон Павлович помолчал и добавил: — Если мое здоровье не будет хуже, я непременно напишу биографию N. Непременно напишу...

Когда вышло полное собрание сочинений Чехова, изданное А. Ф. Марксом, я прочел рассказ «Гусев» и поразился, как на нескольких страницах автор сумел развернуть такую потрясающую драму, затронув попутно глубочайшие, почти мировые вопросы. Я также удивился, почему этот рассказ не попался мне на глаза раньше, хотя я всегда следил за каждой его строкой.

Осенью 1903 года я спросил Антона Павловича, где был напечатан «Гусев»⁵.

— В «Новом времени», — ответил он и добавил: — Если имеете возможность, никогда не работайте в газетах, испортите себе слог. Я печатался там из нужды, тогда еще в «Новом времени» можно было писать, а теперь оно отвратительно — люди стыд потеряли.

Чехов замолчал. Болезнь делала свое дело. В этот день было жарко. Он сидел на веранде в одном пиджаке, с дорожной маленькой шапочкой на голове, в плетеном кресле с высокой спинкой. Возле него была Ольга Леонардовна.

Я смотрел на лица этого удивительного человека и его жены и потом сказал: — Сейчас оба вы такие, как на карточке, снятой в Аксенове.

— Это потому, что Антон в той самой шапочке, — сказала Ольга Леонардовна.

Чехов щурился на далеко искрившееся море и, должно быть, все еще под влиянием воспоминаний о «Гусеве» задумчиво произнес:

— А тяжело умирать в море...

Кто хочет совершенно ясно представить себе, какое лицо было у Чехова в это время, пусть взглянется в портрет писателя, сделанный углем художником Пановым в Ялте⁶. Он был напечатан в год смерти Антона Павловича в «Живописном обозрении», издававшемся И. Н. Потапенко. К сожалению, мне совсем не приходилось встречать в продаже снимка с этого портрета.

Чехов терпеть не мог <...> ярлыков. Очень недавно литератор Е.⁷ передал мне о своем весьма характерном разговоре с Антоном Павловичем по этому поводу.

Говорили о «Журнале для всех», который Чехов считал идеальным как по цене, так и по содержанию и в котором охотно печатал свои последние рассказы.

— Чудесный журнал, отличный журнал. Непременно выпишите себе его и читайте.

— Для меня не совсем ясно его направление, — возразил собеседник.

— Как направление?

— Да вот какое оно?..

— Хорошее направление, чудесное направление, вот выпишите и читайте. Это особенный журнал.

Так г. Е. и не мог добиться от Антона Павловича формулировки направления этого журнала.

Чехов не придавал ровно никакого значения кличке. Он требовал от всякого печатного органа прежде всего художественно верного изображения действительности и признавал только проповедь любви к тяжелой доле человечества, все же узкое, утрированное, проповедующее симпатии к известному кругу людей и ненависть к остальным, было ему не по душе. Это заметили все, знавшие его близко. Да и сам он в одном из писем к Плещееву совершенно ясно говорит: «Фирму и ярлык я считаю предрасудком»⁸. <...>

Быть же художником, по мнению Чехова, совсем не значило равнодушно смотреть на бедствия человечества. До какой степени болело его сердце при виде горя, как нельзя лучше характеризует его нижеследующее письмо к А. Ф. Кони <...>. Свои личные страдания Чехов всегда усиленно скрывал. Они прорвались, пожалуй, только единственный раз в жизни, когда холодная петербургская публика, привыкшая к пьесам, построенным по известному шаблону, не поняла «Чайки»⁹. <...>

В лечении болезни Антона Павловича играл большую роль режим. Доктора предписывали ему возможно полное спокойствие, а родные всеми силами старались это спокойствие осуществить. Казалось бы, в таком месте, как с. Аксеново Уфимской губернии, только что повенчавшись с любимой женщиной, можно и должно было забыть все, не касавшееся его лично.

Но жить только для себя и думать только о себе Чехов совсем не умел. В 1901 году в Севастополе разыгралась тяжелая драма. Молодой горячий мичман И. нанес оскорбление действием лейтенанту Р. Состоялась дуэль, но не совсем обыкновенная. Выстрел лейтенанта Р. раздался до условленного счета «три». Мичман И., смертельно раненный в печень, повернулся кругом, выпустил свой заряд в воздух, опустился на землю и произнес: «Готов». Лейтенант Р. сказал: «Я выстрелил нечаянно, слаба собачка». В 8 часов вечера мичман И. скончался.

Возник страшный вопрос, действительно ли лейтенант Р. выстрелил «нечаянно» до счета «три». А потом уже летом состоялась суд при закрытых дверях, но с допущением в зал представителей печати.

Чехов в это время был в Аксенове. Он знал убитого мичмана И. еще мальчиком, знал его мать, и все это дело, по-видимому, его очень интересовало и волновало¹⁰.

В письме ко мне от 14 июня 1901 года он пишет:

«Многоуважаемый Борис Александрович! Ваших два письма (одно открытое) я получил в Аксенове, Уфимской губ., где я теперь на кумысе <...>. Сердечно благодарю вас за письма и за обещание выслать дело о дуэли. Судя по отрывкам, которые доходят до меня, это дело очень интересное, и если вы будете добры, вышлете мне его, то окажете мне этим немалую услугу. Здесь скучновато, но делать нечего, надо пить кумыс, которого я выпиваю уже по четыре бутылки. Со мной здесь моя жена. Желаю вам всего хорошего, жму руку. Пишете ли теперь что-нибудь? «Посредник» вообще отличается медлительностью и не скоро присылает ответы. Напишите по адресу: Москва, Девичье поле, Грубецкой переулок, д. Осипова, Ив. Ив. Горбунову. Он заведует «Посредником», прекраснейший человек. Будьте здоровы.

А. Чехов.

Два слова из этого письма, «прекраснейший человек», заставили меня задуматься. Я никогда не слышал, чтобы Чехов дурно отзывался о литераторах или писателях. Помню, что при мне кто-то нехорошо сказал об И. И. Ясинском¹¹.

Присутствовавший здесь Чехов задумчиво и спокойно произнес:

— На него много клеветали...

Я неоднократно слышал вот о каких случаях:

в Ялту приезжает лечиться от чахотки какой-нибудь совсем неизвестный и, главное, совсем незнакомый Чехову журналист. Через несколько дней этот журналист вдруг получает обыкновенное письмо, с обыкновенной семикопеечной маркой, вскрывает его и видит сторублевку, неизвестно кем присланную... Только некоторые люди знали, что автором этих «анонимов» был Чехов.

Во Владивостоке во время войны я получил от него два больших хороших письма, в них чувствовалось так много желания разогнать мою тоску.

Эти письма писал мне, здоровому и молодому, Антон Павлович, который как доктор уже знал, что дни его самого сочтены.

И нет у меня больше слов, чтобы выразить свою любовь к этому художнику и человеку необыкновенной чуткости...

Да и не у одного меня...

Лазаревский Борис Александрович (1871—1936), писатель. Юрист по образованию, Лазаревский несколько лет служил секретарем и следователем в севастопольском военно-морском суде. В эти годы (1899—1903) он часто бывал в Ялте, где встречался с Чеховым. Воспоминания Б. А. Лазаревского о Чехове напечатаны в журнале «Русская мысль», 1906, кн. 11.

¹ Статья напечатана в «Журнале для всех», 1905, № 7. Этот наиболее обширный вариант воспоминаний Б. А. Лазаревского написал по своим дневникам 1899—1903 годов. Дневниковые записи Лазаревского о Чехове опубликованы в «Литературном наследстве», т. 87, стр. 320—349.

² Татаринова Фанни Карловна (1863—1923), ялтинская дачевладелица. В 1901 году выпускала в Ялте газету «Ялтинский листок».

³ Ляпунов Вячеслав Дмитриевич. В «Русской мысли» (1898, № 1) было напечатано его стихотворение «Пахарь» с предисловием Л. Н. Толстого.

⁴ Поэт Иван Алексеевич Белоусов (1863—1929), переводчик Шевченко.

⁵ Рассказ «Гусев» был напечатан в «Новом времени» 25 декабря 1890 года.

⁶ Художник Панов Н. З. (1871—1916) писал портрет Чехова в Ялте в августе 1903 года. Репродукция с него помещена в журнале «Живописное обозрение», 1904, № 40.

⁷ Вероятно, писатель Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933).

⁸ Цитата из письма Чехова А. Н. Плещееву от 4 октября 1888 года.

⁹ В. А. Лазаревский приводит здесь полностью два неизвестных в то время письма Чехова к А. Ф. Кони — от 26 января 1891 года (о положении сахалинских детей) и от 11 ноября 1896 года.

¹⁰ Дело лейтенанта Роццаковского слушалось в севастьяпольском военно-морском суде в мае 1901 года. Роццаковский, плававший в должности ревизора на минном транспорте «Буг», заявил, что у него похищены казенные деньги, которые он хранил в своей каюте. Виновный не был обнаружен. Роццаковский высказал подозрение, что в краже виновен мичман Иловайский. Возмущенный Иловайский ударил Роццаковского по лицу. Дело кончилось дуэлью, на которой Иловайский был убит. Чехова особенно интересовала и волновала эта история, потому что он хорошо знал семью Иловайских, с которыми познакомился еще в 1892 году в Воронеже. Позднее Иловайские переехали в Ялту, и Чехов до постройки своей дачи жил на квартире Иловайских.

¹¹ Писатель Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1930).

А. С. СУВОРИН



О ЧЕХОВЕ

1904 год оправдывает дурную славу високосных годов. Смерть кричит теперь повелительным голосом. Вчера Чехов успокоился вечным сном.

Уже десять лет тому <назад> его одолевала кашель и были сильные перебои сердца, о которых он не раз упоминал в своих письмах ко мне. Из Ялты в апреле 1894 г. он писал об одном своем сердечном припадке: «Чувство теплоты и тесноты, в ушах шум... Быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как-то неловко падать и умирать при чужих»¹. И чахотка давно таилась в его груди. У него случилось первое кровохарканье в Сибири, через которую он ездил на Сахалин (1890 г.)². Но потом он чувствовал себя лучше. Первый сильный припадок чахотки, кровоизлияние, вследствие чего он лег в клинику, случился при мне в Москве в 1896 г., когда мы с ним сели обедать³. Было это как раз в день разлива реки Москвы. Я увез его в гостиницу и послал за врачами. Один из них был его приятель⁴. Когда, осмотрев его, они уехали, он сказал мне: «Вот какие мы. Говорят врачи мне, врачу, что это желудочное кровоизлияние. И я слушаю и им не возражаю. А я знаю, что у меня чахотка».

Но врачам до этого случая он не показывался и старательно скрывал от родных свою болезнь. Это была натура деликатная, гордая и независимая. В ней глубоко лежало что-то самоотверженное. Он начал писать еще студентом; родители его, на руках которых были еще сыновья и дочь, жили бедно, и его ужасно огорчало, что на именины матери не на что сделать пирог. Он написал рассказ и отнес его, кажется, в «Будильник»⁵. Рассказ напечатали, и на полученные несколько рублей справили именины матери. И с этого времени он стал кормильцем своей семьи. Все, что он делал, он делал необыкновенно просто. Строил ли он школу для крестьян, а он построил их несколько⁶, помогал ли кому, принимал ли в ком участие, он исполнял все это как будто в силу какой-то врожденной обязанности, самой простой. Казалось, человек жил, ничем не задаваясь, ни к чему не стремясь, жил потому, что родился, но все то, что близко ему было, что находило отклик в его душе, все это получало от него какую-то здоровую теплоту. Его душа была так богата прекрасными дарами, что всякий, приближавшийся к нему, испытывал это. Это был как будто самый обыкновенный человек, со всеми слабостями, с самыми обычными требованиями от людей и от жизни; в какой-нибудь компании его трудно было отличить от других: ни умных фраз, ни

претензий на остроумие, ни ложной скромности, ни каких-нибудь особенностей в костюме, которыми теперь, по примеру иностранцев, начинают отличаться новые «знаменитости», быстро попадая в боги и думая, что надо носить если не перо и шпагу, то какой-нибудь кафтан или куртку. Все в нем было просто и натурально. Он был как будто выражением всей той обыденной жизни, которую он изображал так превосходно, как настоящий мастер, и в которой герои и героини такие же обыкновенные люди, как он. Он любил свою среду и сторонился от всего того, что было ему так или иначе чуждо. Наедине с приятелем или в письмах он судил с необыкновенной тонкостью и чуткостью о людях и о жизни, но опять же без всяких вычур, без той литературности и назидательности, в которых можно было бы увидеть какие-нибудь претензии человека, поставленного на значительную высоту в родной литературе. Никогда он не стремился ни учительствовать, ни проповедовать. Я не сделаю никакого преувеличения, если сравню некоторые его письма с письмами Пушкина. Та же искренность, та же простота, тот же ясный слог, та же независимость мысли от какого-нибудь «направления». Он был глубоко оскорблен, когда бывший Союз писателей выбрал его в свои члены незначительным большинством за повесть «Мужики», которая, будучи правдива, грешила против тенденций Союза⁷. В нем соединялся поэт и человек большого здравого смысла. Художественная объективность как будто руководила им и в жизни, и он смотрел ей смело в глаза и самостоятельно разбирался. Я позволю себе привести следующие строки из его письма ко мне из Ялты (1894 г., кажется,—он иногда не ставил на своих письмах года):

«Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивить мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет шесть-семь, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращением. Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: «чего-нибудь кисленького». Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своею массою, грандиозностью...»⁸.

Он ошибался. Мамаем оказались не естественные науки, а что-то другое. Науки присмирели и даже попрятались.

Я познакомился с Чеховым давно, вскоре после появления его первого рассказа в «Новом времени» (в 1886 г.)⁹. Он работал до того в «Петербургской газете», подписываясь А. Чехонте. Я написал ему, чтобы он бросил этот псевдоним и подписывался своей фамилией. Так он и сделал и стал более и более обрабатывать свои рассказы. Прежде он писал быстро, как бы мимоходом, как пишет журналист. Он мне говорил, что один из своих рассказов написал в купальне¹⁰, лежа на полу, карандашом, положил в конверт и бросил в почтовый ящик. Такие рассказы его походили на анекдоты и вращались в публике. Раз на Волге на пароходе один офицер стал ему рассказывать его же рассказы, уверяя, что это случилось с его знакомыми и с ним, офицером. В издании Маркса, который в 1899 г. купил его сочинения за 75 000 р., и то, что было напечатано, и то, что будет напечатано, с уплатою этих денег в течение трех лет, яви-

лось много таких «анекдотов». Г. Маркс требовал от Чехова как можно больше рассказцев и составил из них несколько томов. Естественно, что г. Маркс выручил всю уплаченную Чехову сумму первым же изданием. Эта продажа составляла одно из мучений его за последние годы. Получил он 75 000 р. разом от г. Маркса, он мог бы еще что-нибудь сделать с этим капиталом. Но получая их по частям в три года, он затеял строить дачу, и в несколько лет эти тысячи растаяли, и растаяла мечта о своей независимости и свободе. Он снова остался без денег, и единственный ресурс, который ему оставался,— это труд. А болезнь усиливалась, то замирая, то проявляясь сильнее. На несчастье Чехова, он продал свои сочинения как раз накануне того времени, когда явился Горький и вместе с ним началось необыкновенное требование на новых писателей и на Чехова. Два года тому <назад>, разъезжая с ним в Москве по кладбищам — и в Петербурге, и в Москве он любил до странности посещать кладбища, читать надписи на памятниках или молча ходить среди могил, — он мне говорил, что не может писать беллетристики. Мысль, что он все продал, прошедшее и будущее, что есть у него «хозяин», который по праву покупки всем этим владеет как собственностью, отравляла его. Он пробовал убедить г. Маркса, нажившего на его сочинениях, как говорили, большие деньги, изменить условия. Г. Маркс предложил ему 5000 р. на поездку за границу для поправления здоровья и свои издания в хороших переплетах. Чехов издания в хороших переплетах взял, а от 5000 р. отказался¹¹.

Чехов оставил за собой только право на театральный гонорар за пьесы, и это право переходит к его наследникам. Но право на издание самих пьес принадлежит также г. Марксу.

Как много он работал, видно из той массы рассказов, которые написал он под псевдонимом Чехонте. Раз я говорил с Л. Н. Толстым о Чехове, который в то время еще не был с ним знаком.

— Я прочел один из его рассказов в каком-то календарике, — сказал Л. Н. — Он живо написан¹². Но таких рассказов можно написать тысячу, и тогда даже трудно судить о степени таланта автора. А ведь он написал только десятки, вероятно.

Я передал в общих чертах этот разговор Чехову.

— Да, я действительно написал тысячу рассказов, — сказал Чехов.

Известность ему давалась медленно, но то, что он завоевывал, оставалось прочным его приобретением. Он видел, как изменилось быстро отношение к молодым писателям, как расхваливали их «рассказы», называл себя «стариком» и отсталым. Но молодые писатели почтительно около него группировались или отдавали ему дань уважения. А сам патриарх, Л. Н. Толстой, после «Палаты № 6» говорил о Чехове как о большом таланте, интересовался не только им, но даже его мнением о своих произведениях и давал ему первые наброски «Воскресения»¹³.

И Чехов обладал очень тонким художественным чутьем. Работал он над своими произведениями так, чтобы «не было в них лишнего слова». Фантазия его была прямо поразительная, если собрать все те мотивы и подробности быта, которые разбросаны в его произведениях. Одним он мучился — ему не давался роман, а он мечтал о нем и много раз за него принимался. Широкая рама как будто ему не давалась, и он бросал начатые главы. Одно время он все хотел взять форму «Мертвых душ», то есть поставить своего героя в положение Чичикова, который разъезжает по России и знакомится с ее представителями. Несколько раз он развивал предо мною широкую тему романа с полуфантастическим героем, который живет целый век и участвует во всех событиях XIX столетия¹⁴. Он начинал драму, где главным лицом является царь Соломон «Паралипоменона» и «Песни песней»¹⁵. Я думаю, что вечная забота о насущном хлебе и затем приступы болезни не давали ему свободы для большого произведения.

К успеху своих произведений он был очень чувствителен и при своей искренности и прямоте не мог этого скрывать. Когда после первых двух актов «Чайки» на Александринском театре он увидел, что пьеса не имеет успеха, он бежал из театра и бродил по Петербургу неизвестно где¹⁶. Сестра его и все знакомые не знали, что подумать, и посылали всюду, где предполагали его найти. Он вернулся в третьем часу

ночи. Когда я вошел к нему в комнату, он сказал мне строгим голосом: «Назовите меня последним словом (он произнес это слово), если когда-нибудь я еще напишу пьесу». На другой день он уехал в Москву ранним утром с каким-то пассажирским или товарным поездом. Потом он оправдывался, говоря, что он подумал, что это был неуспех его личности, а не пьесы, и называл некоторых известных петербургских литераторов, которые якобы высокомерно с ним заговорили в антракте, видя, что его пьеса падает¹⁷. На представления своих следующих пьес он почти не ходил. Когда он написал «Три сестры», то жалел потом, что не написал на эту тему повесть, что тема скорей для повести, чем для драмы.

Когда болезнь его еще не обнаруживалась, он отличался необыкновенной жизнерадостностью, жаждою жить и радоваться. Хотя первая книжка его, «Сумерки», и вторая, «Хмурые»¹⁸, уже показывали, какой строй получают его произведения, но он не обнаруживал никакой меланхолии, ни малейшей склонности к пессимизму. Все живое, волнующее и волнующееся, все яркое, веселое, поэтическое он любил и в природе и в жизни. О путешествиях он постоянно мечтал, и, будь у него спутник, он побывал бы в Америке и в Африке. С ним вместе мы дважды ездили за границу¹⁹. В оба раза мы видели Италию. Его мало интересовало искусство, статуи, картины, храмы, но тотчас по приезде в Рим ему захотелось за город, полежать на зеленой траве. Венеция захватывала его своей оригинальностью, но больше всего жизнью, серенадами, а не дворцом дождей и проч. В Помпее он скучно ходил по открытому городу — оно и действительно скучно, — но сейчас же с удовольствием поехал верхом на Везувий, по очень трудной дороге, и все хотел поближе подойти к кратеру. Кладбища за границей его везде интересовали — кладбища и цирк с его клоунами, в которых он видел настоящих комиков. Это как бы определяло два свойства его таланта — грустное и комическое, печаль и юмор, слезы и смех и над окружающим и над самим собою.

В голову толкаются все мелочи, столько хочется сказать и не улавливаешь целого. Да и как это можно, когда он еще стоит перед мной живой и не можешь припритаться, что жизнь его окончена. Одно сознаешь: как мало мы вообще ценим людей при их жизни и как они разом вырастают перед очами нашей души, когда любуется их гробовая крышка. Поднимается в душе какой-то укор, вспоминается разом целая куча разговоров, свиданий, вместе прожитых дней, легкомыслия, ненужных пустяков, недоразумений, умолчаний и самолюбивой замкнутости, которая иногда вдруг закрывает искренние движения души. Я обязан Чехову многим, обязан его прекрасной душе, которая молодила меня, которая давала и всем, кто с ним сходилась, это чувство чего-то живого, прямого, благородного и вместе с тем здравомысленного. Меньше всего думалось, что это писатель, что это талант. Все это даже забывалось, и являлся человек во всем обаянии его ума, искренности и независимости. В Чехове было что-то новое, как будто совсем из другой жизни, из другой атмосферы. Таково по крайней мере мое впечатление. Ни сентиментализма, ни притворного участия, ни фраз. Иногда даже как будто жесткость, но жесткость правоты и твердости. В последние годы под влиянием страданий он стал благодушнее и мягче. Что-то меланхолическое и покорное судьбе явилось в его исстрадавшейся душе. С ним умер страдалец-писатель не в том представлении, которое легко впадает в общее место и обращается в банальную фразу, для неписателей непонятную, а в представлении истинного страдания, физического и морального, близкого всякому человеку, близкого той среде, поэтом которой он сделался, которая принимала к сердцу его драмы и понимала закрытый для других ужас земного существования и мечтала хоть о капельке солнца, хоть об обмане, который вывел бы ее из душной и бездельной тоски. Я раз спросил его в письме (1894 г.): «Что должен желать теперь русский человек?» «Вот мой ответ, — писал он, — желать. Ему нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кислотство»²⁰. Это кратко и неопределенно, пожалуй, но это выразительно и верно. Сам он всегда желал — желал прогресса русской жизни, желал сильных характеров, дарований, желал и искал весь свой краткий век солнца и так умер, не увидав его настоящего блеска.

В прошлом марте он говорил, что хотел бы поехать на войну. «Там интересно»²¹. Он сложил свою голову в той постоянной войне, которая называется жизнью и

в которой он одержал несколько прекрасных побед, и эти победы увенчают его негнущим венком на «жизнь вечную». Лечивший его врач, доктор Шверер, телеграфировавший нам о последних днях его жизни, говорит, что он переносил свою болезнь как герой и с изумительным хладнокровием ожидал смерти. Он страстно хотел жить, но не боялся и смерти: он жил тем русским простым, не кричащим героизмом, который хорошо понимает всякая благородная русская душа, и умереть он мог только как герой, смело смотря в глаза надвигающейся неизбежности и шепча умирающими устами: «Здравствуй, смерть!»...

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912). Воспоминания о Чехове напечатаны в «Новом времени» 4 июля 1904 года («Маленькие письма» № DXV).

¹ Это было письмо из Мелихова от 21 апреля 1894 года.

² Первое кровохарканье случилось у Чехова в 1884 году. Он писал Ал. П. Чехову 2 апреля 1897 года: «С 1884 года начиная у меня почти каждую весну бывали кровохаркания».

³ Кровотечение произошло 22 марта 1897 года в московском ресторане «Эрмитаж», куда Чехов с Сувориным пришли после заседания съезда сценических деятелей.

⁴ Доктор Н. Н. Оболонский.

⁵ Возможно, здесь имеется в виду рассказ «Письмо донского помещика Степана Владимировича к ученому соседу доктору Фридриху», который был послан в петербургский журнал «Стрекоза» 24 декабря 1879 года (день именин Е. Я. Чеховой). Этот день Чехов считал началом своей литературной деятельности, хотя его «мелочи» под разными псевдонимами или без подписи появлялись в печати и раньше.

⁶ Во время своей жизни в Мелихове (1892—1899) Чехов построил три школы—в ближайших селах Талеж и Новоселки и в деревне Мелихово.

⁷ Чехов был принят в Союз взаимопомощи русских писателей 31 октября 1897 года, но узнав о том, как происходили его выборы, в Союз не вступил (см. об этом в приложениях к «Письмам Чехова». М. 1978, т. 6, стр. 641—644).

⁸ Из письма А. С. Суворину от 27 марта 1894 года.

⁹ Рассказ «Ведьма» напечатан в «Новом времени» 8 марта 1886 года. Знакомство Чехова с А. С. Сувориным произошло в Петербурге 25 апреля 1886 года.

¹⁰ Вероятно, Чехов имел в виду рассказ «Егерь» («Петербургская газета», 18 июля 1885 года). 28 марта 1886 года он писал Д. В. Григоровичу: «„Егеря“, который Вам понравился, я писал в купальне».

¹¹ Относительно возможности расторжения договора был разговор у Чехова с А. Ф. Марксом 14 мая 1903 года. Он писал об этом А. С. Суворину 17 июня 1903 года. Об истории взаимоотношений Чехова с Марксом см. книгу И. Видуэцкой «А. П. Чехов и его издатель А. Ф. Маркс» (М. 1977).

¹² Это был, очевидно, рассказ «Беглец», перепечатанный из «Петербургской газеты» (28 сентября 1887 года) в календаре «Стоглаз» (СПб. 1889).

¹³ Чехов впервые был у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне 8 и 9 августа 1895 года. В этот приезд в Ясной Поляне читали вслух первый вариант романа Л. Н. Толстого «Воскресение». Сам Толстой на этом чтении не был, но интересовался, что ему скажут по поводу романа. Вспоминает писатель С. Т. Семенов, присутствовавший при этом чтении: «Антон Павлович тихо и спокойно стал говорить, что все это очень хорошо. Особенно правдиво схвачена картина суда. Он только недавно сам отбывал обязанности присяжного заседателя и видел своими глазами отношение судей к делу: все заняты были побочными интересами, а не тем, что им приходилось разрешать <...>. Очень верно и то, что купца отравили, а не иным способом прикончили с ним. Антон Павлович был на Сахалине и утверждал, что большинство женщин-каторжанок сослано именно за отравление. Неверным же ему показалось одно—что Маслому приговорили к двум годам каторги. На такой малый срок к каторге не приговаривают. Лев Николаевич принял это и впоследствии исправил свою ошибку» (сб. «Чехов в воспоминаниях современников». М. 1960, стр. 366—367).

¹⁴ Из писем Чехова и воспоминаний современников известно, что Чехов работал над романом в 1887—1889 годах. Роман был назван «Рассказы из жизни моих друзей». Законченные три главы этого романа Чехов давал читать А. С. Суворину и А. Н. Плещееву. Впоследствии Чехов, по-видимому, не раз задумывал сюжеты других романов. А. В. Амфитеатов вспоминает: «Сколько раз я его ни видел до 1898 года, в каждое свидание он намекал на начатый или задуманный план романа» (А. В. Амфитеатов, собрание сочинений. СПб. 1912, т. XIV, стр. 21).

¹⁵ В архиве А. П. Чехова сохранился автограф—монолог Соломона, видимо написанный Чеховым для задуманной драмы.

¹⁶ См. примечание 11 к воспоминаниям М. М. Читау.

¹⁷ Суворин имел в виду письмо к нему Чехова от 14 декабря 1896 года, в котором Чехов писал: «17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно: те, с кем я до 17-го октября дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копы (как, например, Ясинский),—все эти имели странное выражение, ужасно странное...»

¹⁸ Книга «В сумерках» вышла впервые в 1887 году. Это была третья книга рассказов Чехова. Шестая книга, «Хмурые люди», вышла впервые в 1890 году.

¹⁹ Чехов ездил за границу с Сувориным в 1891 и 1894 годах.

²⁰ Из письма Чехова А. С. Суворину от 12 декабря 1894 года.

²¹ О своем намерении поехать на войну Чехов писал О. Л. Книппер 12 марта 1904 года: «Если в конце июня и в июле буду здоров, то поеду на войну, буду у тебя проситься»; 13 апреля 1904 года он писал А. В. Амфитеатрову: «Если буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент»; 13 апреля 1904 года он писал о том же и Б. А. Лазаревскому.

Публикация и комментарии Н. И. ГИТОВИЧ.



На редкость работоспособный и добросовестный, человек с ярко выраженной гражданской позицией, М. Исаковский много сил и времени отдавал работе критической, литературоведческой, проявляя большую заботу о начинающих молодых поэтах. В многократно переизданной книге «О поэтическом мастерстве» собраны статьи и письма Исаковского, в которых он со всегда присущими ему добротой и искренностью писал о секретах поэзии, поэтическом таланте, специфике литературы, необходимости учиться и постигать сложные законы творчества, строгом и требовательном отношении к собственной рукописи. Цельность характера и справедливость, обаяние художника и сердечность, редкая скромность и взыскательность к самому себе — все это ярко предстает не только в стихах и статьях Исаковского, но и в воспоминаниях людей, близко знавших поэта, в его собственных письмах.

«Я очень хорошо помню, — писал Н. И. Рыленков, — как тянулась к нему поэтическая молодежь в Смоленске, где он был для всех нас не только доброжелательным и взыскательным учителем, но и другом, подававшим пример общественной скромности, принципиальности и требовательности к себе. Мы знаем, что при всей мягкости его характера услышать от него похвалу не так-то просто, но зато как гордились мы его одобрением!

Меня всегда больше всего трогало в нем то, что, человек весьма определенных поэтических воззрений, он никогда и никому не навязывал своих личных вкусов, глубоко уважая творческую индивидуальность каждого поэта. В этом сказался, вероятно, выработанный им еще в юности незаурядный педагогический такт.

Но я не знаю ни одного случая, когда бы он простил кому-нибудь фальшь, поэтическое баловство, пустую игру в слова.

Не один десяток поэтов младших поколений, поэтов, не похожих ни на него, ни друг на друга, с гордостью называют его своим учителем. А это большая честь для мастера».

Воспоминания Николая Ивановича тем более любопытны, что несколько писем М. В. Исаковского, которые ниже мы печатаем, адресованы именно Рыленкову, большому другу поэта.

Публикуемые письма (кроме названных, в подборку вошло письмо поэта в издательство «Художественная литература») знакомят нас с интересными замечаниями по языку и стилю, сделанными М. Исаковским в его переводческой и редакторской работе.

Письма обогащают наши прежние представления о мастере какими-то новыми оттенками, ибо реально видится пристальная дотошность поэта в работе, его застенчивая мягкость, нередко осложнявшая ему жизнь, его утомленность постоянными ежедневными нагрузками и, несмотря ни на что, постоянная готовность прийти на помощь со всей щедростью и широтой души.

Публикуемые письма предоставлены журналу Центральным государственным архивом литературы и искусства и вдовой писателя А. И. Исаковской.

Дорогой Николай Иванович!

Твою рукопись¹ после перепечатки я вновь проверил, исправил погрешности, допущенные машинистками, и, вероятно, сегодня передам ее Горбунову (со своей пометкой — «в набор»).

Перепечатали рукопись плоховато, а главное — не прислали мне оригинала, и потому в некоторых местах мне пришлось заниматься «гаданием». Так, в самом первом стихотворении («Возвращение») была такая строка:

«По земле пу л а т я по великой».

Это «пулатя» я переделал на «плутая». Не знаю, так ли сказано у тебя?

Кроме того, читая рукопись, я пришел к выводу, что некоторые строчки (их не так много) следовало бы немножко переделать. И я даже в иных местах переделал. Это, конечно, совсем необязательно для тебя, и ты можешь (например, в гранках) восстановить прежнюю редакцию, но мне все же кажется, что переделка нужна. Другие строки я просто взял на заметку, с тем чтобы ты подумал над ними сам и тоже внес поправки (это также можно сделать в гранках).

¹ Исаков в виду работа над книгой «Стихотворения», вышедшей в «Советском писателе» в 1953 году.

В общем, вот мои замечания по порядку:

1. «А я б сказать не мог, что больше я люблю,
Следя по вечерам небес высоких карту».

«С л е д я... к а р т у» — это что-то не то. Подумай над этой строкой.

2. Стихотворение «Он с фронта к себе возвращался в село» датировано маем 1941 г. В стихотворении речь идет о боях, о том, что солдату не время оставаться дома, если идут бои.

Но ведь в мае 1941 года боев не было. Если же даже выбросить слово «май» и оставить только «1941 г.», то все равно получается нескладно: вряд ли в 1941 г. солдат мог вернуться домой даже на побывку. Если же ты имел в виду те бои, которые в мае 1941 г. шли за пределами нашей Родины, то и это не выход из положения. Получается, что солдат как бы собирался принять участие в боях, происходивших за пределами нашей страны, т. е. в какой-то чужестранной армии. В общем, с датой надо что-то сделать.

3. ...«Купленная кровью предков наших, русская земля!» Вместо «купленная» я сделал «политая». Слово «купленная» звучит, по-моему, как-то не так. Получается, что предки покупали землю на кровь.

4. «В такие дни, любовь превозмогая, дорогой мести мужество идет». Выражение, по-моему, неправильное. Воин, который мстит врагу за разорение родной земли, вовсе не должен превозмогать любовь к своим близким, к Родине. Может быть, вместо слова «любовь» уместней поставить что-либо другое?

5. ...«Но я приду не прежде, чем будет враг земли моей отбит». Слово «отбит» я заменил словом «разбит». Это крепче, ибо отбить врага не значит уничтожить его.

6. «И вернулся старик в свой город, где в тревогах душа окрепла». Получается так, что душа у старика окрепла в городе. Но ведь в стихотворении говорится, что старик в городе не жил, что он сражался в партизанском отряде. Следовательно, душа его могла окрепнуть не в городе, а в партизанском отряде. Здесь надо как-то переиначить.

7. Строфу «Бродя в ночах тревожных, не зная — буду ль цел, его в руках надежных оставить я б хотел» я сделал так:

«Я брел в ночах тревожных,
Не зная — буду ль цел.

(Здесь ставится точка, и дальше все идет, как у тебя.)

8. «И старики, пуская в кольца дым». Получается так, что старики держали перед собой некие кольца и пускали в них дым. Я переделал так: «И старики, кольцом пуская дым».

9. «Чем дорога и чем близка ты мне, теперь я знаю по-мужски». Тут надо что-то придумать. «По-мужски» в данном случае звучит двусмысленно.

Это пока все мои замечания.

В рукописи твоей получилось 248 страниц. Примерно столько же их должно быть и в книге. Так что книга солидная (если, конечно, издательство не вздумает сократить ее, против чего надо безусловно возражать).

Привет Евгении Антоновне и дочкам.

М. Исаковский.

6 февраля 1952 г.

Дорогой Николай Иванович!

Большое тебе спасибо за двухтомник, который я получил на днях. Конечно, весь его я не сумел пока прочесть из-за своих скверных глаз, но основательно полистал. По-моему, двухтомник получился очень интересным по содержанию и очень хорошим, солидным по форме, по внешнему виду. Так что все отлично.

Теперь один старый хрыч хотел бы спросить тебя — давал ли он тебе свой двухтомник (новое издание)? Понимаешь, все последние недели думал, что надо тебе послать двухтомник, но потом смутно припоминал, что как будто где-то я тебе давал его. Однако утверждать это наверняка никак не могу (как не могу и обратного). В общем,

выручи меня, напиши при случае. А то получится, что я тебе pošлю или два двухтомника, или ни одного.

Живу я во Внукове. Погода стоит хорошая. Так что в этом смысле не жалуясь. Но вот работается плоховато. Да знаешь, и глаза у меня все-таки никуда не годные. Так мне плохо, так плохо... Но даже самые близкие люди (может быть, кроме жены) не понимают этого. В их представлении я человек, который видит несколько хуже, чем нормальные люди. Но ведь дело-то гораздо сложнее, гораздо хуже. Дело же совсем не в том, что один человек видит от себя на метр, а другой на 5 или даже на 10 метров.

В общем, это я так, увлекся. Писать об этом не собирался.

Что делаешь ты? Живешь ли в Смоленске или где-либо «под»? Как вообще дела? Когда собираешься в свой Коктебель?

Передай Евгении Антоновне самый сердечный привет от меня и Антонины. Тебе Антонина также передает привет.

Жму твою руку.

М. Исаковский.

17 августа 1959.

Латифундия Внуково.

Постскриптум. Ты знаешь, Смоленское издательство присылает мне какие-то бандероли наложенным платежом. Одну или две, посланные раньше, я получил. В них оказались неходовые книжки, выпущенные Смолгизом. Очевидно, Смолгиз терпит убытки на подобных книгах и потому прибегает к подобному способу распространения. Последнюю же бандероль я получить не стал. Ее, по-видимому, отправят обратно.

Дело тут, конечно, не в деньгах. Деньги тут небольшие. Но ты понимаешь, что я, уже довольно пожилой человек, притом же не совсем здоровый, должен специально ездить в Москву, специально идти на почту, производить там нудное оформление, прежде чем получить бандероль. И все для того, чтобы у тебя в руках оказалась книжка, которая тебе абсолютно не нужна.

Нехорошо делает издательство. Нельзя так. И уж если непременно надо выслать какую-то неходовую книжку, ну написали бы: мол, товарищ Исаковский, так и так, посылаем Вам то-то и то-то, а Вы вышлите нам такую-то сумму. Ей-богу, я выслал бы, и мне было бы это в сто раз легче, чем ездить по почтам за неизвестными бандеролями.

Кто это там выдумал подобную штуку?

М. И.

Дорогой Николай Иванович!

Ты говорил мне, что в среду на этой неделе приедешь в Москву. Но ты не приехал. Во всяком случае, о тебе ничего не слышно здесь. Стало быть, увидимся мы с тобой, может быть, очень не скоро. А между тем у меня есть срочный разговор к тебе. Поэтому я и решил написать это письмо.

Ты перед отъездом говорил мне по телефону, что в Смоленске собираются отмечать мое шестидесятилетие. Но мы с тобой не пришли по этому вопросу ни к какому соглашению. Надеюсь встретиться с тобой, я отложил разговор. Однако ты уехал, не побывав у меня, и начатый разговор повис в воздухе.

А суть такова. Я не собираюсь ни в Москве, ни в Смоленске отмечать свои 60 лет. Мне трудно сколько-нибудь убедительно объяснить тебе это мое нежелание. Могу лишь сказать следующее: 60 лет — это не столь уж весело. И мне просто делается как-то не по себе, когда я представляю, что надо присутствовать на каком-то вечере, выслушивать поздравления и пр. Меня как-то уже заранее воротит от этого. А приехать в Смоленск для меня к тому же трудно физически. Я очень плохо себя чувствую. Дела со зрением обстоят у меня отвратительно. И всякая поездка была бы для меня настоящим мучением. Да и вредно это мне. Ведь случилась же со мной катастрофа нынче в Киеве² — после того как я совершил очень трудную поездку по Смоленской области (перед выборами в Верховный Совет РСФСР), потом в Москве меня затаскали по раз-

² В Киеве у М. В. Исаковского произошло кровоизлияние в сетчатку глаза.

ным заседаниям, потом пришлось поехать в Киев, хотя я и отказывался. В общем, не надо мне испытывать судьбу.

Все это я пишу тебе для того, чтобы убедить тебя: не надо устраивать никакого моего юбилея, не надо никакого чествования. Я не только не хочу этого, но и не могу. Пойми меня. И скажи начальству (оно, наверное, будет говорить с тобой по этому вопросу) о моем отношении к юбилею, о моей самой нижней просьбе ничего не делать.

Вот то, что я спешил написать тебе.

Сердечный привет Евгении Антоновне. Антонина Ивановна также кланяется ей и тебе.

Жму руку.

М. Исаковский.

24 декабря 1959.

Дорогой Николай Иванович!

Прежде всего я хотел бы от всей души поблагодарить тебя и всю твою семью за поздравления, за те добрые чувства, которые были выражены в них. Поверь мне: очень дороги были слова, полученные (если так можно выразиться) именно от тебя.

Но это не все. Ты совершил настоящий подвиг: ты ведь написал, оказывается, еще три или даже четыре статьи обо мне для разных изданий: газет и журналов. Это очень трогательно, и я никак не могу пройти мимо этого. И потому еще раз говорю тебе самое сердечное, самое искреннее спасибо.

И тут уж я немножко отвлекаюсь. Это, впрочем, не относится к твоим статьям, а вообще к статьям, в которых меня так или иначе хвалят. И это началось не сейчас, а идет уже давно. Ты знаешь, когда меня начинает кто-либо хвалить, я чувствую очень большое неудобство. И пойми меня, что это не кокетство. Это совершенно серьезно. Я-то ведь знаю, что именно я сделал в жизни. И не могу себя переоценивать. А тут меня хвалят. И мне кажется, что люди, не зная существа дела, не понимая его до конца, ошибаются. И поскольку я их не поправляю, получается, что я их тоже обманываю. Вот пройдет какое-то время — и люди поймут свою ошибку. И начнут осуждать меня: что же это, мол, он писал плохо, а нам казалось хорошо... Обманул он нас... и т. д. И становится мне как-то не по себе, тем более что обманывать я никого не хотел и не хочу. Просто я сам сомневаюсь в себе и в своих возможностях.

Но это так, вроде как бы мимоходом.

А как ты живешь, что у тебя нового? Когда собираешься в столичный град?

Большой привет тебе от Антонины Ивановны и наш большой сердечный общий привет Евгении Антоновне и вашим дочерям.

Всего тебе лучшего. Еще и еще раз большое спасибо.

М. Исаковский.

3 февраля 1960 г.

Дорогой Николай Иванович!

Получил твою книжку «Корни и листья». Большое тебе спасибо за подарок. По хорошему завидую тебе, что ты так плодотворно работаешь. А вот у меня, как это ни грустно, дело не движется. Главная причина — очень плохо с глазами. Работать для меня сейчас (читать, писать и пр.) — это все равно как если бы человека, у которого поломаны руки, заставить таскать тяжелые чемоданы. Все это, конечно, кладет свой тяжелый отпечаток и на настроение. И становится еще трудней.

Познакомиться со всеми твоими стихами я еще не успел. Но кое-что Антонина Ивановна мне прочла. Прочла, в частности, «Сон в летнюю ночь». Ты знаешь, я не люблю белых стихов. Но у тебя это написано очень хорошо и совсем забываешь, что это белые стихи. Впрочем, нет, не все белые стихи я не люблю. У Пушкина белые стихи прекрасны. Или вот у Леси Украинки «Лесная песня» в основном тоже написана белыми стихами. Но как это хорошо! (Кстати, это произведение вышло недавно в очень хорошем издании, и я хочу тебе послать его — коль нет сейчас ничего своего, так пусть будет хоть переводное.) Так что, очевидно, дело не вообще в белых стихах, а в качестве их, в том, как они написаны и о чем написаны.

Еще раз спасибо тебе за присылку книжки и за хорошие стихи.

Антонина Ивановна шлет тебе и Евгении Антоновне самый сердечный привет. От меня также передай Евгении Антоновне большой привет и самые лучшие пожелания.

Твой М. Исаковский.

31 января 1961.

Дорогой т. Громов ³¹

Я получил Ваше письмо относительно перевода поэмы Янки Купалы «Над рекой Орессой».

Хочу Вам сказать следующее.

Поэма «Над рекой Орессой» в творчестве Янки Купалы была значительным явлением. Это было чуть ли не первое крупное произведение поэта, написанное на столь актуальную тему.

Вместе с тем, когда я переводил эту поэму на русский язык, мне показалось, что написана она очень неровно, что в ней имеются следы спешки, есть довольно много слабых мест, что она далеко не свободна от схематизма и т. п. Все это нетрудно понять как по оригиналу, так и по переводу.

Вследствие всего этого я во время перевода выбросил несколько очень слабых, на мой взгляд, строф, таких строф, которые к тому же были лишними по смыслу.

Поэму «Над рекой Орессой» я переводил при жизни Ивана Доминиковича и по его личной просьбе. Выброску некоторого количества строф я согласовал с ним, и он никак не возражал против подобной операции, считая, что я прав.

Мой перевод поэмы «Над рекой Орессой» при жизни Ивана Доминиковича печатался несколько раз, и он (Иван Доминикович) никогда не высказывал никакого недовольства по поводу выброшенных строф.

Таким образом, как мне кажется, мой перевод можно было бы и в настоящее время оставить в том же виде, в каком он был и раньше.

Но поскольку Гослитиздат решил, очевидно, восстановить пропущенные строфы, то я готов это сделать. Однако все же хочу предупредить Вас, что, по моему глубочайшему убеждению, это делать совсем необязательно. Почему именно — скажу более подробно ниже, приведу конкретные примеры.

1. На странице 299-й (в рукописи) пропущена строфа. Я ее восстановил в таком виде:

То не шутка, не смех,
А в труде подмогал —
Есть в хозяйстве теперь,
Есть своя дорога!

Конечно, эту строфу можно вставить. Но так ли уж она необходима? По-моему, нет. Она лишь еще раз повторяет то, что подробно рассказано раньше, т. е. то, что дорога построена, что она существует, работает и т. п. К чему же, так сказать, дополнительно «уточнять», если все совершенно ясно.

В общем, решайте это дело сами.

2. В рукописи — страница 302-я — пропущено две строфы. Я их восстановил. Вот они:

Впрочем, не хочу я
Восхвалять Загалье —
Пусть его уж лучше
Критики похвалят.

А свое я после
Выскажу сужденье,—

³¹ Письмо адресовано редактору издательства «Художественная литература».

Там еще болотом
Пахнет, без сомненья.

Эти строфы мне кажутся совершенно случайными. Больше того. Я просто не понимаю, для чего они написаны.

Прочтите предыдущую маленькую главку. В ней говорится, что образовалось два совхоза — «Сосны» и «Загалье». Причем о Загалье говорится, что он взял себе 40 000 гектаров земли и «это вам не шутки, не простое дело». И за этим следуют пропущенные строфы, в которых автор заявляет почему-то, что Загалье он хвалить не будет, что пусть его лучше хвалят критики, а свое мнение он скажет после, потому что сейчас там еще «пахнет болотом».

Эти слова остаются для меня загадкой. Почему автор не собирается хвалить Загалье? Потому ли, что там работают плохо, или еще почему-то? И при чем тут критики, которые должны хвалить Загалье?

Мне даже пришла в голову такая мысль, что, может быть, Янка Купала имел в виду некую литературную критику, которая склонна похвалить даже «болото». Но и это неоправданно. В общем, мы имеем дело с рассуждениями, под которыми не чувствуется никакой базы. Поэтому они кажутся и странными и непонятными.

Стоит ли восстанавливать приведенные строфы?

По-моему, не стоит. А в общем, смотрите сами.

3. Страница рукописи 304-я. Здесь пропущено две строфы. Чтобы восстановить эти две строфы, я должен был переделать и самое начало главы II-й. Глава II-я должна теперь начинаться так:

Все, что видел, все, что слышал,
Все, что там почувал,
Просто, ясно и душевно
Описать хочу я;

Об ударных о бригадах
Вспомнить добрым сказом,
О рабочих, трактористах —
Можно другим разом.

Я начну, как в старой сказке,
Потому, признаться,
Что иначе не выходит,—
Слушайте же, братцы.

Следует ли здесь восстанавливать две пропущенные строфы? По-моему, нет. Лучше все-таки то начало, которое имеется в рукописи. В нем говорится, что, мол, начну рассказывать так, как в сказке. И следом за этим действительно следуют слова «из сказки»: «За горами, за долами»...

Восстанавливаемые же строфы ровно ничего не дают. А возьмите, например, такую строфу, в которой автор хочет

Об ударных о бригадах
Вспомнить добрым сказом,
О рабочих, трактористах —
Можно другим разом...

Как будто она вполне закономерна, по крайней мере в первой своей половине. Однако на самом деле это не так. В своем рассказе автор нигде не вспоминает об ударных бригадах. И, таким образом, его заявление повисает в воздухе. Вместе с тем очень странно звучат последние две строки четверостишия. Совершенно непонятно — почему автор, желая вспомнить об ударных бригадах (хотя он так и не вспомнил о них), в то же время заявляет, что о рабочих и трактористах можно вспомнить в другой раз, а в данное время это почему-то не нужно?

В общем, строфа, как видите, очень несовершенна. Потому-то в свое время она и была опущена.

Как тут быть — решайте сами. Мне же лично кажется, что гораздо лучше будет, если все оставить в прежнем виде.

4. Страница рукописи 307-я. Здесь в самом конце главы пропущена одна строфа. Однако прежде всего я должен сказать, что строфа, предшествующая пропущенной, переведена неточно.

В оригинале сказано так (страница книги 313-я):

Есть, наверно, недохватки,
Потому что как же иначе
В хозяйстве, в строительстве?
Но я их (т. е. недохваток, недостатков) не видел.

Когда я переводил это место, то мне показалось немножко странным, что недостатки, наверно, есть, но автору не то их не показали, не то он сам не хотел их видеть. Во всяком случае, он пишет, что «я их не видел». В общем, получается как-то чересчур наивно.

Поэту данную строфу я несколько переиначил и перевел так:

Есть, понятно, неполадки,—
Я не проглядел их,
Только эти неполадки
Не решают дела.

Следующая (пропущенная) строфа буквально имеет такой смысл (см. 313-ю страницу книги):

Я закончу, ибо описывать
Пришлось бы без конца..
(Если взять) огулом (оптом), то теней там меньше,
Больше (же) цветов, солнца.

Поэтически эта строфа звучит очень наивно. Поэтому-то я и не стал ее переводить и ограничился лишь тем, что сказал — мол, конечно, есть и недостатки, но не в них суть дела.

Если Вы решите восстановить пропущенную строфу, то я предлагаю переделать и предыдущую. Другими словами, 307-я страница рукописи должна начинаться так:

Есть, наверно, недостатки,
Как везде и всюду.
Впрочем, я их не приметил,
Говорить не буду.

Дальше идет пропущенная строфа:

Я кончаю. И одно лишь
Чувствую при этом:
Сколько там простора, жизни,
И тепла, и света!

5. На странице 313 (в книге) есть пометка, что одна строфа перенесена мною в другое место. Это совершенно правильно. Сделано это вот почему.

У Купалы все время перечисляется, что построено в совхозе, что там есть хорошего: клуб, больница, вечерний рабфак, прачечная и т. п.

Потом вдруг в это перечисление хороших вещей вторгается строфа, в которой говорится, что «есть, наверно, и недостатки».

После же этой строфы опять идет речь о положительном: в совхозе — электричество, свое радио, телефон и почта.

Совершенно ясно, что строфу об электричестве, радио и почте надо было переместить и поставить ее в том ряду других строф, в которых также рассказывается о положительном. А о недостатках сказать уже после всего.

По-моему, это вполне логично.

6. О самой последней строфе поэмы. Эту строфу я также не перевел. И вот почему.

В моем переводе поэма заканчивается так:

...Воспоют в тех песнях
Труд и героизм,
Как в глухие дебри
Шел социализм,
Как под руководством
Партии побед —
Большевицкой партии —
Вспыхнул новый свет.

Закончить поэму словами о партии, под руководством которой наш народ строил социализм, было совершенно логично.

Но у Янки Купалы есть еще одна строфа. Смысл ее такой:

И хоть будет пакостить
Враг, может быть, и не раз —
Войдут в столетья (в века)
Коммуна и совхоз.

Я не перевел эту строфу по той причине, что, как мне казалось, она разжижает и снижает слова, сказанные о партии.

Я не перевел ее еще и потому, что поэтически она звучит несколько наивно. Ведь как бы ни было велико значение совхоза и коммуны, возникших на бывших болотах, вряд ли о них можно сказать, что они «войдут в века». Это слишком громко и высокопарно для одного совхоза и одной коммуны.

Я и сейчас считаю, что если восстанавливать последнюю строфу, то ее смысл все же надо чуточку видоизменить.

Короче говоря, я предлагаю такой вариант:

И хоть жаждет ворог
Снова навредить,
Наше дело вечно,
Вечно будет жить!

Вот все то, что мне хотелось сказать Вам.

Рукопись и книгу возвращаю.

С приветом.

М. Исаковский.

26 апреля 1952.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АЛЕКСАНДР ПЕРЕГУДОВ



НА РАССВЕТЕ

Совсем недавно «заря зарю встречала», и в этот час великой тишины нежные акварельные краски были на земле и в небе. А теперь, когда мне восемьдесят пять лет и жизнь идет под уклон, земля все так же прекрасна, как в детстве, в юности, в зрелости...

В пьесе М. Горького «На дне» Сатин говорит: «В карете прошлого — никуда не уедешь», но для меня теперь «карета прошлого» — единственный вид транспорта. Путешествуя в этой «карете», я встречаю людей, которых давно уже нет, посещаю места, где был много лет назад, сижу у охотничьего костра звездными или пасмурными ночами, вижу давно отпыхавшие утренние и вечерние зори...

...Влажная ночь дышит над землей. Поют невидимые ручьи, в придорожных кустах шелестит ветер, насыщенный свежим запахом воды и ароматом оттаявшей земли. В небе мерцают звезды, ущербленный месяц, багряный и тусклый, склоняется к горизонту. Новиков-Прибой и я идем молча, боясь нарушить голосами величие и красоту весенней ночи. Подходим к озеру, когда небо на востоке начинает зеленеть. Сильч вынимает из кошелки подсадную утку, тонкой бечевкой привязанную к гирьке, входит в воду, опускает гирьку шагах в тридцати от берега и пускает утку. Потом мы сидим в шалаше и наблюдаем, как ночь переливается в утро и как просыпается земля. В этот торжественный час предутра мы жадно внимаем каждому шороху и вздоху земли, «блеянию» бекаса в светлеющем небе, свисту крыльев стайки чирков, стремительно проносившейся над нашим шалашом, далекой тетеревиной песне. Но больше всего нас волнуют сильные голоса селезней, отзывающихся на призывное кряканье нашей утки. Сильч дрожит от волнения и шумно дышит, когда дикий красавец, описав круг над озером и зорко оглядевшись, спускается на воду. Утка страстно манит его, и он плывет на ее зов, охваченный любовью. Золотое крыло зари разгорается на востоке. Поверхность озера неподвижна, как стекло, и, дробя золотисто-стеклянную гладь, селезень приближается к утке...

Разве можно забыть эти часы слияния с природой, восторга от ее красоты и того радостного, волнующего чувства, которое навсегда сохранилось в сердце...

Было это в 1928 году, когда я впервые приехал в родные места Новикова-Прибоя. Та далекая весна скрепила нашу дружбу, а лето наградило меня дружбой еще с одним замечательным писателем и необыкновенным человеком — Николаем Никандровичем Никандровым. Как писателя я знал Никандрова до Октябрьской революции, его рассказы нравились мне простотой изложения, зоркой наблюдательностью автора, своеобразным здоровым юмором и великим знанием быта и языка людей, о которых он писал.

Полученные редакцией воспоминания старейшего советского писателя А. В. Перегудова в основном посвящены его товарищу и собрату по перу Николаю Никандровичу Никандрову (1878—1964), произведения которого в 20—30-е годы нередко появлялись на страницах «Нового мира». Сотрудничать в нашем журнале Н. Никандров начал с первого же номера (январь 1925-го), где опубликован фрагмент из его повести «Скотина». В последующие годы «Новый мир» познакомил читателя с такими произведениями Н. Никандрова, как повесть «Знакомые и незнакомые» (1927), рассказ «Руда» (1929), повесть «Морские просторы» (1934)...

В 1916 году в «Книгоиздательстве писателей в Москве» вышла первая книга Никандрова «Береговой ветер». Этот сборник рассказов сразу привлек внимание критики и читателей. Спустя девять лет мы встретились на большом банкете, организованном издательством «Круг». На банкет были приглашены известные писатели, поэты и те, чьи книги выходили в этом издательстве. В конце 1923 года в «Круте» вышла моя первая книжка «Лесные рассказы», и я тоже был приглашен. Я сидел с Александром Степановичем Яковлевым¹ и Николаем Никандровичем Никандровым. Небольшого роста, широкоплечий, с выпуклой грудью, Никандров, по-видимому, был очень силен. Он держал себя просто, кому-то кивал и улыбался. За длинным, во всю комнату столом я заметил А. Н. Толстого, недавно вернувшегося из-за границы, и Сергея Есенина, возвратившегося из поездки в Европу и Америку. Как оказалось после, за этим большим столом сидел и Алексей Силыч Новиков-Прибой, с которым я еще не был знаком, но именно он сделал меня и Никандрова друзьями: впоследствии с Николаем Никандровичем я чаще всего встречался в квартире Новикова-Прибоя, который искренно любил и глубоко уважал Никандрова.

С банкета мы возвращались вдвоем: Яковлев, Никандров и я. С Яковлевым у меня была большая и крепкая дружба, он жил на Красной Пресне, и, приезжая в Москву, я всегда останавливался у него. На какой-то улице мы простились с Николаем Никандровичем, и в этот тихий предутренний час я не мог предполагать, что через несколько лет мы станем большими друзьями...

О необыкновенности Никандрова я узнал от А. С. Новикова-Прибоя. Алексей Силыч впервые встретился с ним в Париже, когда они были политическими эмигрантами и вели активную революционную работу. Никандров родился в Петровско-Разумовском под Москвой, в семье почтового служащего, а свои детские и юношеские годы провел в Севастополе, где окончил реальное училище и поступил в Училище путей сообщения в Москве. В 1898 году, когда Новиков-Прибой начал военную службу матросом Балтийского флота, Никандров, одолеваемый различными сомнениями, не зная, как жить, написал большое письмо Л. Н. Толстому. Великий писатель пригласил его к себе в Хамовники. Под влиянием беседы с Толстым Никандров решил «пойти в народ». Он бросил Училище путей сообщения, перешел в петербургский Лесной институт, откуда во время студенческих волнений был исключен. С этого и началось для него «хождение в народ», сближение с народом, с революционерами. Человек несокрушимого здоровья, отчаянной смелости, Никандров совершал такие дела, которые казались невероятными. Новиков-Прибой рассказывал мне, что Николай Никандрович сумел с помощью подкупленного часового «выкрасть» из севастопольской тюрьмы одного политзаключенного и на рыбачьей лодке переправить его в Турцию. Рассказывал, что Никандров был одним из организаторов (по словам Новикова-Прибоя, чуть ли не главным организатором) убийства командующего Черноморским флотом адмирала Чухнина, утвердившего казнь лейтенанта Шмидта.

В первые годы XX века Николай Никандрович работал учителем в сельских школах Саратовской, Пермской губерний, в Крыму, сидел в тюрьмах, ссылался. От Новикова-Прибоя я слышал также, что Николай Никандрович, вернувшись из ссылки по амнистии в 1905 году, перешел на нелегальное положение, проживал в разных городах под разными фамилиями. Одно время по чужому паспорту он служил инспектором (или директором) в гомельской гимназии, и эта гимназия была одной из лучших в округе. Никандрова представили к награде. Но в связи с наградой будут интересоваться его биографией и узнают, кто он на самом деле... И Никандров скрылся из Гомеля. Некоторое время работал грузчиком в Одессе. В 1910 году ему пришлось эмигрировать за границу, где он прожил около четырех лет, побывав за это время во Франции, Швейцарии, Италии...

Как начал писать Никандров?

В один из моих приездов в Москву на квартире Новикова-Прибоя, вспоминая давние года, Николай Никандрович рассказал:

— В том, что я стал писателем, в какой-то степени повинен Грин, хотя тогда я и не знал его. Дело было так. Сидел я в севастопольской тюрьме, камера моя находи-

¹ Об А. С. Яковлеве и упоминаемых автором далее П. Г. Низовом, П. А. Ширяеве см. в очерке А. Перегудова «В те зоревые годы» («Новый мир», 1977, № 10).

лась в верхнем этаже. Перед окнами тюрьмы — большой пустырь. В окно я мог видеть все, что на этом пустыре происходило. Вот баба козу ведет, коза упирается и даже пытается боднуть бабу. Вот пьяный идет, качается, ускоряет шаги, почти побежит, а то попятится, будто наткнется на невидимое препятствие. Остановится, стоит, качается, руками балансирует, равновесие сохраняет. Не сохранил, упал. Лежит. Начинает подниматься, принимает различные позы. Это ему трудно дается. Наконец встал, зашатался, опять упал. Сел, ударил кулаком по земле. Опять начал подниматься. Поднялся, пошел... Должно быть, мои рассказы казались занятыми, в нижних этажах смеялись. Чем больше я рассказывал, тем больше смеялись. И вдруг снизу голос: «Товарищ, вы бы написали то, о чем рассказываете, да в какую-либо газету послали!» Не могу точно сказать, этот голос или иные причины были, но, выйдя из тюрьмы, я написал несколько заметок в севастопольскую газету, и они были напечатаны. С тех пор прошло порядочно лет, меня уже знали в литературном мире, я печатался в толстых журналах, был знаком с некоторыми писателями. Однажды в разговоре с Грином мы вспомнили Крым. Выяснилось, что Грин и я в одно время сидели в севастопольской тюрьме, выяснилось, что Грин слышал, как я, глядя из своей камеры на пустырь, рассказывал, что видел, и это Грин крикнул мне, чтобы я записал то, что рассказывал...— Никандров задумчиво посмотрел на Сильча, на меня, помолчал и промолвил: — Всего вероятнее, я бы и без Грина начал писать, были другие причины...— Опять помолчал, грузно шевельнулся на стуле.— Другие причины были... Хотелось сказать людям о людях, в их жизни показать такое, чего они, возможно, сами не видят... А я любил на людей смотреть, любил к их разговорам, спорам, рассуждениям прислушиваться...

Умение по-своему смотреть на людей, отмечать детали того, что видят и чего не видят другие, ловить чутким своим слухом «проходящее мимо ушей» большинства — все это отразилось в творчестве Никандрова.

Первый его рассказ «Черная кость... белая кость» был напечатан в 1903 году в «Журнале для всех». Потом в журналах «Мир божий» («Современный мир»), «Современник», «Заветы» появились рассказы «Бунт», «Бывший студент», «Береговой ветер», «Горячая», «Ротмистр Закатаев», повесть «Во всем дворе первая»...

И вот первая книжка, имевшая шумный успех.

Я с наслаждением прочитал этот сборник, удивляясь мастерству автора, умению показать мир ребенка, рабочую среду, способности проникать в заповедные уголки человеческой психологии. И какой бы рассказ Никандрова я ни прочитал, в каждом из них вставал передо мной самобытный писатель, умеющий по-своему передавать увиденное...

...Жаркий день южного лета. На горизонте небо и море сливаются. Вчерашний шторм набросал на берег охупки водорослей, они сохнут под горячим солнцем, и от них исходит здоровый йодистый запах. Несколько дельфинов играют в море в полукилометре от берега, будто катаются колеса. Появятся, бултыхнутся в воду и снова появятся. Я сижу на деревянной скамье у самого обрыва. Сзади меня небольшой парк дома отдыха химиков. Неумолчно звенят цикады. Я любил сидеть здесь в солнечной тишине.

Вспоминаю, как в 1927 году в этом доме отдыха встретился с Алексеем Сильчем Новиковым-Прибоем, который с семьей жил здесь. Нам так понравился этот тихий Рубочий (ранее называвшийся Профессорским) уголок в пяти километрах от Алушты, что на будущий год мы решили снова приехать в тот же дом отдыха. Но в сентябре 1927 года в Крыму произошло землетрясение, и, приехав сюда в двадцать восьмом, мы нашли дом отдыха полуразрушенным. Но во дворе находился не тронутый землетрясением двухэтажный, с большой террасой флигель, в котором мы и разместились. Скоро к нам прибыли Н. Н. Никандров, П. Г. Низовой, П. А. Ширяев. Мы жили коммуной: жена садовника ежедневно ходила в Алушту, закупала для нас продукты, готовила завтраки, обеды, ужины. Утрами мы принимали солнечные ванны, потом завтракали и расходились работать по своим комнатам. За час до обеда Алексей Сильч приходил на берег моря, где его ожидала лодка. В этот час он занимался греблей. Николай Никандрович брал удочку, небольшую корзинку с пирожками, бутербродами и отправлялся ловить бычков. Часто он приносил опорожненную корзинку и одного-двух бычков, которых отдавал кошке. Сидеть с удочкой, дышать морским воздухом, слушать лепет волн до-

ставляло ему великое удовольствие. Как-то он сказал мне, что самое большое его желание — это купить рыбацкую лодку, набрать артель опытных рыбаков, самому стать атаманом и ловить рыбу. Говорил это Никандров не ради красного словца, а очень искренно, и видно было, что море, рыбаков, их очень нелегкий, порой опасный труд он с детства и на всю жизнь полюбил. До обеда Низовой и Ширяев тоже уединялись в своих комнатах, но работали они не так усидчиво, как Алексей Сильч.

Самым интересным временем суток были предвечерние часы за чаем, когда все собирались на террасе. Любопытные разговоры велись здесь. Новиков-Прибой, Никандров, Ширяев были революционерами, политическими эмигрантами, многое пережили и много повидали на чужбине. Николай Никандрович был великолепным рассказчиком. Слушали его всегда с большим интересом. Возможно, он кое-что присочинял: рассказы-вая, он творил...

Припомнились два устных рассказа Никандрова.

КАРАКУЛЕВОЕ МАНТО

Случай этот произошел со мной в первые годы советской власти в одном большом приморском городе. Тогда старое с новым было так перемешано, что и не поймешь, каким цветом что окрашено: белым, красным, черным, зеленым или еще каким. Жизнь в ту пору кипела, как похлебка в котелке, когда всыпают в него крупы и начнут мешать. Крупинки крутятся, сталкиваются, вверх-вниз кидаются. Вот и люди так крутились. Туго мне в ту пору приходилось, а жить как-то надо было. Устроился я водой торговать. У хозяина несколько таких работников было. Вода со льдом в большом жбане, а в сумке через плечо — несколько стаканов. День жаркий, солнце печет, а я хожу по пляжу, свой товар предлагаю: «Вода со льдом!.. Кто желает — вода со льдом!..» Как-то мой хозяин пришел на пляж посмотреть, как я торгую. Посмотрел, послушал и говорит: «Ты не так кричишь». «А как надо?» «Надо кричать: «Вода с льдом!.. Вода с льдом!..»» Стал я так кричать, и что вы думаете — дело мое лучше пошло... Похожая история и с брюками получилась.

Была маленькая мастерская, брюки шила. Материю где-то доставали, старые брюки перелицовывали. Вот я этими брюками на рынке и торговал. Штук десять—пятнадцать брюк через плечо перекину, хожу по рынку, предлагаю: «Вот брюки хорошие!.. Вот брюки самые модные!..» Если такие брюки в теперешней пошивочной мастерской сошьют, то иной горячий заказчик закройщика убить может. А в то время с промтоварами туго было, брюки мои покупали, хотя заламывал я за них цену немалую. Как-то главный мастер услышал, как я свой товар расхваливаю, отвел меня в сторонку и говорит: «Ты не так торгуешь!» «А как надо?»—«Надо не «брюки», а «бруки» говорить».— «Ладно, буду «бруки» говорить». И опять лучше торговля пошла. Чем это объяснить — не знаю. Когда «брюки» говорю — хуже покупают, а когда «бруки» — лучше... Вот когда я брюками торговал, и случилось со мной такое, что до сих пор памятно...

Как-то иду я по рынку, через плечо десяток брюк перекинуто, иду, плечами пошевеливаю, покрикиваю: «Вот бруки самые модные!.. Цена без запроса, носиться будут без износа!..» Цена, конечно, с большим запросом, а запрос делается потому, что на рынке люди поторговаться любят. А во время торга нужно суметь уговорить покупателя. На это талант требуется, не каждому такой талант дан... Мне был дан, в тот день я несколько брюк продал. И вот подходит ко мне одна гражданка и говорит: «Есть у меня хорошее каракулево манто, нужно продать его, а я не знаю, как это сделать, никогда торговлей не занималась. Я вот смотрела, как вы бруки продаете, вижу, что человек вы опытный. Пожалуйста, продайте мое манто». Я откываюсь, говорю: «Брюки — это одно, а манто — другое. Брюки большой цены не имеют, а манто — вещь дорогая. Мало ли что может случиться. Не могу я за это дело взяться». Она упрашивает, можно сказать, умоляет чуть ли не со слезами. Нужно ей из этого города уехать, а денег нет, сама впроголодь живет. Уговорила...

На другой день принесла на рынок манто, сказала, сколько она за него приблизительно взять хотела бы. Накинул я на плечи манто, чтобы товар лицом показать, и пошел. Тут уж я иду солидно, не покрикиваю, покупателей не зазываю, потому товар

у меня солидный, сам за себя говорит. И базарный люд ко мне не лезет, манто интересуются люди состоятельные. Иной подойдет, о цене спросит, каракуль пощупает, вздохнет и отойдет — не по карману. Два дня я по рынку ходил без толку — нет на манто покупателя. На третий день подходит ко мне невысокого роста барынька, смуглая, черноволосая. Улыбается, красивые зубы показывает. На щеке ямочка. Вижу — покупательница настоящая. Спросила цену, торговаться не стала, только сказала: «Я бы взяла манто, только не по росту оно мне, очень длинно». Я отвечаю: «Разве это плохо, что длинно. Вы его обрежьте, а из того, что отрежете, можно несколько шапок сшить, продать, и тогда вам манто совсем недорого обойдется». Ничего не ответила, отошла, а немного погодя снова подходит: «Я дома с сестрой посоветуюсь и свой окончательный ответ дам». На другой день появляется и говорит: «Приходите завтра ко мне на дом. Сестра за глаза ничего посоветовать не может, увидит манто — тогда скажет. Моя сестра — акушерка Бениволенская, ее все знают. Сегодня она не совсем хорошо себя чувствует, приходите завтра ровно в шесть часов вечера. Если вовремя не придете, меня не застанете, вечером у меня важное дело. Вот мой адрес». Обещал прийти...

В назначенное время иду по указанному адресу, иду и думаю: нет ли здесь какого подвоха? Дом, где жила моя покупательница, стоял на большой оживленной улице, на солидных дверях медная дощечка: «Акушерка М. Я. Бениволенская». Дощечка старая, позеленевшая. Это меня успокоило: если бы кто-то что-то задумал и дощечкой бдительность мою хотел усыпить, то она была бы новая, вчера прикрепленная. Позвонил. Отпирает моя покупательница. «Очень хорошо, что вы вовремя пришли, мы вас поджидаем, идите». Приводит в комнату, очевидно приемную акушерки. Крутлый стол, на нем старые журналы, у стола кресла. На стене большое зеркало. Развернула она сверток, в котором я манто принес, надела, подошла к зеркалу, поворачивается и так и этак, на себя поглядывает. Не решается купить, и отговорка у нее одна — очень длинное манто. Я ей опять: обрезать можно, из обрезков шапки пошить. «Пойду,— говорит,— с сестрой посоветуюсь, она все еще нехорошо себя чувствует, выйти не может». Ушла. Слышу, за стеной говорят, слышу смех моей покупательницы и другой, глуховатый голос. Выходит, говорит, что сестра ей советует купить, а она все не решается. Опять минут пять перед зеркалом вертелась, наклонялась, манто подворачивала, примеряла, на сколько укоротить можно. «Пойду,— говорит,— еще раз с сестрой поговорю». Ушла. Опять слышу голоса, смех, потом голоса затихли. Жду пять минут, десять, пятнадцать — за стеной тихо. Осторожно отворяю дверь, вхожу. В комнате в кресле сидит старуха. Увидала меня, глаза расширила, на лице испуг: «Кто?.. Кто вы такой?.. Как сюда попали?» Спрашиваю: «Где эта женщина, которая сейчас у вас была? Кто она такая?» Старуха так перепугалась, что я с трудом добиваюсь у нее ответа. Приходила к ней пациентка. Она вчера к ней в первый раз явилась и умоляла принять ее сегодня в полшестого вечера. Потом какое-то манто показывала и вот в эту дверь через черный ход минут десять назад ушла. Меня как обухом по голове ударило. Выскочил я от акушерки, туда-сюда кидаясь. В одну сторону чуть не бегом, в другую... Где там!.. За четверть часа не только с этой улицы — на тот свет уйти можно. Вроде сумасшедшего я сделался, и такая злость, такая ненависть к этой мошеннице польхает у меня, что попадись она мне сейчас — убил бы! И на самом деле решил я убить ее. Взял кирпич, обернул его красивой розовой бумагой, перевязал шелковой ленточкой и с утра до вечера с этим кирпичом по улицам ходил, держал его под мышкой. Вот встречу ее, думаю, жажну кирпичом по голове, а там пусть что хотят со мной делают. На вокзале, на пристани караулил — нет, сгинула чертова баба!.. Иногда покажется — вот она идет! Сейчас, сейчас я с ней разделаюсь. Беру в руку кирпич, и, должно быть, такое у меня в эту минуту лицо было, что несколько раз женщины от меня шарахались. Нет, не она!.. Так и пропало манто. Ну что мне делать? Чем я могу расплатиться с моей доверительницей? Я сам в то время впроголодь жил, ледом да бруклами торговал. Начистоту с ней объяснился: «Хотите верьте, хотите не верьте, а davvero я вам сузую правду. Виновным себя признаю, хотя и не виновен. Расплатиться сейчас с вами не могу, но когда-нибудь расплачусь. Дайте мне ваш адрес, в другой город переедете — сообщите. Улучшится моя жизнь, встану на твердые ноги — расплачусь».

Для этой женщины пропала манто — удар жестокий, но она мне поверила, даже посочувствовала. Хорошая женщина. Взял я ее адрес... А жизнь-то не сразу налади-

лась, а когда наладилась, написал я ей по данному адресу — не ответила. Другого своего адреса не прислала... А я в тот злосчастный год после этого случая на рынок перестал ходить. Открыл ресторан «В поле ветер».

РЕСТОРАН «В ПОЛЕ ВЕТЕР»

Какой ресторан? Другого такого ресторана никогда не было. Весь свой ресторан я с собой носил и торговал одним только кофе, настоящим мокко с молоком. Брал я коромысло, на него две корзины вешал. В одной — самовар, чашки, мыло, полотенце, в другой — кофе, молоко, сахарный песок. В одной руке лёгкий складной столик, в другой — большой лист толстой бумаги. На листе крупно написано: «Ресторан «В поле ветер». Прихожу к пристани или к железнодорожному вокзалу, неподалёку от них прикалываю к забору свою вывеску. Проходящий народ, конечно, заинтересовывается вывеской, останавливается. На столике у меня самовар, чашки, молоко, песок сахарный. Торговал я без обмана, кофе настоящий мокко, молоко кипячёное, свежее. Выпьет проходящий чашку, ещё попросит. После каждого я чашку с мылом мыл. Чистота у меня безукоризненная. Торговля бойко шла. Где кофе брал? Как случилась у меня с манто большая неприятность, я некоторое время в порту грузчиком работал. Среди товаров, которые привозили и выгружали, были мешки с кофе. А грузчики такие ловкачи, что кое-что у них на руках оставалось, в том числе и кофе. Попадался кофе и контрабандный, его я тоже покупал. Время тогда такое было, такие молодцы встречались. каких теперь не увидишь. С этим рестораном я стал жить посытнее, торговля у меня бойко шла, хотя не так, как в один дореволюционный год, когда я фотографом был. Что? Ну да, был и фотографом. Достал я фотоаппарат и всякие принадлежности для моментальной фотографии. Помните, такие фотографии на бульварах стояли: снимут — и через пять минут готовая карточка. Вот и у меня такой аппарат был. Ходил я с ним по деревням и селам Поволжья. Любит народ сниматься. Ох любит!.. В то лето я чуть ли не все Поволжье исходил. Жил куда лучше, чем в бытность владельцем ресторана. А прикрыл я свой ресторан, когда заметил, как один гражданин стоит в сторонке и за моей торговлей наблюдает. На другой день то же — стоит наблюдает. Подозрительно мне стало. Фининспектор, думаю, или ещё кто-либо посерьёзней фининспектора. Забеспокоился... На третий день гражданин подходит ко мне и говорит: «Слушайте, товарищ... Я хочу вам одно предложение сделать. Не пойдёте ли вы ко мне директором ресторана работать? Я вот смотрел на вас и убедился, что вы хорошо работать можете. У меня в ресторане директор жулик был, уволил я его, а другого подыскать не могу».

Оказалось, что этот гражданин — большой начальник в Нарпите и большими делами заправляет. Я обещал подумать, а про себя решил: в директора не пойду. Разве это мое дело? Чем сейчас занимаюсь — это временно. Скоро новая жизнь начнется, снова я писателем буду. И такое опасение у меня возникло: жизнь пока еще в надлежащее русло не вошла, муть еще на дно не осела, а быть директором ресторана — это не то, что ледом или брусками торговать. И закрыл я свой ресторан «В поле ветер»...

Однажды за чаем разговор зашел о Сергееве-Ценском. Говорили приблизительно следующее. Сергеев-Ценский необыкновенно талантлив, он не похож ни на одного из современных и дореволюционных писателей, у него своя манера письма, свои краски. Он знает жизнь, хорошо знает то, о чем пишет. Великолепен его язык, сочны диалоги. Ширяев сказал:

— Сергеева-Ценского не спутаешь ни с каким другим писателем. Ему даже нельзя, невозможно подражать — настолько он самобытен. Он не оставит после себя школы, как не оставил ее Кнут Гамсун, но сам он войдет, вернее, вошел в русскую литературу дорогим и редким самоцветом.

Мы знали, что Сергей Николаевич Сергеев-Ценский с конца пятнадцатого года живет на своей даче недалеко от Алушты, никуда не ходит и никого не принимает.

Будто бы он не отвечает на письма, отказывается что-либо сообщить о себе. Так, например, Сергеев-Ценский не захотел прислать автобиографию и портрет для книжки «Писатели», которую составлял и редактировал Вл. Лидин. Никандров вежливо упомянул, что Сергеев-Ценский, будучи уже известным писателем, не побывал ни в одной редакции и не знал ни одного редактора: посылал свои произведения почтой и их печатали. Эти произведения говорили сами за себя. Но повторяя различные слухи о замкнутой жизни Сергеева-Ценского, никто из нас не знал, насколько они справедливы. Никто из нас, кроме Никандрова, не был знаком с Сергеем Николаевичем, и каждый из сидевших за столом очень хотел бы встретиться с этим большим художником. Согласится ли на эту встречу Сергеев-Ценский? Нарушит ли он свой замкнутый образ жизни, который ведет почти полтора десятка лет?

Новиков-Прибой обратился к Никандрову:

— Слушай, Никандрыч, а что, если тебе пойти на дачу к Ценскому и от всех нас пригласить его к нам или попросить разрешения прийти к нему? Как ты думаешь, может из этого что-либо получиться?

Никандров ответил:

— Попытаться, конечно, можно... Насколько мне помнится, Сергей Николаевич совсем не такой замкнутый и угрюмый человек, как о нем говорят.

— Когда же ты сходишь к нему?

— А вот сейчас и пойду.

Никандров напялил на голову маленький белый картузик и медленно пошел со двора.

Вернулся он под вечер и сообщил, что Сергеев-Ценский завтра придет к нам. Обрадованные, мы забросали Николая Никандровича вопросами, мы хотели знать подробности его встречи с Ценским, но он ответил коротко:

— Завтра увидите и услышите.

И отправился на берег моря искупаться перед ужином.

...Он пришел в точно назначенный час. Мы сидели на террасе — Новиков-Прибой, Низовой, Ширяев, Никандров, я и наш гость. Я с любопытством смотрю на Сергея Николаевича, внимательно слушаю его, я уверен, что эта первая наша встреча никогда не изгладится из моей памяти. Золотой и синий крымский день, звон цикад, едва слышные всплески моря, терраса, писатели, сидящие за столом, — все это я пронес через всю свою жизнь.

Сергеев-Ценский пришел к нам как к хорошим своим друзьям, которых знал не один год. Был он очень прост, непринужден и чудесно улыбался. Помню, нелепая мысль мелькнула у меня тогда: если бы львы умели улыбаться, они, вероятно, улыбались бы так же — добродушно-ласково и в то же время с сознанием своей силы и, я бы сказал, мудрости.

Сергей Николаевич был в простой русской рубашке с наглухо застегнутым воротом, подпоясанной тонким ремешком, и серых брюках. Темные волосы его были густы и буйны. Мы говорили о Крыме, о прошлогоднем землетрясении, о море. Ну а если разговор коснулся моря, то разве мог Новиков-Прибой оставаться равнодушным? Он загорелся, вспомнил Атлантический, Тихий океаны, которые проходил в русско-японскую войну на броненосце «Орел». Потом разговор зашел о писателях — Леониде Андрееве, Куприне, Бунине. С Буниным Алексей Сильч встречался на острове Капри, когда жил там с мая 1912 по май 1913 года. Никандров встречался с Куприным и Леонидом Андреевым.

Когда Сергеев-Ценский ушел, мы долго делились впечатлениями. Каждый из нас убедился: он совсем не похож на человека, почти пятнадцать лет прожившего уединенно и нелюдимо. Он не угрюмый отшельник, утративший дар общения с людьми, он обаятельный, жизнерадостный человек, интересный собеседник...

Пока мы жили в Крыму, Сергей Николаевич несколько раз приходил к нам, и у нас начала зарождаться дружба. Года два спустя он получил в Москве квартиру и зимами жил там.

Однажды Сергей Николаевич пригласил нас к себе на встречу Нового года. За столом сидели те же, кто был на первой встрече в Крыму, — сам хозяин, Новиков-

Прибой, Низовой, Никандров и я. Не было только Ширяева, он умер в 1935 году. В эту ночь Сергей Николаевич подарил мне свою книгу «Избранное», написав на ней: «Дорогому Александру Владимировичу Перегудову, которого я очень люблю. На добрую память. С. Сергеев-Ценский. 1 янв. 1937 г. Москва».

Новиков-Прибой и Никандров любили и знали море, любили и знали людей, связанных с морем. Но эта любовь была различной. Алексей Силыч, некогда прослуживший семь лет в царском флоте, любил военных моряков, знал их службу и немало рассказов и повестей написал об этих людях. Он плавал по Средиземному морю, Атлантическому и Тихому океанам, видел тропические страны, зарубежные порты. В годы своего эмигрантства, живя в Лондоне, нуждаясь и голодая, он вынужден был поступить матросом на английский коммерческий корабль и на самом себе испытал каторжный труд бесправных моряков. Это помогло ему написать роман «Соленая кувель».

Никандров знал только наши моря, особенно хорошо Черное и Каспийское. Любовь к морю и труженикам моря возникла у него с детства, когда он жил в Севастополе. Мечта Никандрова купить рыбацкую лодку, собрать артель рыбаков и ловить с ними красную рыбу осталась неосуществленной, но Николай Никандрович несколько раз ездил в рыболовецкие колхозы и в рыбацких артелях неделями, месяцами ловил рыбу. Он трудился наравне с остальными рыбаками. Этим объясняется его великолепное знание рыбацкого труда и быта.

Каждый из писателей, Новиков-Прибой и Никандров, особенно высоко ценил в творчестве другого то, что связано с морем. Мне вспоминается, как Никандров восхищался «Цусимой» Новикова-Прибоя, а Новиков-Прибой — «Красной рыбой» и «Морскими просторами» Никандрова. Я не раз слышал от Алексея Силыча: «Как знает Никандров труд и быт рыбаков, знает рыбу и каждую мелочь в оснастке рыбацкого судна, в рыболовных снастях, как великолепно все это показывает! В этом нет ему равного среди наших писателей».

В течение всей жизни Никандрова не только не уменьшалась, но как будто росла его любовь к морю и рыбакам. Спустя почти тридцать лет после нашей первой встречи на банкете Николай Никандрович писал мне:

«Сию сейчас и пишу тебе письмо в чудеснейшей кладовке в 2,5 кв. м., с большим, во всю стену раскрытым окном на широченную космическую панораму высоченных скалистых гор, со дня сотворения мира в хаотическом беспорядке окружающих маленький, древнейший, сугубо исторический, сверхфруктовый городок Бахчисарай с таким климатом, в котором просыпаются мертвые и с удивлением открывают глаза, чтобы посмотреть, в чем дело».

Передо мной на фанерном подобии стола разложены довольно многочисленные листы свежей рукописи, первоначального варианта только что написанной повести о керченских рыбаках. Проведя шесть месяцев среди беспокойных и опасных стихий двух морей, Азовского и главным образом Черного, я вдруг перебрался сюда, в первозданную неподвижность и тишь окружающих мою кладовку горных громад и ущелий. Какой разительный, будоражащий душу контраст! Бурное, шумное, по-зимнему штормящее море — и вечно неподвижные, вечно безмолвные, закрывающие передо мной все горизонты голубой дымкой скалы! И я не ошибся, перенесшись со своей рукописью именно сюда. Отсюда мне вдруг стало виднее и мое море и мои рыбаки. Мне осталось только сидеть и обводить все готовое остро отточенным карандашиком... А мне хочется так отделать, отработать мое новое произведение, как оно того заслуживает. Всю жизнь печатал сырье, черновики. Сейчас стыжусь этого и хочу постараться.

Александр, знай, буду счастлив каждой весточкой от тебя, совершенно не считаясь с тобой письмами, предоставляя их самим себе...»

В письме Никандров выражает недовольство написанным им ранее, об этом он сетовал и прежде, а на одной из книг подаренного мне своего собрания сочинений, изданного «Московским товариществом писателей», он сделал такую надпись:

«Дорогие друзья А. В. и М. П. Перегудовы, к сожалению, эта книга, как и многие мои другие книги, относится к третьему сорту. Ко второму сорту я отношу своих «Мир-

ных жителей» (сборник рассказов) и «Путь к женщине» (роман), но ни той, ни другой у меня сейчас нет. Книги же первого сорта мною еще не написаны, но я их обязательно напишу. Чего от всей души и вам желаю. Ваш Н. Никандров».

В 1940 году умер Павел Георгиевич Низовой, спустя четыре года умер Алексей Силыч Новиков-Прибой. Наступала осень нашей жизни. Но и осень бывает прекрасной и на земле и в жизни человека. На земле яркими красками, холодными пожарами вспыхивают лиственные леса и перелески, чудесными днями одаряет земля людей. Человек встречает свою осень познавшим жизнь, много повидавшим, переживавшим, умудренным прожитыми годами. И перед белым безмолвием зимы человек иногда создает лучшее из всего, что ему суждено после себя оставить...

После смерти Новикова-Прибоя в его семье возникла традиция: в день рождения Алексея Силыча ежегодно собираются родственники и близкие друзья-писатели. Самыми близкими на этих вечерах были прозаики Н. Н. Никандров, А. С. Яковлев, В. Г. Лидин, Л. Н. Сейфуллина, поэты Г. А. Санников, С. А. Обрадович, бывший редактор «Известий» и журнала «Новый мир» И. М. Гронский. Мы раз и навсегда условились: каждый из присутствующих непременно расскажет что-либо связанное с Алексеем Силычем — о совместных охотах, поездках, литературных выступлениях, о случаях, многим неизвестных. Вот где был простор и множество дорог для «кареты прошлого!» Куда только она не заезжала! А затем после рассказов о Новикове-Прибое разговор переходил на общие темы. Здесь отличался Никандров. Он овладевал вниманием слушателей, и за столом наступала тишина. Он вспоминал, как в 1914 году был книгоношей, в Самаре и Саратове торговал с лотка копеечными книжками и умело распространял нелегальную литературу; как десять лет спустя гнал гурт скота из Саратовской губернии в Тамбовскую. Слушая, я снова и снова удивлялся его необыкновенной способности быстро и глубоко впитывать впечатления, подмечать неброские детали. Только раз он прогнал по степи партию скота, но, прочитав его рассказ «Гурты», напечатанный в журнале «Новый мир», можно было подумать, что автор был заправским прасолом или гуртовщиком.

Никандров аккуратно приходил на наши традиционные вечера в день рождения Новикова-Прибоя, но однажды он не пришел. Только через несколько лет Николай Никандрович снова появился среди нас. Похудевший, осунувшийся, он был одет в старую гимнастерку и поношенные брюки; не было в нем присущего ему искрящегося юмора, жизнерадостности, и не услышали мы в этот вечер его рассказов. Больше я не видал Никандрова. Но, несмотря на разлуку, мы продолжали оставаться друзьями. Задушевные и открытые были письма Николая Никандровича. Раньше он молчал о своем прошлом и о своей текущей жизни, теперь же некоторые его письма поведали о том, чего ни я, ни другие не знали...

«6 февраля 1961 г.

Дорогой мой друг Александр, здравствуй!

Глубоко-глубоко тронул ты меня, старый друг, своим письмом, подоспевшим очень кстати ко мне, когда я, вот уже всю зиму, грущу и грущу по различным житейским поводам.

Так много неприятностей и разочарований и так мало радостей и новых очарований! Вот почему с такой особенной остротой пронизало душу мою твое напоминание о нашей ничем не омраченной дружбе и любви друг к другу: тебя, меня и Силыча...

Быстротечность человеческой жизни я точно так же воспринимаю, как и ты: с такой же болью, с такими же ахами. Ах зачем я так расточительно жил! И т. д. И думается мне, что если бы мне с моим теперешним житейским опытом дали возможность прожить сначала, еще разок, то это была бы настоящая, и, во всяком случае, более мудрая жизнь. А то ведь я все время утешал себя тем, что все мои невзгоды однажды пройдут, что они действуют только пока и пока, а потом, когда-то потом, начнется моя счастливая жизнь. И вдруг из последних анкетных справок о себе узнаю, что мне-то ведь уже 83-й годок, залез в 9-й десяток! Открытие не из веселых...

Ты спрашиваешь, почему не бываю в день рождения Силыча у М. Л.? Скажу откровенно, что боюсь всяких расспросов обо мне и особенно моих ответов на эти вопросы. Ведь мало чего и мало кому известно о моей жизни. А относительно последнего времени никому ничего не известно, как я живу. А живу я весьма трудно. И при откровенных ответах широкой публике я рискую впасть в тон жалоб и обличений. Но с тобой я не боюсь пооткровенничать. Моя мать, святая женщина, умирая от неизлечимого в то время крупозника, едва-едва успела произнести свои последние слова: «Коля, не оставляй Ваню и Лену». И с того дня до сегодня я их не оставляю, помогаю и материально, и морально, и, словом, всячески. В прошлом году похоронил брата Ивана, 90 лет от роду. А у него было четверо детей, а у тех тоже рождались дети... Сестра Лена, 85 лет, сейчас доживает последние часы в Бахчисарае с железными осколками в тазобедренных костях и в позвоночнике, полученными при взятии немцами Севастополя, где она работала на морском судостроительном заводе. Мой сын, 30 лет, горный инженер метростроя и аспирант геологоразведочного ин-та, живет в деревянной халупе и вот-вот сгорит с богатейшей своей библиотекой. У него жена и сын 4-х лет. Я их тоже опекаю. Порой мне хочется написать свою беллетризованную биографию!..

Обнимаю и крепко целую тебя, мой дорогой, мой вернейший друг.

Твой Н. Никандров».

Биографии Никандрова и Новикова-Прибоя были необычны, Алексею Силычу и Николаю Никандровичу многое пришлось повидавать, претерпеть и в своей жизни и в своей революционной работе. Мне казалось, что у того и другого богатейший материал для автобиографических произведений. Ведь написал же Иван Вольнов о страшном своем детстве «Повесть о днях моей жизни». Об этом я говорил друзьям, но ни тот, ни другой не последовали моему совету. В одном из последних писем Никандров писал мне:

«3 мая 1961 г.

Дорогой мой друг Александр!

Спасибо тебе за твое письмо, полученное мною вчера. Ты прав в нем во всем. Для меня тоже моя жизнь оказалась промчавшимся в пространстве стремительным метеором. Представь, я все время, все годы думал, что это «пока», а главная моя жизнь еще не начиналась, она начнется «потом». И вдруг вижу себя у финиша! Ничего, никакого «потом» я так и не попробовал. И удивляюсь, почему я не знал в самом начале своей жизни, чем она может кончиться. Конечно, в этом повинны многие факторы: и школа, учившая нас закону божьему и прочим благоглупостям, и литература, не предупредившая нас об ожидающем и обрекающем нас роке, и пр. и пр. А трагедия Силыча! Добился многого, тут бы и начинать жить, и вдруг... Какой-то рак! Ты прав, что он не хуже Ив. Вольнова мог бы написать томище о своем пройденном жизненном пути, но проклятая смерть аннулировала все эти возможности, которыми он был начинен. Без ложной скромности скажу, что и относительно меня ты совершенно справедлив. Сколько раз я в житейской картежной игре ходил ва-банк, этого никто не знает! При царизме я, рискуя своей жизнью, совершил минимум три акта, за которые согласно законам мне полагалось бы получить три смертных казни...»

В другом письме:

«...Если будешь в Москве, обязую тебя зайти ко мне, созвонившись о дне и часе (И1-69-96). Поплачем и посмеемся вместе. Ведь жизнь трагикомедия: хочешь смеяться, хочешь плакать, в зависимости от состояния желудка, сиречь пищеварения...

Ты успокой Марию Людвиговну: не хожу к ней вовсе не из гордости или из-за накраденного большого богатства. Нет и нет! А просто бог меня наградил многочисленными родственниками, живущими в трех разных городах... Вот я и мечусь: ишу ящики для промтоваров и продтоваров, обувь, платье, белье, медикаменты и пр. и пр. А мне ведь идет полным ходом 84-й год!!! Друг, когда будешь в Москве, обя-за-тель-но зайдй с Игорем², хотя бы в читалку «СП», вход с улицы Воровского, д. 50. Там дадут

² Игорь Алексеевич Новиков, сын А. С. Новикова-Прибоя, ныне доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР.

журнал «Каторга и ссылка» за 1929 г. № 1. Прочитай статью обо мне С. А. Никонова. По крайней мере узнаешь, какой же я, боже мой, невысказанный герой. Ужас!

Крепко целую тебя и Марию Петровну.

Ваш Н. Никандров».

Приписано карандашом на полях: «Или пускай сейчас один Игорь пройдет в читалку и спит для тебя».

И последнее полученное от Никандрова письмо.

«30 марта 62 г.

Дорогой друг Александр!

Я очень взволнован. Ведь мы с тобой договорились, что ты в первый же приезд в Москву обязательно посетишь меня, и не один, а с Игорем. И вот узнав о твоём предстоящем выступлении на вечере Сильча, с нетерпением ждал вас, тебя и Игоря, у себя, ждал день, другой, третий... А вас нет и нет. В чем дело? Срочно и честно объясни, в чем дело. Неужели ты занемог и лежишь в больнице? В какой?

Жду немедленного ответа от тебя.

Н. Н.».

Письма Никандрова объяснили мне, почему он менял свои квартиры — лучшую на худшую, худшую на плохую, — почему ходил бедновато одетым, был очень эконом, отказывал себе во многом. Почти весь свой заработок и то, что получал, меняя квартиры, Николай Никандрович посылал своим родственникам. Он помнил последние слова умирающей матери: «Коля, не оставляй Ваню и Лену...» До конца своего пребывания на земле Никандров помогал им. Мы, его друзья и знакомые, не знали этого...

Умер Николай Никандрович в 1964 году, месяца не дожив до восьмидесяти шести лет. Через три месяца после его смерти я получил сборник повестей и рассказов «Береговой ветер», изданных «Советским писателем» к восьмидесятипятилетию Никандрова. На первой странице книги дарственная надпись, сделанная сыном автора: «В память о Николае Никандровиче Никандрове одному из его немногих настоящих друзей — Александру Владимировичу Перегудову».

Я не знаю, видел или не успел увидеть свою последнюю книгу Н. Н. Шевцов — такова была настоящая фамилия Николая Никандровича, писавшего под псевдонимом Н. Никандров. Об этом я узнал много лет спустя после нашей первой встречи.

Ликино-Дулево Московской обл.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Валентин Курбатов. На расстоянии истории.— Михаил Синельников. Постоянство перемен.— М. Злобина. История и миф.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Нежный. Разговор об экономической гармонии.— В. Френель. Портрет ученого.— И. Геевский. Уроки «бурного десятилетия».

Литература и искусство

НА РАССТОЯНИИ ИСТОРИИ

Григорий Бакланов. Навек — девятнадцатилетние. Повесть. «Октябрь», 1979, № 5.

Борис Васильев. Встречный бой. Повесть. «Юность», 1979, № 5.

Есть старая, много раз хорошо сформулированная мысль, самая, может быть, краткая формула которой — большое видится на расстоянии. Это расстояние называется историей, и оно одинаково важно для понимания закона движения общества и для осмысления обыкновенной человеческой жизни. Толстой много думал об этом в «Войне и мире» и по окончании книги беспокоился, что сказал не все, и считал необходимым еще раз уточнить основную мысль в предисловии: «Совершая поступок, я убежден, что я совершаю его по своему произволу: рассматривая этот поступок в смысле его участия в общей жизни человечества (в его историческом значении), я убеждаюсь, что поступок этот был предопределен и неизбежен».

Такой взгляд с точки зрения «исторического значения» обостряется наличием дали, в которой мысль или действие предстают чистыми, хорошо освещенными и доступными во всех связях причин и следствий. Связи эти, некогда очевидные и простые, из исторической дали часто перестраиваются в неожиданно новый порядок. Этим объясняется тяга к мемуарной литературе, когда сам человек неожиданно ви-

дит себя в прошлом как чужого и становится себе художественно интересен как герой, а биографию видит в сюжетной оправе. Чувство упорядоченности жизни под отдающим зрением искусства влечет художников снова и снова оглядывать миновавшую жизнь своего поколения, для того чтобы сделать ее материалом художественной истории.

История Великой Отечественной войны написана. Но художественная история больших событий не бывает равна научной, фактографической. И она продолжает складываться, пока мудрая философия истории не охватит сокровенные глубины простой и сложной проблемы — человек на войне. Солдаты, положим, Бубеннова и Казакевича и солдаты Бондарева и Астафьева — это одни и те же солдаты, но и солдаты глубоко отличные психологическим строем. Литература словно закончила подробный, благодарно-обстоятельный рассказ о том, «как это было тогда», и приступила к делу гораздо более сложному — к постижению того, что же было за событием, в человеческом сердце и в мысли.

Внешне, сюжетно в военной литературе как будто переменилось мало — те же бой,

только, может быть, все более тяжелые, те же потери, только уже не всегда непременно героические, те же короткие влюбленности, только на этот раз, как внезапные ракеты, они освещают все поле жизни и боя солдата, те же размышления, но не только о доме и победе, а и о последней тайне жизни и смерти. Все то же, но все неузнаваемое... И уже кажется: брезжит впереди книга, в которой весь этот ветвящийся опыт обретет единство, и придет в литературу «Война и мир», которую мы не узнаем и которую не сразу догадаемся поставить в параллель толстовской — так различен военный, социальный, психологический, художественный опыт, сосредоточенный сегодняшней военной литературой, так многообразны способы решения этико-интеллектуальных проблем, поднимаемых современной прозой...

Две повести, которые появились в майских книжках «Юности» и «Октября», хорошо подтверждают сказанное. «Встречный бой» Б. Васильева короток и стремителен, так что и повестью не назовешь, скорее большой рассказ с пружинно сжатой мыслью, а повесть Г. Бакланова — подлинно повесть, спокойная и неторопливая, обстоятельная и человечески бережная.

Эта разность сюжетного развития, почти холодная выстроенность одной повести и горячая полнокровность другой, в общем, мотивированы выбором героев, различных званием и возрастом (генерал и лейтенант), что, естественно, открывает им различные горизонты военной и нравственно-опытной действительности. Генерал в повести Б. Васильева проводит последний бой, когда на земле уже полсутки царит мир, и, не удовлетворенный боем, несмотря на победу, тщательно его разбирает; лейтенант воюет, лечится, любит, опять воюет и погибает.

В повести Б. Васильева первенствует умственная посылка, в повести Г. Бакланова — органическая жизнь. Мне по-человечески, положим, ближе второй род повествования, выросший из естественно наследованной классической русской традиции, но я вполне ценю и умно поставленную задачу с хорошо разработанным решением. Герои при таком жестком подходе перестают быть единичными, узнаваемыми, и фамилии их только знак отличия для читателя; портрет, даже очень подробный, всегда будет каллиграфически суховат. У Васильева это очень видно: «Его называли так в разговорах: «наш сказал», «наш приказал»,

«наш велел»... А «наш» был несколько не мягче, не добрее, не сердечнее любого командира. Скорее наоборот: он был суровее многих, не терпел противоречий, а в бою проявлял порой граничащую с жесткостью непреклонность. Он никогда не сбивался на солдатские шуточки, бытовавшие в разговорах многих генералов, был замкнут, и мало кто в корпусе мог похвастаться, что видел улыбку на его лице. Он был храбр, но удачлив, резок, но демократичен, суров, но справедлив». Понимая, что лицо безнадежно ускользает, что можно mnoжить черты и дальше, а «нерезкость» только сгустится, автор прибавляет: «Все эти качества встречались у многих военачальников (тем как бы и перечеркивая так длительно выстраиваемую индивидуальность.— В. К.), но «наш» генерал имел еще одну и, вероятно, решающую особенность: в августе этого года ему исполнялось тридцать лет...»

Однако в дальнейшем это «тридцатилетие» никак не выкажется. Разве что мелькнет влюбленная в генерала девушка, но девушка тоже без лица — «тоненькая, робкая, счастливая, восторженная, светлая», — и встреча и разговор их особенно подчеркнут условность ситуации, возможность подстановки других героев, потому что лица ничего не меняют в посылке. И сами слова, которыми пишет Б. Васильев эту встречу, самые общие: «Ему было все равно, кому он рассказывает. Ему надо было выговориться, освободиться от сосущего, тревожащего чувства тоски и неуспокоенности, найти привычное душевное равновесие. Ему казалось, что стоит только рассказать кому-нибудь, как он мог бы провести этот бой, и он сразу обретет желанный покой. Но он выговаривался, а тоскливая тревога так и не проходила...»

И любовь девушки — это как бы смоделированная, начитанная любовь: «Она знала только, что наконец-то сидит рядом с тем, с чьим именем засыпала и просыпалась... кого она давно уже любила своей первой и единственной любовью. Она не очень понимала, но чувствовала, что ему трудно, в сердце ее нестерпимо и радостно болело за него. Она поняла, что ему плохо... и тогда же пошла за ним, хотя очень боялась мертвецов, темноты и одиночества... пошла не рассуждая, а повинувшись чему-то более могущественному, что давно уже копилось в ней, пошла так же легко и про-

сто, как пошла бы за него на позор, на муки, на смерть».

И вот при всем том, что и остальные герои так написаны и ситуации вычерчены с прямого сухого плана, мысль движется легко и резко и сама «рассказовая» краткость повести и необязательность портретов помогает этому острому движению, не стесняет шага. Мы отбрасываем ложные конкретности как всего лишь привычные правила игры и следим за одним развитием посылки: генерал мог подтянуть артиллерию и хоть потерял бы на этом три лишнего часа, но сохранил бы людей. Вот это единственно важно: прав ли он, сэкономив эти три часа, когда война все равно к началу боя уже двенадцать часов как кончилась?

Будь это в середине войны, прозаик не нашел бы здесь сюжета, как не нашел бы предмета для длительной рефлексии сам генерал, но пришел мир еще только как слово, еще почти и непонятный, но мир, и зрение, все время направленное вперед, на поле боя (не зря автор подчеркивает, что генерал совсем отвык за войну от одиночества), вдруг обернулось внутрь, и он уходит от празднующих победу солдат во тьму, на недавнее поле сражения, чтобы там, в этом отвычном одиночестве, принять встречный бой мира и мысли.

Васильев остановил героя на необыкновенно интересном пороге, на миге перехода из войны в мир, на той не сознаваемой человеком грани, когда он из «бытового» человека делается «историческим». Это еще эмбрион исторического мышления, но герой уже вне быта войны, и тут вступает в силу как раз толстовская диалектика поступка, который самому наблюдателю кажется произвольным, а в историческом обороте был предопределен.

Ну почему бы впрямь не подождать генералу три часа, не подтянуть самоходки — и были бы живы молодые танкисты, уже успевшие обрадоваться миру, и не было бы так много «целых» мертвецов в пехоте, прямо кидавшихся на пулеметный огонь (вот что сразу делает прозу живою и освещает все — одно вот такое замечание старшины похоронной команды, что сегодня почти все «целые», замечание, которое, не пройдя войну, не придумаешь)? И генерал видит эти смерти и казнит себя, но ведь мы вместе с ним видели и другое — что и ждать было нельзя, потому что это известие из штаба о мире, еще не сообщенное

солдатам, уже начало свою веселую, но в данном случае пагубную работу, потому что бой отменить нельзя, а «слаженный механизм гигантской военной машины вдруг где-то нарушился, и хотя люди привычно делали привычное дело, все сегодня выглядело не так: не так ходили, не так отдавали команды, не так ждали, курили, разговаривали». И, видя это общее «не так», не мог генерал откладывать, не мог допустить, чтобы слово «мир» успело облететь всех, потому что послать человека в бой из войны — одно, а из мира — совсем другое, и для самого солдата гибель будет иная.

Это только одна из мыслей, которая приходит читателю перед доводами сомнения генерала, но и из нее мы видим, как тонка грань между произволом и предопределением, волей человека и волей обстоятельности. И зная это, вместе с тем понимаем генерала, который все-таки будет мучиться, потому что эти последние погибшие люди как-то особенно мертвы, словно все повернуты лицом к нему.

И не для одного генерала мир непривычно освещает действительность. Девочка эта, радистка, идущая ночью за своим генералом, тоже ведь в первый раз отчетливо понимает, что «он сейчас встанет и уйдет, и все будет кончено, кончено бесповоротно и навсегда». И мир, такой желанный, еще утром переполнявший ее ликованием, теперь потемнеет, потому что с ним она теряет возлюбленного.

В этом и достоинство суховатой, жестко рассчитанной повести Б. Васильева, что первые часы мира встречены его героями во всей неожиданной сложности, что страшная психологическая лаборатория войны не изломала в них главного, что они сразу приняли жизнь, новый ее невиданный день со всей нравственной ответственностью, перешли в него с тою же готовностью и чистотой, с какой прошли войну.

Переход из будней в историю, из быта в пространство мысли, само мгновение этого перехода словно расслаивает человека; сознание ощутимо двойится, эта синкопа промежуточности особенно сложна. Ухватить ее ясно, полной художественной формой, пожалуй, нельзя. Человек оказывается равно вне быта и вне чистой мысли — в темном поле предчувствия, догадки, сомнения, перехода.

Взаимоотношения «повседневного» и «исторического» человека в повести Г. Бакланова «Навеки — девятнадцатилетние» **на**

проще, но органичнее. Воздух насыщен бытом, дорогими житейскими мелочами, которые выбраны прозаиком с такой тщательностью, а рассеяны в повести с такой свободой и естественностью, что все дышит подлинностью и правдой и труд чтения прост и отраден, как хорошая беседа: приходишь к автору, а находишь друга.

Доверие к прозе налаживается сразу, с появления лейтенанта Третьякова, с незаметных подробностей: «...он за войну вообще разучился покушать, и денег у него с собой не было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так, либо оно валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери, сколько унесешь...», «Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда — все».

И дальше подробности будут радовать повсюду, по всему тексту: и эти переполненные вагоны, в которых «все было занято еще с начала войны»; и эти горькие слова проводниц: «А мне вас вот таких жалко. Всю войну вожу, вожу и все в ту сторону»; и все простые дела и хитрости солдат, теперь озаряющиеся из исторического пространства резким и новым светом. Порою такие детали и эпизоды можно бы посчитать жестокими и бестактными, но, вдумавшись, понимаешь, что в этой будничности как раз и скрыт исток неодолимой силы солдата, привыкшего и перед лицом смерти делать свое дело с житейской обстоятельностью, не пропуская маленьких выгод, если они выпадают.

Вот приходит в штаб связной и, закончив главные дела, вдруг вспоминает еще одно:

«— Вот ведь забыл совсем...— И, вставши, расстегивал карман гимнастерки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпочку... в ней была серебряная медаль «За отвагу».

Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как недавно разглядывали часы... Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на обороте нельзя было разобрать.

— Это какой же Сунцов? — спрашивал старший писарь Калыстратов...

— А я не знаю, — доброжелательно улыбался связной... Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти по солнцу, и выпитая вода выходила из него потом. — Приказали, снеси в штаб, отдай, мол.

— Так как же его убило?

— А как? На НП, должно. Разведчик».

Тут вечное горе матери, тут подвиг, тут экспонат для будущих военных музеев, который будут хранить как урок мужества и победы, а они ничего: одни разглядывают, другой отдыху рад — кто? а не знаю! как убили? а обыкновенно...

Подумай так — и обманешься, потому что тут не равнодушие к этому погибшему Сунцову, а только такой уж обиход — завтра могут вот так же пробитую медаль этого связанного принести, и он это, отдыхая в утолке, знает и спокойно собирает силы, чтобы идти воевать дальше. Рамками мирного понимания тут ничего не охватишь, система оценок требуется другая.

«— Откуда у тебя водка?

— Тут старшина пехотный...— Кытин зевнул, как щенок, показав все небо...— Они, в пехоте, потери на другой день сообщают. Сначала водку получают, потом потери сообщат. Завтра, знаете, сколько у них будет водки!..»

А тут что — бесчувствие? злая хитрость? Ни то, ни другое. Обычная крестьянская экономия («...чтоб добро не пропадало»), к тому же на фронте хоть пил солдат, а пьяным не бывал, и никогда в войне никакой продукт не лишний.

Вот это и есть жизнь девятнадцатилетнего лейтенанта Третьякова, его война. Основное сюжетное время в повести Третьяков лежит в госпитале, и это дни его счастья, его любви, просвет между тьмою первого боя, открывающего повесть, и тьмою последнего, в котором Третьякова не станет.

Первый бой Третьякова занимает в повести три главы, а кажется коротким, мгновенным, как мы обычно вспоминаем опасную рабству, в которой некогда было считать время, а только бы успеть все сделать как следует. Есть тут и тяжелое дело, и жара, и досада мимолетная (человек ты новый, на тебя орут по телефону, а тебе «орать не на кого, дальше — одна пехота»), и страх, и смерть, но смерть эта отмечается как-то мимолетно, словно не до нее пока, и досада не задевает, только бы польза от тебя была, но при этом еще где-то между строк, в самом ритме их, в том, как читатель следом за героем видит бой, ясно ощутима молодость, азарт, неверие в смерть, даже когда на твоих глазах шальная пуля срежет голубя и ты вдруг подумал: «Убьет меня сегодня!»

И все правда. И этот голубь, и то, что в конце, перед тем как погибнуть, раненый

Третьяков отказывается сесть в повозку для эвакуации в тыл, уступая другим раненым, кому тяжелее, и когда место ему все-таки найдется, он зачем-то оглядывается и почему-то вдруг думает: «Ну, всё». В таких случаях обычно те, кто был свидетелем, говорят: «Он как чувствовал». Только нет тут никакой метафизики, а одна психологическая правда. И, конечно, девятнадцатилетие героя во всей светлой полноте выкажется в его госпитальной любви.

Эти страницы напомнят другую книгу со сходной сюжетной ситуацией — астафьевский «Звездопад». Но это сближение даже не сюжетное, а вернее будет сказать — житейское. На параллель провоцирует общность обстановки и возраста героев: как еще может складываться любовь молодых людей в госпитале? К тому же у Бакланова на этих страницах, в сущности, не только, а может быть, и не столько любовь важна, а весь быт палаты, важна ни на минуту не умолкающая война, преломленная здесь в спорах, воспоминаниях, поступках, что и составляет особенность повести, ее совершенную новизну.

Не случайно именно здесь Третьяков много и пристально думает о войне. Как в повести Б. Васильева первый день мира перевернул «бинокль» генерала и заставил взглянуть его на утренний бой из дали психологически другого времени, так у Бакланова госпиталь — та же модель исторического отдаления, тот же опыт выключения человека из боевой среды для ее осмысления.

Вчерашний школьник, Третьяков теперь перепроверяет опыт учебников, и его теперешнее знание плохо совпадает со школьным: «В школе, со слов учителей, он знал и успешно отвечал на отметку, почему и как возникают войны. И неизбежность их при определенных условиях тоже была объяснима и проста. Но в том, что он повидал за эти годы, не было легких объяснений».

Тридцать лет назад это не могло быть ни подумано, ни написано, потому что все было еще слишком ясно и жестоко, а вот сейчас, из мира, из новых устойчивых гуманистических отношений, из новой уверенности в величии человеческого разума, стало возможно думать об опыте минувшей войны шире и мудрее, с точки зрения не одного частного опыта, но философии истории. И хорошо, что не раз мелькнет

подобная мысль у Третьякова и он с разных сторон возвращается к ней, не стесняясь даже и простодушных выводов. Мысль повторяется, возвращается, конечно, не для повторения толстовских вопросов о смысле смерти миллионов, но чтобы, поставив их одинаково, ответить на них различным способом. Другой герой повести, словно продолжая мысль Третьякова, думает теми же, в сущности, словами и о том же как будто, но дальше и вернее. Изведавший горький опыт плена, он понял, «как мало в этой войне значит одна человеческая жизнь, сама по себе бесценная, когда счет идет на тысячи, на сотни тысяч, на миллионы. Но вот эти так мало значащие жизни, эти люди, способные в бою сражаться до последнего, а там доведенные до того, что скопом, отпихивая друг друга, кидались на гнилые опилки... — вот эти люди, а не какие-то особые, другие и есть та единственная сила, способная все одолеть. С какой беззаветностью, с какой готовностью к самопожертвованию подымается эта сила всякий раз в роковые мгновения, когда гибель грозит всему».

Нельзя, чтобы в человеке было убито все. И тот же герой, не стесняясь высоких слов, отвечает и на другие молчаливые мысли Третьякова: «Через великую катастрофу — великое освобождение духа... Никогда еще от каждого из нас не зависело столько. Потому и победим. И это не забудется. Гаснет звезда, но остается поле приращения. Вот и люди так».

Гибелью своей Третьяков подтвердит эти слова, ответит на теснящиеся в сознании вопросы: «Неужели и мысль невысказанная, и боль — все исчезнет бесследно?.. И кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели?» Нет ни одной бесследной мысли и боли, и нет великих и невеликих среди погибших за спасение всего в человеке.

Он умрет после своего «аустерлицкого неба» (и это тоже будет невольной оглядкой и длящимся диалогом с Толстым), которое увидит перед самой гибелью: «И высоко над головою, в высоком ослепительном небе, строй за строем шли белые кучевые облака. Как хорошо в мире, боже ты мой, как просторно! Он словно впервые вот так все увидел». А через минуту, когда он упадет под автоматной очередью, он уже будет думать только о том, что «лежит неудачно, на дороге, на самом виду», а сам уже будет **выцеливать сквозь**

боевую прорезь пистолета то, что может убить других.

Нет в повести прямых авторских вторжений и открытых размышлений о смысле и философской логике войны. Есть короткая подробная жизнь девятнадцатилетнего солдата, чьи мысли, в сущности, не слишком настойчивы, как будто случайны, в глаза их автор не тычет, не сразу и заметишь их за бытом, за небогатой, но полной событиями и напряжением жизнью, но отложив повесть, отступят мелочи, останется впечатление — и понемногу станет проступать глубинный смысл прочитанного, та философия истории, которая здесь исподволь вырастает из простых поступков юного лейтенанта. И если сам герой тогда в необходимом, каждое мгновение заполняющем действии не мог осмыслить всю стройность своей жизни и смерти, то теперь, когда эти жизнь и смерть стали историей и обрели перспективу, оказалось, что ничто не было случайным и поступок, совершенный, казалось, по одной своей воле, был не просто исторически предопределен, но исторически необходим, то есть содержал семена будущей истории, которая не существовала извечно, чтобы потом уравнивать поступки и

«подмять» их под свои прожорливо-всеобъемлющие законы, а складывалась из этих малых поступков, строилась и оформлялась, чтобы стать такою, какова она стала.

Обе повести нравственной остротой вопросов — в русле глубокой русской традиции, всегда внимательной к проблемам коллективной жизни и индивидуальной ответственности человека. И обе при давности сюжетных событий остросовременны в строе и способе художественного и философского воплощения дорогих каждому из нас идей о сохранении человека и истории.

Непохожие методом, повести Б. Васильева и Г. Бакланова тем не менее оказываются в читательском сознании рядом, потому что обе бережно следят за прорастанием в повседневном человеке человека исторического, за морально-социальным становлением нового самосознания в тот драматический период отечественной истории, когда характер отфильтрован ежедневным бытием на грани жизни и смерти и когда в человеке с незамутненной ясностью обнаруживается его духовная и гражданская сущность.

Валентин КУРБАТОВ.

Псков.



ПОСТОЯНСТВО ПЕРЕМЕН

Анатолий Медников. Восхождение. Повесть и рассказы. М. «Советский писатель». 1978. 592 стр.

А. Медников. Эстафета. М. «Советская Россия». 1978. 335 стр.

«Многие годы моего знакомства с заводчанами...», «Я знаю его как мастера уже не первый год...», «Вот уже почти двадцать лет, как я пишу о людях, создающих литейные машины...»

Подобные фразы нередко можно встретить на страницах книг Анатолия Медникова. Причем для читателя очевидно: здесь говорит отнюдь не желание очеркиста заявить о себе — дескать, вот я какой серьезный, основательный, — здесь властвуют интересы дела, только они. Стаж творческих привязанностей А. Медникова к людям нашей индустрии, представителям важнейших рабочих и инженерных профессий, исчисляется долгими годами, десятилетиями, и это очень многое определяет в характере работы, в облике очеркиста. Со-

вершенно естественно, что обращение к реалиям сегодняшнего дня неизбежно рождает у него сопоставления с днями минувшими. Постоянство интересов, присущее А. Медникову, поистине дорогого стоит: здесь основа, на которой способны особенно рельефно проступать контуры движения.

Две книги, изданные «Советским писателем» и «Советской Россией», по существу, избранное, своеобразный творческий отчет прозаика. В обоих сборниках (по составу кое в чем совпадающих) работы, известные по прежним публикациям. И едва ли не каждая из них может служить доказательством плодотворности того творческого постоянства, о котором мы ведем речь.

Помещая в сборнике «Восхождение» дав-

ний свой очерк «Под городом Горьким» (он относится к концу 40-х годов), А. Медников считает необходимым доработать, дополнить его, в том числе краткими, но существенными сведениями о сегодняшних делах тружеников Сормовского завода. Тогда, в 40-х, подчеркивает писатель, он оказался «у истоков... замечательной сормовской истории — рождения здесь крылатых кораблей»; сейчас на стапелях завода — живое продолжение начатого, соответствующее высоким требованиям технического прогресса. Однако в большинстве других случаев А. Медникову нет необходимости специально дополнять написанное ранее. Дело в том, что составляющие костяк книг крупные очерковые произведения — «Свет московских окон» (о строительстве), «Эстафета» (о нефтяниках и газопроводах), «Литейный фронт» — создавались на протяжении ряда лет по принципу развивающихся циклов: жизнь шла вперед, новыми и новыми яркими событиями отмечались будни трудовых коллективов — и очерки продолжались, разрастались. Возможно, они теряли при этом что-то от композиционной, сюжетной стройности, но главная задача достигалась, и можно смело оценить искренность признания писателя: «...как трудно порою бывает поставить точку в документальном повествовании, отражающем нескончаемый поток фактов нашего сегодняшнего делового бытия». Что же, «непоставленные точки», скажем так, — одна из характерных особенностей очеркистской работы А. Медникова, так же как и многофронтальность интересов, взаимодействие которых высекает подчас искру красноречивых ассоциаций. Когда писатель на тюменской земле, на нефтяных промыслах Медвежьего и Уренгоя видит трубы, сработанные на хорошо ему известном Челябинском трубопрокатном заводе, он испытывает не просто волнение — ему как бы открывается пространственное видение, дополнительным светом освещаются дела множества людей, рабочих и инженеров самых разных специальностей, причастных к освоению нефтяных богатств Сибири. Эстафета — это понятие в книгах ощущаешь и хронологически и пространственно.

Для повествовательной манеры Анатолия Медникова характерна сдержанность. Поэтой сдержанности — писатель мог бы и поярче, ноэфектнее проявлять жизненную фактуру, подавать подробности, которые по самой своей сути способны поражать вообра-

жение. Но тут следует учитывать особенности авторской индивидуальности. Приподнятость, патетичность, можно предположить, не в ходу у Медникова из-за боязни впасть в аффектацию, изменить сдержанности. Точность, деловитость рассказа — вот что писатель ценит более всего. Об одном из своих героев Медников пишет: его выступление на собрании было интересным, потому что опиралось «на непреложные факты». Наш интерес к самим очеркам, думается, во многом имеет такое же происхождение.

Однако же стоит подчеркнуть: факты в произведениях А. Медникова — это отнюдь не только производственные подробности, но и подробности душевные, психологические. Почти все, о чем рассказывает писатель, мы узнаем, близко знакомясь с людьми — героями очерков. Внимательность, скромная несуетность в подходе к материалу — и к «человеческому материалу» в том числе — служат Медникову добрую службу, помогая выявлять существенное, то, что бывает недоступно поверхностному взгляду.

Это особенно хорошо чувствуется в документальной повести «Свет московских окон». Новейшая строительная история нашей столицы, ее грандиозность, накал ее ритмов возникают перед читателем в конкретности интересных, нередко замечательных биографий. Пожалуй, три основные фигуры можно выделить среди многочисленных реальных персонажей повести — Г. В. Масленникова, А. М. Суровцева, В. Е. Копелева; этим широкоизвестным новаторам строительства автор уделяет особое внимание, стремясь говорить не просто об их трудовых достижениях, но о том, как формировались характеры, отношение к делу, людям, миру.

Эти и подобные им герои очерков отражают в своих судьбах — при всей их индивидуальности, неповторимости — глубокие социальные закономерности, представляют собой, как справедливо отмечает автор, «особо густую концентрацию типического». Каждый из них поистине призван временем, каждый получил именно такой простор для больших, нужных дел, какой дается лишь совпадением личного с общественным, способностей и устремлений человека с условиями их воплощения в жизнь.

Диалектику этой связи, такой важной и такой подчас трудноулавливаемой в очер-

кистике, А. Медников наиболее полно передает, рисуя облик Владимира Копелева. Мне кажется, если задать писателю вопрос, что же было нелегким в его творческом опыте, он обязательно должен будет признать: «работа» с Копелевым. Из множества попутных штрихов и из прямых (при этом весьма тактичных) высказываний явствует, что копелевский характер не принадлежит к числу тех, какие бывают приятны литератору, профессионально стремящемуся к быстрейшему контакту. Немного словенно, замкнутость... Встречи, разговоры автора со своим героем — запланированные и проходные, на стройках и в домашних условиях — производят впечатление неподдельности, чувствуется, что непростая задача увлекает Медникова. Обаяние личности Копелева раскрывается постепенно, в полной своей силности с работой, делом. Внешние трудности характера имеют, как оказывается, свою обратную сторону: сосредоточенность на главном, деловитость, органическое чувство рабочего достоинства. О том, что дают эти качества комплексной бригаде, многие годы возглавлявшейся Копелевым, говорится в повести: перед нами высокоорганизованный коллектив, где идет постоянный поиск резервов производительности труда, где известна цена каждой минуте рабочего времени. А. Медников позволяет зримо ощутить атмосферу жизни копелевской бригады, ее гражданскую целеустремленность, духовное здоровье.

Очеркист вообще весьма чуток к приметам, которые говорят о нравственном самочувствии, самоощущении человека труда. Многих его героев роднит между собой независимость взгляда, широта социального кругозора. Интересно проявляются эти качества, в частности, в процессе зарубежных контактов советских рабочих и специалистов — мы читаем об американских впечатлениях Копелева, о дружеских встречах с венгерскими товарищами. Рассказ о постоянном обмене профессиональным опытом между бригадой Суровцева и строителями столицы ГДР А. Медников перемежает своими впечатлениями об апрельских и майских днях сорок пятого года в Берлине: ему довелось быть там в качестве военного корреспондента московского радио... Отметим это обстоятельство: в самой биографии писателя, кажется, уже скрыта возможность сближения времен, предметного восприятия исторических за-

кономерностей. Именно в свете истории показаны в книгах люди нового мира, их сегодняшний облик, узы интернационального содружества, связывающие их. Показана динамичность социалистической экономики, непрерывность ее развития, совершенствования организационных методов и форм.

Повествуя в очерке «Эстафета» о грандиозном размахе освоения тюменского Приобья, А. Медников много внимания уделяет предыдущим этапам развития нефтяной промышленности — на Кубани, Каспии, в Татарии. Вспоминает он среди новаторов и кубанского бригадира Хрищановича, чей почин скоростного бурения приобрел популярность в конце 40-х годов. Очеркист сравнивает Хрищановича с другим известным бурильщиком тех лет: последний в добром стремлении к рекордам выдел перед собой только свой участок, «только часть дела», первый же старался прочно включить задачи бригады в общий цикл работы промысла, «болея душой... за нефтяников смежных профессий». По предложению Хрищановича в одной бригаде были объединены и бурильщики и строители, что способствовало высокопроизводительному, ритмичному труду. Сам же бригадир, справедливо отмечает публицист, являл собой тип рабочего нового склада, чье новаторство, чей трудовой героизм вырастали на основе высокой организованности, культуры производства.

А. Медников не перебрасывает прямых мостков между послевоенными буднями нефтяников и газовиков и, скажем, сегодняшними делами московских строителей. Но когда читаешь о бригаде Копелева, о других коллективах, освоивших и неустанно совершенствующих поточный метод домостроения, не можешь не думать о замечательной силе трудовой преемственности. То, за что болели люди, подобные Хрищановичу, сегодня укоренилось (разумеется, в соответствующих новому времени формах), получило широкое развитие и благодаря высокой технике («Царство полной и совершенной автоматике!» — восклицает Медников, познакомившись с работающим в лесотундре газоочистным заводом) и благодаря резко возросшей образованности рабочих. Укоренилась прежде всего сама тенденция соединять энтузиазм с научно обоснованным подходом, включать в сферу рабочей ответственности весь производственный процесс. Трудностей, разумеется,

еще немало, в том числе и в самых передовых коллективах. Но их опыт, достигнутые ими результаты имеют непреходящее значение. В книге «Восхождение» рассказывается: в Гольянове возводились рядом два одинаковых дома, один обычной бригадой, другой бригадой Копелева. «Копелев начал монтаж тогда, когда соседи находились в своем здании уже на девятом этаже. И что же? Копелев поставил свой дом, принялся за следующий, довел его до девятого этажа, и только тогда соседи закончили монтаж своего здания. Следовательно, он обогнал их в два раза. Вот вам результат иного стиля и научного планирования». А. Медников отмечает и важную роль экономических рычагов, расчета за конечный результат «сотласованной коллективной работы» — готовый, сданный под заселение дом...

Думаю, впрочем, что об экономической стороне передового опыта А. Медников мог бы писать и подробнее. Это отнюдь не вошло бы в противоречие со справедливо им провозглашаемыми человековедческими принципами очерков, ибо в экономических взаимоотношениях человек на производстве проявляет себя не менее интересно, чем, допустим, в организационно-структурных. Попутно скажу и о некоторых других моментах, в известной мере скрывающих публицистический размах произведе-

ний А. Медникова. Порой стремление избежать пафетики оборачивается у писателя несвободой обращения с материалом. Характерно: давая метафорическое описание, Медников может вдруг вклинить в него стеснительное «я бы сказал», или «как будто», или «где-то», а диалог персонажей сопроводить таким буквалистским комментарием: дескать, не знаю в точности, так ли оно было на самом деле... Однообразны, суховаты бывают описания обстановки, внешние характеристики людей.

...Есть смысл отметить в заключение то внимание, какое в многолетних наблюдениях над производством А. Медников неизменно уделял жизни рабочей бригады, чутко подмечая новое, прогрессивное, показывая процессы воспитания высокой сознательности, ответственности каждого перед коллективом за результаты своего труда. Бригадной форме организации труда, как известно, уделено большое внимание в недавнем постановлении партии и правительства, посвященном совершенствованию хозяйственного механизма, в одиннадцатой пятилетке она, эта форма, должна стать основной. И легко представить себе, сколь высок может быть взлет бригад, подобных тем, о каких рассказано в книгах публициста.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ.



ИСТОРИЯ И МИФ

Габриэль Гарсиа Маркес. Осень патриарха. Перевод с испанского В. Тараса и К. Шермана. М. «Художественная литература». 1978. 270 стр.

Новая книга известного колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса посвящена одной из самых болезненных проблем Латинской Америки: речь идет о диктаторе, захватившем власть при содействии иностранной державы и установившем в стране режим жесточайшего террора. Этот злободневный политический сюжет (вспомним хотя бы Пиночета или недавно свергнутого диктатора Самосу) обретает под пером Гарсиа Маркеса фантастически-гротескные очертания. «Осень патриарха», как и «Сто лет одиночества», принадлежит к тому новому направлению латиноамериканского романа, за которым утвердилось определение магического, или чудесного, реализма. Его представители

(А. Карпентьер, М. Астуриас, Х. Кортасар, М. Варгас Льюса и другие), обосновывая свои художественные принципы, обычно ссылаются на «фантастическую реальность» Латинской Америки, где все «огромно, нарушает пропорции и словно бы существует в каком-то ином измерении... где повседневная жизнь соткана из реальности и мифов»¹. Эти слова Гарсиа Маркеса (сказанные в одном из интервью по поводу «Ста лет одиночества») можно отнести и к его новому роману. Но в «Осени патриарха» миф не только переплетен и сплавлен с реальностью (как в том мире, который стремился воплотить автор), но,

¹ «Иностранная литература», 1971, № 6, стр. 185, 186.

что называется, задает тон. История диктатора и народа, короче — История, которая является в данном случае главным предметом художественного исследования, показана в романе через магический кристалл легенды. Казалось бы, миф с его заведомым антиисторизмом меньше всего пригоден для этой задачи. Тем более современный политический миф, призванный извратить и подменить смысл истории. Однако, как мы увидим дальше, рискованное решение, выбранное автором, блестяще оправдало себя.

Миф выступает в романе в двойной роли: с одной стороны, как художественный метод, способ изображения, преобразования и обобщения действительности, с другой — как одна из форм народного сознания и, стало быть, составная часть самой действительности. Сопоставление и пересечение этих двух аспектов позволяет вписать мифологию в историческую перспективу. Перефразируя Джойса, противопоставлявшего «высшую», вневременную реальность мифа «кошмару истории», можно сказать, что для Гарсиа Маркеса речь идет, напротив, о том, чтобы вырваться из «кошмара мифа» с его вечным повторением и возвращением на простор подлинной истории. «Спертый воздух застоявшегося времени», которым разит из Дома Власти, отравляет всю страну. Ощущение «испортившегося времени», которое преследовало еще героев «Ста лет одиночества» — безумного Хосе Аркадио Буэдиа и старую Урсулу, подозревавшую, что «время не проходит, а снова и снова возвращается, словно движется по кругу», — в «Осени патриарха» спускается до трагического чувства «выпадения из истории».

Эта же мысль подчеркивается циклической композицией романа. Действие движется как бы по кругу, снова и снова возвращаясь к исходной точке — смерти диктатора, который в первой же главе воскресает после мнимой гибели и, подавив народные волнения, ослепленный ореолом чуда, еще крепче вцепляется в бразды правления, так что до середины романа у нас, как и у подданных вечного президента (давно перевалившего за сто и приближающегося к двумстам годам), нет уверенности в окончательности его ухода.

Но с каждым новым оборотом сюжета, очерчивающего различные эпизоды жизни патриарха, уверенность эта крепнет, а с ней и предчувствие перемен. Смерть дик-

татора подводит черту под прошлым и открывает путь будущему. Вместе с этим чудовищным старцем, продолжавшим жить вопреки законам природы, исчерпав все свои жизненные соки и желания, кроме жажды власти, пока наконец смерть не оборвала это призрачное существование и тело диктатора не положили для всенародного обозрения на банкетный стол, автор хоронит целую историческую эпоху, на которую оглядывается как бы с другого берега, словно это и в самом деле вчерашний день, безвозвратно канувший в небытие. Думается, исторический оптимизм Гарсиа Маркеса, который отмечают все критики, вытекает не только из его мировоззрения, системы взглядов, а из самой природы дарования: его творческая мощь, бьющая через край жизненная сила стихийно противостоят пессимистической идее о тщете человеческих усилий, индивидуальных и коллективных, безысходности истории. Это «внутреннее сопротивление» таланта ярко проявилось еще в романе «Сто лет одиночества», в атмосфере которого, в буйном кипении и размахе страстей, в избыточной «ренессансной» воле к жизни звучит надежда на возрождение и продолжение, несмотря на апокалипсический вихрь, сметающий с лица земли Макондо и его обитателей.

В «Осени патриарха» ощущение изжитости, «недействительности» режима, который продолжает между тем господствовать на большей части Латинской Америки, возникает не на основе рациональных выкладок или глубокого анализа исторических условий, а из всей эмоционально-образной системы романа, построенного по законам поэзии. Оно вырастает из совокупности символов, метафор, гипербол и набирает силу как бы вопреки логике сюжета, повествующего о все новых победах диктатора, неизменно берущего верх над всеми своими противниками и сплеховавшего лишь перед нищей девчонкой, прекрасной королевой карнавала, которая дерзко ускользнула из цепких лап влюбленного патриарха, исчезла бесследно, растаяла в воздухе, воспользовавшись устроенным в ее честь солнечным затмением.

Образ осени (подчеркнутый в названии), мотивы увядания, листопада, гниения, затянувшегося умирания постоянно сопугствуют патриарху, пришедшему к власти уже на излете сил. Генерал не просто стар — он «древнее доисторического жи-

вотного», что выдает тоскливый взгляд игуаны (гигантской ящерицы), проступающий сквозь его бессчетные лики и личины. Образ мифологического чудища, звероящера, созданный причудливой фантазией писателя, метафорически выражает истинное лицо латиноамериканского диктатора, или, вернее, той власти, которую он олицетворяет. Химера, ископаемое, выподзшее из тьмы веков, он являет собой материализованную во плоти ошибку времени. Автор не случайно предоставил ему умереть своей смертью в обветшалом Доме Власти, где царит мерзость запустения и по парадным залам бродят одиночные коровы, жуя драгоценные гобелены. В этой картине саморазрушения тема исторической обреченности старого мира получает законченное выражение.

Однако в противоестественной долговечности правления и естественной смерти патриарха кроется и другой смысл. Недаром ведь Гарсиа Маркес пересмотрел первоначальный замысел романа, задуманного как монолог диктатора, готовящегося предстать перед народным судом. В окончательном варианте «Осени патриарха» народ оказался не в состоянии бороться с тираном. Тут мы подошли к ключевой для романа проблеме взаимоотношений диктатора и народа. Глубоко сочувствуя угнетенным массам, Гарсиа Маркес не снимает с них ответственности за судьбу своей страны. Власть диктатора в «Осени патриарха» держится не только на насилии, но и на активном или пассивном соучастии подданных, отказавшихся от своей воли, на инертности, темноте и легковерии масс. Народ у Гарсиа Маркеса таков, каким его сделал диктатор, который творит историю и отечество «по своему образу и подобию». Но, как справедливо заметил в предисловии В. Земсков (глубоко и всесторонне проанализировавший роман), вся эта история о всемогущем бессмертном диктаторе оказывается на поверку мифом, который создал сам народ. В этом спонтанном мифотворчестве вместе с наивными народными идеалами и иллюзиями произрастают семена лжи, посеянные казенной пропагандой, которая умело использует особенности мифологического — стадного, по выражению К. Маркса, — мышления, освобождающего индивида от бремени личной ответственности. Таким образом, миф, искони выполнявший охранительную социальную функцию (увязывая в некое гармони-

ческое целое противоречия действительности, «объясняя» и санкционируя существующий миропорядок), превращается в средство манипуляции массами и в этом качестве — в мощную и опасную силу истории.

Гарсиа Маркес показывает стихию мифотворчества в действии, блестяще применив технику потока сознания для рассмотрения коллективного «бессознательного». Повествование ведется от первого лица множественного числа: «мы» — это глас народа, стоустый хор, распадающийся на множество анонимных «я», каждый из которых ведет свою партию. Народ в романе отнюдь не безмолвствует: он славит диктатора, проклинает, насмехается над ним, ненавидя — боговворит. Автор обрушивает на нас поток противоречивых, опровергающих друг друга свидетельств, былей и небылиц, зловещих и вздорных слухов, казенных восторгов, чудовищных фактов, превосходящих самую мрачную фантазию, елейных апокрифов и скабрёзных анекдотов, рассказанных «участниками» и «очевидцами» событий, которые видели собственными глазами патриарха (или хотя бы след его гигантской подошвы, источавшей хищный запах власти) либо слышали о нем своими ушами. В этот хор то и дело вступает голос самого диктатора: он болтает со своей матерью или с кем-то из приближенных, размышляет, перебирая в одиночестве свою жизнь. Но и в этой истории, которую мы узнаем из первых рук, все зыбко и запутано: генерал лукав и мнителен, к тому же от старости все в его голове смешалось, не говоря уж о том, что он тоже предпочитает мифы и утешительный обман страшной правде.

В результате перед нами вырисовывается бесконечное множество версий личности и деяний диктатора. Тут и заведомо мифические варианты — порождение беспардонной брехни газет (объявивших, например, благополучное прохождение кометы победой режима и лично президента над силами зла) или простодушной народной веры в доброго правителя, который, конечно, не ведает о злодеяниях своих министров и наделен согласно фольклорной традиции всеми волшебными атрибутами: он исцеляет слепых и прокаженных, повелевает солнцем и дождем, машет ладонями и испускает обильный урожай и приплод скота... Из-за этого легендарного образа выглядят другие, похожие и непохожие, — це-

лая вереница лиц, меняющихся у нас на глазах, словно в калейдоскопе. Следуя за автором, нам придется дать хотя бы беглый очерк этих ускользающих черт. И так, вот он какой, этот диктатор: кровавый тиран, безжалостно уничтожающий всех, кто угрожает — или может угрожать — его власти; неграмотный мужлан-скотопромышленник, алчный выскочка, бесстыдно использующий свое положение для личного обогащения; бездарный правитель, доведший страну до полного экономического краха и разорения и в конце концов продавший американцам Карибское море (которое те «разобрали на части» и увезли к себе в Аризону); нежный сын, обожающий свою простодушную и работящую магушку, которую ежедневно навещает в ее скромном особнячке и за которой самоотверженно ухаживает, забросив все государственные дела, когда смертельная болезнь приковала ее к постели; рачительный хозяин, который начинает свой день с посещения фермы, лично наблюдая за дойкой коров, а по вечерам обходит дворец, проверяя, все ли в порядке, гася свет, запирая двери и окна, заботливо накрывая птичьи клетки темными покрывалами; пронырливый, коварный политик, прикидывающийся простачком, который видит всех насквозь и умеет выпутаться из любой передряги; общительный, простой, мудрый и жизнелюбивый патриарх, истинный отец народа, знающий поименно чуть ли не все население страны и по-свойски захаживающий в хижину бедняков, с которыми делит их скромную трапезу, обсуждает крестьянские дела (и даже, случается, самолично чинит швейную машинку); запуганный, одержимый манией преследования старик, каждую ночь запирающий свою каморку «на три замка, на три щеколды и на три цепочки» и не смеющий показаться даже на официальных церемониях, куда посылает своего двойника (которого в конце концов убивают); отчаянный смельчак, «настоящий мужчина», который в одиночку, безоружный, идет в штаб мятежников, в казармы взбунтовавшихся солдат, усмиряя их одним своим взглядом... И т. д. и т. п.

Что здесь правда, что ложь? Создается впечатление, что автор намеренно спутал карты, соединив в лице своего героя явно несовместимые черты. Но эта «неувязка» имеет свои резоны. Ведь все происходящее в стране, и в особенности действия диктатора, окутано такой плотной дымовой за-

весой лжи, что «ничего невозможно было доказать, как ничего нельзя было опровергнуть». Воссоздавая эту атмосферу всеобщей дезориентации и погружая в нее читателя, автор позволяет нам взглянуть на ситуацию изнутри глазами замороченного среднего человека и ощутить вместе с ним, как трудно в таких условиях докопаться до истины и понять даже самые очевидные вещи. Впрочем, многоликость патриарха имеет и другое значение. В сущности, не важно, каковы личные качества и намерения диктатора, хороший он человек или дурной, говорит нам колумбийский писатель, — роман показывает, как логика власти берет верх над индивидуальной психологией, развращая, обезчеловечивая и в конечном счете поработивая героя. Этот процесс, который прослеживается через все сюжетные повороты и разночтения, и составляет тот внутренний стержень, вокруг которого выстраивается, собирается в единое целое рассыпающийся образ патриарха. Не смущаясь более загадкой его личности, мы можем выделить линию жизни гарсиа-маркесовского диктатора, отмеченную кровавыми вехами в истории страны. Чтобы обезопасить себя, он уничтожает не только врагов (реальных и мнимых), но также тех, кто слишком скомпрометировал себя, исполняя его приказы, или кто слишком много знает, — от древней гадалки, предсказавшей день его смерти, до детишек, которых заставили участвовать в подтасованном розыгрыше государственной лотереи (приносившей верный доход президенту и его клике). Но машина уничтожения, запущенная им, требует все новых жертв — ведь репрессии и казни порождают не только страх, они сеют ненависть, множа число врагов режима. Втянутый в этот inferнальный механизм, диктатор предстает в романе как одна из жертв всепожирающей власти и по-своему расплачивается за нарушение законов человечности: на вершине могущества его ожидает полное, абсолютное одиночество — извечное проклятие тиранов. Жалкий, немощный, несчастный, с «растрескавшимся от отсутствия любви сердцем», он остается в своем обезлюдевшем дворце пожизненным пленником власти...

Вместе с тем Гарсиа Маркес показывает, что тлетворный дух разложения исподволь подтачивает и силы народа. В то время как диктатор, впавший в старческий маразм и давно созревший для гибели, бродит по-

добно призраку по своему дворцу, страна погружается в глубокий детаргический сон, из которого ее выведет лишь смерть патриарха. В этот «исторический понедельник», объявленный национальным праздником, но ставший днем «настоящего траура», народ в растерянности оглядывается на пройденный путь, оправдывается, обвиняет, пытается понять. И вот постепенно рассеиваются злые чары и трезвый голос одного из анонимных рассказчиков подводит невольный итог: «Его смерть, которой мы так долго и так вождельно ждали, многое открыла нам в нас самих, и прежде всего то, что, ожидая в полной безнадежности, когда он издохнет... мы кончили сами, выгорели дотла, и теперь мы не поверили в его окончательный уход... потому, что в глубине души этого уже не хотели; мы не могли себе представить, как будем жить дальше, как вообще может продолжаться жизнь без него — наша жизнь, в которой он, как оказалось, занимал такое непомерно большое место». При всей беспощадности этого приговора в нем есть та очищающая и благойворная сила, которую несет с собой правда — единственная надежная основа всякого дальнейшего развития.

В финале романа ликующе звонят колокола и премят барабаны свободы, неся «людям и миру добрую весть, что бессчетное время вечности наконец кончи-

лось». Но... Пока на улицах народ, неистовствуя от радости, празднует освобождение, в зале государственного совета заседают новые претенденты на власть, готовясь «полюбовно разделить то, что выпало из когтей покойника». Похоже, сбывается пророчество диктатора, предвидевшего, что после его смерти «на дележку сбегутся попы, богачи, гринго и все растащат, а беднякам снова ничего не достанется... Такое у них везение». Предостерегая против подобного оборота событий, роман настойчиво подчеркивает, что везение или невезение (то есть игра судьбы или случая) тут ни при чем. «Добрая весть», которой кончается «Осень патриарха», может стать реальностью, только если народ возьмет судьбу в свои руки, станет активным творцом истории, вместо того чтобы дожидаться избавления свыше. Урок романа можно было бы свести к той знаменитой формуле, которой гётевский Фауст выразил «конечный вывод мудрости земной»: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». С одной существенной поправкой: если у Гёте речь идет о выборе, стоящем перед индивидом, о социально-нравственной ответственности личности, то у Гарсиа Маркеса — об исторической ответственности и судьбе народа.

М. ЗЛОБИНА.



Политика и наука

РАЗГОВОР ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ

По страницам журнала «Экономика и организация промышленного производства» («ЭКО»):

Номер «ЭКО» впервые попал мне в руки, когда я работал над очерком о превратностях судьбы заводского снабженца, о проблемах материально-технического обеспечения. С Петром Афанасьевичем Чайковским, снабженцем рязанского завода счетно-аналитических машин, я уже съезжал в командировку в качестве толкача-стажера, прошел по коридорам и кабинетам Госснаба и думал, что теперь о снабжении знаю все или почти все. Но в какой-то библиотеке снял с полки незнакомый журнал с тремя крупными буквами на обложке, раскрыл — и возблагодарил судь-

бу. В номере оказались интереснейшие статьи по проблемам нашего материально-технического снабжения.

Я читал, например: «Общие недостатки в работе как органов, планирующих производство, так и органов, планирующих материально-техническое распределение, породили полулегальный «институт толкачей». Это — стихийная реакция предприятий на сложившуюся практику планирования и распределения. Во что она обходится государству, можно судить по результатам проверки 85 предприятий-поставщиков, на которых за 1971 год и 4 месяца 1972 года побывали 68 тысяч «толкачей» от предприятий-заказчиков (чуть ли не тысяча на

¹ «ЭКО» издается с 1970 года Сибирским отделением АН СССР.

каждом заводе!). Если исходить хотя бы из недельного срока командировки каждого из них, то и тогда это составит внушительную цифру — около полумиллиона человеко-дней, что равносильно потере восьми с половиной миллионов рублей. Неуверенность предприятий, а часто и снабженческих организаций на местах в перспективах будущих поставок порождает, кроме того, и порочную практику затоваривания дефицитной продукции. Так, проверка установила, что в главнабзах Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии накоплены запасы дефицитных металлоконструкций по более чем 900 позициям на срок от двух до 20 и более лет» («ЭКО», 1973, № 4).

Пересказывать содержание номера, открывшего мне «ЭКО», смысла нет. Скажу только, что были там еще статьи академика Н. Федоренко — о путях совершенствования кредита в народном хозяйстве, профессора А. Бирмана — о планировании и финансовых ресурсах, подборка материалов венгерского академического журнала «Акта экономика», глава из книги Н. Паркинсона «Зятья и прочие», практикум по скоротечию и ряд других материалов, каждый из которых был по-своему интересен и вызывал желание прочесть журнал от корки до корки. Позднее, когда я стал постоянным читателем, а затем и подписчиком «ЭКО», я понял, что четвертый номер семьдесят третьего года достаточно полно представил три основные линии журнала, которые его редакция ведет с завидным постоянством. Совершенствование хозяйственного механизма, территориальная организация производства, анализ состояния и перспектив той или иной отрасли — вот три кита, дающих «ЭКО» твердость курса, неизменное внимание читателей и неуклонный рост тиража. (25 тысяч экземпляров в семьдесят третьем году, 60 тысяч в минувшем; нет сомнения, что среди деловых людей страны авторитет журнала стоит достаточно высоко.)

Острая заинтересованность в повышении эффективности хозяйственного механизма, глубокий анализ явлений нашей экономики, продуманные, обоснованные предложения, ведущие к ее совершенствованию, — вот отличительные черты многих опубликованных в «ЭКО» статей.

Что приемлемо в социалистической экономике и что, по мнению журнала, ей мешает? «ЭКО» ратует за систему, которая давала бы простор хозяйственной

инициативе. Восстает против излишнего администрирования, отстаивает стабильность планов и нормативов, ясность перспектив, равную ответственность тех, кто план утверждает, и тех, кто его выполняет. Социалистическая экономика ныне дает все возможности для гармоничного развития народного хозяйства, но эти возможности использовать надо умело, не пытаясь выдавать желаемое за уже достигнутое, не подменяя делового научного управления народным хозяйством неэффективным принципом планирования от достигнутого. А все это, взятое вместе, имеет как бы общий знаменатель, который можно определить так: стремление к совершенствованию управления экономикой, к гармоничному сочетанию интересов личности, предприятия и общества в целом. Уместно напомнить в связи с этим следующие слова из выступления товарища Л. И. Брежнева на ноябрьском (1979) Пленуме ЦК КПСС: «...какой бы участок работы ни взять, везде видишь огромные возможности, огромные резервы для успешного продвижения вперед. Но чтобы их использовать, необходим подъем уровня управления в самом широком смысле этих слов».

«Нет худшего врага планового хозяйства, чем... «волевое» планирование. Именно в нем коренятся причины порочных «корректировок плана». Именно оно понуждает предприятие скрывать свои резервы. Оно толкает на манипуляции с «выгодной» и «невыгодной» продукцией, на завышение цен. В этих условиях машиностроителям выгодно делать машины потяжелее и вдобавок из материалов подороже, металлургам — катать металл на плюсовых допусках, а не на минусовых, магазину — торговать водкой, а не легкими винами, ресторану — цыплятами табака, а не морковными котлетами», «Экономическая заинтересованность подобна пару в паровом двигателе. Если он направляется по правильным каналам, то приводит в движение локомотив. Но стоит этим каналам засориться, пар будет прорывать себе новые щели и портить механизм... Если план некоторой хозяйственной организации не отвечает реальным возможностям, если он противоречит экономическим интересам его исполнителей, то в ходе его реализации выявится необходимость многочисленных корректировок, которые в конце концов могут сделать план пассивным отражением неуправ-

ляемых процессов», «Пятилетний план, конечно, включает основные задания по годам. Но он не представляет собой простую сумму годовых планов, возникающую лишь к концу пятилетки, а действует с самого ее начала и дает возможность предприятиям и объединениям заранее принимать меры, обеспечивающие долгосрочный подъем и качественное совершенствование производства» — эти строки я взял из статей, в разное время опубликованных «ЭКО» и принадлежащих перу разных авторов. Но суть и страсть у них одна: раз и навсегда покончить с тем, когда предприятие, как младенец, едва совершающего первый свой шаг, опекают семь нянек, когда завод, фабрика, объединение, словно забором, окружены частоколом показателей, ничего не отражающих и ничему не помогающих, и предприятие, будто человек, годами приученный помалкивать и выгадывать, редко говорит в полный голос, и, наконец, с тем, когда опытный директор, опасаясь непременных процентов роста от достигнутого, ни за какие земные и небесные блага не откроет и не пустит в дело истинные резервы своего производства. При таком порядке все встает на свои места: обесцениваются ухищрения скрыть резервы и, напротив, высоко в цене поднимаются усилия в полной мере поставить возможности предприятия на службу государству. За это и ратует «ЭКО».

И еще: «...план не отменяет живой коммерческой деятельности. Я думаю, что как раз такие, как вы, сторонники всеобъемлющего и всепроникающего планирования, лишают наш хозяйственный механизм гибкости, эластичности, способности легко реагировать на внешние изменения. Все ваши рассуждения логичны, послушаешь — и впрямь любая инициатива — это самодеятельность, нарушающая пропорции плана. Но ведь это абсурд! Инициатива, предприимчивость — прекрасны! И если сложившийся механизм хозяйствования делает в каких-то случаях инициативу разрушительницей, то не она виновата. Значит, что-то надо ломать...» Слова эти напрямую обращены к тем, кто видит в хозяйственной предприимчивости некую опасность, кто хотел бы поставить экономическое творчество вне закона и тем самым нарушает ответственные решения о совершенствовании хозяйственного механизма.

Подобная ситуация, где бы ни встречалась она, вызывает у «ЭКО» решительный

протест: «...несмотря на утвержденные правительством «Положения» о социалистическом предприятии и о производственном объединении, в которых достаточно ясно определяются взаимоотношения предприятий и вышестоящих хозяйственных органов, до сих пор практикуется ничем не ограниченное вмешательство последних в текущую деятельность предприятий после утверждения всех плановых заданий. Такая практика снижает ответственность вышестоящих инстанций за высококачественную проработку планов, способствует скрытию предприятиями своих резервов, мешает их четкой специализации и рождает тенденцию к развитию предприятий по принципу «натурального хозяйства»; «Нередко можно слышать, что дело не в показателях, а в порочной практике руководителей, использующих систему показателей, систему планирования и управления в своих интересах. Один печник, есть такая притча, сложил печь, которая дымилась в избу. Так он вот так же успокаивал расстроенную хозяйку: дескать, дело не в том, что печка плоха, а в том, что дым заблудился и «прет наоборот». У печника, правда, хватило благоразумия признать свою ошибку и переложить печь. Думаю, что и нам надо как-то «переложить» нашу экономическую печку, чтобы в трубу вылетали плохие хозяйственники, а не общественные силы и средства».

Проблемы, о которых шла речь на страницах «ЭКО», о которых в последние годы немало писали другие наши экономические и общественно-политические журналы, газеты, нашли свое решение в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы». В самом деле: стабильный пятилетний план с долговременными экономическими нормативами становится отныне основой хозяйственной деятельности предприятий и объединений; пятилетние и годовые планы будут теперь разрабатываться исключительно на основе экономических и инженерных расчетов, а принцип планирования от достигнутого, только из сложившейся динамики соответствующих показателей, решительно увольняется в отставку. Многое предусмотрено сделать и для развития хозяйственного расчета и усиления роли экономических рычагов и стимулов. Поднята роль договоров, прямых длительных хозяйственных связей;

стимулируется выпуск высококачественной продукции, создание, освоение и внедрение новой техники и технологии; намечено широко развивать бригадные формы организации и стимулирования труда... Все это, повторю, в свое время было предметом обстоятельного анализа на страницах «ЭКО».

Позволю себе процитировать еще: «...уместно вспомнить одно глубокое высказывание академика М. А. Лаврентьева: «Непонимание глубинной сути открытия заставляет людей идти по пути так называемого «частичного внедрения», когда сердце новой идеи пытаются пришить к туловищу старой. И наступает, как в биологии, «реакция отторжения»: говорят, что новшество «не работает», оно, мол, вообще неэффективно, и т. п.» Опасность «частичного внедрения», которая способна дискредитировать саму идею основного предложения, весьма велика как раз в вопросах совершенствования хозяйственного механизма. Достаточно непоследовательно решить какой-нибудь один частный вопрос, например установить пониженный размер платы за кредит и новые производственные фонды или оставить без изменения принципы ценообразования, как сразу же вся система предложений окажется неработоспособной. Об этом необходимо всегда помнить, когда речь идет о совершенствовании хозяйственного механизма».

Немало места на страницах «ЭКО» занимают проблемы территориальной организации производства. «ЭКО» — журнал сибирский, и потому естественно, что его в первую голову заботит освоение и промышленное развитие земель, лежащих к востоку от Урала: БАМ, Север, Тюмень, Алтай, Читинская область, Красноярский край... Особое значение, мне кажется, представляют публикации, посвященные проблемам западносибирского нефтегазодобывающего комплекса. Заметны и памятны были выступление первого секретаря Тюменского обкома КПСС Г. П. Богомякова, блистательная статья начальника управления Нижневартовскнефть Р. И. Кузоваткина (сейчас он генеральный директор производственного объединения Юганскнефтегаз), интервью с секретарем Тюменского обкома партии, в недавнем прошлом начальником Всесоюзного промышленного объединения Тюменгазпром, Е. Г. Алтуниным и с начальником управления Главтюменнефтегаз Ф. Г. Аржановым. Непростой истории открытия

тюменской нефти посвящено журналистское исследование Игоря Огнева «Постижение открытия». Оно проникнуто стремлением сохранить и передать события без прикрас, точно, представить участвующих в них людей в наибольшем соответствии с их взглядами и позициями. Автор не скрывает, что не так уж просто победили идеи академика Губкина — во всяком случае, не так просто, как об этом зачастую рассказывается...

Разговор об экономике, о путях совершенствования нашего народного хозяйства, разговор деловой и глубокий, всегда непрост. Важно не только указать на те или иные недостатки (хотя и это имеет свое значение); важно попытаться нащупать пути решения проблем, посылить помощь обществу в совершенствовании экономики. Именно сейчас, после ноябрьского (1979) Пленума ЦК КПСС, после выступления на нем товарища Л. И. Брежнева, эти задачи приобретают особую актуальность. «В народное хозяйство, — говорил товарищ Л. И. Брежнев, — вкладываются огромные средства. Страна вышла на первое место в мире по добыче многих видов топлива и сырья, по производству чугуна, стали, цемента, минеральных удобрений, по целому ряду других показателей. Непрерывно наращиваются производственные фонды, вовлекаются новые и новые трудовые ресурсы. А вот конечный результат мы получаем меньший, чем должны были бы, чем позволяют наши возможности. Отсюда — диспропорции, дефициты, недостаточные резервы». В чем причины подобного положения? Рядом министерств и ведомств, отметил товарищ Л. И. Брежнев, не преодолена еще сила инерции, не доведен до конца поворот в сторону качества, роста производительности труда, достижения лучших конечных результатов...

...Со дня выхода в свет первого номера «ЭКО» прошло десять лет. Это шестьдесят шесть номеров (журнал выходил шесть раз в год, а с 1979-го ежемесячно). Это рассказ об опыте лучших предприятий страны — Волжского автомобильного и Минского тракторного, завода «Красный пролетарий», Купавинской тонкосуконной фабрики. О проблемах развития лесной, нефтяной индустрии, черной металлургии, машиностроения. Об экспериментах в нашей экономике, их судьбе и результатах. О том, что всем нашим хозяйственникам к любому делу, к любой текущей задаче надлежит

подходить с позиций конечного народнохозяйственного эффекта.

А главное в этих десяти годах жизни «ЭКО» — забота об экономической гармо-

нии, настойчивое стремление убрать все препятствия на пути дальнейшего совершенствования нашего народного хозяйства.

А. НЕЖНЫЙ.



ПОРТРЕТ УЧЕНОГО

Сергей Иванович Вавилов. Очерки и воспоминания. М. «Наука». 1979. 295 стр.

Сборники воспоминаний о писателях с давних пор завоевали в нашей стране признание. Аналогичные книги об ученых, и в частности о физиках, лишь сейчас обретают «права гражданства». В 1979 году вышли четыре такие книги, и это примерно столько же, сколько было издано за все предшествующие годы!

Когда-то Эйнштейн обронил фразу о том, что его интересуют не только ключевые экспериментальные и теоретические исследования по физике, но и люди, их выполнявшие, с их судьбами, вкусами, привычками. То же чувство здорового любопытства присуще и тысячам современных читателей — физиков и нефизиков. По нашему мнению, книга о замечательном советском физике С. И. Вавилове должна приумножить число сторонников жанра воспоминаний об ученых. Определяется это и необычайно колоритной, масштабной фигурой Сергея Ивановича Вавилова — ученого, учителя, организатора науки и той тщательностью, любовью и уважением к нему, с которыми книга подготовлена к изданию. Материалы к ней в середине 60-х годов начал собирать сотрудник Вавилова по Ленинградскому государственному оптическому институту покойный академик А. Н. Теренин; большая же часть работы выпала на долю редактора книги академика И. М. Франка — ученика Вавилова и его сотрудника по Московскому физическому институту имени П. Н. Лебедева.

Почти тридцатилетие отделяет выход книги о С. И. Вавилове (1891—1951) от его кончины. Молодые люди, родившиеся в начале 50-х годов и решившие стать физиками, уже работают на заводах и в институтах, защищая диссертации. Те из них, кто интересуется историей науки, могли прочесть о Вавилове, имя которого хорошо знакомо им по курсам общей физики, в биографиях, изданных «Молодой гвардией» (в серии ЖЗЛ) или «Наукой» (в «Научно-биографической серии»).

Новая книга позволяет узнать о Сергее Ивановиче непосредственно из рассказов его ближайших друзей, сотрудников и коллег — в нее вошло немногим более 20 статей-воспоминаний. Специальный раздел посвящен доступному широкой аудитории изложению работ, выполненных Вавиловым в разных областях физики и оптики, их влиянию на развитие современной науки (обзоры Э. В. Шпольского, В. Л. Левшина, А. Н. Теренина, И. М. Франка, П. П. Феофилова).

На сорока страницах книги Сергей Иванович Вавилов сам беседует со своими читателями. Это «Начало автобиографии», необычайно интересные записи о семье и юношеских годах, которые Вавилов сделал в 1949—1951 годах (последняя такая запись датирована 11 января 1951 года, а 25 января Сергея Ивановича не стало). Семья Вавиловых¹ была очень талантливой, достаточно напомнить об академике Николае Ивановиче Вавилове, классике советской биологии, родном брате Сергея Ивановича (по материалам сборника видно, как любили и ценили друг друга братья Вавиловы). Опубликованы здесь и очерки молодого Вавилова-путешественника о городах Италии Вероне и Ареццо, поражающие глубиной, зрелостью, наблюдательностью и точностью оценок.

Для понимания личности Вавилова важно обстоятельство, которое не раз подчеркивается в книге: в послевоенные годы произошло качественное изменение физики — она приобрела индустриальный характер. Целые отрасли промышленности стали развиваться в самом тесном взаимодействии с физикой и физиками.

С. И. Вавилов был одним из первых физиков, принадлежащих к новому типу руководителей советской науки; к этому ти-

¹ О семье Вавиловых говорится в ряде статей. Более отдаленным предкам Сергея Ивановича посвящен специальный очерк Ф. М. Перекальского.

пу относятся И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, С. П. Королев, А. П. Александров. Именно те годы, когда Вавилов стал президентом Академии наук СССР (1945 — 1951), были переломными в ее истории: наука стала производительной силой. Ученик и сотрудник Вавилова академик В. И. Векслер пишет: «Сергей Иванович... принял горячее участие в развитии индустриальной базы физики в нашей стране. Мне кажется, что ему пришлось пережить при этом внутреннюю борьбу, и, может быть, он так и не преодолел до конца свой внутренний скептицизм... Я хочу подчеркнуть ту огромную пользу, которую всегда приносил его мягкий скепсис и всегдашнее подчеркивание того, что дело не в огромных дорогих аппаратах, а в том, чтобы физики хорошо думали».

Этот «мягкий скепсис» отражал, вероятно, своеобразную ностальгию Сергея Ивановича по тем годам, когда он начинал свой путь в науке в лаборатории замечательного русского ученого Петра Николаевича Лебедева. Точнейшие экспериментальные исследования Лебедева и его знаменитой московской школы были выполнены на остроумнейших и филигранно сделанных приборах, изготовленных в лаборатории умельцами-механиками, а иногда и самими сотрудниками — большинство из них, в том числе и Сергей Иванович, свободно справлялись с работой на токарном станке.

О другом, но сходном внутреннем споре разума и чувств Вавилова мы узнаем из его дневниковых записей 1913 года. Молодой человек наряду с глубоким интересом к физике страстно увлекался искусством. Находясь под свежим впечатлением от встречи с Венецией, он писал: «В сущности говоря, я рад, что наслаждение искусством отравляется для меня тоской по науке». И далее: «Наука, наука — вот мое дело, бросить все и заниматься только физикой». Однако, сделав физику своей профессией, Вавилов навсегда сохранил любовь и живой интерес к искусству и гуманитарным наукам, причем этот интерес был активным. Подтверждение тому — блестящие образцы научно-популяризаторского творчества С. И. Вавилова, его замечательные работы по истории науки (о Вавилове — популяризаторе науки рассказывается в статье Е. С. Лихтенштейна, включенной в сборник). Биография Ньюто-

на, написанная С. Вавиловым и изданная в годы войны, считается — в частности, и в Англии, на родине великого физика, — одной из лучших в мировой литературе. Она трижды издавалась у нас, семь раз за рубежом. Сергей Иванович любил, тонко чувствовал и глубоко понимал Пушкина — на его суждения о гениальном поэте ссылаются в специальной литературе. Особенным было отношение Вавилова к музыке: «Музыка может сделать что угодно, укротить гнев, обрадовать и опечалить, сделать счастливым. Как прекрасно, что в этом искусстве нет музейности. Как жизнь, музыка — для всех. И право, я теперь начинаю понимать, почему математики и физики так любят музыку, у той и другой серьезность» (дневниковая запись от 16 июля 1913 года).

Представляется несомненным, что если бы в пору его молодых раздумий чаша весов перетянула в сторону занятий искусством, мы бы имели выдающегося искусствоведа, литературоведа, а может быть, и литератора. Однако в облике и в мировоззрении Вавилова-физика наука и искусство гармонично сочетались, не противостояли, а дополняли друг друга. Та своеобразная ностальгия по увлечениям юности, которая угадывается в более поздних работах Вавилова по истории русской и мировой науки и культуры, была вместе с тем движущей силой этих его занятий.

По мере чтения книги в воображении читателей складывается обобщенный портрет Вавилова. Мы словно видим перед собой высокого и красивого человека с немного старомодной прической, слышим его низкий негромкий голос. В манерах Сергея Ивановича собеседников неизменно поражало удивительное сочетание сдержанности с общительностью, то, что он «замечательным образом умел сочетать доброжелательность, готовность всегда прийти на помощь и просто огромную человеческую доброту с большой требовательностью и нетерпимостью по отношению к отлынивающим от работы». Когда кто-либо из его сотрудников завершал важное исследование, Сергей Иванович не скупился на похвалы, но вместе с тем, по воспоминаниям П. П. Феофилова, «очень сердился, когда задерживалось написание статьи по законченной и обдуманной работе, оформление диссертации и т. п. «Что же, вас палками в рай загонять нужно?» — было его излюбленным выражением в таких случа

ях». Оправдания в задержке работы разными — пусть даже объективными — причинами он отвергал своим обычным: «А вы не сидите скламши ручки». И наряду с этими милыми словечками он любил встать к месту разящее латинское изречение (недаром же ему принадлежат блестящие переводы трудной латыни Ньютона!).

В сборнике говорится, каким сам Вавилов был неустанным тружеником, каким обладал чувством жесточайшей самодисциплины. В одной из статей приведен список должностей, которые занимал Сергей Иванович. Он был «председателем Редакционно-издательского совета Академии наук, Комиссии по изданию научно-популярной литературы, Комиссии по истории физико-математических наук, Комиссии по люминесценции, главным редактором журнала «Доклады Академии наук СССР» и «Журнала экспериментальной и теоретической физики», председателем Всесоюзного общества по распространению научных и политических знаний, главным редактором Большой Советской Энциклопедии». А ведь этот список неполный и более того — в нем отсутствуют наиболее важные обязанности Вавилова: президента Академии наук СССР, директора Физического института имени П. Н. Лебедева, заведующего лабораториями в этом и в Государственном оптическом институте... Ну и, конечно, «просто» работа в любимой им физике, работа напряженная и плодотворная. И все эти многочисленные обязанности Вавилов выполнял блистательно. Невольно задается вопросом: как это ему удавалось? И. М. Франк пишет, что Сергей Иванович «при необычайной занятости никогда не торопился, как будто был совсем свободен, а объем и, главное, весомость того, что он успевал сделать, были исключительно велики. Секрет этого, как всякого подлинного подвига духа, не может не вызвать восхищения и вместе с тем не поддается объяснению. Умение так владеть своим временем — это, вероятно, дар очень талантливого организатора».

В начале 30-х годов С. И. Вавилов уже возглавлял в нашей стране большую физическую школу. А талант учителя, будущего главы школы, проявился у Сергея Ивановича очень рано. Из его записей мы узнаем, что еще в пятом классе коммерческого училища он организовал физический кружок. В 1911 году, студентом Московского университета, Вавилов, по

воспоминаниям одного из старейших его друзей, профессора С. Н. Ржевкина, в лаборатории П. Н. Лебедева «сделал первый опыт организации самостоятельного физического коллоквиума, в котором охотно приняли участие многие молодые физики».

Основной областью активных научных интересов С. И. Вавилова была физическая и прикладная оптика. В спектр ее вопросов входили многочисленные разделы этой обширнейшей области физики, начиная от теории относительности, через люминесценцию, к квантовой оптике и оптике физиологической. С именем Вавилова неизменно и нерасторжимо связана работа его аспиранта П. А. Черенкова, выполненная в его лаборатории. Черенков, изучая процессы люминесценции, обнаружил новый вид излучения, обладающего необычными свойствами. Вавилов представил к публикации экспериментальную работу Черенкова. Он первым понял, что обнаруженное молодым физиком явление принципиально отличается от изучавшейся им люминесценции и что свечение вызвано излучением электронов. Сергей Иванович написал об этом в отдельной статье. Пример этот с точки зрения научной этики по праву должен стать хрестоматийным. Ведь, разумеется, Вавилов понимал значимость обнаруженного эффекта. Качественное и количественное его объяснение принадлежит советским физикам И. Е. Тамму и И. М. Франку. Этот цикл экспериментальных и теоретических исследований в 1958 году был удостоен Нобелевской премии по физике, и П. А. Черенков, И. Е. Тамм и И. М. Франк стали ее лауреатами (по положению Нобелевская премия не присуждается посмертно).

Сергей Иванович страстно любил книги; трофеи «охоты» за ними украшали его прекрасно подобранную библиотеку, в которой значительное место занимал раздел истории науки. Тем более отрадно, что книга воспоминаний о нем издана с большим вкусом, на хорошей бумаге, с отличными обложкой и суперобложкой. Включена целая галерея фотографий — около 60 снимков, из которых 18 служат прекрасными иллюстрациями к статьям о городах Италии и их искусстве.

В 1981 году исполняется девяносто лет со дня рождения академика С. И. Вавилова. Мне кажется, что в число мероприятий, которые Академия наук готовит к этой дате, следовало бы включить и переиздание

данной книги, вышедшей скромным тиражом (11 700 экземпляров). Надеюсь на это, хотелось бы высказать несколько пожеланий. Нужно, по нашему мнению, расширить раздел книги, содержащий материалы самого Сергея Ивановича, дополнив фрагментами из лучших его научно-популярных работ. Вероятно, многие, кто знал Вавилова, прочитав статьи своих коллег, почувствуют желание рассказать о собст-

венных встречах с Сергеем Ивановичем, пусть это будут даже очень короткие новеллы (типа тех, которые написаны редактором книги для раздела «Дополнения»).

Но и в настоящем виде книга о Сергее Ивановиче Вавилове — прекрасный и достойный подражания образец жанра научно-мемуарной литературы.

В. ФРЕНКЕЛЬ.



УРОКИ «БУРНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

Филлип Боноски. *Две культуры*. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1978. 434 стр.

Есть книги, которые трудно отнести к определенному жанру. Новая работа Ф. Боноски не является ни исторической монографией, ни журналистскими очерками, ни искусствоведческим исследованием, хотя элементы этих жанров в ней присутствуют. Скорее всего «Две культуры» — это взволнованный, порой фрагментарный рассказ о событиях общественной и культурной жизни США 60—70-х годов. Стиль и тематика книги отразили широту интересов автора — известного прозаика, публициста, искусствоведа, много лет заведовавшего отделом культуры в газете американских коммунистов «Дейли уорлд» (ныне Ф. Боноски корреспондент этой газеты в Москве). Личная причастность автора к культурной жизни Америки предопределила и художественные особенности книги — эстетический анализ здесь сочетается с зарисовками непосредственного свидетеля событий.

Представление о стиле и направленности книги может дать такое описание Нью-Йорка, этой неофициальной культурной столицы США:

«Несмотря на все свои беды и горести, несмотря на жестокость и откровенный культ денег, Нью-Йорк был и остается культурным центром страны...

Здесь рождаются новые идеи, здесь добиваются славы художники, здесь каждую секунду человек подвергается опасности. И хотя в Нью-Йорке воздух, которым вы дышите, пропитан ядовитыми газами и в один прекрасный день вы можете умереть от удушья, все же, вдыхая интеллектуальную атмосферу Нью-Йорка, вы ощущаете, что она наполнена глубоким содержанием».

Ф. Боноски повествует о студенческом движении протеста, о мирных походах сторонников Мартина Лютера Кинга, о бунтах в негритянских гетто и многих других событиях «бурного десятилетия». Это была та пора в истории американского общества, когда оно после оцепенения маккартистских лет вновь ожило, вступило в полосу социальных потрясений. Ветер перемен затронул и сферу духовной жизни. Автор, как отмечает в своем содержательном предисловии советский литературовед А. С. Мулярчик, стремится показать в своей книге связь даже самых противоречивых явлений общественного сознания с исторической реальностью. Так, Ф. Боноски интересуется столь своеобразный идейно-эстетический феномен, как «контркультура».

Молодежное движение той поры отличалось и социальной неоднородностью и идейно-политической пестротой. Общим, да и то лишь в известной мере, было критическое отношение к существующему буржуазному обществу, особенно к его морали и образу жизни. Часть недовольной и протестующей молодежи рвалась «делать дело»: добивалась прекращения войны во Вьетнаме, требовала предоставления черным американцам равных прав с белыми. Именно эта политически относительно более развитая группа молодежи была демократической сердцевинной движению и оказала наибольшее влияние на общественную жизнь и климат в стране, на политику Вашингтона. Но сложная диалектика общественного развития оказалась такова, что импульсы, воздействовавшие на художественную культуру, особенно на театр и кино, исходили в первую очередь от

крайностей движения. В то время как одни юноши и девушки шагали в боевых маршах, захватывали университеты, другие стекались в Хейт-Эшбьюри (Калифорния), ставший временной столицей пестрого племени хиппи. Тысячи молодых американцев поселились на лоне природы, выращивали овощи, ткали сукно и предавались свободной любви. Многие овладевали культурами «таинственного Востока» или, обрившись наголо наподобие буддистских монахов, бродили по стране, позыная колокольчиками и прося милостыню. Всем стилем своей жизни они хотели выразить свое отрицание истеблишмента и его установлений. Но они, как показывает Ф. Боноски, обеспокоили больше всего лишь своих respectable родителей. Остальные, наблюдая их на телеэкранах, воспринимали все это лишь как «затейливый аттракцион». И закономерно «к концу 60-х годов одержимость сменилась подавленностью и безразличием».

Такая же судьба ждала и «контркультуру». Ее творцы наивно полагали, что своими «ультрасовременными», «экспериментальными», «революционными» произведениями они переделают окружающий мир. Но это, как отмечает Ф. Боноски, «было иллюзией, претенциозной и вместе с тем трогательной иллюзией». «Контркультура», показывает Ф. Боноски, отразила в первую очередь самые слабые стороны молодежного движения — отсутствие разработанной позитивной социальной программы, тотальный негативизм. Скинув со своих счетов рабочий класс как якобы консервативную силу, не установив тесного союза с неграми, многие лидеры молодежного движения обрекали его на социально-политическую изоляцию. Высокомерно отвергнув марксизм как «устаревшее» учение, они лишили себя возможности глубоко оценить действительность и найти пути ее преобразования.

Отсутствие созидательных целей неизбежно приводит в тупик любое общественное и культурное движение. Пафос отрицания, какими бы благородными мотивами он ни питался, тем более отрицания канонов реалистического искусства, не мог не обернуться для «контркультуры» художественной несостоятельностью.

Многие драматурги — представители «контркультуры» уходили в своем творчестве от больших общественных проблем, фактически ставили себе целью лишь эпа-

тировать буржуазную публику. Отсюда их интерес к различным патологическим явлениям, попытки перенести секс на сцену. Движение за «свободу секса» родилось среди молодежного движения как протест против лицемерия буржуазии, ее ханжеской морали. Но когда непристойности хлынули на сцену, а затем и на экран, буржуазия, придя в себя от первого шока, увидела, что порнография отнюдь не потрясает основ ее власти.

Ф. Боноски одним из первых дал анализ «порноискусства», показав его истоки и ту роль, которую оно объективно играет в современном буржуазном обществе независимо от намерений авторов и режиссеров. Оно помогало сбивать молодежь с толку, отвлекать ее от действительной борьбы за переустройство общества. «Секс выпустили из клетку, — пишет Ф. Боноски, — и ничто теперь не могло устоять перед его разрушительной силой. Искусство пало при первом же ударе. В поисках «материала» штудировались медицинские учебники, читателю предлагались новые и новые разновидности «секса», охватывающие весь спектр патологических отношений, от гомосексуализма и эсгибионизма, и каждое новое откровение освящалось лозунгом «революции», срывающей все оковы и отпускающей все грехи, — «революции», которая к тому времени стала полной противоположностью настоящей революции». Апостолы «контркультуры» пытались порнографическими произведениями потрясти основы мира бизнеса. На деле же они по иронии судьбы сами стали его жертвой, объектом наживы. Порнография превратилась в США в индустрию с миллиардным оборотом.

Так же беспощаден идейно-эстетический анализ автора, когда речь идет о позициях Голливуда в расовом вопросе. На протяжении десятилетий, начиная с печально знаменитого фильма Гриффита «Рождение нации» (1915), американский экран повседневно создавал и внедрял в массовое сознание систему расистских мифов. Негров изображали либо верными слугами, либо преступниками, наркоманами, насильниками. В годы подъема движения за гражданские права Голливуд начал перестраиваться, создавать новые стереотипы. В результате этих поисков Голливуд нашел «магическую формулу» создания фильмов, которые могли быть приняты негритянским зрителем и, следовательно, при-

носить доход и в то же время в идеологическом отношении не представлять угрозы. Такими явились боевики 70-х годов «Суперфлай», «Шафт» и другие. В этих фильмах черные супергерои делали то же самое, что обычно творили на экранах супергерои с белой кожей. «Заветная формула — секс плюс насилие — всегда оправдывала себя у белой аудитории. Теперь заправили киноиндустрии с величайшим облегчением и радостью обнаружили, что она оправдывает себя и у черной». Боноски приводит слова прогрессивного деятеля негритянской культуры, резко осуждающего эту практику изображения «на экране сутенеров и проституток, торговцев наркотиками и королей секса», ибо «когда подумаешь, что наши дети воспитываются на таких вот образах, становится ясно, что моральный урон, который наносят нам эти картины, гораздо страшнее простого экономического ущерба».

Многие страницы книги посвящены судьбе американских художников, которые, отвергая и конформизм и левацкую бравладу, пытались бросить серьезный вызов буржуазному обществу. Против тех, кто переступает черту дозволенной критики частных, господствующий класс США использует разнообразный арсенал средств от судебных инсценировок и тюремного заключения (10 кинорежиссеров и сценаристов), увольнения с работы (около 300 работников того же Голливуда) до замалчивания в прессе и других, более тонких методов. Важную роль играет и использование финансовых рычагов. В течение нескольких лет так называемые благотворительные фонды Форда, Рокфеллера, Меллона с помощью субсидий пытались держать на поводке молодые негритянские театральные коллективы. Они хотели видеть на сцене развлекательные, политически безобидные пьесы, хористов, а не пикетчиков. Генри Форд-второй

откровенно заявил в 1977 году, что фордовский фонд должен помогать только тем, кто «оказывает поддержку» капиталистической системе. Коллективы, пытавшиеся занять прогрессивную политическую позицию, были лишены дотаций. Негритянский драматург и поэт И. Барака с горьким сарказмом замечает: «Трудно у нас быть литературным маяком — тебя либо подключат к государственной энергетической системе, либо вовсе погасят». Характерна и судьба известного негритянского писателя Джеймса Болдуина. Поначалу белый истэблишмент возвышал писателя, не видя в его творчестве угрозы основам. «Однако, — пишет Ф. Боноски, — как только писатель стал уходить от двусмысленностей, как только он начал высказываться против расового и даже классового угнетения, так сразу же его популярность начала падать. Такая книга, как «Если бы Бийл-стрит¹ могла заговорить», была не нужна этим литературным крутам, и творцы литературных репутаций во главе с «Нью-Йорк таймс» теперь уже косо смотрели на Болдуина. Когда-то они обеспечили успех начинающему писателю. Настало время уничтожить его. И они проделали это с улыбкой».

«Бурное десятилетие» породило и писателей, которые, отвергая негативизм «контркультуры», продолжали американские литературные традиции реализма и социального протеста. Однако этой теме автор посвящает лишь несколько страниц, коснувшись творчества Лоррейн Хенсберри и Алисы Чилдресс. В целом же книга Ф. Боноски адресует каждому, кого интересуют противоречивые события культурной и общественно-политической жизни США.

И. ГЕЕВСКИЙ.

¹ Одна из многих встречающихся в книге неточностей перевода — надо Вилл-стрит.

КОРОТКО О КНИГАХ



ДВА МИРА — ДВЕ СУДЬБЫ. Сборник статей. Магаданское книжное издательство. 1978. 310 стр.

Известный исследователь литератур народов Севера Р. Бикмухаметов недавно сказал, что роль и место народов Севера сейчас определяются уже своеобразием и значительностью предлагаемых ими решений кардинальных проблем современности. «Оказалось, что и опыт крохотных... народностей имеет общечеловеческое значение и весомость. Подтвердилось: чем самобытнее опыт — и исторический, и нравственный, и культурный — тем более этот опыт общезначим»¹.

К современной проблематике жизни народов Севера, к тому, как она решается у нас и на Западе, и обращен художественно-публицистический сборник «Два мира — две судьбы». Здесь более 40 статей советских и зарубежных ученых, общественных деятелей, писателей, журналистов, рабочих, оленеводов, ряд фоторепортажей. Материалы подобраны и выстроены так, чтобы можно было сравнить уровень жизни народов Севера при социализме и капитализме.

Своеобразие актуальной постановки различных проблем жизни народов Севера в том, что современное их состояние рассматривается с позиций термина «развитие» в том значении, какое дало ему ЮНЕСКО. Исторически сложившимся формам жизни народов Севера должна быть придана мощь современного мирового развития. «Важно, чтобы жизнь эскимосов (охотников и рыбаков), которая сама по себе уже цивилизация, рассматривалась не как пережиток прошлого, а как нечто положительное и имеющее право на существование, как образец для подражания», — говорит в этой связи директор Центра по изучению Арктики Жан Малори, ссылаясь на опыт СССР и Швеции.

Фактическое улучшение жизни народов Севера в СССР давно уже стало нормой. При этом, как свидетельствуют материалы сборника, культуры народов Севера в условиях социализма не консервируются, не стоят на месте. Северяне обретают глав-

ное — чувство современного человека, причастного ко всему, что происходит в мире.

Интересен поднятый в сборнике вопрос о развитии самого сокровенного в культурах северян (об этом пишут Юван Шестапов и другие авторы). Народы Севера до советской власти были оторваны от всего мира. На протяжении столетий природа оставалась единственной их опорой в познании жизни, в выработке мировоззрения. Заветное в культурах северян — это их особенная общность с природой; их опыт жизни в природе актуально звучит в сегодняшней экологической ситуации. Он входит в общесоветский обиход, включается в общегосударственный процесс в своих самых тонких нюансах. Надо сказать, что в сборнике эти проблемы могли бы получить и более подробное освещение. Маловато сказано, например, как обстоит дело в связи с разработкой громадных запасов нефти, газа, открытых на Севере. Хотелось бы больше услышать о том, как согласуется традиционно высокое отношение к природе северян с промышленным освоением края.

Характерно, однако, что зарубежные материалы сборника, очень глубокие, подробные, эти проблемы ставят, по сути дела, умозрительно. Ибо водораздел между «нами» и «нами» проходит прямо по линии самого отношения к народам Севера. На равных, заинтересованное — в СССР, где бережное сохранение, изучение и развитие культур северян стало государственной политикой, и миссионерское, от случая к случаю — на «другом берегу», где забота о национальных меньшинствах — лишь добрые популозновения, движение большой совести отдельных гуманно настроенных личностей. На Западе культуры эскимосов, алеутов, индейцев не включены фактически в общую жизнь стран. Эскимосов учат в специальных школах искусству выживания в условиях Севера, плетению корзин, рукоделию и не обучают современным наукам, лишая их возможности занять соответствующее место в современном мире. В алеутских поселках иностранным туристам демонстрируют, по существу, «дикарей», потому что и собственную культуру у них вытравили и к другой не приобщили. О «помощи», которая приводит к утрате чувства национального и человеческого достоинств

¹ «Вопросы литературы», 1975, № 11.

ва, говорит вождь индейского племени капиано (Канада) Дан Джордж...

Сборник «Два мира — две судьбы» безусловно своеобразное издание, здесь много фактов, дающих пищу уму и сердцу, представляющих и читательский и научный интерес.

Татьяна Комиссарова.

★

И. Г. МОРГЕНШТЕРН, Б. Т. УТКИН.
Занимательная библиография. М. «Книга». 1978. 144 стр.

Пожалуй, мы наблюдаем пока всего лишь первую треть «войны», которой суждено быть, вероятно, столетней, — уникальной в истории цивилизации борьбы двух миров — мира книг и мира электронно-вычислительных машин. Спор идет не только о разграничении сферы влияния между стариннейшим порождением цивилизации — книгой и новейшим — ЭВМ, не только о том, кому какую информацию лучше хранить, здесь со временем будет нетрудно «договориться»: в компетенции ЭВМ будет «сухая» и, что называется, достоверная информация, в компетенции книги — художественная, гипотетическая, движение человеческой мысли, динамика, а не статичные данности. Но речь идет и о возможности контроля одного мира над другим. И не случайно в «Занимательной библиографии» — первой такого рода книге в нашей стране — не раз говорится о поражении ЭВМ: не сбылись надежды на «электронного библиографа», подвела не память, которая у машины сильнее, чем у любого коллектива библиографов, — нет у нее чутья, интуиции, такта, той «малости», что отличает эрудицию от памяти. Нет понимания человеческой психологии, читательской природы.

И книгописание, являясь наукой и искусством (прикладным уж во всяком случае), требует живых данников — библиографов. Однако современная система библиографии — дерево уже столь высокое и ветвистое, что для передвижений по нему требуются и читателю специальные знания, а не только первобытная споровка. «Занимательная библиография» и ставит в соответствии с названием себе двойную цель — заинтересовать читателя древней библиографической наукой и популярно преподавать ее основы. Речь идет о методах и приемах поиска. О том, как читатель совершенно точно может найти нужное без великого труда, чего многие не знают. И о том, что иной простой с виду вопрос обобщается иногда сложнейшей библиографической задачей, чего никак не ждешь.

Книга — одно из совершеннейших произведений человеческого общества. Но она способна нести на себе и отпечаток всех человеческих несовершенств. Издание может быть неоконченным, само название книги может быть, как имя человеческое, неточным (а то и неверным), похожим на названия совсем других книг, неясным и, наконец, просто загадочным (и трудно сказать в принципе, что есть таинственность — достоинство или недостаток человеческой и книжной природы)... Живость и опытность соображения необходимы человеку в общении с миром книг, необходимо знать, как найти нужную книгу или спрятанный на дне книжного моря факт; это умение немислимо без эрудиции и гибкости ума, без понимания, что книга несет отпечаток автора и эпохи. Актуальность этого умения наглядно доказывается в опыте «Занимательной библиографии», предпринятом И. Моргенштерном и Б. Уткиным.

Работа эта действительно опытная, экспериментальная — оттого, видимо, авторам нелегко найти верный тон. Порою книга кажется излишне популярной, и, чудится, авторы читают читателя совсем уж нефитом. Порою это ощущение пропадает, но зато книжка начинает напоминать сборник малоизвестных фактов-анекдотов из жизни загадочного книжного моря...

Разумеется, уместны в такой работе примеры из собственного опыта авторов по библиографическому, биобиблиографическому, фактографическому и иного рода поиску. Однако о таких поисках мы знаем и из других популярных книг — исторических, литературоведческих, — и здесь авторам «Занимательной библиографии» приходится конкурировать с довольно серьезными разыскателями.

Но главное не в этом. «Занимательная библиография» работает не только на читателя, развивая его библиографическую искусственность, но и на собственно книжный мир, на разрешение той проблемы, что книговеды называют раскрытием фондов. Большая (именно так!) часть фондов наших библиотек (от национального книгохранилища — Библиотеки имени Ленина до сельских, районных) не используется как раз потому, что «не раскрыта» читателями. О существовании многих интересных, принципиальных сочинений просто не знают. Информационно-пропагандистских сил библиотечарей, библиографов, средств массовой информации здесь просто недостаточно — читатель сам должен на себя работать. И «Занимательная библиография» подвигает его в этом направлении.

В. Лобачев.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. 24 стр. Цена 3 к.

В. Гришин. Избранные речи и статьи. 654 стр. Цена 1 р. 20 к.

Д. Павлов. Стойкость. 367 стр. Цена 85 к.

М. Попова, Е. Филиппова. Духовный мир личности и атеизм. 80 стр. Цена 20 к.

Разум побеждает. Рассказывают ученые. Составитель Е. Дубровский. 351 стр. Цена 75 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ветви чинары. Сборник стихов советских уйгурских поэтов. 287 стр. Цена 90 к.

В. Кайки. Порог. Роман и рассказы. Перевод с латышского. 248 стр. Цена 95 к.

В. Катаев. Алмазный мой венец. 222 стр. Цена 1 р.

Д. Ковалев. Лирика. Предисловие Л. Озерова. 311 стр. Цена 85 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Мауленов. Избранное. Стихотворения. Перевод с казахского. 367 стр. Цена 1 р. 50 к.

П. Панч. Голубые эшелоны. Повести. Перевод с украинского. 366 стр. Цена 1 р. 60 к.

Р. Рождественский. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1951—1966. 414 стр. Цена 2 р. 10 к.

М. Шагинян. Рождение сына.—Первая Всероссийская. («Классики и современники») 454 стр. Цена 1 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

С. Абрамов. Опозная живого. Повести. 256 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Глинка. Горизонт чист. Повести и рассказы. 319 стр. Цена 1 р. 10 к.

П. Зейтунцян. Самый грустный человек. Повесть. Роман. Перевод с армянского. 254 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Потанин. Сельские монологи. 479 стр. Цена 2 р.

Л. Черникова. Золотой мир. Сказки. 95 стр. Цена 15 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Л. Малашинов. Аларь-гол. Роман. («Новинки «Современника») 269 стр. Цена 1 р. 20 к.

Т. Л. Сухотина-Толстая. Дневник. 559 стр. Цена 2 р. 20 к.

З. Тоболнин. Лебяжий. Роман и повести. («Новинки «Современника») 416 стр. Цена 1 р. 70 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Б. Горбачевский. В стране книголюбов. Научно-художественные очерки. 159 стр. Цена 65 к.

С. Михалков. Настоящие друзья. Стихи. 111 стр. Цена 1 р. 30 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Аграновский. Уметь и не уметь. Документальные повести и очерки. 656 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Бикчентаев. Большой оркестр. Повесть. Перевод с башкирского. 176 стр. Цена 50 к.

Д. Давыдов. Стихотворения. («Поэтическая Россия») 208 стр. Цена 70 к.

«ИСКУССТВО»

И. Алперс. Театр Мочалова и Щепкина. 632 стр. Цена 2 р. 90 к.

Н. Конрад. Очерк истории культуры средневековой Японии VII—XVI веков. 144 стр. Цена 4 р. 10 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

И. Абашидзе. Друзья, дороги, раздумья. Сборник статей. Тбилиси. «Мерани». 224 стр. Цена 2 р. 40 к.

Л. Коноулин. Человек из-за Полярного круга. Повести и рассказы. Магадан. Книжное издательство. 224 стр. Цена 80 к.

М. Лохвицкий. Неизвестный. Роман.—Час сенокоса. Повесть.—Громовой гул. Историческая повесть. Тбилиси. «Мерани». 510 стр. Цена 2 р. 20 к.

Пьесы ленинградских драматургов. Сборник. Лениздат. 616 стр. Цена 2 р. 30 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резищенко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 30/X 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 4/XII 1979 г.
А 14277. Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)
Тираж 320.000 экз. Зак. 3712.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 06042

Цена 70 коп.

70636